

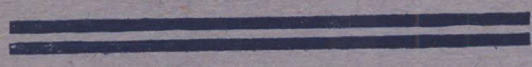
12

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1960

12



1960

# НОВОЫИ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVI

№ 12

Декабрь, 1960 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСАНДР БЕК — Резерв генерала Панфилова, повесть	3
С. МАРШАК — Из лирики	105
ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ — Хвала Востоку, стихотворение. Перевел с грузинского Валерий Тур	107
В. ПОЗНЕР — Место казни. Окончание. Перевел с французского К. Наумов	109
АНАТОЛЬ ГИДАШ — Стихи разных лет. Перевели с венгерского Ал. Сурков и Л. Мартынов. Предисловие Ал. Суркова	155
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
ВИКТОР ПАНОВ — Посадка в родные места	160
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Е. ОСЛИКОВСКАЯ — На столбовой дороге	180
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
К. РУДНИЦКИЙ — Движение сквозь годы	200
И. РАДВОЛИНА — О чем рассказывает лирический герой (Заметки о современной югославской литературе)	214
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
ЦЕЦИЛИЯ КИН — Круглый стол	233
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
О Л. Н. ТОЛСТОМ. Дм. Любимов. На вечере у Толстого.— А. Цингер. Ненаписанный рассказ Толстого.— Владимир Польш. Встречи с Толстым	239
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	248
А. Павловский. Человек идет по земле.— Ефим Дорош. Неповерхностные наблюдения.— И. Виноградов. Об «уставных словах» и человечности.— Игорь Поступальский. Поэзия Элисаветы Багряны.	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	261
Л. Кюзаджян. Ленин и Восток.— Дм. Рудь. На смену трудодню.— Юр. Павлов. Вива Куба! — В. Твардовская. Научно-популярная литерату- ра о революционерах-народниках.	
КОРОТКО О КНИГАХ	276
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	279
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», ЗА 1960 ГОД	281

---

---

---

АЛЕКСАНДР БЕК

★

## РЕЗЕРВ ГЕНЕРАЛА ПАНФИЛОВА

*Повесть*

Женщине выйти из рядов!

1

**Я** снова во фронтовом блиндаже у своего героя. Момыш-Улы смотрит в небольшое окошко под верхним накатом, окошко, за которым чернеет ночь. О чем он думает? Куда унеслись его мысли? Вот он негромко пропел:

Выпьем, добрая подружка  
Бедной юности моей...

За время нашего знакомства — уже не краткого, но еще и не короткого — я успел заметить: обладая верным и развитым музыкальным слухом, Момыш-Улы знал, хранил в памяти немало песен, старинных романсов, оперных арий. Иногда он любил в лад мыслям пропеть фразу-другую из своего обширного, как я мог определить, музыкального репертуара.

— Откуда, Баурджан, вам известно столько музыки?

Я ожидал, что мой вопрос будет немедленно отвергнут. Момыш-Улы всегда так поступал, когда я спрашивал о чем-нибудь личном. Однако сейчас он затанулся папиросой и сказал:

— Жила-была такая девушка Рахиль, которая водила меня по театрам и концертам, когда я был студентом в Ленинграде.

— В Ленинграде?

— Да.

— Как же вы туда попали?

— Долгая история.

Баурджан замолк, явно не намереваясь развивать дальше эту тему. Я попросил:

— Расскажите о Ленинграде, об этой девушке.

— Зачем?

— Мне как писателю это необходимо. Хочется вас увидеть в разных гранях.

— Я рассказываю не вам.

— Не мне?

---

Повесть «Резерв генерала Панфилова» завершает книгу «Волоколамское шоссе».

— Не вам, а поколению. Было бы глупо и неблагородно подсовывать сюда собственную биографию.

Я вздохнул. Чем, какими доводами переубедить этого неуступчивого человека?

## 2

— Коль мы заговорили про женщин,— продолжал Баурджан,— то вместо рассказней, которыми иногда позволительно согрешить в землянке, коснемся вопроса о женщинах на войне в сражающейся Красной Армии.

В дни битвы под Москвой я, командир батальона, решал эту проблему просто: женщине не место в боевых частях. Коротко и ясно. И вся проблема отсечена, как шашкой.

Никогда ни одна женщина не шагала в батальонной колонне, не становилась в наш строй. Но вот однажды...

Собственно говоря, про этот случай следовало бы рассказать на страницах нашей прежней книги, где описаны первые бои батальона, наш отход к Волоколамску. Что же, вернемся к тем картинам, к нашему невеселому ночному маршу.

...Во мраке ротными колоннами батальон шагает по расползающейся талой земле. Двигутся бойцы, движутся орудия, двуколки с пулеметами, повозки с боеприпасами, потом опять бойцы.

Мы покидаем эту землю, выскальзываем из петли. Деревни по правую и по левую руку от нас уже заняты врагом; осталась лишь узкая проушина; надо пользоваться мраком, ночным временем, чтобы по приказу отойти к своим, соединиться с частями дивизии.

Колонну ведет Заев. Его рота головная. Он неумоимо шагает, помахая длинными руками. Проходят ряды бойцов, проезжают запряжки. Вот и приبلудная команда — потерявшие своих командиров, свою часть, приставшие к батальону солдаты. Их ведет политрук Бозжанов. Сюда присоседился и инструктор по пропаганде Толстунов.

С седла — я сидел верхом, пропускал мимо себя колонну, — с седла я разглядел: возле Бозжанова и Толстунова шагает кто-то третий. Что за черт? Юбка? Быть того не может! Померещилось... Нет. Среди мужских силуэтов мелькают ножки в ботиках, мелькает юбка.

И я крикнул:

— Стой!

Колонна остановилась.

— Женщине выйти из рядов!

Нерешительно вышла и приблизилась женская фигура. Я скомандовал бойцам:

— Марш!

Ряды двинулись. Толстунов и Бозжанов остались на обочине.

— Кто такая?

Во тьме прозвучал женский голос:

— Фельдшерница... Фамилия: Заовражина...

Толстунов добавил:

— Из села Васильево... Уходит, комбат, от немцев.

— Что за порядок? Почему мне не доложили? Кто разрешил допустить жителей в батальонную колонну?

Бозжанов хотел что-то ответить, но я оборвал:

— Без разговоров! По местам!

— А я? — спросила девушка. — Неужели оставите у немцев?

Я вытащил карманный электрофонарик, нажал кнопку. Пучок света вырвал из темноты русское девичье лицо, широкие крылья округлого носа, ямочку на подбородке. На миг я увидел серьезные темно-серые

глаза. Тотчас девушка заморгала, ослепленная внезапным светом. Я повел фонариком ниже, луч упал на осеннее черное пальто, на лямки закинутой за плечи котомки, на висевшую сбоку фельдшерскую сумку. Далее полоса света опустилась на дешевые, простые чулки, на облепленные грязью, должно быть хлебнувшие воды, невысокие боты. Меня потянуло еще раз увидеть ее взгляд. Чуть приподнял фонарик. В слабом отблеске опять стали различимы обращенные ко мне небоязливые серые глаза. Я опять подивился их серьезности.

Да, пришел для нее серьезный час! Родная пристань брошена, чалки обрублены топором войны. В ботиках, с наскоро собранной тощей котомкой, девушка всгала в ряды последнего уходящего батальона Красной Армии, пошла с нами. Великое время, великая война позвали ее. И в глазах нет боязни перед будущим.

Фонарик погашен.

— Как зовут? — спросил я девушку.

— Варя.

— Ну, Варя, выведем тебя. Иди, где шла. Скоро дойдем. Там скажу: вот, Варя, наша сторона. И пойдешь себе...

— А с вами?

— С нами нельзя.

## 3

За деревней Долгоруковкой, занятой немцами,— ее мы обогнули — нас радостно повстречал помощник начальника штаба полка лейтенант Курганский. Его появление означало: мы дошли к своим!

Курганский привез нам подарок — две подводы с белым хлебом, совсем свежим, ночной выпечки. Я смотрел на эти укрытые брезентом повозки, на колеса с поблескивающими сталью ободами, проложившие к нам колею из Волоколамска, и беззвучно пел: «Мы у своих! Мы на земле, где стоят наши!»

Брезжил рассвет, стлался утренний туман. Я решил укрыть батальон в леске, дать людям поесть, передохнуть.

Вместе с бойцами в лес зашагала и Варя. В черном пальто, черном беретике, с котомкой за спиной. Я снова вызвал ее из рядов. Она подошла, оглянулась на уходящую колонну, подняла на меня взор. Теперь, в утреннем неярком свете, черты ее лица — крупные нерасплывчатые губы, изгиб крыльев носа, открытый лоб, прямой пробор темных, без завивки, волос,— эти черты показались мне более тонкими, чем ночью при фонарике. От природы грубоватые, они были как бы обточены резцом образования, чтения, жизни духа, резцом, снявшим стружечку невыразительности. В фигуре чувствовалась крестьянская силенка, черная кость, простонародность. Кисти рук были широкими, крепкими.

— Ну, Варя... Вот дорога. Иди.

В устремленных на меня темно-серых глазах показались слезы. Я не слишком чувствителен к женским слезам. Но эта девушка плачет, пожалуй, не часто. Она проговорила:

— Одна?

Стало ее жалко. Действительно, нелегко уйти одной в этот туман.

— Хорошо, Варя. Доведем тебя дальше.

— А совсем мне с вами нельзя?

— Нет. Мы, Варя, воины. Отправим тебя, если хочешь служить в армии, немного подальше в тыл. А в батальоне девушки ненадобны. Привел ее в санитарный взвод к Кирееву, нашему фельдшеру.

— Киреев, доверяю тебе эту девушку. Зовут Варя Заовражина. Сколько, Варя, тебе лет?

— Девятнадцать.

— У меня как раз такая дочь,— сказал Киреев.

— Знаю, ты отец... Передаю тебе ее на сохранение до Волоколамска. Следи за ней строго, как за дочерью.

Варе напоследок дал наказ:

— А ты смотри — ни с кем не заводи здесь шуры-муры. Веди себя, как подобает порядочной советской девушке.

Она покраснела. В ее взгляде я прочел: «Зачем ты меня обижаешь?»

## 4

Вы, надеюсь, помните, как далее сложилась обстановка. Я пожалничал; захотел вывезти из-под носа у немцев припрятанные нами снаряды и пушки, для которых не хватило коней; приказал Божжанову взять распряженных артиллерийских битюгов и доставить все, что было кинута. Божжанов с конями, со своим воинством ушел. А с разных сторон леска, где мы укрылись, занялась пальба, разгорелся бой. Выстрелы орудий слились в сплошной гром. Я ждал Божжанова. Без него не тронешься. Вал боя приближался. Пришлось дать приказ: поднять людей, рыть круговую оборону.

Вместе с Рахимовым я обходил роты. В штабной шалаш мы возвращались мимо санитарного взвода. Из-за деревьев донесся хохот нескольких здоровых глоток. Что такое? Раненые так не загогочат.

Я зашагал на голоса. На полянке возле ручья трещал костер. В бачке грелась вода. Неподалеку на веревке было развешано только что выстиранное белье — санитарные халаты, марлевые салфетки, простыни. Справедливости ради скажу: развешанное белье поражало белизной, его всегдашний изжелта-серый отлив будто улетучился. От кровавых пятен и потеков не осталось следа.

И все Варя! Она стирала здесь же, у ручья. Пальто было сброшено. Вместо него поверх платья была надела гимнастерка. А вместо ботинок по милости какого-то неведомого мне добряка (уж не Киреева ли?) девушка уже успела обуться в солдатские кирзовые сапоги. Она склонилась над тазом, пристроенным на пне, рукава были засучены, мыльная пена брызгала из-под ее распаренных широких кистей.

Подле работающей девушки разместились, словно стянутые сюда магнитом, чуть ли не все мои герои во главе со свежевыбритым Толстунным. Всюду поспевающий Брудный сушил у огня Варины туфли. Здесь же оказался и командир первой роты Филимонов, которого я считал образцом дисциплинированности, исполнительности.

Нет, не зря я придерживался заповеди: женщине не место в боевых частях! Кругом пальба; черт знает какая обстановка; в любой момент можем очутиться в окружении, а командиры льнут к юбке. Варя заметила меня, улыбнулась, показав крупные красивые зубы. Ее улыбка говорила: «Вот я и при деле, вот я и нужна».

Командиры, несколько сконфуженные, встали «смирно». Невдалеке, у санитарных повозок, я заметил Киреева, крикнул:

— Киреев, ко мне! Так-то ты следишь за девушкой? Почему допустил сюда этих молодцов?

— Как же, товарищ комбат, я с ними слажу? Они командиры, а я...

— А ты отец! Я тебе ее доверил, как отцу. Всякого, кто к ней подойдет, ты обязан гнать властью отца.

— Оплошал, товарищ комбат. Сробел.

— Другой раз не плошай. О тех, кто тебя слушается, докладывай мне. Понял?

Обратившись к Рахимову, я приказал:

— Всех этих молодчиков и девушку немедленно пошлите ко мне в штаб.

Повернулся и ушел.

## 5

Следом за мной к штабному шалашу приплелись вызванные. С ними Варя в солдатских сапогах, в своем черном пальто, в черном берете. Все струхнули, лишь Толстунов пытался с независимым видом улыбаться.

— Толстунов! Что за ухмылки, когдаходишь к командиру батальона?

— Комбат, ну что ты? Чего накинулся? Мы же...

Я перебил:

— Вы мне, товарищ старший политрук, не подчинены, но если намерены со мною пререкаться, будьте любезны оставить батальон.

Толстунов смолчал.

— А ты что, Филимонов? Ротой командуешь или выехал с барышней в лесок?

Филимонов был очень чувствителен к замечаниям, которые я ему делал на людях. Он был, как вам известно, командиром-кадровиком, бывшим пограничником. По его убеждению, которого он не скрывал, лишь пограничники умели нести службу. Выслушивая мой нагоняй, он краснел и бледнел, на скулах ходили желваки. Я продолжал:

— Хочешь, чтобы я пощадил твое самолюбие? Не пощажу! Ты липнешь к каждой юбке!

— Товарищ комбат, это же первый раз...

— Молчать! Ты что, не понимаешь обстановки? Не понимаешь, что с любой стороны могут появиться немцы? Каждый обязан быть на своем месте.

Влетело как следует и Брудному. Отчитав моих героев, я сказал:

— Ступайте... А ты, Заовражина... Если ты будешь так себя вести...

— Господи, как?

— Сама знаешь! Зачем собрала вокруг себя этих мужланов?

— Я не собирала. Я вовсе не хотела...

— А зачем одаривала улыбками? Запомни: за малейший проступок, за кокетство — слышишь? — положу тебя на этот пень и разрублю шашкой на кусочки! А заодно и твоих ухажеров. Понятно? Я тебя спрашиваю: понятно?

Она едва выговорила:

— По... Понятно.

..Наконец мы, батальонная колонна, пришли в Волоколамск. Шагая во главе строя по асфальту главной улицы, я увидел на тротуаре начальника санитарной части полка доктора Гречишкина. Подошел к нему, перекинулся словцом, подождал, пока с нами не поравнялись повозки санитарного взвода. На одной из повозок сидела, мокла под дождем в своем черном пальтишке Варя. Я остановил повозку.

— Варя, слезай! Доктор, вот вам подарок. Это работающая честная девушка. В будущем тоже врач. Ушла с нами от немцев. Она вам пригодится, будет ходить за ранеными. Пенять на меня, уверен, не придется.

Доктор поздоровался с Варей, сказал:

— Получить рекомендацию от нашего комбата нелегко. Найдем, Варя, вам место.

Девушка бросила на меня прощальный взгляд. В серых серьезных глазах таилась и благодарность и обида. Я пожал жестковатую Варину руку.



Вам известен дальнейший боевой путь батальона, ставшего резервом командира дивизии. Заградив прорыв под Волоколамском, мы опять были отрезаны, опять — не теряя строя, порядка — прошли к своим по занятой немцами земле.

И вот наконец батальон на отдыхе. Вновь поступив в резерв Панфилова, мы были отведены во второй эшелон за пять-шесть километров от переднего края. Роты расположились в поле, вырыли себе солдатские квартиры-блиндажи. А штаб батальона и специальные подразделения поместились в деревне Рождествено.

В начале ноября 1941 года ударил ранний мороз. На всем фронте под Москвой длилась оперативная пауза. Не пробившись к Москве с ходу, не одолев нашего сопротивления, немцы подтягивали свежие силы, готовили новый рывок. А пока воевала артиллерия. Уху стала привычна однообразная, порой ненадолго учащавшаяся канонада. Время от времени противник накрывал огнем и нашу деревеньку. Немцы, отдадим им должное, не приучали нас к беспечности. Ночью нельзя было курить открыто: гитлеровцы нередко швыряли десяток-другой мин по вспыхнувшей спичке, по огоньку папиросы. И все же после тяжелых боев мы более или менее спокойно отдыхали. Затишье позволило торжественно отпраздновать день седьмого ноября, двадцать четвертую годовщину нашей великой революции. Из Казахстана нам, дивизии Панфилова, прислали к празднику подарки: знаменитые огромные алма-атинские яблоки, конфеты, вино.

Незаметно мы втягивались в этакий быт передышки, даже стали назсжать друг к другу в гости.

В тот вечерок, о котором сейчас пойдет речь, я сидел за своей тетрадь, продолжал записи о боях батальона. Был в сборе весь мой маленький штаб. Толстунов и Бозжанов по-братски вдвоем прилегли на широкую кровать, позволили себе с моего молчаливого разрешения соснуть после обеда. Рахимов занимался нравящейся ему работой (в ней он был искусником), растушевывал схемы — графическое приложение к моим записям.

Растворилась дверь.

— Товарищ комбат, разрешите.

На пороге стоял фельдшер Киреев. Мне показалось, что у него лукавый вид, что добрые губы вот-вот расплзутся в улыбке. Он понизил голос:

— Происшествие, товарищ комбат.

Толстунов сразу проснулся, сел. Бозжанов приоткрыл глаза, еще с поволокой дремоты, приподнял голову. Его лицо во сне порозовело.

— Какое происшествие? — спросил я.

— Приехала в гости дочка.

— Дочка? Твоя?

— Моя. Варя Заовражина. Не позабыли?

Тут следовало бы написать: «движение в зале». Толстунов спустил босые ноги на пол. Бозжанов откинул шинель, исполнявшую обязанности одеяла, вмиг перестал быть заспанным. Даже Рахимов отложил карандаш. Я произнес:

— Где же она?

— К вам, товарищ комбат, не пошла.

— Вот как... Напугана?

— Нет... Ждет приглашения.

— Ого! Следовательно, гордая?

— Гордая.

— Так приглашай. Буду ей рад. Далеко она?

— Здесь. У крыльца.

Я скомандовал:

— А ну, товарищи офицеры, полную приборочку!

Распоряжение, впрочем, оказалось излишним. Толстунов уже наверху портянки, натягивал сапоги. Бозжанов обрел всю свою подвижность: шинель вмиг оказалась на гвозде; смятая плащ-палатка, прикрывавшая тюфяк, расправилась будто сама собой; по чуть вьющимся черным волосам Бозжанова прошелся гребешок. Рахимов тем временем взялся за веник, гнал в угол кучку сора.

— Киреев, проси гостью. Не заставляй девушку ждать. Синченко!

Из сеней раздалось:

— Я.

— К нам гости. Ставь самовар.

— Уже шумит.

## 7

Вскоре, сопровождаемая названным отцом, через порог нашей штабной обители переступила Варя. Теперь она была одета по-военному. Вместо пальто — ушитая в талии шинель. Ботинки, равно как и кирзовые сапожищи, преподнесенные Варе в батальоне, уступили место легким сапогам-недомеркам, что пришлись, видимо, впору. На скрывавшей волосы солдатской ушанке была, как положено, прикреплена жестяная красноармейская звезда. Варя отдала мне честь.

— Товарищ комбат, — проговорила она, — по вашему приглашению прибыла. Военфельдшер Заовражина.

— Военнослужащие, товарищ фельдшер, — сказал я, — прибывают к командиру, как гласит устав, лишь в двух случаях: с новым назначением или из отпуска. Во всех остальных случаях являются. Ясно?

— Да.

— А теперь, Варя, можешь снять свои доспехи. Присаживайся. Будь нашей гостьей.

Варя вновь поднесла руку к шапке, козырнула. Довольная своей форменной одеждой, своим правом взять под козырек, ловкостью этого своего движения, еще ей не привычного, она вдруг улыбнулась. Блеснули крупные красивые зубы. Однако она тотчас сжала рот. Улыбка исчезла, как прихлопнутая.

— Варя, что же это? — сказал Толстунов. — Забоялась улыбнуться?

Она ответила:

— Боюсь вашего комбата. Он запретил. Если осмелюсь, положит меня на пень и разрубит шашкой на кусочки.

В ее темно-серых глазах, которые я видел то серьезными, то радостными, то с влагой навертывающихся слез, мелькнули искорки смеха. Заметив, что Бозжанов едва сдерживается, чтобы не фыркнуть, я резко повернулся к нему, но... Но нельзя же вечно быть строгим, надо уметь и пошутить и понять шутку. Рассмеявшись, я сказал:

— Поддела... Для гостии, Варя, запрещение отменяется. И про мои зверства больше, чур, не поминать.

Все же еще одну шпилечку я заполучил.

— Товарищ комбат, — с невинным видом произнес Киреев, — оставляю ее вам на сохранение.

Ишь, и он возвращает мне мои словечки. Что же, надобно стерпеть.

— Ладно. Можешь идти. Присмотрю за твоей дочкой.

## 8

Варя сняла ушанку и шинель, провела ладонью по волосам, разделенным надвое прямым пробором, оправила гимнастерку, явно великоватую, слишком свободную в плечах и в вороте, с укороченными на живую нитку рукавами. Зато широкая, военного образца юбка была ладно сшита, ладно пригнана. Вновь подойдя ко мне, Варя проговорила:

— Товарищ комбат...

Я перебил:

— Варя, для тебя я не комбат. Называй меня старшим лейтенантом.

Она помолчала. Серые глаза серьезно глядели на меня.

— А если попрошу? Можно называть вас комбатом?

— Что же, — согласился я. — Гостю отказать трудно.

— Обратное свое разрешение не возьмете?

— Обратное? Нет, Варя. Хлопнул дверью — не открывай! Подарил — не отнимай!

— Верно! — Варя вдруг опять вытянулась «смирно». — Если так, то разрешите мне, товарищ комбат, прибыть. Не явиться, а прибыть.

— Э, вот оно что... Нет! Бросим, Варя, эту тему. Садись... Синченко! Как самовар?

Девушка огорченно помолчала. Однако, как только Синченко втащил самовар, как только стал расставлять чайную посуду, принялась помогать. Замелькали, захлопотали ее широкие красноватые руки. В фаянсовом чайнике, служившем для заварки, Варя обнаружила грудку влажного спитого чая. Синченко хотел было взять у нее чайник.

— Дайте-ка выплесну.

— Что вы? — возмутилась Варя. — Это же лучшее средство против пыли.

Тотчас влажные чайники оказались раскиданными по полу. Бозжанов не без лукавства произнес:

— Товарищ Рахимов только что подмел.

Варя лишь покачала головой. Потом, глянув в окно, еще не замазанное на зиму, сказала:

— Товарищ комбат, разрешите войти еще кое-кому.

— Кому?

— Свежему воздуху.

Все рассмеялись. Окно было мигом распахнуто. Только в ту минуту, когда в комнате сразу посветлело, я увидел, как были замызганы, запылены стекла. На воле лежала ранняя русская зима, мело, сквозь раскрытые створки влетал снег и на лету таял.

Варя наводила чистоту с не меньшим рвением, чем однажды стирала на берегу ручья. Комната наконец прибрана, проветрена. Ни мусора, ни пыли, стекла протерты, посуда чиста. Можно уже сесть за стол, благо мы теперь богаты: на разостланной газете красуются консервы, брусок сливочного масла, колбаса, печенье и даже две плитки шоколада из нашего командирского пайка.

## 9

К чаю подоспел еще один гость — лейтенант Мухаметкул Исламкулов

Он не ввалился в комнату в шапке и в шинели, что стало привычным в нашем быту огрубевших вояк, а воспользовался сенями, чтобы раздеться, и вошел в гимнастерке, с непокрытой головой, с приветливой, сдержанной улыбкой — статный, красивый казах. Все в нем было приглядно: разворот слегка округлых сильных плеч, прямизна шеи, державшей большую, хороше поставленную голову. Над открытым выпуклым

лбом лежали очень черные — еще черней, чем у меня, — зачесанные назад волосы. Брови над широко прорезанными большими черными глазами стлались двумя правильными дугами. Скульные кости не выдавались, были скрыты под матовыми, сейчас с мороза разгоревшимися, в меру полными щеками.

Кажется, я как-то уже говорил, что казахи в старину подразделялись на три главных рода: род воинов, к которому принадлежу я; род судей, в большинстве толстяков, из которого вышел Божжанов; и, наконец, род дипломатов. От этого рода Исламкулов унаследовал свою статью.

Войдя, он поклонился. Нам уже довелось локоть к локтю воевать, мы вместе недели две назад гнали немцев у села Новлянского, нас побратали пули. Теперь, приехав в гости, Исламкулов мог бы кинуться ко мне с раскрытыми объятиями. Нет, он сдержанно, пристойно поклонился.

Я шагнул ему навстречу, радостно пожал красивую, тонкую руку. Затем подошел с ним к Варю.

— Ну-с, товарищ военфельдшер...

Девушка мигом поднялась, выпрямилась.

— Познакомься с лейтенантом Исламкуловым. Он командир роты из другого батальона. Человек с высшим образованием, представитель нашей казахской интеллигенции. Конечно, осуждает мои зверства, считает меня жестокосердным. Кстати, имей, Варя, в виду, и комбат у него не очень строг.

Варя ничего не ответила, лишь порозовела. Видимо, я опять ее обидел.

— Баурджан, — произнес Исламкулов, — я давно хотел тебе сказать, но на войне все было некогда... Давно хотел сказать: кай жере, аксакал!

Эти последние три слова, которыми он как бы подводил итог нашим давним спорам, были сказаны не без торжественности. По-русски они означают: «Ты прав, старейший!» Старейший... Но ведь я на пять-шесть лет моложе Исламкулова. Еще никогда он, казах-интеллигент, знаток наших древних народных обычаев, не величал меня аксакалом. Напротив, раньше, еще в Алма-Ате, мы были постоянными противниками в спорах. Приехав теперь в гости, он выразил свое признание величавым языком наших акынов. Я склонил в знак благодарности голову.

## 10

За столом потекла оживленная беседа. Посматривая на Исламкулова, рассказывавшего о себе, о своей роте, я вспоминал наши встречи, беседы, несогласия. В спорах Исламкулов любил рассуждать, находить доводы. Резкость речи, резкость жеста были не в его натуре. Даже давая нагоняй подчиненному, он взвешивал слова, старался быть убедительным.

В прошлом не однажды он откровенно осуждал меня. Как-то оба мы, командиры запаса, участвовали в воинском сборе близ Алма-Аты. После целого дня занятий в горах я вел батарею на ночлег. Устали лошади, устали люди. Неподалеку от лагеря я скомандовал: «Запевай!» Но утомление было так велико, что никто не запел. Я крикнул: «Направо кругом!» — и повернул батарею назад в горы. Еще два часа мы занимались. Уже затемно двинулись обратно. На том же месте, где батарея не исполнила команду, я опять гаркнул: «Запевай!» На этот раз запели.

Вечером ко мне в палатку пришел Исламкулов. «Так нельзя, Баурджан. Ты поступаешь слишком жестоко, слишком круто». — «Нет, можно! Каждый приказ должен быть исполнен. Надо, чтобы это вошло в кровь, стало второй натурой».

Исламкулов тогда не согласился. А теперь, побывав в боях, изведав стихию войны, вошел со словами: «Ты прав, аксакал!» Возможно, и мне следовало бы высказать Исламкулову свое ответное признание. Ведь и он был не менее прав. Однако эти думы, признаюсь, в тот вечер остались моей тайной.

Между тем подступили сумерки. Была зажжена керосиновая лампа. Синченко наглухо, согласно правилам светомаскировки, завесил окна. В кругу света, отбрасываемого лампой, стал как бы тесней и наш застольный круг. Мы выпили по стопке, по другой.

Отказавшись даже пригубить водку, Варя разливала чай, помалкивала. Я посмотрел на нее.

— Исламкулов, рассуди... Эта девушка просится ко мне в батальон. А я уверен, что женщине в строю не место. И если не ошибаюсь, в этом со мной согласны полководцы всех времен.

Исламкулов ответил:

— Ты забыл гражданскую войну. А потом — отечественная война изменяет многие понятия. Что раньше считалось невысказанным, то ныне становится возможным, порой даже необходимым.

## 11

Вновь открылась дверь. Вошел дежурный по батальону, лейтенант Тимошин. Он, едва вышедший из возраста юноши, всегда прямодушный, отличался вместе с тем скромностью, застенчивостью. Смушенно отведя взор от нашего застолья, он проговорил:

— Товарищ комбат, разрешите доложить. В одном доме недостаточно замаскирован свет. Я требую, а меня обзывают нахалом.

— Кто?

— Молодая женщина... И я ничего не могу сделать.

— Ничего не можешь? Няньку тебе надо?

Тимошин потупился.

— Возьми двух бойцов, — приказал я. — Приведи эту женщину сюда. И всех, кого застанешь в ее доме, тоже веди сюда. Понятно?

— Есть, товарищ комбат.

Мы продолжали чаепитие. Некстати прерванный разговор о том, место ли женщине в строю, заново не завязался. Беседа повернула к другим темам.

Четверть часа спустя Тимошин ввел в комнату красивую, с накрашенными алыми губами, женщину.

— Почему ты, красавица, не подчиняешься порядку? Да еще оскорбляешь командира!

Она попыталась возмутиться:

— Что значит — красавица? Что за выражение?

— Э, какая смелая... Тимошин! Застал у нее кого-нибудь?

Тимошин помялся.

— Да, товарищ комбат.

— Кого?

Юноша лейтенант явно испытывал неловкость. В нем, видимо, боролись добросовестность и деликатность. Так и не решившись назвать во всеуслышание чье-то имя, он смолчал.

— Привел? — продолжал спрашивать я.

— Да. Он, товарищ комбат, здесь. В сенях.

— Давай его сюда. Посмотрим, красавица, на твоего заступника.

И через минуту перед нами предстал — кто бы вы думали? — командир роты Ефим Ефимович Филимонов. Он вошел насупившись. Его обветренные бритые щеки всегда были красноватыми. Теперь покраснела и

шея. Однако в эту неприятную для него минуту Филимонов сумел сохранить вид образцового служаки. По всем правилам приставив ногу, он отдал мне честь и, как говорится, оторвал руку от шапки.

За столом прозвенел смех. Я покосился на засмеявшуюся Варю — предмет столь еще недавних ухаживаний Ефима Ефимовича. Варя тотчас пальцами зажала себе рот.

На скуле Филимонова выпукло обозначилась, заходила мышца. Вот, собственно говоря, он и наказан. Можно, пожалуй, сказать «Ступай!» и этим ограничиться. Нет, не могу ослабить воинскую требовательность.

Накрашенная женщина еще храбрилась, хорохорилась. Я сказал ей:

— Вы нарушили порядок в прифронтовой полосе. Вы не подчинились приказанию дежурного по гарнизону. Даю вам два часа на сборы. И чтобы через два часа вас в этой деревне не было!

Она опять стала возмущаться.

— Молчать! — прикрикнул я. — Филимонов!

— Я, товарищ комбат.

— Проводишь свою даму до деревни Голубцово и оставишь ее там. Об исполнении мне доложишь.

Филимонов еще более потемнел, но ответил:

— Есть!

— Угомони свою знакомую.

Он помедлил, покусал верхнюю губу. Ему, наверное, хотелось попросить о пересмотре приказа, но жилка дисциплины взяла верх. Он проговорил:

— Пошли.

Его тон был твердым. Женщина смирилась.

После их ухода в комнате стало тихо. Толстунов и Божанов устали на свои чашки, знали, видимо, грешки и за собой. Исламкулов, как и положено гостю, не вмешивался в наши домашние дела. Толстунов наконец поднял голову, усмехнулся, обратился к Варе:

— Заовражина, неужели ты все-таки хочешь служить под начальством этого свирепого комбата?

— Хочу, — просто ответила она.

— Нет, Варя, — сказал я. — В ряды батальона я женщину не допущу! И хватит об этом разговаривать.

Таким было мое решение. Коротко и ясно! Отрублено, как шашкой!

Пожалуй, и нам с вами, товарищ бумагомаратель, хватит болтать о бабах. Правда, на отдыхе это иногда позволительно... Но отдых батальона, перекур в великой битве уже был на исходе.

### Панфилов приехал пообедать

#### 1

Однажды вечером мне позвонил Панфилов.

— Здравствуйте, товарищ Момыш-Улы. Как себя чувствуете? Как живете?

— Благодарю вас, товарищ генерал. Живем нормально. По уставу.

— Что сейчас поделываете?

— Просматриваю, товарищ генерал, свою тетрадь. Кое-что поправляю. Заканчиваю, товарищ генерал, то, что вы мне поручили.

— Заканчиваете? Успели? Рад, очень рад, товарищ Момыш-Улы... Завтра приеду к вам обедать. Свое обещание не забыли?

— Какое, товарищ генерал?

— Приготовить плов. У вас, кажется, есть мастаки по этой части.

— Да, имеются.

— Кто же?

В душе подивившись неистощимому любопытству генерала, я ответил:

— Любит постряпать политрук Бозжанов. Неплохо готовит наши национальные блюда.

— Отведаем... Так ждите, товарищ Момыш-Улы, меня завтра к обеду.

Таков был этот вечерний разговор по телефону. Казалось, генерал позвонил доброму знакомому: «Как себя чувствуете, что поделываете, ждите к обеду». Ни единой начальственной нотки не прозвучало в его голосе, постоянно хрипловатом, как у всякого старого курильщика.

Ночью я вдруг проснулся. Мерно похрапывал Толстунов, почти неслышно дышал во сне Рахимов. За окнами стояла тишь. Ни одного звука войны не доносилось. В мыслях внезапно мелькнуло: «Успели?» Почему генерал произнес это словечко? Что хотел этим сказать?

## 2

На следующий день Панфилов приехал несколько раньше обеденного времени.

Работая у себя в горенке, я увидел из окна: к калитке подкатили сани. В ушанке, в длинном — по колено — полушубке на мерзлую землю, припорошенную снегом, легко выскочил Панфилов. Наскоро оправив гимнастерку, я встретил его на крыльце.

— Товарищ генерал! Первый батальон Талгарского полка, находясь в резерве командира дивизии, занимает...

— Пойдемте, пойдемте... Время не летнее. Простудитесь.

Войдя в сени, он распахнул дверь, ведущую туда, где у жарко топящейся русской печи вершились таинства кулинарии. Как раз в эту минуту повязанный белым, не первой свежести передником Бозжанов, предоставив старику повару Вахитову роль наблюдателя, вытащил ухватом из печи на загнетку большой, глухо бурлящий чугуун. На отдыхе Бозжанов успел пополнеть. Озаренное жаром печи круглое лицо лоснилось. Обернувшись, он на миг оторопел, затем швырнул ухват, сорвал передник, вытянулся перед генералом.

— Здравствуйте, товарищ Бозжанов,— произнес генерал.— Попробуем, как вы готовите. И вы, пожалуйста, пообедайте с нами.

Панфилов поглядел на облачка пара, вырывающиеся из-под крыши, втянул ноздрями воздух.

— Пахнет недурно... Много ли приготовили?

— Много, товарищ генерал. Хватит и останется,— весело ответил Бозжанов.— Но еще час нам потребуется.

— Хотя бы и два,— сказал Панфилов. Он достал карманные часы, взглянул, погладил большим пальцем выпуклое стеклышко.— Товарищ Момыш-Улы, воспользуемся этим времечком, чтобы потолковать с командирами рот. Не возражаете?

— Слушаюсь. Сейчас их вызову.

Я обернулся, чтобы кликнуть Рахимова, но он, неслышный, незаметный начальник штаба батальона, уже находился в комнате, стоял вблизи меня.

— Рахимов, звони в роты. Вызывай командиров.

— Нет, сделаем так,— сказал Панфилов.— Берите, товарищ Рахимов, мою кошечку. И везите командиров сюда.

Мягко ступая, Рахимов удалился.

— А пока мы с вами, товарищ Момыш-Улы, поработаем. Где ваш рабочий стол?

## 3

Я провел генерала в горенку. Он разделся, перекинул через плечо полевую сумку, ранее висевшей поверх полушубка, и, заметно сутулясь, подошел к столу. Там лежали разные мои бумаги — тетрадь с описанием боев, потрепанная, отслужившая карта, запечатлевшая походы и рубежи батальона, боевой устав. Панфилов с интересом оглядел мое бумажное хозяйство. Его смуглые, испещренные морщинками пальцы потянулись к красной книжечке устава; Панфилов ее взял, хотел, видимо, раскрыть, но передумал, вернул на место. Затем выложил коробку папирос «Казбек», угостил меня, нашарил в кармане полушубка зажигалку, несколько раз чиркнул. Искры не воспламенили фитилька. Я поспешил поднести спичку. Задымив, Панфилов досадливо повертел зажигалку, сунул ее в карман.

— Садитесь, товарищ Момыш-Улы. Садитесь со мной рядом.

Из полевой сумки он достал свою карту. Передо мной вновь возник фронт дивизии, цепочка нашей обороны под Волоколамском. Срез карты отсек часть улиц города, две недели назад захваченного немцами. Деревушки, станционные поселки, путевые будки, отдельные, помеченные коричневой расцветкой высотки, зеленые острова леса, петляющие сельские дороги, лишь кое-где крытые щебенкой, болотца, овраги, речушки, мосты и, наконец, пересекающая лист, напрямик ведущая в сторону Москвы полоска Волоколамского шоссе — здесь предстояли новые жестокие бои. Красная щетинка нашей обороны была не везде сомкнута, там и сям по бездорожью зияли просветы. Я знал, что эти просветы пристреляны, видел на карте красные ромбики пушек, огневые позиции артиллерии, знал, что битва за Москву будет, как и прежде, битвой за дороги, и все же при взгляде на карту генерала мне, как и десяток дней назад, когда он впервые ознакомил меня с новым оборонительным построением дивизии, опять стало не по себе. За передним краем, в глубине, кроме позиций артиллерии да охраны штаба дивизии, были обозначены лишь окопы — блиндажи моего батальона за околлицей Рождествена.

Присмотревшись, я увидел, что от этой деревушки, где сейчас я сидел рядом с Панфиловым, вели в разных направлениях к фронту несколько пунктирных линий, нанесенных простым черным карандашом.

— Тут, товарищ Момыш-Улы, показана ваша задача.

Панфилов провел пальцем вдоль каждой из этих расходящихся веером линий.

— Ваш батальон у меня единственный резерв. Где ударит противник, мы не знаем. Надо быть готовым закрыть любую дыру. Вот вам пять направлений. Пять участков. Помогите их на своей карте.

Я развернул еще не служивший в бою свежий лист карты. Взяв мой карандаш, Панфилов сам очертил конечные пункты всех пяти маршрутов. При этом он разбирал, как может обернуться дело, если противник ударит вот так или вот эдак. Исчезла его обычная шутливость, он говорил очень серьезно.

— Вам надо изучить все эти маршруты. Продумайте, проработайте эту задачу. Вы меня поняли?

— Да, товарищ генерал.

— Что-нибудь вас смущает? Думайте, думайте за противника.



Войдя в роль немецкого военачальника, я не затруднился применить элементарную военную хитрость. Скрытно сосредоточив главные силы, я нанес вспомогательный и где-то неподалеку еще и так называемый демонстративный удар, отвлек в этом направлении резерв Панфилова и лишь затем неожиданно рванулся вперед главной группировкой, рванулся к Волоколамскому шоссе, на его убегающую к Москве ленту, уже никем не загражденную.

Панфилов кивал, слушая меня. Очевидно, он уже не раз перебрал в уме эти возможности.

— Так, так,— произнес он.— Неожиданно? Скрытно? Э, товарищ... Виноват... господин командующий. Отдайте же приказ сосредоточиваться в лесах, куда не проникнет посторонний взгляд. Вы готовы на это? Зимняя одежда у вас есть? Готовы лишиться свои войска, которым была обещана молниеносная война, летняя военная прогулка, лишиться их всяких удобств, печей, теплых домов в стужу? Решаетесь на это?

В качестве немецкого командующего я был вынужден признать:

— Нет, не решаюсь.

— Ничего,— иронически утешил Панфилов,— придет время, когда вы, господин противник, к этому будете готовы... Войну, товарищ Момыш-Улы, надо брать в ее реальности. Врага видеть таким, каков он есть. Против нас сосредоточена развращенная, разбойничья армия. Привыкшая воевать с удобствами. С ограблениями. С посылками домой... Конечно, они еще узнают иную войну. Но пока... Командуйте, командуйте. Обманывайте меня.

Я опять действовал за противника, Панфилов разбирал мои ходы.

Вот он посмотрел в окно, к чему-то прислушался. Где-то далеко изредка рывкали орудия.

— Слышите? Немец пристреливает свою артиллерию... Внезапная ночная переброска? А новая пристрелка? Она выдаст, если мы сумеем внимательно слушать.

С фронта опять донеслись голоса пушек.

— Если сумеем внимательно слушать,— повторил Панфилов.

Вот он живо повернулся ко мне, заглянул в глаза.

— Признавайтесь, ведь у вас вертится на языке вопрос: а Волоколамск?

Он угадал. Я подтвердил, что действительно вспоминаю потерю Волоколамска. Там резерв Панфилова, мой батальон, был отвлечен в сторону от пути главного удара немцев.

— Почему же, товарищ Момыш-Улы, это случилось? Почему вашего генерала провели?

Он с интересом ждал моего ответа.

— Был прорван фронт, товарищ генерал.

— Да, линия фронта. Мы с вами уже об этом толковали. Гипноз линии, прежней линейной тактики. С этим всерьез надо разделаться. Не только мне, но и вам, и вам, товарищ Момыш-Улы. Вы меня поняли?

Он снова взглянул на карту. Его рука потянулась к стриженным по-солдатски, изрядно тронутым сединой волосам, он почесал в затылке.

— Конечно, всякое может случиться. Один ваш батальон, товарищ Момыш-Улы, заменяет мне пять батальонов. В уставе этого мы не найдем.

Он посмотрел на красную книжечку устава, вновь ее взял, перелистал.

— Не найдем, товарищ Момыш-Улы. Война в ее реальности не записана в уставе. Хотя... Э, хорошо сказано!

Карандашом, тремя чертами на полях, Панфилов отметил несколько строк. И прочитал вслух:

— «Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении уничтожить врага не достиг цели, а тот, кто, боясь ответственности, остался в бездействии и не использовал в нужный момент всех сил и средств для достижения победы».

Подумав, он продолжал:

— Придет время, когда немцы будут перенимать наш опыт отступательных боев, приемы, которые мы вырабатывали. Но вот этому...— Панфилов еще раз провел на полях карандашом.— Этому гитлеровская машина не научится. Педантичное исполнение — это ее запоев. Лучше остаться в неиспользовании, чем проявить инициативу. А мы...

С воли донесся конский топот. По-видимому, кошевка генерала вернулась. Панфилов, взглянув в окно, закончил фразу:

— ...мы выросли в традициях инициативы. Для нас инициатива — это...— Он повертел пальцами, подыскивая слово.— Это... Ну вы меня понимаете!

## 4

В горенку вошел Рахимов, доложил, что командиры рот явились.

— Хорошо. Зовите их сюда.— Панфилов встал, поглядел по сторонам.— А стульев, товарищ Рахимов, всем хватит?

Неторопливо сложив свою карту, генерал спрятал ее в полевую сумку. На столе остался принадлежавший мне лист, кое-где уже тронутый пометками Панфилова.

Через порог один за другим шагнули три лейтенанта. Они вытянулись перед генералом. Прозвучала бойкая скороговорка Брудного:

— Товарищ генерал, по вашему приказанию явился. Командир роты лейтенант Брудный.

Он, маленький, черненький Брудный, чувствовал себя, видимо, свободнее остальных. Внятным, хотя и простуженным басом назвал себя Заев. Его угловатое, с прорезами щек, лицо было чисто выбрито, рыжеватые волосы наголо острижены. Подворотничок, которым прежде Заев пренебрегал, теперь белой, свежей полоской окаймлял жилистую, с острым большим кадыком, шею. Доложившись, он сжал рот. Глаза, затененные сильно развитыми бровными дугами, неотрывно смотрели на генерала. Очередь была за Филимоновым. Развернув плечи, выставив грудь, он, кадровик, отчеканил уставные слова. На его крепкой шее вздулась, напряглась жила.

Рахимов тем временем внес, поставил недостающие стулья.

— Всех вас, товарищи, я знаю,— произнес генерал.— А вы знаете меня. Садитесь, давайте закурим.

Он раскрыл коробку «Казбека». Я быстро зажег спичку, поднес генералу. Все закурили. Однако напряженность, как я чувствовал, не рассеивалась. Из кармана кителя Панфилов вынул зажигалку.

— Вот получил подарок из Алма-Аты. Но что-то капризничает... Забросить неудобно. Посмотрите-ка, товарищ Заев. Ведь, кажется, вы оружейник.

Заев взял сияющую никелировкой вещицу, крутнул стальное колесо, ко закруткой подушечкой большого пальца — брызнули белые искры, но огонек не затеплился. Заев еще раз высек пучок искр, и снова впустил.

— Собственно, я всегда на пару с политруком Бозжановым,— пробурчал он.

Панфилов мигом откликнулся:

— Да, где же Бозжанов? Ведь вы, товарищ Момыш-Улы, взяли его в штаб?

— Помогает мне,— ответил я.

— Но ведь не только же на кухне.

Шутка генерала вызвала улыбки. Я гаркнул:

— Бозжанов! К генералу!

Панфилов посмотрел на меня.

— Ну зачем же так грозно? Должно быть, он там, бедняга, испугался. Этой новой шуткой он еще поразвеял дух стесненности.

Вбежал Бозжанов, остановился, вытянул руки по швам. Я смотрел на его вскинутую голову, на черные, с курчавинкой, волосы, на плотную фигуру. И вновь, как однажды на марше, мне подумалось: «Стрела!»

— Товарищ Бозжанов,— сказал генерал,— тут, кажется, требуется и ваше активное участие.

Он кивнул на Заева, державшего зажигалку в костлявом большом кулаке.

— Как, товарищ Заев, не получается?

— Дай-ка, Семен,— сказал Бозжанов.

— Погоди.

Еще некоторое время Заев продолжал держать зажигалку в кулаке. Затем легким, без усилия, движением пальца снова высек искру. И фитилек вдруг запылал.

— Дело простое, товарищ генерал. Бензин малость тяжелый. Недостаточной очистки. Летучесть недостаточная. Надо согреть в руке.

Глаза Заева уже не были скрыты тенями бровных выступов. Неясная, неполная улыбка удовлетворения прикрасила его нескладные черты.

— Только и всего? — воскликнул Панфилов.

Теперь он сам добыл огня. Задул и вновь зажег.

— Послужит, послужит,— довольно проговорил он.— Спасибо, сынок.— И повертел зажигалку.— Значит, подержать в руке, согреть?.. Любопытно, очень любопытно...

## 5

Панфилов стал расспрашивать, как одеты-обуты бойцы, обеспечены ли баней, довольны ли пищей. Командиры свободно отвечали.

— Теперь, товарищи,— сказал Панфилов,— придвигайтесь к карте. Потолкуем о том, что нам предстоит... Видите, это фронт дивизии...

Несколькими штрихами черного карандаша он схематически обозначил расположение полков. И стал излагать свои мысли, которые только что выложил мне.

— Противник готовится к рывку. Где-то будет нанесен главный удар с целью выйти на шоссе.— Тупым концом карандаша Панфилов провел по убегающей к Москве прямой полоске.— Второго эшелона обороны у меня нет. Вы, товарищи, мой второй эшелон. Какова будет ваша задача? Встать на пути немцев и удерживаться, пока отходящие части не займут новый рубеж.

Он опять обратился к карте, по ней опять заходила его указка карандаш.

— Вот дороги, которые ведут к шоссе. Я вас выброшу, как только обозначится прорыв. Где же он случится? В одном из этих пяти направлений. Поэтому для вас я тут наметил пять маршрутов.

Он повторял то, что я уже слышал, но повторял с новыми подробностями, проясняя, дополнительно освещая задачу. Все это у него было

выношено, думано-передумано, он хотел сам, так сказать из первых рук, передать командирам свое детище, идею боя.

— Вы меня поняли? — привычно спросил он.

Оглядел присутствующих, увидел, что слушают, вникают.

— Итак, товарищи, проработаем первый маршрут.

Первый маршрут вел на правый фланг дивизии, к селу Авдотьино.

— Товарищ Филимонов, вы командуете батальоном.

Филимонов встал.

— Вам указан фронт: село Авдотьино, мост, высота. Выступайте, располагайте роты.

— Есть! — отчеканил Филимонов.

На его лбу под аккуратным зачесом русых волос проступили две-три крупные морщины. Он грамотно снарядил головную походную заставу, выстроил батальонную колонну, привел роты в район обороны. И затруднился, запнулся.

— Располагайте, располагайте.

— Круговую оборону? — неуверенно спросил Филимонов.

— Да, прикрыться надобно со всех сторон. Мне поддержать вас нечем.

Филимонов очертил оборонительный обвод вокруг всего указанного генералом района. Панфилов поправил, объяснил, что надо держаться не ниточкой окопов, а опорными пунктами, узлами сопротивления. Эти узлы не позволят противнику выйти на шоссе.

— Товарищ Брудный, располагайте теперь вы.

Брудный на лету схватил мысль генерала. Он разместил роты в ключевых пунктах, использовал и условия местности. Роты оторвались одна от другой на полтора-два километра.

Панфилов одобрил, еще раз втолковал, что разрывы между ротами не страшны, сквозь них без дорог не пробьются, не пройдут немецкие автоколонны.

— Перенести направление главного удара противник уже не сможет. На вас он натолкнется, как на вторую полосу обороны. Поворачивать назад, идти в обход — это трудновато. Он будет таранить... Товарищ Заев, где вы расположите командный пункт батальона?

Подумав, Заев ответил:

— В селе.

— Почему в селе? Почему не на высоте? Там же безопаснее. А село, наверно, явится главной целью для атак противника.

— Вот туда и штаб.

— Правильно. Правильно, сынок.

Второй раз на долю Заева пришлось это будто сказанное невзначай ласковое «сынок». Панфилов и сам, как мы знавали, всегда выбирал место для штаба близко к фронту, к решающему пункту боя, укрепляя этим стойкость своих войск.

— А управление батальоном? Как, товарищ Заев, вы будете управлять другими ротами?

— По телефону.

— Но телефонную связь разобьют.

— Тогда посыльными.

— Но в промежутки вклинится противник. Тут везде, — Панфилов показал на карте пальцем, — будут шнырять немцы. Ну-с, как же управлять?

Заев молчал.

— Кто хочет ответить?

Никто не подал голоса. Генерал взглянул на меня, но я тоже затруднился. Радиосредств в батальоне не было. В самом деле, как же управлять?

## 6

Генерал вновь всех оглядел. Рахимов что-то быстро набрасывал на листке плотной бумаги.

— Товарищ Рахимов, что вы рисуете? Сидите, пожалуйста, сидите.

— Схему, товарищ генерал. Эти пять маршрутов.

— Покажите-ка.

— Пока, товарищ генерал, только наметка.

Панфилов взял листок, повертел, одобрительно хмыкнул.

— Скоро вы работаете. Ей-ей, как по щучьему велению.— Он опять полюбовался наброском.— А почему, товарищ Рахимов, пять направлений?

Панфилову не терпелось еще и еще раз проверить, понята ли, усвоена ли его мысль. Рахимов ответил:

— Противник где-то прорвется, выйдет на какую-нибудь из этих дорог, надо закрыть ему путь.

— Верно.

Панфилов был доволен. Гусиные лапки заметнее обозначились у краешков прищуренных глаз.

— Так как же, товарищи, управлять ротами, если нет никакой связи? — Он помедлил.— А ведь управление все-таки будет. И знаете какое? Ясное и точное понимание задачи. Если тебе ясна задача...

Он опять приостановился, словно ожидая, что кто-нибудь из командиров подхватит, продолжит его фразу.

— Ясен долг! — твердо выговорил Филимонов.

Сколько я мог заметить, Панфилов обычно обходился без так называемых высоких слов. Однако сейчас он сказал:

— Что же, пожалуй, тут это слово подойдет... Когда тебе ясно, что ты должен делать, то именно в этом и заключено управление. Если всем ясна задача, то можно драться разрозненными группами, без телефона, без посыльных — и все-таки бой будет управляем... Вы поняли меня, товарищи?

Продолжая занятие, Панфилов предлагал новые вопросы: как использовать пулемет? где расставить пушки? — опять и опять возвращаясь к задаче: запереть дорогу, не давать противнику, его мотоколоннам, выйти на шоссе. Меня он спросил:

— Команду истребителей танков вы создали?

— Нет, товарищ генерал.

— Гм... Создать бы следовало. Кто мог бы взять это на себя?

— Я! — вырвалось у Заева.

— Я! — звонко воскликнул Брудный.

— Я! — с привлекательной смелой улыбкой произнес Божжанов.

— Я! — веско, неторопливо сказал Филимонов.

Все четверо — каждый по-своему — выговорили это «я!». Каждый по-своему — и на всякого можно понадеяться. На миг я ими залюбовался.

— Нет, вас, товарищи, я не отпущу,— сказал Панфилов.— Командовать ротой — тоже не простое дело. И не менее трудное, чем бросить в танк гранату. Да и вы, товарищ Божжанов, нужны командиру батальона. Я еще это обдумаю. И может быть, чем-нибудь смогу помочь. А вы, товарищи, учите, тренируйте людей на борьбу с танками.

Он опять угостил всех папиросами, вынул зажигалку, с минуту по-

держал в сжатой ладони. Движение пальца — фитилек воспламенился. Улыбаясь, Панфилов поднес всем огонька.

— Почему так? — вдруг спросил он. — Говорим о тяжелых вещах... — Панфилов посмотрел на карту, где были нанесены карандашом три замкнутых обвода, наша возможная завтра-послезавтра круговая оборона. — Говорим о тяжелых вещах, а на душе тяжести нет. Почему?

Никто не решился что-либо сказать, перебить нашего сутуловатого, не бравого с виду генерала.

— Потому что верю вам, товарищи. Каждому из вас. А вы верите мне. Когда это есть, то и помирать не так уж трудно... Но и пожить, конечно, можно!

Он встал, приосанился, тронул квадратики усов. Поднялись и командиры. Панфилов отпустил их, попрощался, пожал каждому руку.

Я вышел с ними в сени.

— Глашатай! — нахлобучивая шапку, сказал Заев.

Определение, которое он дал Панфилову, показалось мне совсем не подходящим. Я покачал головой. Это не смутило Заева.

— Глашатай! — повторил он.

## 7

Санки генерала увезли командиров рот.

— Товарищ генерал, пожалуйста обедать.

— С удовольствием. Давненько не угощался настоящим казахским пловом.

Мы еще не успели сесть за стол, как в комнату, где громоздилась жарко нагретая русская печь, с мороза вошел Толстунов. Снежинки, застрявшие на шинельном ворсе, на бобриковой шапке, мгновенно обернулись капельками влаги. Старший политрук откозырял генералу.

— Раздевайтесь, товарищ Толстунов, — сказал Панфилов. И тотчас поинтересовался: — Где были? Что делали?

— Собрал колхозников, товарищ генерал. Беседовал с ними.

— Расскажите, расскажите... О чем шла речь?

Толстунов начал рассказывать о беседе с колхозниками.

Бозжанов не выдержал, взмолился:

— Товарищ генерал, плов перестоялся.

— А, голос автора... Так раздевайтесь, товарищ Толстунов. Где тут ваше место? Занимайте.

Наконец мы расселись. Вооружившись баклажкой, Бозжанов разлил по полстакана (в ту пору мы уже начали получать так называемую наркомовскую норму, по сто граммов водки в день). Повар Вахитов — казалось, каждая его морщинка улыбалась — подал блюдо пахучего, приправленного морковью, желтоватого, напитанного горячим жиром риса, смешанного с мелко изрубленной бараниной. На столе были расставлены приборы — тарелки, вилки, ложки. Толстунов взялся за ложку.

— Товарищ генерал, разрешите, я вам положу.

Панфилов сел к столу. Чмокнув заблестевшими губами, он воскликнул:

— Вкусно... Черт возьми, как вкусно!

После плова был подан самовар. Все закурили. Панфилов стал перелистывать мои записи.

— Тяжеленько приходилось, — произнес он. — Даже про самого последнего вашего бойца, товарищ Момыш-Улы, про какого-нибудь солдата-замухрышку, надобно сказать: герой! Не так ли?

По своей манере, словно рассуждая сам с собой, он продолжал:

— Да, не страшно помирать, когда выросло такое поколение... А впрочем, еще поживем, повоюем, погоним немца от Москвы. Тогда, товарищи, не забудьте еще раз пригласить на плов.

Выпив стакан чаю, Панфилов заторопился, выбрался из-за стола. Однако, перед тем как уехать, он опять вернулся к делу:

— Завтра с утра, товарищ Момыш-Улы, начинайте изучение маршрутов. Пусть командиры рот пройдут по маршрутам. Промерят шагами. Может быть, даже и со взводами.

Он подумал.

— Нет, с утра не ходите. Проверьте сначала сбор на месте. Сбор по тревоге. Просмотрите у бойцов боеприпасы, подгонку снаряжения. Глядишь, у кого лямка оторвана, у кого сапог худой. Пора этим заняться. Надо, чтобы до вашего возвращения люди привели себя в порядок. Лямки пришить, сапоги залатать, патроны пополнить. А потом снова проверка, сбор по тревоге...

Его наставления были, как всегда, практичными. Он входил во всякие мелочи нашего воинского житья-бытья. Услышав мое «есть!», он надел полушубок, попросался.

Мы проводили генерала. Бозжанов еще долго поглядывал в окно вслед унесшейся кошевке.

### Секрет чистого бритья

#### 1

В течение двух-трех дней мы отработали задачу. По всем пяти направлениям прошли взводы, промерили маршруты солдатскими шагами. Был составлен документ, в котором мы указали расстояния, расчет времени на сбор, на движение, на развертывание.

Тихим студеным утром, лишь занялся поздний ноябрьский рассвет, я верхом на Лысанке повез эту бумагу в штаб дивизии. Присыпанная снегом обочина проселка была звонкой, отчетливо цокали подковы, порой с хрустом проламывая тонкий белесый ледок на просушенных морозом лужицах.

Вот и деревня Шишкино, где обосновался штаб Панфилова. Там мне передали распоряжение генерала: принести документ лично ему. Я пошел в избу, где жил Панфилов.

Пожилой солдат-парикмахер, честь честью обряженный в белый халат, брил командира дивизии.

— Входите, сейчас освобожусь. Присаживайтесь, — сказал Панфилов. — Товарищ Зайчиков, поспешайте.

— Еще машиночкой пройдуся по шее... Подмоложу сзади.

— Нет, нет. До следующего раза.

Парикмахер неодобрительно крякнул. Изрытая крупными морщинами, исчерна-загорелая шея Панфилова действительно уже поросла седоватым пушком. Казалось бы, еще совсем недавно, в первые дни затишья, я видел ее начисто остриженной. Да, ведь уже больше двух недель длится передышка.

С едва слышным шелестом бритва снимала белоснежную пену со щек генерала. Обнажились глубокие складки вокруг рта. Постепенно от пены очищался подбородок твердого рисунка, упрямый, крутой. Еще движение бритвы — и стала видна мягкая выемочка в середине подбородка.

— Когда же, товарищ генерал, по-серьезному займемся? — спросил парикмахер.

— Вот заработаем гвардейскую, тогда подмоложусь. Предамся в ваши руки. Обещаю.

Панфилов шутил. Однако и в шутке, как известно, приоткрывается душа. Недавно несколько особо отличившихся дивизий Красной Армии получили звание гвардейских.

— Но и вы мне обещайте,— продолжал Панфилов,— в такой день, если он придет, не оставлять меня небритым. Пусть хоть земля ходуном ходит, а вы...

Генерал лукаво прищурился. Мне вспомнился чей-то рассказ о том, как немецкие танки, ворвавшиеся в Волоколамск, приблизились к штабу дивизии. «Обстановочка, товарищ Момыш-Улы, была таё... Следовало успокоить мою штабную публику. Решил побриться, вызвал парикмахера. А на улице грохот, пальба... Парикмахер бросил бритву, кисточку, сбежал... Но ничего, еще часика три там продержались».

— А вы, товарищ Зайчнков, должны оправдать свою фамилию.

Парикмахер обиженно опустил бритву.

— Товарищ генерал, опять вы... Уже добрались и до фамилии...

— Нет, вы меня не поняли. Я сказал: оправдать свою фамилию. Репутация у зайца неважная, но на самом-то деле...

Панфилов выпростал руку из-под подвязанной вокруг ворота салфетки, его сухощавые пальцы сложились щепоткой, как бы что-то ухватив.

— На самом-то деле у зайчишки мужественное сердце. Доводилось вам слышать, товарищ Момыш-Улы, что заяц-степняк выдерживает взгляд орла?

— Да, я человек степной. Слышал.

— Видите, не выдумал... Мне говорили так: нацелившись, птица падает с высоты на зайца. А тот глядит на хищника и задает стрекача только тогда, когда орлу-зайчатнику уже поздно менять направление. Вот он каковский, sereneкий заяц! Чего же обижаться?

Бритье закончено. Свежо блестят sprыснутые одеколоном смуглые щеки генерала.

Парикмахер складывает свое походное хозяйство. Панфилов смотрит в зеркало, касается пальцами выбритой кожи.

— Чистенько. Отлично.— И обращается ко мне.— Вам известен, товарищ Момыш-Улы, секрет чистого бритья? Думаете, лишь острое жало? А ну, спрося у мастера.

Парикмахер прокашлялся:

— Намылка много значит.

— Не угодно ли: намылка. Этому меня еще в первую войну учили старые солдаты: намыливай и намыливай. И еще намыливай.

— А в Литве,— сказал парикмахер,— работают, товарищ генерал, так: мастер намылит, а потом еще втирает пальцами.

— Втирает? — Панфилов рассмеялся.— Вы слышите, товарищ Момыш-Улы? А?

Он вновь погладил подбородок, застегнул воротник кителя, встал. Я тоже поднялся.

— Одним словом, победа куется...— Генерал прищурился.— До бритья. До первого касания бритвы. Вы меня понимаете?

Разумеется, я понимал: о чем бы он ни заговорил, его мысль возвращалась к предстоящему сражению. Неотступное размышление, вынашивание идеи боя — иных слов не подберешь, чтобы выразить состояние Панфилова.

Он повернулся к парикмахеру.

— Так, значит, обещаете? Ну, по рукам. Спасибо. Идите.



Мы остались вдвоем. Панфилов оглядел меня.

— Вы, кажется, в обновочке?

Действительно, я приехал в новой стеганке, слегка суженной в манжетах и ушитой в талии. Перехваченная поясным ремнем, она, эта телогрейка, конечно, отличалась от обычного грубого ватника.

— Замечаете,— продолжал Панфилов,— что в последнее время командиры у нас стали франтоваты? Добрый знак! Ну-с, привезли грамотку?

Я подал генералу документ. Панфилов развернул бумагу, долго всматривался.

На столе лежала раскрытая коробка папирос. Рука генерала потянулась туда, он взял папиросу, стал разминать в пальцах, спохватился, протянул коробку мне.

— Закуривайте, товарищ Момыш-Улы.

На свет из кармана его кителя появилась поблескивающая никелировкой зажигалка.

— Уж и бензин первостатейный,— сказал он,— а иной раз все-таки капризничает. Штучка с секретом.

На минуту зажигалка спряталась в его сжатой ладони. Панфилов продолжал читать схему. Потом высек огня. Мы задымили.

— Рекогносцировку на конечных пунктах делали?

— Да, товарищ генерал.

— Кто делал?

— Командиры головных рот. А на четвертом и на пятом направлениях побывал и я.

Генерал задал еще несколько вопросов, потом ласково похлопал меня по плечу. Видимо, документ его удовлетворил. Впрочем, следует сказать сильнее: доставил удовольствие. Ведь если подчиненный понял, схватил твою мысль, сделал именно то, чего ты ждал, чего хотел,— это большая радость.

— Разрешите передать документ в штаб? — произнес я.

— Нет, поступим иначе.— Взяв трубку полевого телефона, Панфилов вызвал оперативный отдел штаба дивизии, к кому-то обратился: — Зайдите ко мне. Хочу вам показать, как обрабатывают документы в батальоне.

Такова была похвала генерала. Потом он спросил:

— Команда истребителей танков у вас выделена?

Уже не первый раз, как вы, наверное, помните, он задавал этот вопрос.

— Да. Взвод.

— Взвод? Целиком? Вы, следовательно, людей не отбирали?

— Во взводе, товарищ генерал, люди сжились. Друг другу верят.

— Вы, возможно, правы... Кто командир?

— Лейтенант Шакоев.

— Дагестанец? Мотоциклист? Сорвиголова?

Я ответил кратким «да». Будучи до войны преподавателем института физической культуры в Алма-Ате, Шакоев действительно приобрел там некоторую известность как участник конских ристалищ и мотоциклетных гонок.

— Пожалуй, подойдет,— сказал генерал.— Военный человек должен быть немного озорным. Да, подойдет. Пришлю ему в помощь на денек одного командира, который сколотил крепкий отрядик истребителей.— Панфилов подумал.— Да, только на денек. Ждите, товарищ Момыш-Улы, моего посланца.

— Есть.

— Теперь вот еще что,— продолжал генерал.— Завтра к вам придет пополнение. Небольшое. Полсотни бойцов. Народ зеленый, молодой.— Панфилов почесал за ухом.— Боюсь, вы уже не успеете с ними поработать. Но встретьте их достойно. Продумайте это. Пусть сразу ощутят традиции батальона. Традиции-то у нас с вами уже есть. А, товарищ Момыш-Улы? Вы меня поняли?

Как видите, разговор был недолог.

— Понял, товарищ генерал. Разрешите идти?

— Да, да. Езжайте, езжайте. И у меня и у вас работенки еще много.

## 3

Пополнение прибыло на следующий день. Об этом доложил мне Рахимов. Я приказал выстроить батальон в укрытом месте за стеной уже по-зимнему оголенного леса и вести туда прибывших.

Верхом на своей гнедой лошадке, насторожившей уши, будто чувствующей значительность минуты, я выехал к строю батальона.

За ночь мороз отпустил; снег потемнел, кое-где вовсе сошел, обнажив сырую землю; с голых сучьев березы и ольшаника, а также с листов дуба, бурых, покоробленных, но не сшибленных выюгами, морозами, падала капель.

Роты стояли, прижимаясь к опушке. Рахимов скомандовал: «Смирно!», подбежал с рапортом. Я смотрел на шеренги, на лица, на поблескивающие грани штыков. К горлу опять, как и в былые времена, подступил комок волнения. Мой батальон! Ряды бойцов, о которых комбат в донесениях — и в собственной душе — говорит: «я». Резерв Панфилова, резерв, который, лишь только поступит приказ, двинется туда, где загрохочет молот главного удара немцев. Вот он, поредевший, не раз повидавший кровь и смерть, хоронивший павших батальон — не значок на карте, не чертежик в оперативном документе, а ряды людей с винтовками у ног, с брезентовыми подсумками, где до поры скрыта грозная тяжесть огня, ружейные патроны, по сто двадцать на бойца. Поредевший... Нет, после боев, после потерь батальон словно сбит плотнее.

Сразу я увидел и пополнение, выстроенное в стороне,— сплошь юношеские лица, светлый тон шинелей, еще не породнившихся с окопной глиной. На краю этой полоски стоял человек постарше — приблизительно на лет сорока. На его рукаве была нашита незанесенная, не подтемненная войной суконная красная звезда — знак политработника. Отделившись от строя, он зашагал ко мне. На ходу поправил, сдвинул повыше явно великоватую для него бобриковую шапку, открыв глубокие залысины. Солдатская шинель, солдатский пояс из простроченного толстого брезента, кирзовые сапоги с короткими широкими голенищами — все было на нем грубым. А лицо не грубое. Казалось, оно отвыкло от румянца, щеки и теперь, на воздухе, оставались желтоватыми. Он шел, неумело печатая шаг, устремив на меня серые глаза. Остановился. Доложил, что прибыл в мое распоряжение в составе пополнения числом пятьдесят два человека. Назвал себя: политрук Кузьминич. Я выслушал его, взяв под козырек.

— Давно ли в армии?

— Второй месяц.

— Где раньше работали?

— В институте экономики. Научный сотрудник.

— Кто-нибудь из офицеров с вами еще прибыл?

Видимо, слово «офицеры», которое у нас тогда только-только прививалось, резнуло Кузьминича. Он переспросил:

— Из средних командиров и политруков?

— Да.

— Никого больше. Один я.

Втайне вздохнув, я опять поглядел на ряды батальона. Скупое, очень скупое возмещались наши потери. Вон на фланге первой роты стоит чернявый Брудный. Когда-то это место занимал ловкий, щеголеватый Панюков, потом белобрысый Дордия. Их нет уже с нами. Нет и Донских, Севрюкова, Кухтаренко... Еще свежи в памяти взвивы огня над горящими стогами, когда мы в красноватой полумгле отходили мимо наших разбитых орудий, мимо насыпанного нашими лопатами холмика братской могилы.

Неподалеку от Брудного виден высокий, красивый кавказец лейтенант Шакоев, который командует взводом истребителей танков. Различаю бойцов этого взвода — пятидесятилетнего, со свисающими пшеничными усами Березанского, силача Прохорова, коротышку Абиля Джильбаева. К поясам приторочены громоздкие, с длинными ручками противотанковые гранаты в чехлах. По несколько гранат имеют и другие роты.

Центр строя занимает выделенная интервалами вторая рота. В ней осталось лишь человек восемьдесят, почти столько же выбыло в боях. На фланге возвышается верзила Засв. Встречаю взгляд Ползунова. Его потертая шинель заправлена, солдатская кладь пригнана, как у старого служаки. Вдоль строя всюду блестит темная сталь затворов.

Нас мало. Невелико пополнение, которое сейчас, в эту тяжелую годину, прислано нам. И все же мы сила! Сила, имя которой — батальон!

— Товарищ политрук, ведите людей ко мне! — приказал я.

## 4

Выстроенные по двое, приблизились те, кому предстояло делить нашу судьбу.

Красноватые на ветру молодые лица под серыми ушанками были внимательными и несколько оторопелыми. Я понимал, что творится в душах этих солдат-новичков. Недолгая выучка в тылу — и вот фронт, передовая. Почему же тут тихо, спокойно? Где же враг? Когда же бой? И какая тайна кроется в этом коротком слове «бой»? Да, они изведывают страх и даже ужас, будут мужать под огнем. Но как же теперь, накануне боя, — быть может, самого жестокого из всех, которые знал батальон, — как теперь укрепить дух этих юношей? Что я смогу сделать в те дни, что остались нам до боя?

Обратившись к новоприбывшим, я громко сказал:

— Товарищи, сегодня вы станете бойцами батальона, которым я командую. Вы обязаны знать, в какую семью вас принимают. Мне, командиру, неудобно хвалить своих солдат, но сейчас скажу: и внуки и правнуки назовут нас храбрыми людьми. Посмотрите на них, моих воинов, с этого часа ваших братьев. Всего месяц назад они тоже были новичками на фронте.

Далее я кратко изложил боевой путь батальона:

— Они, эти бойцы, огнем отражали атаки, сами били, гнали немцев, врывались в занятые врагом села, шагали по вражеским трупам. Эти люди, которых вы видите, отходили под пулями, не теряя боевых порядков. Трижды они бывали окруженными и пробивались к своим, нанося врагу потери. Эти люди принимают вас в свое боевое братство.

Вновь оглядев роты, протянувшиеся вдоль опушки, я крикнул:

— Муратов, ко мне! Джильбаев, Курбатов, Березанский, ко мне!

Первым встал передо мной скороход Муратов. Легко подбежал и Курбатов, вскинул голову, красиво посаженную на крепкую, мускулистую шею, замер. Маленький Джильбаев поотстал. Немного запыхавшись, он встал в ряд, взял к ноге винтовку. Последним добежал, или, вернее сказать, дотопал неторопливый Березанский. Сначала прокашлявшись, он лишь затем расправил грудь.

— Смотрите на них. Это мои солдаты.

Я по-прежнему говорил громко; из леска откликалось приглушенное эхо.

— Вот татарин Муратов, связной командира роты. Поглядите на него: обыкновенный человек, такой же, как и вы. Он был ранен в руку, мог уйти лечиться, но остался с нами. Разве это не герой? Вот рядом с ним Курбатов. Он представлен к званию младшего лейтенанта. Красивый парень! Залюбуешься. Но он станет командиром не из-за того, что красив, а потому, что хранит воинскую честь. Вот Березанский. Сколько ему влетало от меня за неповоротливость! А в бою, когда пуля скосила командира взвода, я приказал ему быть командиром — и взвод удержал позиции, отбил немцев. Разве это не герой? И все, — я опять показал рукой на ряды батальона, — все до единого такие. Вы, товарищи, тоже станете такими.

Возвзвись на меня узкими глазами, Абиль Джильбаев с любопытством ожидал, что же я скажу про него. Он не знал за собой ни одного подвига.

— Вот Джильбаев, — продолжал я. — Он малорослый, слабосильный, много раз я его ругал, однажды чуть не расстрелял, но и он прошел с нами путь героев.

Джильбаев по-детски улыбнулся.

— Почему они стали такими? Потому что понимают, что такое долг, что такое совесть и честь воина. Долг перед Родиной — это...

На мгновение я приостановился, заглянул в свое сердце. Да, имею право сказать от всего сердца:

— Долг — это самая высокая святость солдата.

Далее моя речь продолжалась так:

— Какие требования я буду предъявлять вам? Буду требовать строжайшей дисциплины. Нячиться с вами я не намереваюсь. Поблажек от меня не ждите. Ни одного нарушения воинских обязанностей не оставлю ненаказанным. Вы обязаны любить, беречь свое оружие. Как бы ни была сильна ненависть к врагу, без оружия ничего не сделаешь. Моя речь не стерла растерянности, оторопи с молодых лиц.

— Вам помогут они, — я опять показал на ряды батальона, — испытанные воины. Как, товарищи, поможете?

Роты дружно откликнулись:

— Поможем!

Этот гулкий единый ответ будто прибавил мне силенок. Я не сдержал улыбки облегчения. Некоторые из новоприбывших тоже наконец улыбнулись, большинство нерешительно, лишь иные смело. Теперь они уже не казались на одно лицо.

— Подсобим, товарищ комбат, — внятно произнес Березанский.

Молодцеватый Курбатов молча кивнул в подтверждение. Вот как... Не только я ощущаю переживания солдата, но и солдат понимает мою душу. Спасибо, друзья!

Дав команду «вольно», я вместе с Рахимовым и политруком Кузьминым распределил людей по ротам. Они встали в ряды батальона, слились с нашим строем. Хотя не совсем слились, более светлый тон малоношенных шинелей все же выделялся в слегка раздвинувшихся, вновь подравнявшихся шеренгах.

Вечером, когда мы уже собрались ужинать, в нашу штабную избу пришел одетый в потертую грязноватую стеганку малорослый лейтенант. Заморгал от яркого света, он вытер ладонью вздернутый нос. Затем доложил:

— Прибыл поработать по приказанию генерала. Лейтенант Угрюмов.

Я смотрел в недоумении. Поработать? По приказанию генерала? Что имеет в виду этот пленец? Белобрысый, в крупных веснушках, каким-то чудом сохранившихся с весны, он в своей телогрейке казался пареньком семнадцати-восемнадцати лет. Над большим ртом пробивалась скудная растительность. Верхняя губа была несколько вывернутой; когда он разговаривал, виднелись — не знаю, можно ли так выразиться? — и губа и подгуба. В прокуренных, почти коричневых, крупных зубах выделялась шербинка. Даже глядя на лейтенантские кубики в его петлицах, было трудно видеть в нем офицера. Заметив мое недоумение, он добавил:

— Командир группы истребителей танков... Прибыл на один день в ваше распоряжение.

Он докладывал четко. Эта четкость совсем не вязалась с его внешностью нескладного подростка.

— Садитесь, располагайтесь, товарищ лейтенант.

Он сел.

— Разрешите закурить?

— Курите.

Угрюмов снял шапку, достал из кармана газету, кисет и завернул толстенную самокрутку махорки. Под его ногтями залегла черная каемка; подушечки пальцев тоже были черноватыми, потрескавшимися. Наверное, эти пальцы, равно как и потрепанный, потемневший ватник, много раз на дню касались земли.

И вдруг мне вспомнилось. Угрюмов... Ведь не так давно довелось слышать об этом лейтенанте, о его провинности. Будучи командиром взвода разведки, он однажды, когда немцы еще только подходили к рубежам нашей дивизии, оставил свой взвод в лесу, а сам переоделся в крестьянскую одежду и отправился разведать деревню, уже занятую немцами. Вернулся он оттуда в темноте, потерял связь со своим взводом, за что и был в наказание отстранен от должности. Вот какого паренька, оказывается, приметил Панфилов. Вот кому он поручил командовать истребителями танков.

Закурив, Угрюмов с аппетитом, с нескрываемым удовольствием затягивался махрой. И с таким же удовольствием выпускал дым изо рта и из ноздрей. Еще никогда я не встречал такого жадного, или, может быть, лучше сказать, страстного курильщика.

На ужин была сварена рисовая каша. Повар Вахитов стал разносить тарелки с кашей. Нашего неказистого гостя Вахитов даже не заметил, не подал ему ужина.

— Вахитов, почему лейтенанту не подали?

Угрюмов смутился.

— Спасибо, я уже поужинал, товарищ старший лейтенант.

— Ничего. Поешьте.

Принесли ему кашу. Достав из противогазной сумки собственную ложку, он стал есть почти с таким же аппетитом, как курил. Отправляя в рот содержимое ложки, он каждый раз ее вылизывал. Покончив с кашей, Угрюмов обратился к неприглядному лакомству, к ржаным сухарям, которые горкой лежали на столе. Его крупные прокуренные зубы замечательно их разгрызали. Негромкий хруст раздавался в комнате.

От чая наш гость отказался. Он опять свернул огромную сигарку, опять задымил махрой.

## 6

Утром я вызвал Шакоева. Ладный, атлетически сложенный, черноусый Шакоев иронически сощурился, когда ему был представлен невзрачный посланец генерала.

Среди дня я приехал во взвод истребителей танков. В поле, уже снова присыпанном порошей, стоял сколоченный из фанеры макет танка. Кое-где темнел вынутый суглинок, были отрыты щели. Бойцы сидели на краю придорожной канавы, внимательно слушая Угрюмова.

— Силой не возьмешь,— говорил Угрюмов.— А сохранишь присутствие духа — одолеешь!

И опять было странно слышать эти серьезные, исполненные достоинства слова — «присутствие духа» — от курносого парнишки, почти мальчика.

**Приготовиться по пятому!**

## 1

Прошел день, другой. Помнится, наступила суббота. Передышка нас несколько избаловала. Мы уже замечали субботы, воскресенья. К обеду я ждал Исламкулова, еще накануне пригласил его. Хотелось пофилософствовать, погугорить, как говорят русские, с этим интересным собеседником, моим образованным сородичем.

Утром мне позвонили из штаба дивизии, передали приказание генерала явиться к нему в двенадцать часов дня.

После оттепели опять стала хозяйничать зима. Ветер завывал вихорки снега.

Мягко стучали подковы Лысанки, не пробивая белого покрова, затянувшего окоченевшую землю.

В назначенный час я вошел к генералу. Знакомая мне комната ничуть не изменилась. Я увидел, как и прежде, коробку полевого телефона, затейливый, в завитушках, буфет, тускловатое трюмо, топографическую карту на столе. Но в самом Панфилове я в первый же миг уловил перемену. Еще ничего не проговорив, он посмотрел на меня долгим и, как мне показалось, нежным взглядом. Еще никогда я не встречал такого его взгляда.

— Здравствуйте, товарищ Момыш-Улы.

Он не добавил обычного «садитесь». Не улыбнулся. Мы разговаривали стоя.

— Ну вот, пожили тихо, отдохнули. Это кончилось.

Мои глаза, вероятно, выразили удивление. Как так? Всюду спокойно, редко-редко вдали рывкнет пушка, на сегодняшний вечер я пригласил гостя, а генерал говорит: «кончилось»?

— Есть основания полагать,— продолжал Панфилов,— что завтра, шестнадцатого ноября, противник перейдет в наступление.

Он так и сказал: «шестнадцатого ноября».

— Выступайте, товарищ Момыш-Улы. Заранес посылаю свой резерв, у вас будет время окопаться. Думаю, не ошибусь.

Видимо, некоторые сомнения еще оставались у него. Однако интонация была твердой.

— Пятый маршрут,— проговорил он.

Он подошел к карте. Я следовал за ним.

На карте красными значками были указаны звенья нашей обороны,

синим карандашом.— передний край противника и сосредоточение его войск. Четко выделялись названия, номера немецких дивизий и полков, районы их расположения. Темно-синие знаки, в том числе и те, что отмечали мотомеханизированные и танковые части, особенно сгустились там, где пролегал левый фланг нашей дивизии.

Пятый маршрут вел именно туда, к левому флангу. Там, по наметке генерала, которую я получил от него несколько дней назад, батальону предстояло занять деревню Горюны на Волоколамском шоссе и расположенную несколько в стороне станцию Матренино. Близ деревни Горюны, взбежавшей на пригорок, находилось важнейшее пересечение дорог, рельсовая колея перерезала здесь, у путевой будки, полотно асфальта.

— Вот ваш участок. Вы там побывали?

— Да.

— Я должен его расширить. Займите и отметку 131,5.

Карандаш генерала указал эту точку — затерянный среди лесов узел проселочных дорог. Теперь оборонительный участок батальона глубже подходил к крайнему левому флангу дивизии.

— Таким образом вы перекроете, — продолжал Панфилов, — все дороги, которые ведут слева в Горюны.

Вновь обратившись к карте, Панфилов объяснил обстановку, наше расположение на переднем крае. Тут — полк нашей дивизии, здесь — кавалеристы Доватора.

— Немцы будут рвать на левом фланге.

Он сказал это уверенно. Его словно покинула обычная манера рассуждать вслух. Если у него еще и таились сомнения — в мыслях он, наверное, допускал всяческие неожиданности, — то сейчас уже ничем этого не выдал. Видимо, все было продумано, решение принято.

— Где-нибудь прорвут и выйдут на ваш батальон. Ваша задача — держаться, пока мы не приведем себя в порядок.

Он говорил спокойно, а у меня по спине бегали мурашки. Как я займу такой участок? Ведь это почти пять километров фронта, а у меня всего четверста бойцов.

— Товарищ генерал, как же я удержу такой фронт?

— Э, к чему же мы с вами столько толковали? Вы и не пытайтесь все удерживать. Не создавайте сплошную оборону. Займите лишь узлы. Одну роту в Горюны, другую в Матренино, третью на отметку.

Вспомнилось, как генерал с нами занимался, с какой настойчивостью добивался понимания будущей нашей задачи. Вот и пришел ее черед.

Теперь Панфилов повторял то, о чем говорил и со мной наедине и на занятиях:

— Промежутки пусть вас не беспокоят. Каждая рота должна быть готова вести бой в окружении. А управление...

Он выжидающе посмотрел на меня.

— Управление — уяснение задачи, — сказал я.

— Вот-вот... По всей вероятности, он начнет завтра с утра и попытается с маху выйти на шоссе, в тылы дивизии. Мы постараемся, чтобы он увяз... Вы должны, товарищ Момыш-Улы, продержаться четыре дня.

Он по пальцам перечислил эти дни.

— Шестнадцатое. Первые сутки. Они будут для вас легкими. Семнадцатое. Уже придется вам тяжело. Восемнадцатое. Вы останетесь в окружении. Девятнадцатое... — Он помедлил, не дал никакой характеристики этому дню. — Да, и девятнадцатое. Надо, товарищ Момыш-Улы, удержаться до двадцатого.

Он не спросил: «Вы меня поняли?», но я понял, все понял. Наверное, он это прочел в моем взгляде.

— Вам, товарищ Момыш-Улы, вашему батальону, будет тяжело. Очень тяжело.

Видно, ему непросто дались эти слова. Если бы я не понял задачу, он их не мог бы выговорить. Он был искренен со мной. Не обещал поддерживать, выручить, ничего не обещал. И считал нужным сказать все до конца. Я молча стоял перед ним. Сумеете ли вы передать в повести эту минуту? Сумеете ли найти тон — тон, который окрашивал слова генерала, прозвучавшие так сурово и так нежно?

— Разрешите идти?

— Подождите.

Он подошел к буфету, вынул початую бутылку кагора, наполнил две большие рюмки, достал две конфеты, сказал:

— Пусть надежда вам согревает сердце.

Мы чокнулись. Он протянул мне конфету.

— Ну, иди, казах.

Впервые он назвал меня так. Опять это было и нежно и сурово. И тяжело.

Я козырнул, повернулся и вышел.

## 2

На минуту я заглянул в штаб дивизии к капитану Дорфману, начальнику оперативного отдела, моему давнему знакомому.

Перед ним лежала оперативная карта. Резерв командира дивизии, мой батальон, был уже перемещен на этой карте на новую позицию. В тылу протянулась от деревни Горюны до лесной высоты ошетиненная красная линия. Опять линия... Мы уже сломали нашу прежнюю линейную тактику, а карандаш начальника оперативного отдела по привычке все еще прокладывал сплошную черту.

Здороваясь со мной, Дорфман встал. Его каштановые волосы, разделенные прямым пробором, были, как обычно, тщательно приглажены, свежо блестели. Я ожидал увидеть в его живых карих глазах всегдашнюю приветливую улыбку. Нет, в эту минуту ее не было. Конечно, он знал нашу задачу, предстоящую нам участь.

— Товарищ капитан, разрешите позвонить.

— Пожалуйста.

Я вызвал штаб батальона.

— Рахимов?

— Я.

— Приготовиться по пятому.

Весь приказ — эти три слова. Их было достаточно, чтобы поднять батальон. Вступил в действие документ, над которым мы кропотливо потрудились. Я положил трубку.

— Всего доброго, товарищ капитан.

— Ну, Момыш-Улы, ни пуха ни пера...

Теперь Дорфман все-таки заставил себя улыбнуться. Подумалось: похоронил.

В Рождество я ехал шагом. Ветер поутих. С неба падали редкие снежинки. Хотелось собраться с мыслями, внутренне собранным вернуться в батальон.

Значит, завтра заполыхает новая битва. Удержаться до двадцатого... Вам будет тяжело, очень тяжело... Но и погибать, если уж пробил твой час, надо с толком, с умом. Думая о себе, я видел и вверившихся мне



людей, видел темный блеск штыков и винтовочных затворов, грозный строй бойцов. Твой час... Мой и батальона.

Предстоят четыре дня... Возможно, в эти четыре дня уложится оставшийся мне век. Так проживу же его с честью. Нелегка задача запереть шоссе, удержаться, устоять против ударного кулака немцев. Никогда еще мой батальон не занимал ключевой позиции, не принимал на себя самого тяжелого удара. Возможно, я родился, окреп, возмужал для того, чтобы исполнить задачу этих четырех предстоящих дней. Все отдам ей — ум, волю командира, жизнь.

Текли думы... Вот и Рождество. Среди снегов, заблестевших на проглянувшем скупом солнце, чернеют избы. На улице уже стоит колонна головной роты под командой Заева. Винтовки взяты на ремень. У всех за плечами вещевые мешки с нехитрым имуществом солдата, с розданным на руки запасом сухарей.

— Смирно! — во всю силу легких орет Заев.

— Вольно, — откликаюсь я.

И чувствую, что верю им всем, кто здесь стоит под очистившимся бледноватым небом, моим соратникам, участь которых разделю.

Помню этот миг — ощутил веру, счастье веры, и сразу успокоился.

## 3

В штабной избе меня встретил Рахимов. С лавки поднялся и приехавший в гости Исламкулов, приветствовал меня дружеской улыбкой, поклоном. Я тоже отвесил ему поклон.

— Извини, Мухаметкул. Видишь, не мы располагаем временем, а время располагает нами.

Он ничем не проявил любопытства, не задал ни одного вопроса. Рахимов произнес:

— Через сколько минут прикажете выступать?

Можно было не спрашивать, все ли готово, во всех ли подразделениях соблюден график сбора. «Через сколько минут» — этим все было сказано.

— Пусть Заев двигается.

Рахимов вызвал к телефону Заева.

— Выступайте. Отключайте связь.

Затем соединился с другими ротами, сообщил, что марш начался.

— Придерживайтесь графика. Пока можно отдыхать.

Так без шума, без суеты работал мой начальник штаба. Чего я не сказал, он договорил.

— Где Толстунов? — спросил я.

— Пошел к Филимонову.

— Бозжанов?

— У Заева.

— Что же, пообедаем и тоже тронемся.

## 4

Синченко подал обед, разлил по стаканам «наркомовскую норму». Мы выпили за здоровье гостя. Я вынул карту, показал наш расширенный участок. Рахимову на миг изменило бесстрашие, его черные глаза вдруг погрустнели. Действительно, если при взгляде на такой участок — пять километров фронта батальону — вы не будете потрясены, то вы не командир и не начальник штаба. Я объяснил задачу. Три узла сопротивления. Надо удерживаться. Когда наши части отойдут, еще держаться. Когда останемся одни, окруженные противником, тоже держаться.

Я не сказал, что битва начнется завтра, не сказал, что обязан драться до двадцатого, не передал слов генерала: «Вам будет тяжело. Очень тяжело».

Синченко добавил в опорожненные стаканы еще немного водки. Я обратился к Исламкулову:

— Жаль, война не дает потолковать. Недавно ты подарил мне признание: «Кай жере, аксакал!» Еще тогда я хотел возвратить тебе его, хотел сказать: «Кай жере, Мухаметкул!»

Исламкулов слушал, не перебивая, не торопя меня даже взглядом. Он знал: я сам все разьясню.

— Существует сила приказа,— продолжал я.— Но есть и задушевность приказа. Теперь я, пожалуй, это понял. Генерал Панфилов обучил.

Исламкулов тоже заговорил о Панфилове, рассказал, что вчера наш генерал побывал во втором батальоне, включавшем в себя и роту Исламкулова, прошелся с командиром батальона, заглянул на кухню, в хозяйственный взвод, но не остался обедать. Кашевар просил оценить его старание, не обижать отказом. «А как вы стреляете? — неожиданно спросил Панфилов.— Покажите-ка вашу винтовку!» Винтовка оказалась запущенной, грязной. И Панфилов отказался от обеда. «Какое же сопротивление вы окажете, если на вас выйдут пемцы? — сказал он повару.— Как же вас не обижать, если вы меня обидели?» Весь батальон об этом уже знает.

Неслышно вошел сероглазый Тимошин, командир взвода связи.

— Товарищ комбат, разрешите забрать аппарат?

— Бери.

Рахимов взглянул на часы.

— Все уже выступили, товарищ комбат.

Мы покинули избу. Небо было ясным, мороз защищал щеки. Синченко подвел Лысанку. Исламкулов взял у него повод и, держа лошадь под уздцы, посадил меня в седло. У нас, казахов, это знак высшего уважения, оказываемый лишь немногим. Рахимов вскочил на своего коня. У крыльца ожидали сани, в которых приехал Исламкулов. Я вновь извинился.

— Пора на рубеж. Прощай.

Исламкулов ответил:

— На этом рубеже тебе или слава, или смерть.

До этой минуты он ни словом не обмолвился о задаче, предстоящей моему батальону. А сейчас сказал веско, обдуманно. С седла я отдал честь своему гостю и тронул коня.

Поставим здесь большую точку. Разрешим себе перевести дух.

## Канун. Станция Матренино

### 1

Открывайте чистую страницу, начнем новую главу.

Итак, пятнадцатое ноября. Еще засветло я провел час-другой на отметке 131,5, выбирая вместе с Заевым позицию его роты.

Местность представляла собой обширную вырубку-пролысину в сплошном лесу. Там и сям торчали пни, поднялась мелкая молодь, кое-где виднелись узкие заснеженные полоски пашни. Огражденный пнями, поросший кустарником бугор громоздился близ скрещения двух проселков. Они соединялись у крепкого деревянного моста, перебро-

шенного через речонку, уже затянутую льдом, и затем снова разбегались.

С бугра открывался круговой обзор. В тишине было слышно, как шуршат пошевеляемые ветром цепкие листья дубняка. Переваливаясь на выбоинах, проехали в сторону фронта два грузовика. В кузовах были наложены стянутые веревкой полушубки. Машины миновали мост, скрылись в лесу. И опять все замерло.

— Здесь и окапывайся,— сказал я Заеву.

— Угу,— буркнул Заев.

И тотчас поправился:

— Есть!

Одетый поверх ватника и толстых, тоже стеганных на вате штанов з свою послужившую шинель (так был обмундирован весь мой батальон), Заев еще раз оглядел подступающий отовсюду лес. В ранних сумерках глубокие глазницы Заева казались темными, лишь иногда оттуда посверкивали маленькне запавшие глаза. Темнели и провалы его щек.

— В дальнюю перебранку не вступай,— продолжал я.— Подпусти поближе и огрей.

— И немец нас огреет.

— Да. В таких случаях выигрывает тот, кто не боится ближнего боя. Тот, у кого больше решимости.

— Решимости, товарищ комбат, хватит!

Мы помолчали. Пролетел, как говорится, тихий ангел, безмолвно пронеслось бывое.

— Хватит! — отрывисто повторил Заев.— Я уверен в своих львятах.

Он и раньше, как вы знаете, любил выразиться по-чуждому.

— Каждому бойцу разъясни задачу: ни шагу назад,— сказал я.

— А ежели...— Заев помялся.— Ежели нас обойдут? Поможете?

— Рассчитывай, Семен, только на себя.

Мы опять помолчали.

— В хозвзводе, товарищ комбат, скажи,— Заев неожиданно перешел на «ты»,— скажи, чтобы привезли нам ужин. И чтобы на водку не скупались. А то чем я согрею своих молодцов?

— Ладно, Семен, не позабуду.

— Не позабудете? — переспросил он.

Его голос прозвучал глухо. Я понял, о чем он меня спрашивает, понял и прикрикнул:

— Ты что, прощаться со мной вздумал? Рановато! Выкинь эту дурь!

Под его нависшими бровями ничего не проблеснуло. Мне вспомнилась напутственная здравица Панфилова. Я сказал мягче:

— Согревай своих бойцов не только водкой, но и, главное, надеждой. Не смей терять ее, Семен!

— Угу,— опять услышал я.

И опять Заев поправил себя:

— Есть!

Снова скачу верхом, направляюсь в Матренино, в роту Филимонова. Неизменный Синченко следует за мной. Ухабистая лесная дорожка выводит на шоссе. Уже совсем смерклось; над темными зубцами леса, жмущегося к тесме асфальта, показалась полная луна; в вышине проступили первые, еще редкие, звезды. По шоссе, прямому, как натянутая тетива, порой на небольшой скорости, без света, проходят машины то к фронту, то в другую сторону. Это движение не назовешь оживленным. Ничто, кажется, не предвещает громового дня. Противник изготовился, молчит. Видимо, готовы и мы.

Вновь сворачиваю на боковую дорогу. Вдоль нее на словых вешках, окученных снегом, уже протянут телефонный черный шнур. Лысанка бежит подле него. Впереди неясно вырисовалось здание железнодорожной станции. Это Матренино. Дома, лепящиеся к станции, не составляют порядка, а темнеют вразброд. Неожиданно на окраине грохочет разрыв дальнобойного снаряда. Почти тотчас слышится еще удар — глуховатый тяжелый удар в той стороне, где пролегает скрытое мглой Волоколамское шоссе.

Останавливаю лошадь, слушаю, смотрю. Впереди опять гремит разрыв. Взблеск озаряет изгородь, макушку стога. И, будто откликаясь, снова бахает там, где протянулась невидимая отсюда деревня Горюны. Пауза. Снова одиночный разрыв. Другой...

С этого часа — светящиеся стрелки моих ручных часов показывали почти ровно семь — немцы начали методически гвоздить два населенных пункта: станцию Матренино и Горюны.

## 3

Цепочка солдат неподалеку от крайних домов вгрызалась в закочевшую землю. Я подъехал туда. Крупный, когда-то полнотелый, а теперь костистый Голубцов, запевала батальона, с маху рубил жесткую почву острым ребром лопаты. Стал слышен нарастающий противный гул снаряда, будто летящего прямо сюда. Бойцы прильнули к неглубоким выемкам, я спрыгнул с седла, тоже распластался. В полусотне метров в чистом поле взметнулось белое пламя, громыхнул взрыв.

Мы поднялись. Голубцов опять принялся крошить неподатливую землю. Порой острая сталь высекала искры. Высоко над головой прощелестел следующий снаряд, бахнул где-то за селом.

— У тебя, Голубцов, дело, вижу, подвигается.

Он бросил лопату, распрямился.

— Нам, товарищ комбат, командир роты задал вырубить окопчик для стрельбы лежа, постелить сена и... И можно спать.

Скорее слухом, чем зрением, я уловил улыбку Голубцова. И тотчас услышал голос сбоку:

— Такой окоп разве спасет?

Кто-то из «новеньких» стоял у соседней чернеющей проплешинки, опустив руки. Потянуло одернуть молодого солдата, но, сдержавшись, я объяснил, что даже небольшое углубление, любая ямка является защитой от взрывной волны и от осколков. Вместо меня прикрикнул Голубцов:

— Рубай, Строжкин, рубай! Не распускай губы.

Ничего не ответив, боец-новичок (в те дни я только-только стал узнавать их в лицо и по фамилиям) принялся опять долбить мерзлую землю.

— Выжля. Будет толк,— понизив голос, доверительно сказал Голубцов.

— Выжля? Что это такое?

— Ну, щенок, молодая собака. Еще дура, а порода, товарищ комбат, уже видна. Воспитываю, гоняю. Будет солдатом не хуже других. И голос завидный. Годится в запевалы.

— Что же, отгоним немцев — запоем... Где командир роты?

— Ушел с генералом.— Голубцов продолжал по-прежнему доверительно, негромко: — Генерал тут приходил, глядел нашу позицию.

— Какой генерал? Командир дивизии?

— Нет, другой... Похоже, строговат.

— Что же он говорил?

— Что говорил? Подвертывал гайки. А они, товарищ комбат, и так у нас подвернуты.

Это тоже было сказано с улыбкой, со спокойным юмором солдата. Теплый ток доверия, понимания струился между нами.

— Где же он?

— Куда-то ушел с командиром роты.

Вновь сев верхом, я направился в Матренино. Сразу не определишь — деревня или дачный поселок. Ровный штакетник, застекленные веранды, на окнах затейливые наличники. Жители затаились. Однако их присутствие выдавали дымки, вившиеся из печных груб. Где-то промычала корова, где-то стукнуло ведро. Обстрел по-прежнему был редким, методичным.

Мерным шагом по улочке навстречу мне идет патруль. Кто-то хрипловато кричит:

— Стой!

Придерживаю Лысанку.

— Стой! — повторяет прежний голос. — Кого бог несет?

Различаю Корзуна, большеносого русского колхозника из-под Алма-Аты.

— Что, Корзун, не узнал?

— Признать — признал, но порядок своего требует.

В этот канунный вечер, в час обстрела, мил сердцу ровный топ исполнительного Корзуна. И опять вера — вера в своих солдат, послушных долгу, порядку, дисциплине, — подкатывает горячей волной к горлу.

Спрашиваю:

— Где командир роты?

— Пошли на линию с генералом.

Без дальних слов шевелю повод, посылаю коня к железнодорожной линии.

#### 4

Снежный пушок лежит на рельсах. За полотном, огибающим деревню, уходит вдаль белый простор — не видать, как говорится, конца краю. Однако мне известно — это шутит свои шутки обманщица луна, укрывает в полумгле белесую березовую опушку, что удалилась менее чем на полкилометра от рельсов. Вблизи насыпи — фронтом к этому невидимому сейчас лесу — бойцы роют оборону. По взмахам рук угадываю: тут в дело пущен и подручный железнодорожный инструмент: кирки, ломы, кувалды. Неподалеку темнеет огражденная невысоким палисадом будка путевого сторожа; стекла отливают глубоким черным блеском. Разматывая моток телефонного шнура, туда прошагал связист.

Взгляд опять убегает в голубоватую мутную даль, возвращается к запыренному путям. Вдруг замечаю: на шпалах стоят трое. Сразу узнаю ладную статью Толстунова, узнаю Филимонова, вытянувшегося — руки по швам — перед человеком в серой шапке, в поблескивающем кожаном пальто.

По бровке вдоль пути Лысанка несет меня к ним. Соскакиваю с седла, и — черт подери, экая досада! — от волнения, что ли, я не успеваю придержать шашку, она попадает мне под ноги, и я утыкаюсь в снег. Дурной знак...

Тотчас поднявшись, печатаю шаг, всматриваюсь в приехавшего к нам генерала. Можно различить его крупные губы, небольшие отеки под глазами. А, так вот это кто! Генерал-лейтенант Звягин, заместитель командующего армией. Три недели назад я с ним повстречался в штабе Панфилова в Волоколамске.

Подойдя, рапортую: батальон занял указанный ему участок, начал окапываться. Звягин меня оглядел. Молчание затянулось. Где-то посреди деревьев грохнул очередной снаряд.

— По-прежнему с шашкой? — недовольно сказал Звягин. — По-прежнему оригинальничаете?

— Товарищ генерал-лейтенант, я вам уже докладывал, что, не будучи переаттестован...

Он не дослушал.

— Почему не зачитали средним командирам и политрукам приказ Военного Совета? Приказ о приговоре Кондратьеву.

Мгновенно вспомнилось: сумеречный час в Волоколамске, освещенная электричеством штабная комната, побледневшее, со вспухшей царапиной, лицо майора, заляпанная мокрая шинель. И голос Звягина: «Кто позволил отойти без приказа?» И его участвовавшее, тяжелое дыхание. И гремящие слова: «Оружие на стол! Звезду долой! Арестовать! Предать суду!»

Позже я узнал, что уже через сутки приговор Военного трибунала — расстрел — был объявлен в приказе по армии.

— Товарищ генерал-лейтенант, в те дни мы не имели связи. Батальон был отрезан, боролся в окружении.

— Ну, а затем?

— Затем обстановка изменилась, время было уже упущено, поэтому я...

— Кто разрешил вам рассуждать?

Заглушая этот сильный, гневный голос, возник, стал нарастать устрашающий гул летящего, приближающегося к нам снаряда. Потянуло прыгнуть с насыпи, открытой отовсюду, залечь. Уголком глаза я видел, как разом повалились, втиснулись в землю бойцы, рывшие окопы. Звягин, однако, даже не повел головой. Стоя на виду и, конечно, зная, что сейчас на него поглядывают десятки солдатских глаз, он, не меняя позы, ждал моего ответа. Толстунов и Филимонов тоже не шелохнулись. Снаряд шлепнулся, хлопнул близ путевой будки. Зазвенели стекла, высаженные взрывной волной. Звягин не обернулся, не взглянул туда, где встала темным столбом пыль.

— Виноват, — произнес я.

## 5

Не удовлетворившись моим «виноват», Звягин обратился к Толстуну:

— Вы, старший политрук, могли бы проследить за исполнением.

Толстунов не стал оправдываться.

— Недоглядел, — произнес он.

— Сделайте выводы на будущее.

— Есть, товарищ генерал-лейтенант.

Звягин будто позабыл обо мне; я глядел на его спину в кожаном пальто.

— Говорю с вами сейчас, — продолжал он, — как с членами партии.

Обращается к Филимонову и Толстуну, но знает, конечно, что я, беспартийный, тоже слушаю.

— Как с членами партии, — повторяет Звягин. — Даже один шаг назад с этого рубежа был бы предательским. Предательским, преступным. Расстаньтесь с мыслью, что отсюда возможно отойти. Внушите всему личному составу, что это последний рубеж батальона.

Слова ложатся веско, тяжело.

— Ну, желаю вам, товарищи, боевого счастья.

Он круто — с несколько неожиданной для его грузноватой фигуры резкостью движений — повернулся ко мне.

— А вы, партизан с шашкой, проводите-ка меня.

«Партизан с шашкой». Далось же это Звягину. Впрочем, сейчас он говорил без начальственной грубости, без раздражения.

Сойдя с полотна, мы зашагали к санной дороге, пролегшей возле рельсов. Откуда-то бесшумно появился адъютант Звягина, тоже пошел с нами.

Беспокоящий обстрел продолжался. Зарницы разрывов поминутно вспыхивали и в стороне — в той стороне, где находилась деревня Горюны. Звягин взглянул туда:

— Завтра, наверно, начнется. Да уже, собственно, и началось.

Мы подошли к машине, выкрашенной в белое — в защитный цвет зимы, — почти неприметной на снегу. Он протянул мне руку — крупную, твердую, тяжелую. Дверца захлопнулась, машина тронулась. Я проводил ее взглядом.

### Канун. Горюны

#### 1

Еще некоторое время я провел в Матренине, ходил вокруг поселка вместе с Филимоновым и Толстуновым.

Затем — снова ногу в стремя. Скачу на Лысанке в Горюны. Лоснящийся под лунной мерзлой накат на минуту нырнул в лес и опять выбежал на волю, на поляну. Посматриваю по сторонам. На белом пригорке темнеют свежие брустверы окопов. Поминутно ложатся там и сям одиночные снаряды. Мгновенные вспышки озаряют то пустое поле, то домики на гребешке. Эти домики — деревня Горюны. Лысанка выносит меня на шоссе, идущее на изволок. Полоса асфальта еще не заснежена, черна, будто подметена ветром. На макушке по обеим сторонам шоссе выстроились огороженные палисадами избы.

Кое-где, как и в Матренине, вьются дымки из печных труб — наверное, бойцы кухарничают. Видны распряженные повозки; санитарная фура заведена во двор; на обочине стоят две наши пушки, их охраняет часовой. Расспрашиваю, где поместился штаб батальона. Еду дальше.

Кто-то шагает навстречу. Странная фигура. Солдатская шапка, шинель, по... Из-под шапки выглядывает крыло гладко зачесанных женских волос. Осаживаю коня.

— Кто такая? Зачем сюда попала?

— Здравствуйте, товарищ комбат.

Улыбка приоткрыла ровные белые зубы. Одетая в варежку рука взяла под козырек.

— Заовражина, ты зачем здесь?

— Тут наше место по приказу.

— Какому приказу?

— Начальника санитарной части. Будем делать вам прививки.

— Какие еще, к чертям, прививки?

— Уколы против брюшного тифа. Мы достали лампу-молнию. И скоро начнем.

— Ты часом не спятила? Завтра здесь, возможно, все будет гореть. Немедленно уноси отсюда ноги.

— Нет, товарищ комбат, теперь не выгоните. Придется вам поговорить с майором.

— Что еще за майор?

— Майор медицинской службы. Женщина-врач. Она сказала, что никуда мы отсюда не уйдем.

Снова блеснула белозубая небоязливая улыбка.

— Тогда выброшу отсюда вас.

Не сказав больше ни слова, я поскакал к штабу.

## 2

На этом история с уколами не кончается. Еду по улице. Слышу:

— Товарищ комбат!

Оборачиваюсь, вижу Кузьминича. Он тяжеловато бежит, придерживая рукой полевую сумку.

— Что там, Кузьминич, у вас стряслось?

— Товарищ комбат, разрешите доложить.

— Ну, не тяните.

— Есть! — Он и впопад и невпопад старается употреблять уставные словечки. — Товарищ комбат, тут доктор, майор медицинской службы, начал делать бойцам уколы.

— Начал? Кто разрешил?

Вспомнилась недавняя встреча с Заовражиной. Принялась все же, черт возьми, за свое.

У меня вырвался вздох. Вот чепуха! Хоть стой, хоть падай!

— Вам, товарищ политрук, сегодня уже было сказано: когда наконец вы станете военным? Этот майор не вправе вам приказывать.

Кузьминич смиренно — руки по швам — выслушал мой нагоняй.

Пришлось отправиться к майору-доктору. Походная амбулатория была развернута в лучшем, самом большом доме. Огромная лампа-молния, висевшая под потолком, лила яркий свет на застланные белейшими простынями стол, лавки, кровати. На плите в эмалированном тазике кипела вода.

Смуглая женщина в белом халате — я сразу отметил ее точеное лицо, властную повадку — обернулась ко мне. Волосы, не совсем открытые медицинской белой шапочкой, были столь черными, что, казалось, отливали синевой.

На стуле сидел ездовой Гаркуша. Засучив рукав, он с важным видом подставлял голый локоть. Я крикнул:

— Гаркуша, почему тут околачиваешься? Кто разрешил?

Гаркуша встал, скромно потупился.

— Приглашен, товарищ комбат, по старому знакомству.

А, еще один знакомец Вари Заовражиной!

— Убирайся отсюда! Ну, живее поворачивайся!

Взяв шинель, Гаркуша, не теряя достоинства, но и не мешкая, покинул комнату. Женщина-майор холодно сказала:

— Товарищ старший лейтенант, следовало бы вести себя приличнее. И прежде всего полагается представиться.

Я извинился, назвал себя.

— А вас, доктор, попрошу прекратить эту затею.

— Какую затею? Мы обязаны сделать уколы. Это приказ по дивизии.

— Не знаю. Не могу разрешить.

— Что вы волнуетесь? Укол вызывает только легкое недомогание на один-два дня. Зато потом...

— Доктор, поймите, у меня задача. Возможно, завтра придется вступить в бой.

Как раз в эту минуту на воле бабахнул очередной разрыв. Оконные стекла слегка задребезжали. Я продолжал:



— Мы уже и сегодня под огнем. Вы разве не слышите?

— Слышу. Что же особенного? Удивляюсь, старший лейтенант, вашей нервозности.

— Доктор, извините, не могу больше уделять вам время. Уезжайте отсюда.

— Нет, у меня есть свои обязанности.

Я расвирепел.

— Приказываю через два часа оставить расположение батальона.

— Вы не имеете права мне приказывать.

— Убирайтесь к черту!

Властная — чуть не сказал: царственная — женщина вскинула голову.

— За это вы ответите! И никуда мы отсюда не уйдем!

Не знаю, где притаилась в эти минуты Заовражина. Впрочем, я и не желал этого знать. Сочтя разговор законченным, я вышел, с силой хлопнув дверью.

## 3

Постепенно собрался весь мой маленький штаб. Из Матренина явился Толстунов, от Заева, с затерянной среди леса вышки, пришел невеселый, усталый Бозжанов.

Сидим молча. В печи трещит огонь. Заслонка открыта. Отсветы пламени играют на обоях. Невольно разглядываю узор: по неяркому, серому фону рассыпаны серебристые трилистники. Или, может быть, птицы. У косяка оконной рамы отодралась полоса обоев и свисает до полу. Никто уже не поднимет этих оторванных птиц. Хозяева оставили жилье, ушли, а мы... Мы здесь жильцы временные. Вернее, даже кратковременные.

На квадратном дубовом столе разложено бумажное хозяйство Рахимова; несколько остро очиненных цветных карандашей покоится на разостланной топографической карте. Рахимов уже написал и отправил донесения, сейчас он вырисовывает на листе ватмана оборону батальона.

Вспоминаю о делах. Приказываю телефонисту соединить меня с начальником санитарной части дивизии. Минуту спустя опять держу телефонную трубку, прошу сегодня же отозвать из Горюнов женщину-майора и ее помощников. На другом конце провода седой врач-полковник, с которым я знаком еще с Алма-Аты, спохватывается:

— Прости, Момыш-Улы, из головы вон! Сделай милость, пошли кого-нибудь, позови к телефону эту черненькую лебедь. Нынче же ее заберу.

— Благодарю, товарищ полковник. Сейчас приглашу.

Как раз в этот момент в дверях появляется повар Вахитов, он тоже невесел, складочки лица скорбно обвисли.

— Товарищ комбат, ужинать-то будете?

— Будем! — отвечаю я. — И в женском обществе! А ну, товарищи, устроим званый ужин!

## 4

Старик повар вмиг преображается, радостно всплескивает руками, ему приятно мое оживление. Однако тотчас огорчение, испуг проглядывают в складочках лица.

— Товарищ комбат, на ужин у меня только гречневая каша.

Я не теряюсь:

— В таком случае званый чай! Товарищи, требуется снарядить дипломатическую миссию: комбат-де просит забыть о его грубостях,

приносит покорнейшие извинения. Божанов, возьмешься быть моим посланцем?

Вижу: усталая, посеревшая было физиономия Божанова опять залоснилась. Он восклицает:

— Согласен! Отправляюсь на подвиг, товарищ комбат.

Наконец-то улыбка залетела к нам в штаб. Не остался в стороне и Толстунов, рассудительный старший политрук посоветовал своему другу-послу захватить с собой ловкого Гаркушу. Признаться, в душе я опять подивился Толстунову: черт возьми, все ему известно.

Так или иначе, полчаса спустя мы встретили, приветствовали гостей: женщину-майора и Варю Заовражину.

— Доктор,— сказал я,— у нас, кажется, произошло небольшое столкновение.

— Небольшое? Предположим.

Я принес доктору свои извинения, а Варе незаметно показал кулак. И пригласил гостей к столу. Не жеманничая, Варя села как своя. Величественная «черненькая лебедь», поговорив по телефону со своим начальством, тоже согласилась разделить нашу трапезу.

Однако она и теперь, при каждой встрече, любит мне припомнить, какую я ей задал трепку в Горюнах.

### Держать — значит не удержать

#### 1

С окон сняты плащ-палатки, служившие нам шторами. Медленно занимается, яснее утро. На воле тишина. Редкая пальба по Матренину и Горюнам оборвалась еще до рассвета; уснув, я не заметил, в какой час она окончилась. Серые тона ноябрьского утра постепенно становятся светлей. Вот чуть заголубело незаволоченное, как и вчера, небо. И вдруг, будто эта проглянувшая блеклая голубизна была сигналом, по всему фронту рявкнула, взгрелась артиллерия немцев.

Вместе с Толстуновым и Божановым я вышел на улицу. Не усидел в штабе и Рахимов. Давно мы не слышали такого грома. Непрестанно возникали его гулкие раскаты. Так в штормовую погоду бьет, обрушивается на препятствие ревущая волна прибоя. Канонада как бы перекачивалась по фронту. Она то уходила вправо, то возвращалась, рокотала в той стороне, куда были выдвинуты роты Филимонова и Заева. Потом огневой бурун снова шел направо.

День, как я сказал, выдался ясный. Впереди, там, где пролегал фронт, в воздухе ходили, разворачивались, порой пикировали, сбрасывали боевой груз немецкие бомбардировщики. Два «горбача» — самолеты-наблюдатели — кружили в высоте.

До полудня наша артиллерия не отвечала. Эта выдержка — рискнуть поделиться такой мыслью — характерна для Панфилова. Легко ли четыре часа молчать, не подкрепляя огнем дух своих войск, окопавшихся на передних рубежах? Четыре часа молчать — это значило верить солдату, его мужеству, сознанию долга. И располагать ответной верой.

Что выигрывалось этим молчанием? Засечены все артиллерийские позиции противника, а наши скрыты. Панфилов не раз говорил, что надо уметь разгадывать намерения врага по голосам его пушек. Расстановка артиллерии, сосредоточенность, кучность огня позволяют определить направление готовящегося главного удара. Однако эту истину ведали, конечно, и немцы. Они применяли военную хитрость, прокатывая с фланга на фланг волну огня. Вот и отыщи, где они намерены проваться!

Имеются различные методы артиллерийской подготовки. Например: сначала измочалить, исколотить передний край, потом перебросить огонь в глубину. Или сперва обрушиться на позиции вторых эшелонов, устрашить, смутить резервы, затем перенести огонь — ударить по передовой... И рывок!

Шестнадцатого ноября немцы совмещали оба эти метода. Помолотив часа два по переднему краю, они затем несколькими залпами угостили и нас в Матренине и в Горюнах. На своем новом рубеже батальон понес первые потери. Я не знал, что в эти минуты происходило впереди — атаковали ли немцы, где именно? — но вот их артиллерия снова оттянула прицел, громыхающий каток опять стал прокатываться по фронту.

## 2

«Первые сутки будут для вас легкими», — предсказал Панфилов.

Так и случилось. Все же кое-что бегло отмечу в этом легком для моего батальона дне.

Примерно в обеденное время в мое распоряжение в Горюны прибыла батарея противотанковых орудий из резерва командира дивизии. Это служило знаком, что Панфилов не изменил своей оценки намерений противника, укреплял мой узелок. Артиллеристы заняли огневые позиции в лесу, наведя стволы на еще не совсем задернутое снегом Волоколамское шоссе.

Впереди продолжались грохотня, уханье, раскаты. Над гребешком леса вздымались, медленно расплывались в небе черные дымы. А у нас на холме, где протянулись Горюны, не прерывалась солдатская страда. Бойцы крошили землю, рыли и рыли оборону.

Взвод Шакоева занимался на шоссе. Встав у палисадника, я несколько минут наблюдал. Вот фанерный макет танка быстро движется к бойцу, укрывшемуся в ямке. Что же тот медлит? Нет, все же успел. Вскинулся, еще миг выждал, метнул гранату. Хорошо, четко сработал! А, это худенький, слабогрудый Джилъбаев, мой сородич. Теперь вот он каков! Верю ему, знаю — не зажмурит в ужасе глаза, не побежит, встретит танк гранатой.

Макет на полозьях возвращается для нового захода. К броску готовится политрук Кузьминич. Солдатская одежда — короткие голенища тяжелых сапог, ватные теплые штаны, что видны из-под встопорщившейся горбом шинели, — по-прежнему кажется чужой на нем. Танк приближается. Кузьминич, стараясь побороть неповоротливость, по-молодому быстро вскакивает, размахивается и... И тотчас слышится характерный, с кавказским акцентом, голос Шакоева:

— Отставить, отставить, товарищ политрук. Не так...

Стройный лейтенант-дагестанец в исцарапанных, испачканных землей хромовых сапогах, в загрязненной почти дочерна, ушитой по фигуре телогрейке — пожалуй, в нем появилось некое особое щегольство обрванца — легко подбегает к сорокалетнему мужу науки, впервые, быть может, пробующему метнуть противотанковую громоздкую гранату. Шакоев спокойно обучает политрука. Доносятся слова:

— Присутствие духа, понимаешь? Кидай с выдержкой, легонько. Невольно вспоминается невидный, курносый посланец генерала.

## 3

В тот день, шестнадцатого ноября, довелось опять повстречаться с ним.

Мне позвонили из штаба дивизии: к вам направляется по приказанию генерала Панфилова команда истребителей танков во главе с лей-

тенантом Угрюмовым. Ответив неизменным кратким «есть!», я вернулся на складное кресло — это удобное кресло-кровать где-то раздобыл и притащил Синченко, — вернулся, уселся и задумался.

Не раз в нашей повести заходила речь о думах командира. Они настолько забирают тебя, так глубоко в них погружаешься, что перестаешь замечать комнату, все окружающее. Правильно ли расставлены силы? Что сделаю, если бой сложится так? Как поступлю, если противник подойдет отсюда? Если вырвется сюда?

Удержаться до двадцатого! Прикидываешь бесчисленные варианты. Если не ошибаюсь, Лев Толстой в предисловии к роману «Война и мир» говорил о миллионе вариантов, которые проносятся перед художником. Возможно, творчество командира сродни погруженности художника. Удержаться до двадцатого! В эти часы командирской творческой сосредоточенности задача, полученная от Панфилова, становилась моим собственным созданием, моим детищем.

Я сидел и думал под несмолкаемый рев прибора. Порой машинально отмечал: вот гремящая волна покатила в сторону, пошла обратно... Вот вступили басы наших пушек, вот зачастила, забарабанила наша истребительная артиллерия. Что же там? Уже дерутся? Уже идет атака немцев?

Под вечер мне позвонил Заев:

— Дали им прикурить, товарищ комбат.

— Что? Кому?

Задыхаясь, торопясь, он продолжал:

— Резанули их. Подпустили и огрели!

Набираюсь терпения, выслушиваю его восклицания, не спрашиваю — сам дойдет до сути. Оказалось, что к высотке, где окопалась рота Заева, проникла какая-то группа немцев с минометами. Возможно, лишь разведка. Винтовочный залп уложил нескольких немцев. Другие под прикрытием огня отползли, унесли трупы.

Полчаса спустя позвонил Филимонов, доложил: немцы сунулись из леса и к станции Матренино. Вызвали паш огонь, ушли.

Тем временем низкие тучи затянули небо, повалил снег. В комнате слегка потемнело. И вдруг — для меня это было неожиданностью — я обнаружил, что наступил час сумерек. Мало-помалу пушечный гром утих. Закончился первый день новой битвы под Москвой. Насколько я мог судить, немцы нигде не прорвали наш фронт. Не знаю, задавались ли они в первый день этой целью. Вероятно, противник вклинился во многих местах, еще не раскрывая своих карт, не раскрывая, где проляжет его главный удар. Панфилов, как я уже сказал, по-видимому, придерживался прежней догадки. Впрочем, он все же испытывал колебания. Поздно вечером он мне позвонил:

— Здравствуйте. Что делаете?

— Думаю, товарищ генерал.

— Дело хорошее. Я тоже этим занят. Как провели день?

Я доложил итоги дня. Конечно, Панфилову они были известны: о всяком изменении обстановки мы тотчас сообщали капитану Дорфману. Однако Панфилов, не торопясь, не подгоняя, еще раз выслушал от меня эти же сведения.

— Следовательно, обменялись любезностями издалека? — произнес он.

— Да.

— Так... Угрюмов к вам пришел?

— Еще нет.

— Передайте ему: пусть идет в Ядрово к майору Юрасову. Знаю, нехорошо гонять людей, но... Привели к этому думы.

— Есть!

— Ну, всего доброго, товарищ Момыш-Улы. Поспите, отдохните. Завтра ваш черед.

Еще минуту я молча постоял у аппарата. Панфилов опять — в который уже раз! — поразил меня. Он думает и об отряде в двадцать — двадцать пять человек, думает и передумывает, куда его послать. Эта горстка — команда Угрюмова — тоже резерв генерала. Нелегки же дела у него, командира дивизии! А где же завтра-послезавтра, когда удар немцев станет нарастать, где он, наш генерал, возьмет новые резервы?

Отойдя от телефона, я кратко изложил Рахимову, неизменно сидевшему за штабным столом, разговор с генералом.

— Велел нам, — заключил я, — подготовиться к завтрашнему дню, поспать. Ложись, вздремни часика три, а я подежурю, проверю посты.

Оделся, вышел на волю. Ветер, которому не хватало сил, чтобы завьюжить, увлекал, уносил падающие белые хлопья. Шоссе, что еще несколько часов назад пролегалo черной, будто подметенной полосой, теперь укрылось пуховым покровом, слилось с дальними и ближними снегами. Ночную белесую мглу изредка тревожили голоса пушек. Вот со стороны Матренина дошел глухой хлопок. Вот и здесь, на пустом пригорке, возник смутный взблеск, тотчас вдогонку добежала гремущая волна. И опять несколько минут покоя. И снова бахает один-другой разрыв. Немцы, как и в прошлую ночь, дарят вниманием Матренино и Горюны, держат наши нервы напряженными, ведут беспокоящий огонь.

Шагая под гору в сторону Москвы, к железнодорожной колее, перерезающей шоссе, — там, у путевой будки, тоже расположилось охранение, — я повстречал отряд Угрюмова. Свежий белый полог даже и под беззвездным небом отбрасывал какие-то слабые лучи, не позволял тьме стать непроглядной. Узнав меня, Угрюмов — ночью он, малорослый, в ватнике, облежавшем неширокие плечи, опять показался мне подростком — скомандовал:

— Стой!

И подошел, намереваясь докладывать. Я ему передал приказание генерала: идти дальше по шоссе в деревню Ядрово. Угрюмов досадливо крикнул.

— Ребята приустали. Думали здесь, товарищ старший лейтенант, заночевать.

— Отдохните, — сказал я. — Прикажу накормить ваших людей.

Угрюмов оглянулся на свою смутно темневшую команду.

— Нет, товарищ старший лейтенант, спасибо. Пойдем дальше. А то у вас только разморимся.

Прощаясь, он добавил:

— Жаль, не пришлось повоевать вместе.

Опять, как и несколько дней назад, было странно слышать от него, чуть ли не мальчика, эти серьезные слова.

Русские, здороваясь или прощаясь, нередко держат и трясут твою руку, выказывая этим дружеские чувства, уважение. Угрюмов лишь пожал мою кисть. Ощувив это пожатие, я опять подумал: «Силенка в руке есть!»

Он козырнул, пошел к своим. Вскоре отряд скрылся в снегопаде.

В нашу штабную избу я вернулся приблизительно к полуночи. Слышалось мерное дыхание спавшего Рахимова. Человек исключительной аккуратности, он обладал качеством, которое я ни у кого больше не встречал. Если ему скажешь: «Поспи часика три», он минута в минуту —

в данном случае через три часа — откроет глаза, встанет. Будить его не требуется.

Я сел и опять задумался. Ночная тишь по-прежнему изредка нарушалась буханием разрывов. «Завтра ваш черед», — сказал Панфилов. Вот этому нашему близящемуся череду были отданы мысли.

Точно в свой срок поднялся Рахимов.

— Ложитесь, товарищ комбат.

Растянувшись на кресле-кровати, я долго не мог уснуть. Обдумывал, воображал подступающий день. И забылся лишь под утро.

## 4

В этот день, семнадцатого ноября, пушечные залпы заухали пораньше, чем шестнадцатого. Еще лишь брезжило, а огневой вал уже прокатывался по фронту. Немцы палили по-вчерашнему — раскаты то удалялись вправо, то возвращались, шли влево и снова направо. Так и ходил, так и качался впереди в рассветной мути этот маятник-ревун.

Слушая рык пушек, я невольно отмечал: дивизия удержалась на всем фронте, немцы по-прежнему лишь готовят удар, еще не раскрывая, куда, на какой участок он нацелен. Наша артиллерия, в отличие от минувшего дня, сразу стала отвечать. Отовсюду гремели наши залпы.

Мало-помалу на воле посветлело. Над снегами висело низкое, облачное небо. Вдруг ухо различило перемену в режиме немецкого огня. Налево от центральной точки переднего края дивизии, от лежащей впереди по шоссе деревни Ядрово, дробь участилась. А направо стукотня стала умереннее. Уже не оставалось сомнения: в одном краю бьют одиночные стволы и батареи, в другом — дивизионы, множество жерл. На левом фланге противник уже не крохоборничает. Дробь там еще усиливается, учащается. Значит, все окончательно решено, участок прорыва обозначен, противник уже не прячет намерение протаранить наш центр и левый фланг — намерение, угаданное Панфиловым, — уже молотами пушек прокладывает, проламывает себе дорогу.

В комнате все мы приумолкли. Знакомое нервное напряжение — ожидание атаки, рывка немцев — прокралось и сюда, в нашу избу, еще далекую от рубежа. Ища отвлечения, разрядки, я позвонил в штаб дивизии капитану Дорфману. Хотелось просто-напросто услышать его голос, перемолвиться словечком.

— Товарищ капитан, здравствуйте.

Всегда вежливый, приветливый, Дорфман на этот раз позабыл ответить на мое «здравствуйте».

— Ну, что у вас?

— У нас без изменений.

— Так. Дальше.

В тоне чувствовалось: чего тебе, спокойно сидишь, ну и сиди.

— Извините, хотел только доложить обстановку.

— А... Всего хорошего.

Легкий щелчок в мембране. Трубка на другом конце провода положена.

Приблизительно час спустя немцы перенесли огонь в глубину нашего фронта, замолотили по Матренину, по Горюнам, по вырубке, где окопалась рота Заева. В эти минуты, несомненно, двинулись вперед немецкие танки и пехота. Я ждал, не промчатся ли мимо нас по шоссе артиллерийские zapряжки, мнящие огневую позицию, уходящие от проравшихся немцев. Нет, к нам не вынеслась ни одна пушка. Артиллеристы, как я мог понять, не отступали.

Ко мне обращается телефонист:

— Товарищ комбат, вызывает штаб дивизии.

Беру трубку. Мембрана без искажений доносит знакомый хрипловатый голос Панфилова:

— Товарищ Момыш-Улы, вы?

— Да.

— Что у вас делается?

— Артиллерийская стрельба. Противник ведет огонь.

— Какой огонь? Что за огонь?

— Огонь серьезный, товарищ генерал.

— А поточнее? Поточнее! Вот что, товарищ Момыш-Улы, выходите на улицу. Вы же артиллерист. Взгляните своим оком, что там делается, понаблюдайте за разрывами. Потом мне доложите.

Перебросив через стеганку ремень своей неизменной шашки, я оставил наше штабное обиталище, в котором пока что все оконные стекла были целы, и вышел под открытое небо. У крыльца часовым стоял Гаркуша. Он взял на караул.

— Как немец? — спросил я. — В щель не загоняет?

— Нет. Терпеть, товарищ комбат, можно.

— Воюешь с морозом? — продолжал я.

— Точно. Часовой летом зной, зимой стужу стережет.

Миновав этого скорого на слово, неунывающего ездового, выйдя за калитку, я ступил на шоссе, крытое белым пухом, который близ обочины еще не был примят автомобильными колесами. В снегах, насколько хватал глаз, не видно ни пешего, ни конного. Деревня затаилась. На опушке, что темнеет в стороне, то и дело взблескивает белое пламя. Оттуда бьют на далекую дистанцию наши тяжелые орудия. Их выстрелы почти не слышны в треске и громе немецкого огня. Там и сям лопаются, рвутся бризантные гранаты и шрапнель.

Прислушиваюсь. Немцы по-прежнему грохочут залпами. Присматриваюсь. Вижу очень большое рассеивание, большой разброс. Кучных попаданий — самых опасных, эффективных, устрашающих, когда один подле другого гремят несколько разрывов, — кучных попаданий нет. В воздухе возникают клубки дыма, напоминающие вату. Однако таких клубков не много. Более часты дымные взбросы на снегу; они слишком низки; это препятствует пужному разлету пуль, начиняющих гранату. Подобные разрывы у нас, артиллеристов, называются «клевками». А чрезмерно высокие мы именуем «журавлями». Почти все немецкие снаряды — и бризантные для открытого поля и шрапнель для прочесывания леса — давали именно такие разрывы: или «клевок» или «журавль». Наш боевой порядок — цепочки одиночных окопов — был неплотным; неметкие, некучные удары немецкой артиллерии находили лишь редкую жертву. Да, пожалуй, напрасно в разговоре с Панфиловым я прибеж к выражению: серьезный огонь.

Вернулся в штаб, взял трубку, доложил Панфилову о том, что увидел на дворе. Наговорил всякой всячины: наверное, не только дельное, но и пустое. Казалось, чем больше ему наболтаешь, тем лучше. Иной раз это воспринималось как некое чудачество Панфилова. Ведь нас воспитывали: «Короче, короче!» Докладил, повернулся и ушел. А Панфилов слушал, интересовался, вытягивал мелочи, подробности.

— Большое рассеивание? А сколько метров? Ну примерно, приблизительно, товарищ Момыш-Улы.

Этот штрих характеризует Панфилова как знатока. Чем отдаленнее от цели артиллерийские позиции, тем больше разброс. Возможно, наш

передний край уже прорван, но немецкая артиллерия еще занимает позиции вдалеке, стреляет на пределе.

Несколько позже я сообразил, что в этот час была уже перерезана связь Панфилова с войсками, дравшимися впереди. Рассеивание снарядов, характер разрывов в Горюнах, всякие прочие признаки теперь отчасти заменяли ему связь, служили донесениями с фронта.

## 6

И вдруг весь этот артиллерийский стук и треск стал явственно стихать. Пальба немцев продолжалась уже не с такой активностью, как прежде. Снаряды рвались реже. Об этом тоже было доложено Панфилову. Я услышал, как он хмыкнул.

— Гм... Меняет позицию. Раньше он вас доставал кончиками пальцев, а теперь готовьтесь: попробует двинуть кулаком.

Время текло быстро. Приближался полдень, когда мне позвонил Заев:

— Товарищ комбат, усиленный обстрел из минометов.

— Что видишь?

— Немцы на опушке леса. На той стороне ручья. Шпалят минами. Не дают голову поднять.

Заев приостановился, ожидая моих слов. Доносилось его шумное дыхание. Что ему сказать? Неумно, бессмысленно стрелять на далекую дистанцию из винтовок под жестоким минометным огнем. Главное, надо сохранить людей. Приказываю:

— Притворись мертвым. А пойдут в атаку, стегани!

В это же время немцы подступили и к станции Матренино. Туда они тоже подтащили минометы, запалили по нашим окопам. Бойцы и тут прильнули к промерзшей земле, вжалась в неглубокие ямки. Исхлестав минами нашу реденькую, лепящуюся к станции оборону, немцы пошли в атаку. Их встретили огнем. Эта первая атака была легко отбита. Однако, откатившись, немцы точней засекли каждый наш окоп, каждую винтовку. И опять десятки стволов стали метать мины. Нет-нет; осколок залетал в окоп, врезался в теплое, живое тело. Раненые отползали по снегу к поселку, тяжелых выносили, вытаскивали на себе санитары.

Обо всем этом мне по телефону доложил Филимонов. Еще не закончив донесения, он вдруг оборвал себя на полуслове:

— Опять, товарищ комбат, идут.

В отличие от Заева, Филимонов ничем не выказал волнения, его тон был по-прежнему ровен. Издалека чувствовалась его твердость, решимость. Я сказал:

— Посылай связного к пулеметчикам. Пусть помолчат, подпустят ближе.

— Есть, товарищ комбат. Понятно. Отобьем!

Истекло лишь несколько минут, и Филимонов вновь докладывал:

— Отбросили, товарищ комбат. Как дали им огоньку, так они сразу отскочили.

— А сейчас что у тебя делается?

— Опять дубасят минами.

— Какие потери?

— Небольшие, товарищ комбат.

Я всегда ценил уверенность, спокойствие Филимонова. Он этим отлично воздействовал на солдат. Сейчас я ощутил, что он как бы опасается и за мою душу, заботится и о моем, что называется, моральном состоянии. Черт возьми, не много ли он на себя берет? Я раздраженно произнес:



— Что означает «небольшие»? Точнее!

— Есть! Выясню, товарищ комбат.

Вскоре Филимонов доложил, что рота потеряла убитыми и ранеными двадцать человек. Теперь тактика немцев у Матренина стала яснее. Они не хотят тратить живую силу, не хотят платить за продвижение цену большой крови. Вместо крови они согласны жертвовать временем. Но сколько же времени они отдадут нам за Матренино? Это нетрудно рассчитать. Они дважды сунулись, оба раза, напоравшись на огонь, тотчас отскочили и продолжали долбежку из леса, продолжали избивание минами моих солдат. Две долбежки — и мы уже не досчитываемся двадцати защитников станции Матренино. Надолго ли хватит солдат, что остались теперь в роте Филимонова? Еще десять подобных жестоких бомбардировок, и рота будет перебита. Когда это случится? Вряд ли сегодня. Но завтра в окопах у Матренина будут отстреливаться, сопротивляться лишь немногие последние бойцы. Верю, мы не запятнаем свою честь, воинский долг будет исполнен.

Нет, мой долг — выполнить задачу, удержаться до двадцатого. Но как же, как же я удержу станцию?

## 7

Опять звонит Заев!

— Два раза, товарищ комбат, дали немцу по носу. Отогнали от моста. А теперь шпарит минами. Терпежа нет, товарищ комбат.

— Сиди.

— К немцу, товарищ комбат, как будто подходят танки. Ясно слышен гул моторов.

— Сиди и не стреляй.

— А ежели опять пойдут на нас?

— Выдерживай, не стреляй, подпускай ближе, чтобы потом не могли возвратиться в лес. Понял? Объясни это бойцам.

Проходит еще некоторое время. Я втиснулся в глубокое кресло, смотрю в стену, думаю. Перед глазами все тот же узор на обоях: трилистники, похожие на парящих птиц. Рассматриваю распластанные крылья, закорючки-клювы. По-прежнему у косяка оконной рамы свисает до полу отодранная полоса обоев. Уже никто не поднимет этих оторванных птиц. Сажу молча. Молчат и все, кто находится в комнате штаба. Бесстрастный Рахимов, мой сидящий начштаб, что-то пишет, склонившись над столом. Бозжанов — его, как вы знаете, я про себя именую ходящим начальником штаба — уже обряжен в шапку и в шинель: готов выйти в любой миг, ждет моего слова, поручения. Толстунов, самый старший по званию среди нас, как бы нештатный комиссар батальона, сидит в шапке на кровати. Куда-то исчезла его привычная глазу независимая, вольная поза. Сейчас он не приваливается к спинке, корпус выпрямлен, отложной ворот шерстяной гимнастерки, нередко распахнутый, тщательно застегнут. Еще утром он сказал: «Давай поручения, комбат!» Чувствую: он, как и Бозжанов, готов к действию. Штаб ждет моего слова. Но мне нечего сказать. Думаю, молчу.

Вновь тонкий писк — так называемый зуммер — призывает к телефону. Беру трубку. Опять слышу будто запыхавшегося Заева. Из отрывистых фраз уясняю: немцы снова вышли из леса, они, вероятно, подумали «русс перебит», но все же, опасаясь ловушки, направились не на отметку, а в обход. Уже вот-вот клещи сомкнутся.

— Окружают, обходят, товарищ комбат. Два раза отбивал. Что прикажете, товарищ комбат?

Видимо, он ожидал, что я прикажу отступить.

— Держаться,— сказал я.

— Закроют проушину, товарищ комбат.

— Держаться, Семен! Пан или пропал!

Я и сам не знал, что хотел этим сказать: «Пан или пропал!» Но продолжал:

— Пусть окружают. Ни шагу назад!

Чик... Связь оборвалась, мембрана внезапно омертвела. Разговор с Заевым был пресечен на полуслове. Я крикнул:

— Тимошин!

Юноша лейтенант, начальник взвода связи, мгновенно появился из сеней. Он всегда находился под рукой и всегда был незаметен, словно стеснялся отвлекать меня от дум даже своим взглядом, присутствием.

— Тимошин, посылай людей! Восстанавливай связь с Заевым!

— Есть!

Это же воинское «есть!» читалось в его голубых глазах. Еще секунда, и он пробежал за окном.

Я позвонил Панфилову:

— Разрешите доложить. Рота на отметке два раза отбивала атаки. Теперь осталась в окружении. Связь с ней порвана.

Докладывая, я невольно допустил преувеличение. Ведь Заев мне сообщил, что коридор еще остался. Правда, за протекшие минуты немцы могли уже перехватить горловину. Нет, я обязан быть точным, обязан говорить своему командиру только истину. И поправил себя, сказал, что рота, быть может, еще не отрезана.

Панфилов похмыкал. Какой-то частицей души я втайне надеялся, что он произнесет: «Пусть пробивается, оставит отметку». Нет, он этого не произнес. Я продолжал:

— Идет бой за Матренино. Там немцы тоже два раза пытались подойти, были отбиты огнем. Ожидаю новой атаки. А в Горюнах спокойно.

— Спокойно?

— Да, товарищ генерал.

Горюны, эта наша крепостца, преграждавшая Волоколамское шоссе, были в тот день еще прикрыты отовсюду: слева ротами Филимонова и Заева, напрямик по асфальту — узлом обороны в селе Ядрово, справа — деревенькой Шишкино, где обретался штаб Панфилова. Я ожидал, что генерал скажет: «Отправьте роту из Горюнов на станцию», ожидал, что он найдет еще какую-нибудь роту, которую пришлет в Горюны. Нет, надежда и тут не оправдалась. Панфилов сказал:

— Сообщайте обо всем, товарищ Момыш-Улы.

И положил трубку.

## 8

Я вызвал к телефону Филимонова.

— Со стороны Заева береги себя.

— А что? Что там?

— Береги! Понял? Связи с ним не имею. Как дела у тебя?

— Земля дрожит. Но ничего. Держимся.

— Сколько еще потерял людей?

— Выясню, товарищ комбат. Доложу.

Опять мне показалось, он заботится о том, чтобы гнетущими вестями не поколебать, не смутить мой дух.

— Где раненные?

— Те, что могут, пошли к вам. А тяжелые тут, в поселке.

— Так... Посылаю тебе повозки для эвакуации раненых. Сейчас придут пять повозок.

Я полагал, что Филимонов воскликнет: «Куда пять, двух хватит!» Но он ничего не возразил. Черт возьми, неужели такие потери?!

Окончив разговор, я с тягостью на сердце еще постоял у телефона. Затем обернулся, сказал:

— Божжанов, сходи к Селезневу, пусть немедленно пошлет пять повозок к Филимонову, чтобы вывезти раненых.

У Божжанова вырвалось:

— Пять?

Он, мой чуткий общительный сородич, конечно, ощущал мою подавленность, понимал, каким мрачным было мое приказание. Тотчас поднялся Толстунов.

— Комбат, может, я схожу?

И опять глаз отметил: Толстунов стоял по-иному, чем обычно, не вразвалку. «Располагай мной!» — говорил его собранный вид.

— погоди, Толстунов. Сиди,— сказал я.

И вновь обратился к Божжанову:

— Возьми повозки и поезжай с ними на станцию. Побывай там, узнай, что делается, и возвращайся.

— Есть! — выдохнул Божжанов.

Его щеки, пополневшие в дни передышки, еще вчера лоснившиеся, осунулись, потеряли блеск за одно утро. Прирожденная улыбка покинула уголки губ. Стремительный, серьезный, он козырнул и вышел.

## 9

В комнате опять водворилось молчание. Толстунов снова присел на кровать, я опустил в кресло, невидящим взором уставился в стену.

Опять потекли думы. Заев окружен. У Филимонова выбивают бойцов одного за другим. Что же мне делать? Как удержусь до двадцатого?

Захотелось выйти из-под крыши, послушать на воле звуки боя, походить. Надев ушанку, перекинув через плечо ремешок шашки, я выбрался из нашей штабной избы, ступил на крыльцо. Вновь увидел часового. Теперь это уже был не Гаркуша. Но кто же? Съездившись, подняв воротник, отвернув лицо от ветра, низенький красноармеец держал ружье в обнимку. Уши низко нахлобученной шапки были опущены, подвязаны. Услышав мой шаг, он быстро обернулся, взял на караул. Джильбаев! Его втянутые смуглые щеки, короткий приплюснутый нос ложились на морозе.

Молча ответив на приветствие часового, я прошагал на шоссе.

С разных сторон слышались то заглушенные, то более явственные шумы боя. Частые глухие хлопки доходили от деревни Шишкино, где находился со своим штабом Панфилов. В ближнем лесу раздавались резкие выстрелы наших орудий. Там, над опушкой, в небе то и дело возникали ватные клубки шрапнели: немцы сверху прочесывали лес, стремились подавить батарею. Уже почти не было ни «клевок», ни «журавлей» — противник приблизил артиллерию. Порывы ветра доносили издали отчаянную стучогию пулеметов. Где-то впереди, за грядой леса, били наши противотанковые «сорокапятки». Со станции Матренино доходил слабый слитный гул минометного обстрела. А сюда, в Горюны, немцы теперь лишь изредка бросали один-другой осколочный снаряд. Там и сям на снегу чернели пятна разрывов. Кое-где и на белом шоссе виднелись неглубокие темные воронки.

Погруженный в думы, я пошел к перекрестку, откуда ответвлялась дорога на Матренино. Еще издали увидел: по этой нахоженной тропе

тянется вереница раненых. Некоторые едва ковыляют, останавливаются, снова плетутся. Я обождал у развилки.

Впереди брел Голубцов. Я не сразу узнал этого рослого солдата, запевалу батальона, который позавчера вечером на рубеже сильными ударами крошил, высекая искры, каленую землю. Шинель была наброшена внакидку. На сукне у ворота, близ плечевого шва, была заметна небольшая рванинка. Еще не потемневший свежий бинт охватывал странно неподвижную шею. Я окликнул его.

Остановившись, он с усилием слегка выпрямился. На обескровленном лице загар казался желтым. Глаза провалились. Вам известно: настоящий солдат может сказать мудрое слово. Случается — вы тоже это знаете, — что и раненые могут поднять дух. Нет, вряд ли на это я надеялся.

— Ну как там, Голубцов?

Он сплюнул. Розовый плевок лег на истоптанный снег.

— Как там? — повторил я. — Держим?

Голубцов ответил:

— Ежели так держать... — Он с хрипом передохнул. — Ежели так держать, значит не удержать.

И, тяжело ступая, пошел дальше.

### Так ловят хищных птиц

#### 1

Заглянув в хозяйственный взвод к Селезневу, приказав ему остановить любую машину, которая пойдет через Горюны в сторону Москвы, и посадить раненых, я вернулся в штаб.

На краю кровати по-прежнему сидел Толстунов, сидел таким же настороженным, как я его оставил. Из-за стола бесшумно поднялся Рахимов. Его губы не шевельнулись, не произнесли: «Разрешите доложить». С одного взгляда я понял: ничего нового, связь с Заевым не восстановлена, по рубежу роты Филимонова, как и раньше, хлещут минометы.

Кивнув Рахимову: «садись», я занял свое кресло. В ушах застрял потерявший звонкость голос Голубцова. Да, не удержу станцию. Минометы исподволь выбьют всех бойцов. Так держать — значит оставить. Не сегодня, так завтра. И сколько ни думай, нет возможности предотвратить нависающий исход. У нас, казахов, есть поговорка: если сердцу суждено лопнуть, пусть лопаается немедленно. Сидеть в бездействии, ожидая неминуемого, — это жгло, терзало меня.

Вошел в своих мягких сапогах повар Вахитов.

— Товарищ комбат, обедать.

— Не буду. Уходи.

Я знал, что мой штаб без меня не притронется к обеду, знал, что голодны и Толстунов и Рахимов, но не мог в этот час помыслить о еде.

Еще протекло несколько минут молчания.

— Рахимов, генерал звонил?

— Нет. Порыв линии, товарищ комбат.

У нас в армии за связь отвечают по принципу: сверху вниз. Начальнику принадлежат заботы об исправном действии линии, ведущей к подчиненному. Однако я вызвал Тимошина.

— Посылай бойца, помогай искать порыв на линии в Шишкино.

— Есть!

Одетый строго по форме — два ремешка протянулись крест-накрест по заправленной без морщиночки шинели, красная звезда на серой шапке поблескивала точь-в-точь над переносьем, — Тимошин ожидал моего «иди».

Я спросил:

— От тех, кто пошел к Заеву, никаких вестей?

— Никаких, товарищ комбат.

— Посылай к нему еще!

— Разрешите исполнять?

— Да. Идн.

Отчетливый легкий поворот, негрэмкий стук затворенной двери, и Тимошина уже нет в комнате.

2

Пожалуй, только в эту минуту я вполне осознал: у меня зреет решение отдать станцию.

Нет, нет! Не имею права! В мыслях я услышал низкий сильный голос Звягина: «Даже один шаг назад с этого рубежа был бы предательским, преступным». Нет, нет, не пойду на преступление! Пусть потеряю людей, не удержу рубеж, но не замараю честь.

Но кому она будет нужна, моя честь, если не исполню долг — мой последний единственный долг: удержаться до двадцатого... Не удержусь! Сейчас мне это ясно. Не сохраню людей, ничего не сохраню! Вновь, не в первый уже раз тут, на полях Подмосковья, припомнилось, как однажды вечером в Алма-Ате Панфилов мне сказал: «Умереть с батальоном? Сумейте-ка принять десять боев, двадцать боев, тридцать боев и сохранить батальон!» Но позавчера он, наш генерал, выговорил: «Вам будет тяжело. Очень тяжело». Выговорил, когда почувствовал, что я понял задачу. Товарищ генерал, как же мне быть, на что решиться? Я же не выполню, не выполню задачу!

Встал, прошелся, остановился у стола, на котором аккуратно, поракимовски, было разложено наше штабное бумажное хозяйство. Наклонился над картой. Вот станция Матренино с прильнувшим к ней поселком — несколько тесно сбежавшихся черных значков у слегка изогнутой нитки железнодорожного пути. Вокруг Матренина чистое поле среди зеленых пятен леса. Немцы в лесу — там их не достать, — мы на открытом ровном месте. Быть может, мне следовало бы расположить нашу оборону где-либо на опушках, тоже воспользоваться прикрытием леса? Держали бы на мушке подходы к поселку, просекали бы поле огнем. Поздно, поздно сожалеть об этом. И все-таки во мне затеплилась неясная надежда. Ведь если я прикажу Филимонову оставить станцию, его рота сможет не пустить немцев дальше, вот с этих опушек перекроет дорогу огнем. Удастся ли это? Возможно.

Нет, мне не позволено сдать станцию! У меня нет права на такой приказ! Но что же делать? Сложив руки ждать развязки?

Обратился к телефонисту:

— Проверь, штаб дивизии отвечает?

Телефонист стал упорно выкрикивать позывные штаба дивизии. Было без пояснений понятно: отклика нет. Он доложил:

— Ни шумка... Мертвое дело, товарищ комбат.

Я безмолвно повторил это невзначай вылетевшее у телефониста выражение. Мертвое дело... Неужели и впрямь так?

На столе среди прочих бумаг лежала красная книжка устава. Я машинально взял ее, раскрыл. И вдруг увидел на полях пометку Панфилова, три черточки карандашом. Прочитал отмеченные строки: «Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении уничтожить врага не достиг цели,

а тот, кто, боясь ответственности, остался в бездействии и не использовал в нужный момент всех сил и средств для достижения победы».

Прочел, положил книжку. Это был миг решения.

Я подошел к телефону, вызвал Филимонова:

— Ефим Ефимыч, ты? Что у тебя?

— Долбит... Наверное, скоро опять сунется. Хочет, думаю, смешать с землей и потом войти.

— Слушай мой приказ. Если сунутся, не надо стрелять.

— Как? Что?

— Не надо стрелять. Пусть будет так, как желает немец. Сдай станцию!

## 3

— Сдай станцию! — повторил я.

Смятение, колебания уже были выметены за порог — порог, что я переступил. Внутренний голос, предостерегавший: «Это противоречит приказу, ты не имеешь права», — был задушен, смолк. Военным людям, собратям по профессии, вряд ли требуется пояснение: командир должен потерять пять килограммов веса и состариться на пять лет, прежде чем принять такое решение.

В телефонной трубке прозвучало:

— Как? Как? Не понимаю.

— Думаешь, ослышался? Нет! Сдать! Бежать к мосту! Собраться там!

— Товарищ комбат, что вы говорите? Мы отбиваем, мы еще здесь устоим, а вы хотите сдать. Я... Я не...

Это был бунт Филимонова. Не стерпело, взбунтовалось его сердце кадровика-командира, коммуниста, пограничника. Ведь именно ему, ему и Толстуну, генерал-лейтенант Звягин напомнил, что сдача рубежа — преступление.

Я не дал договорить запнувшемуся Филимонову:

— Вы слышали мой приказ? Повторите.

Молчание. Филимонов не повторяет приказа.

— Повторите.

Филимонов нехотя произносит:

— Сдать станцию...

— Да. Бежать, драпать к мосту.

— Есть.

Ну есть, так есть. Я кинул трубку. В ту же минуту Толстун, все время сидевший как бы наготове — в ушанке и в шинели, — безмолвно поднялся и пошел к двери. Я не обменивался с ним мнениями, ни с ним, ни с кем другим, приказывал как командир-единоначальник.

— Куда ты? — спросил я.

— В Матренино.

Он не сказал больше ни слова. Еще миг я смотрел ему в спину. Мускулистая бритая шея была выпрямлена, в поставе головы читалась решимость. И шаг был увесистым, твердым. Подумалось: «Это пошел комиссар. Вот за ним стукнула дверь».

Я постоял еще минуту молча. Чем закончится этот денек? Что стало с ротой Заева? Как обернется бой в Матренине? Чуть брезжущая, смутная надежда — не обманет ли она меня? Как, где встречу вечер? Под арестом? Под судом? Что ж, готов к этому. Перед совестью я чист. Своему долгу, своей совести я не изменил. Совесть и страх. Да, не всем ведомый, особый страх командования, ответственности — той ответственности, о которой сказано на помеченной карандашом Панфилова страничке устава. Совесть и страх. Вот как они дрались!

Посмотрел на Рахимова.

— Ну, Рахимушка, сдаем станцию. Может, тебе придется командовать батальоном вместо меня...

Учтивый Рахимов хотел сказать что-то приличествующее случаю, но я остановил его взглядом.

— Если придется командовать вместо меня, то будешь иметь бойцов. Пока они живы, можно воевать.

## 4

Я молил бога, чтобы подольше не восстанавливалась связь со штабом дивизии. Сначала пусть исполнится мой умысел, потом доложу о совершившемся. Но все же заставил себя опять обратиться к телефонисту:

— Чего дремлешь? Вызывай, вызывай Заева! И штаб дивизии.

— Да они, товарищ комбат, давно бы и сами сюда гукнули.

— Не рассуждать! Вызывай, если приказано.

В комнате опять настойчиво, несчетно зазвучали условные словечки — позывные. Нет, Заев не отвечал. Линия в штаб дивизии тоже еще оставалась порванной.

Я сказал Рахимову:

— Езжай в Матренино. Выбери место для наблюдения где-нибудь около моста. Бери телефонный аппарат и обо всем, что увидишь, сообщай мне. Рота должна дать драпака и собраться у моста. Понял?

— Да. Есть, товарищ комбат.

Рахимов взял под мышку одну из запасных коробок полевого телефона и вышел. Его докладам я мог верить, как собственному оку, он всегда был неукоснительно точным. Минуту спустя я в окно разглядел, как он вскочил в седло и почти с места бросил коня в галоп.

Вот со мной уже нет и Рахимова. Почему сам я не поехал? Во-первых, я отвечал за все три узла, за всю оборону батальона. И кроме того, вскоре мне предстоял еще один бой — разговор с генералом. Как я доложу, как ему признаюсь? Получу ли его благословение или... К черту из мыслей это «или»!

Рахимов наконец доскакал. Его телефон подключен к линии.

— Что видишь?

— Противник бьет минами по рубежу.

— Сильный огонь?

— Да. Непрерывные разрывы.

Я вызвал Филимонова, свел его на проводе с Рахимовым.

— Рахимов, ты нас слышишь?

— Да.

— Филимонов! Объявил мой приказ бойцам?

— Еще нет. Не успел, товарищ комбат.

— Ах ты... — Я, пожалуй, впервые за все дни боев вслух вспомнил мать и бабушку. — Если ты набрался смелости так поступать, пошло Рахимова, чтобы трахнул на месте за неисполнение боевого приказа. Рахимов, слышишь? Расправись с ним без разговоров! Филимонов, слышишь?

Убитый, неуверенный голос Филимонова:

— Да.

И вдруг в мембране еще один голос:

— Товарищ комбат?

А, вмешался Толстунов. Почему-то он назвал меня официально «товарищ комбат». Кажется, еще никогда он ко мне так не обращался.

— Товарищ комбат, я здесь, у лейтенанта Филимонова. Ваш приказ будет исполнен.

Ясно, твердо Толстунов выговорил эти слова.

— Где Бозжанов? — спросил я.

— Тоже тут. На рубеже.

— Берись, Федор Дмитриевич. Проведи этот... — Я запнулся, ища выражения. Маневр? Нет, смутно мерцавшую надежду я еще не мог назвать маневром. — Этот отскок. И держи вожжи. Проведи вместе с Бозжановым.

— Зачем? Это проделает командир роты. Подменять его не буду.

Так незаметно, спокойно Толстунов меня поправил. Я с ним молча согласился.

Жду... Жду, что сообщит Рахимов. Скорей бы немцы шли в атаку. Если сердцу суждено лопнуть, пусть лопается тотчас. Скорей бы отдать станцию, пока не позвонил Панфилов. Что ему скажу? Как ему скажу?

## 5

Бог не внял моей мольбе. Телефонист радостно выкрикнул:

— Товарищ комбат, есть штаб дивизии!

Ну, пришло время открыться, поведать все Панфилову. А дело еще не свершилось, станция еще не сдана.

— Вызывай генерала.

— Разом, товарищ комбат... Генерал у телефона, товарищ комбат.

Я взял трубку. Она будто потяжелела, будто отлита из чугуна. Неожиданно услышал в мембране голос Звягина:

— Кто говорит?

Я оторопел. Готовность сообщить свое решение мгновенно была подсечена. Я испугался. Отдать немцу село не испугался, потерять честь, встретить казнь не испугался, а вот перед Звягиным смешался. Ощутил — не выговарю истину.

— Докладывает старший лейтенант Момыш-Улы.

— А, обладатель шашки... Ну что у вас?

— Противник захватил станцию Матренино.

— Что? — прогремело в трубке.

— Рота не могла удержать. Она несла потери под губительным огнем. Поэтому...

— Кто вам позволил?!

Громовой голос бил в ухо. Однако тотчас Звягин заговорил ледяным тоном:

— Сдайте командование начальнику штаба и явитесь в штаб дивизии.

— Я не могу сдать командование. Я здесь один.

— Как только придет начальник штаба, сообщите ему, что вы больше не командуете батальоном. И немедленно отправляйтесь в штаб дивизии. Здесь с вами поговорю.

— Не знаю, удастся ли пройти засветло.

— Явитесь с наступлением темноты.

И трубка брошена. Слава богу, получил три-четыре часа отсрочки. Опять заглянул в душу. Ответ будет нелегко, но я к нему готов. Минутная растерянность ушла без следа. Да она длилась лишь минуту. А потом? Некогда про это думать. Я был уже захвачен своим замыслом, погружен в него, объят его огнем.

## 6

Вновь позвонил Рахимов.

— Товарищ комбат...

~ Ну?



— Немцы прекратили огонь. Идут в атаку.

— А наши?

— Наши побежали. Бегут без оглядки.

Рахимов доносил сдержанно, скупое, но если вы будете рисовать картину, которую он видел, то надо дать подлинное бегство, безудержный, беспорядочный «драп». Поймите солдата. Целый день под жутким обстрелом лежишь в мерзлом неглубоком окопе, жмешься к стенкам, к жесткому донцу этой ямки, слушаешь, как с угрожающим гудом низвергаются мины, ловишь глухой взрыв, свист разлетающихся кусков рваного железа, невольно оглянешься, увидишь отползающих к поселку раненых, пятна крови на бинтах, ждешь, что вот-вот какой-нибудь осколок врежется и в твое тело. Нервы так натянuty, что один повелительный крик «назад!», пример командира отделения, командира взвода, кинувшегося вспять из своего окопа, мгновенно высвобождает подавленное дисциплиной и сознанием долга естественное человеческое стремление уйти, убежать, вырваться из этого ада.

Не ограничивайте себя, дайте резкие мазки. Бегство гурьбой во все лопатки; тяжелый тонот; рты хватают воздух; скорее, скорее прочь отсюда!

По донесениям Рахимова слежу за бегущей толпой. Бойцы приближаются к мосту. Крепыш Толстунов обогнал многих, выбрался вперед, не постеснялся своего звания, превратился в жокака. Остановятся ли мои люди у моста? Не пронесутся ли с помутненными глазами дальше, не рассеются ли по лесу?

Остановились!

Потеряли свои взводы, отделения, но остановились — исполнили команду. Кто сел, кто лег в изнеможении. Ни одна мина, ни одна пуля не залетает сюда, под мост и за железнодорожную насыпь, к которой почти вплотную подступил строй елок.

Слушаю дальше сообщения Рахимова. Передовая группа немцев заняла станцию. Затем остальные вытянулись в ротные колонны и вступили в поселок. Туда полем, проминая тонкий покров снега, проехало и несколько мотоциклеток, вооруженных пулеметами.

Опять запищал телефон. На этот раз позвонил Панфилов.

— Товарищ Момыш-Улы, что там у вас произошло?

— Сдал станцию.

— Как же это? Почему?

По жилке провода дошла и хриловатость Панфилова, сейчас более явственная, чем обычно. Легко было догадаться: он расстроен, огорчен.

— Люди бежали в беспорядке. Я так приказал.

— Вы приказали?

— Да. Иначе потерял бы роту.

— Гм... Гм... А дальше? Как думаете? Что дальше?

— Думаю контратаковать. Разрешите, товарищ генерал, вернуть станцию контратакой.

— Гм... Вы же достаточно грамотны, товарищ Момыш-Улы, и должны понимать, что люди, которые только что бежали с поля боя, сейчас не способны к контратаке.

— У меня, товарищ генерал, все-таки есть надежда.

На память пришли слова Панфилова, его напутствие. Я повторил его фразу:

— Надежда согревает душу. Разрешите, попробую.

— Попробуйте... — В голосе, однако, звучало сомнение. — А дорогу держать сможете? Держать огнем?

— Да.

С минуту генерал помолчал.

— Что слышно на отметке?

— Нет связи. Посланы связные.

Я ожидал, что Панфилов обмолвится хоть словом о приказе Звягина. Да, он сказал:

— Вечером я вас увижу. До свидания.

Все было понятно. Надо исполнить приказ заместителя командующего армией. Ты, Баурджан, отрешен. Сдавай командование. Что же, чему быть, того не миновать.

## 7

Рахимов продолжал сообщать мне обо всем, что видел и о противнике и о нашем стане у моста.

Немцы заняли поселок. Разошлись по домам. И немедленно начался разгул завоевателей. Они стали охотиться за курами, гусями, пороссятами.

— Рахимов, передай Филимонову: собрать людей, привести в порядок.

— Люди в сборе, товарищ комбат.

Рахимов докладывал, и во мне трепетала радость. Ненависть и радость. Оправдывалась, оправдывалась единственная моя надежда.

Я приказал:

— Пусть люди залягут на насыпи и смотрят.

Некоторое время спустя Рахимов кратко сообщил:

— Рота в порядке, товарищ комбат.

— Сколько бойцов?

— Приблизительно сто двадцать.

— Что у немцев?

— Наверно, уже потрошат кур, свиней. Сейчас будут класть на скорородку.

— Подождем... Подождем, пока не станет красным клюв.

— А-а... Понимаю, товарищ комбат.

Вот когда он ухватил то, что я замышлял. Знаете ли вы, как ловят хищных птиц? Сын Средней Азии, ее гор и степей. Рахимов это знал. Хищная птица, кидаясь на жертву, раздирает мясо и жадно клюет. Свежая кровь опьяняет хищника. Птица запускает клюв все глубже и наконец окунает до поздрей. Такова ее жадность. Весь клюв делается красным. Пернатый разбойник уже ничего не чувствует, не смотрит ни направо, ни налево. Как только закроется до того, что окунет ноздри, так цап его — и готово! Надо лишь дать время, чтобы клюв окрасился кровью от кончика и до основания.

Враг, захвативший Матренино, запускал клюв все глубже. Логика противника была проста: русс не стерпел, удрал, а раз удрал, значит не вернется. Меня подмывало отдать приказ о контратаке. Нет, надо выдержать, выждать.

— Рахимов, что нового? Где Толстунов?

— Здесь. В роте, товарищ комбат.

— Божжанов?

— Тоже с бойцами.

— Ну, Рахимушка, слушай мой приказ. Разделиться на три группы по сорок человек! Одну поведет Толстунов, другую — Божжанов, третью — Филимонов. Пусть по опушке обтекают станцию. Ворваться с трех сторон! Бойцам сказать: лети вперед, винтовка наперевес, гранаты под рукой, на бегу стреляй и кричи «ура»!

— Товарищ комбат, разрешите передать трубку лейтенанту Филимонову.

Теперь и Рахимов деликатно выправлял меня. Что же, у нас, как вы знаете, это повелось: чего я не сказал, договорил начальник штаба. Конечно, следовало найти несколько сердечных слов для командира роты.

— Ефим Ефимыч, ты? Рахимов тебе передал приказ?

— Но как же, товарищ комбат? Там ведь батальон.

— Да. И мы их разгромим.

Мелькнула мысль: не следовало ли загодя разъяснить ему маневр? Но раньше и мне самому этот маневр далеко не был ясен, мерцал, как туманная мечта. Теперь я повторил:

— Разгромим. Не дадим опомниться.

— Вы думаете, товарищ комбат, удастся?

Филимонов еще продолжал спрашивать, но в голосе пробивалась радость.

— На то и бой. Надо сделать так, чтобы удалось. Отплатим им, Ефимушка! Создавай три группы! Главное командование принадлежит тебе. Божанов и Толстунов — твои помощники. Ну, Ефимыч, с богом!

## 8

Темные шеренги деревьев с молодью в погах — хвоя, не облетевший еще дуб, оголенный осинник, береза — отовсюду посматривают на обширную заснеженную поляну, прорезанную слегка изогнутым железно-дорожным полотном. Возле станционных построек раскинулись добротные, а то и щеголеватые домики поселка. Опушка кое-где далека, в других местах край леса подходит к станции совсем близко: на двести—двести пятьдесят метров.

И вот три отряда, по сорок человек, крича «ура», стреляя, понеслись к деревне. Снег не мешал мчаться. Толщина покрова была как раз такой, что он лишь слегка проминался, пружинил под сапогом. Пока немцы опаматовались, наши уже добежали, ворвались.

Рахимов подробно обо всем докладывал. Сейчас скуповатость на слово оставила его.

— Застигли, товарищ комбат, до того внезапно, что немцы ошалели.

Поистине, это был громовой удар, гром с ясного неба. Неожиданность отняла разум. Наверное, паника подняла прямо из кроватей. Некоторые держали в руках брюки. Так в нижнем белье, в исподниках, и выбегали.

Когда слушаешь такой доклад, по телу струятся приятные мурашки. Улыбка раскрывает губы. Хочу и не могу ее сдержать.

Панфилов не звонит. Очевидно, решил меня не дергать. И до поры до времени не волновать. Но позвонил капитан Дорфман. Его голос суховат:

— Доложите обстановку.

Отвечаю:

— Ничего не могу доложить. Связь порвана. Ничего не знаю.

— Немедленно восстановите.— Он, учившийся каждодневно у Панфилова, тут же исправил это свое «немедленно»: — Через четверть часа выясните обстановку.— И добавил мягче: — Примите все меры, чтобы восстановить связь.

— Слушаюсь.

Опять разговариваю с Рахимовым.

— Ну, Рахимушка, докладывай.

— Резня, бойня, товарищ комбат. Немцы, кто уцелел, кинулись со станции. Бегут врассыпную, спасайся, кто может! Э, товарищ комбат, их еще много. Побежали в лес. К насыпи. В свободную сторону.

— А наши?

— Преследуют. Гонят по пятам.

Впоследствии по множеству рассказов были восстановлены различные эпизоды, подробности этого боя. Нагрянувшие, учинившие страшную расправу-мечь красноармейцы будто отведали, хлебнули напитка по имени «дерзость». Стихийно, без команды, они понеслись вслед за бегущими. Преследуя, наши стреляли на бегу — стреляли с толком и без толка, — приканчивали оставших.

Провод по-прежнему соединял меня с Рахимовым, уже перебравшимся в поселок.

— Рахимов, верни на станцию хоть половину роты! Закрепляйтесь! Какая-нибудь неожиданность может все перевернуть.

— Ничего не могу сделать, товарищ комбат. Все гонятся за немцами. Даже Филимонов.

— Посылай связного! Останови! Верни!

Широкая полоса в поле по пути бегущих там и сям была уже устлана — я знал это из сообщений Рахимова — трупами в большинстве без шинелей, в серых немецких кителях или в нательных рубашках.

Повторяю: два часа назад мы тоже задали «драпака», уносили поги. Однако наше бегство было вызвано приказом, было преднамеренным, а теперь враг удирал, обезумев. Это надо различать. Когда противник панически бежит, в преследовании даже самый боязливый или неопытный солдат обретает удачу.

Вместе с оравой, в какую превратился немецкий батальон, бежал без фуражки командир этого батальона, потерявший управление здоровяк капитан. Он кричал «хальт!», взмахивал пистолетом, пытаясь остановить, повернуть против нас своих людей. Их еще было немало. Однако власть командира, выкрики «стой!», угрозы, даже, возможно, расстрелы в затылок на бегу за неподчинение уже не действовали.

У нас вырвался вперед вчерашний московский школьник, боец-новичок Строжкин. Помните, он однажды мельком появился в нашей повести... Канунный вечер. Красноармейцы рубят тяжелый, мерзлый грунт. Робкий голосок: «Такой окоп разве спасет?»

И вот парнишка Строжкин сумел на крутом откосе железнодорожной насыпи догнать капитана. Охотники знают, что удирающего матерого волка даже и одногодовалая собака хватает за уши, за холку. Это сделал и Строжкин: цапнул волка. Именно цапнул. В руках юноши випство — сумел поймать подол шинели и потянул к себе. Физически крепкий — поистине матерый, — капитан обернулся, узрел тонкокостного юнца с пушком на нежной коже, отбросил разряженный, ненужный пистолет и, взбешенный, кинулся на Строжкина, свалил и стал душить. Судорожно сопротивляясь, Строжкин успел, наверное, подумать: «Зачем я в него не выстрелил?» Это горькое, позднее сожаление бойца. Но не умирать же! Напряг силы. Рывок. Удар коленом в пах. Крутизна откоса помогла. Немец потерял точку опоры. Оба покатились вниз. Катясь, переворачиваясь, москвич изловчился, боднул немца в глаз. Капитан взревел, схватился за лицо. Строжкин вскочил, бросился к своей винтовке. На выручку уже подоспели наши. Строжкин — теперь это был другой человек, герой, богатырь — по праву крикнул:

— Не трогать его! Я его взял!

Он вывернул у пленного карманы, отобрал полсую сумку, нашел, поднял пистолет — парабеллум, сунул за свой пояс. И повел в Матренино стонущего, окровавленного капитана.

Другие бойцы тоже стали возвращаться. Строжкин остановил плен-

ного, подождал идущих. Тоненький, едва познавший бритву, он набрался такого молодечества, что гаркнул:

— Кто велел идти назад? Только вперед!

Издали ему крикнул Филимонов:

— Строжкин, не командуй!

Отмечу ещё один небольшой эпизод этого быстротечного боя. Немцы мотоциклисты успели завести моторы и дунули из деревни по своему прежнему следу. Это предугадал командир отделения Курбатов, в мирные дни владелец мотоциклета. Он на краю поселка стерег этот проложенный след. И не упустил жданную минуту. Хладнокровно, меткими выстрелами он снял четырех немцев водителей, удиравших на машинах.

Держа трубку, я внимал донесениям Рахимова.

— Трупов очень много, товарищ комбат. Идет подсчет. По-видимому, мы перебили больше половины батальона. Ушла меньшая часть. Взятые трофеи: документы, исправные пулеметы, патроны, много личного оружия, мотоциклы, минометы с боезапасом мин.

Я упивался: минометы! Те самые, которыми противник согнал нас с рубежа. Теперь они послужат нам.

Ну, теперь можно звонить генералу.

Надо лишь унять ненокорную улыбку, овладеть собой, чтобы доложить спокойно, деловито.

## 10

Панфилов все же не выдержал, позвонил сам.

— Ну, как у вас, товарищ Момыш-Улы?

Заставив себя обойтись без единого восклицательного знака, я кратко изложил события: рота Филимонова с трех сторон вторглась в Матренино; значительная часть немецкого батальона уничтожена; остатки бежали; командир батальона взят в плен.

У Панфилова вырвалось:

— Как? Как? Командир батальона?

— Так точно. Кроме того, захвачены трофеи: пулеметы, минометы, мотоциклы. В данный момент рота вновь закрепляется на станции.

— Что вы говорите? Вы это проверили?

— На станции, товарищ генерал, находится начальник штаба лейтенант Рахимов. Доносит мне оттуда. Сейчас идет подсчет убитых немцев и трофеев.

— Ну, товарищ Момыш-Улы, это же... Это же...— Панфилов приостановился. Очевидно, и он удержал себя от каких-то высоких слов.— Ей-ей, нынешний день по-новому нас учит грамоте. Передайте великое спасибо всем бойцам и командирам!

— Есть!

— Что со второй ротой?

— Не знаю, товарищ генерал. По-прежнему нет связи.

— Гм... Возможно, бродят в лесу. Пошлите туда ваших людей. Обязательно одного-двух политруков. Надо собрать тех, кто бродит. Побойтесь об этом, товарищ Момыш-Улы. Дорожите каждым десятком солдат. Каждый десяток, если он организован,— очажок сопротивления.

— Слушаюсь. Пошлю.

Помолчав, Панфилов сказал:

— До свидания.

Что же, я понял и это. Признаться, я надеялся, что мне уже не придется передавать командование и являться в штаб дивизии. Однако Панфилов об этом не заговорил. Действительно, ведь приказание исходило от старшего начальника. Значит, я все же обязан, как только стемнеет, покинуть батальон, предстать перед строгими очами Звягина.

Из Матренина позвонил Филимонов. Он доложил: уже сосчитаны вражеские трупы, их число превысило две сотни. Наши потери в этом налете — восемнадцать раненых. Ежеминутно обнаруживаются новые трофеи: лошади, повозки, продовольствие, офицерские чемоданы, солдатские ранцы, парабеллумы, бинокли, множество плиток шоколада, много французского вина.

— Французского? — переспросил я.

— Точно... И опять тут, товарищ комбат, отличился Строжкин. Гляжу, держит бутылку, пьет из горлышка. «Строжкин, что ты делаешь?» А он: «Э, квас!» — и расшиб бутылку о приклад. А на ней ярлык — «Бургундское, 1912 года».

В трубке раздался непривычный мне хохот Филимонова. Было странно слышать мальчишеские высокие нотки в этом смехе сурового кадровика-командира.

— Ефим Ефимыч, сам ты не хватил?

— Ни-ни. Не до того. Вечером отведаю.

— Гляди, чтобы народ не перепился.

— Гляжу. Сейчас, товарищ комбат, грузим повозки, отправляем вам. Разрешите, товарищ комбат, организовать учебу.

— Какую учебу?

— Изучим немецкое оружие, пулеметы, минометы.

— Дельно! Скажи Рахимову, чтобы дал первый урок. Потом пусть идет в штаб. Людям объяви: генерал приказал передать великое спасибо всем бойцам и командирам.

Филимонов выкрикнул:

— Есть! Служим Советскому Союзу!

Опять — правда, не совсем к месту — он залился ребяческим смехом. Видимо, волнение, которое он пережил, находило выход в этом смехе.

— Оберегай себя со стороны Заева. От него нет вестей. Оттуда в любую минуту могут выйти немцы. Предупреди бойцов! Понятно?

— Понятно, товарищ комбат.

— Позови Толстунова.

Почти тотчас я услышал в трубке знакомый басок:

— Комбат?

— Федя, генерал приказал всех благодарить. А тебе еще и товарищеское отдельное спасибо. От меня.

— Что ты, Баурджап? К чему?

— Ну, хватит об этом. Теперь вот что. С Засвым нет связи. Его последнее донесение: «Обходят». С тех пор прошло уже больше двух часов. Генерал сказал: надо идти в лес собирать тех, кто, быть может, бродит. Возьми с собой Бозжанова, возьми нескольких бойцов и держи путь на отметку. Буду тебя ждать. Без тебя не уйду из батальона.

— Как? Куда уйдешь?

— Расскажу, когда вернешься... Посматривай, чтобы не нарваться на противника. Значит, буду тебя ждать.

— Понятно... Ну, я, комбат, пошел.

## 11

Потянуло на воздух, захотелось минуту-другую пошагать.

На воле было еще совсем светло, хотя бледный кружок солнца, различимый за пеленой облаков, уже приблизился к гребешку леса и стал чуть желтоватым.

Беспорядочная барабанная дробь боя еще не пошла на спад. Гремящие залпы, глухие хлопки, жесткие выстрелы башенных орудий, негромкое, схожее с туканием топора, постукивание противотанковых пу-

шек, скороговорка пулеметов, слабо доносящийся треск ружейного огня — эти звуки, будто перекатываясь, в одном направлении притихали, взметывались в другом. В поле у Горюнов то и дело рвались одиночные, возможно случайные, снаряды. По правую сторону не часто, но размеренно бухали неблизкие разрывы — противник, по-видимому, упорно обстреливал деревню Шишкино, где обретался штаб Панфилова.

Поразмявшись, я снова ступил на крыльцо, миновал сени, отворил дверь в комнату штаба. И сразу увидел обернувшегося ко мне телефониста. Показалось, он только что умылся, посветлел. Живо вскочив, он протянул трубку.

— Товарищ комбат, на проводе лейтенант Заев.

— Заев?

Телефонист улыбался, утвердительно тряс головой. Он все понимал, все переживал вместе с нами. Я схватил трубку.

— Семен?

И тотчас услышал захлебывающийся говорок Заева:

— Товарищ комбат, имеем одну автомашину, три танка, тягач...

— Погоди. Ты откуда говоришь?

— С отместки. Из своего блиндажа... Имеем пушки... Вышли, товарищ комбат, панами... Мои львята! Гренадеры Советского Союза!

Вы знаете, Заев любил подобные неожиданные выражения, несколько книжные, но согретые искренностью, пылом. Я слушал и почти ничего не понимал. Однако решил не перебивать. Пусть изливается. Доберется и до обстановки.

— Я уж, товарищ комбат, и не мечтал, что будем живы. Получилось диво дивное!

Чик! Опять провод перебит, наверное шальным осколком.

Черт возьми, кого же послать к Заеву? Под рукой, как это нередко случалось и прежде, оказался Тимошин. Он сидел вместе с дежурными связистами в соседней комнате, где был оборудован батальонный узел связи. Все мгновенно поднялись, как только я вошел. Я невольно отметил: ясные глаза Тимошина глядели на меня необычно. К знакомой преданности добавилось что-то еще. Он словно бы заново меня рассматривал. В ту минуту я не понял, что говорил его взгляд.

— Тимошин, бери коня, лети к Заеву! Выясни, что у него делается, и скажи обратно!

— Есть!

Вернувшись к себе, я позвонил Панфилову.

— Товарищ генерал, пока еще в точности не знаю, но, кажется, нам посчастливилось и на отметке.

— Роте Заева? Да? Что же вам известно?

— Противнику не удалось окружить роту. Что именно произошло, понять не мог, связь оборвалась. Взяты трофеи. Доложу точней, как только выясню.

— Помогай бог! Помогай вам бог, товарищ Момыш-Улы.

Вскоре все выяснилось. Прискакал Тимошин, за ним быстрым шагом — нога легка, когда идешь со счастливой вестью, — пришли Толстуннов и Бозжанов, да и связь с Заевым восстановилась.

Итак, Заеву был дан приказ: пан или пропал. Конечно, какой это приказ? Боем, который вела вторая рота, «гренадеры Советского Союза», по восторженному выражению Заева, этим боем я не управлял. У Заева было колебание, я пресек. И еще сказал: «Притворись мертвым!» Вот, собственно, и все, что тут сделал я.

Когда бойцы Заева прикинулись мертвыми, замерли в окопах, открытых на вырубке-высотке, немцы, обойдя этот бугор, вышли на дорогу. К мосту подползли восемь танков. Здесь они остановились, надле-

жало проверить, не заминирован ли мост. Из первых трех машин вылезли танкисты, начали осмотр. Пехота, сопровождавшая эту немецкую бронеколонну, перебежала замерзшую речонку и, развернувшись в цепь, с автоматами на изготовку, стала взбираться на бугор. Шли, не теряя осторожности, прочесывая кустарник. Замершие бойцы видели: немцы сейчас подойдут, сейчас уничтожат.

Инстинкт самосохранения напряжен. Еще минута, десяток-другой шагов — и гибель! И как только Заев гаркнул: «Вперед!», бойцы единым махом поднялись в контратаку. Пожалуй, лишь в подобный критический момент, когда каждый нерв кричит: сейчас, сию секунду все решится, будешь ли жить или погибнешь, лишь в такой момент возможен этот страшный, внезапный бросок.

Крик Заева, его команда — мгновенный спуск натянутой до отказа тетивы. Или, вернее, туго сжатой пружины. Дернуть чеку — пружина змиг распрямляется. Когда будете писать, дайте резкими чертами не только отдернутую чеку — приказ, но и главное — пружину.

«Мертвецы» поднялись и ринулись вперед, ринулись со склона. Это все равно что взрыв, пламя в лицо. Хоть ты и осторожен, все же будешь ослеплен, ошеломлен. Немцы шарахнулись. Воскресшая рога, рванувшаяся к мосту, расправилась с ними, заставила сломя голову бежать. Полегли, пронзенные нашими пулями, и девять танкистов на мосту. Другие танки открыли пальбу. Но наши бойцы уже вышли к речонке. Прикрываясь береговым обрывом, они стали метать противотанковые гранаты и бутылки.

Оставшись без пехотного прикрытия, танки, стреляя на ходу, отошли.

Рота Засва уложила около сотни врагов. Были захвачены три опустевших танка. Внутри бойцы обнаружили жареных кур, женское белье, туфли, шерстяные отрезки, всякую всячину. Нам досталось и семидесятипятимиллиметровое орудие с тягачом и со снарядами. Застряла в кювете, была брошена и одна легковая машина с походной радиоаппаратурой. Немцы успели напоследок подорвать мотор.

Отшвырнув противника, испятнав снег вражеской кровью, торжествуя удачу, рота Засва заняла свою прежнюю позицию.

## 12

Уже подступил вечер, когда наконец собрался мой штаб.

В доме стало шумно. Голоса были непривычно громкими, в гости пришел и не уходил смех. Радость победы вторглась в комнату, преобразила ее. Серые обои, прежде навевавшие мрачность, теперь, несмотря на сумерки, будто засребрились.

Из Матренина уже привезли трофеи — пистолеты, бинокли, чемоданы, ворох документов, сигареты, сласти, вино. Трофеями были завалены и стол, и кровать, и подоконники, и угол комнаты. То и дело хлопала дверь. Входили без разрешения связные, телефонисты, подчаски, бойцы хозяйственного взвода, коноводы.

Разрумянившийся Рахимов отдавал распоряжения. Я стоял, ни во что не вмешиваясь. Счастье переполняло меня. Мое состояние понимали и разделяли сотоварищи-воины, породнившиеся со мной в испытаниях. Голстунов посматривал на меня с нежностью. Божанов обращался ко мне с детской почтительностью. Теперь мне открылось, что означал внимательный, долгий взгляд Тимошина. «Ты совершил подвиг!» — говорили его юные глаза.

Еще никогда мне не случалось с такой остротой познать и страх командования и радость командира. Даже слегка ломило грудь, счастье не вмещалось в грудной клетке.



## Последняя встреча

## 1

Я сказал:

— Всем выйти из комнаты! Старшего политрука Толстунова прошу не уходить.

Минуту-другую длилась толчея в дверях. Затем я остался наедине с Толстуновым. Его шапка и шинель уже висели на гвозде. Отложной ворот гимнастерки был по-домашнему расстегнут. Выпроваживая товарищей, Толстунов со спокойной небрежностью пошучивал, улыбка то и дело прохаживалась по его остроносому лицу, трогала тугие губы. Однако сейчас к нему возвратилась серьезность.

— Что же случилось, Баурджан?

Не таясь, я выложил все. Приказом генерал-лейтенанта Звягина я отрешен от командования. Должен явиться в штаб дивизии. Хочу верить, что дело кончится добром, знаю, что моя честь и моя жизнь спасены, но... Приказ есть приказ. Кто знает, чего мне ждать от Звягина.

— А наш генерал?

— Не сказал про это ни полслова. Только пожелал: «Помогай вам бог, товарищ Момыш-Улы».

— Ты еще никому не говорил, что отстранен?

— Никому, кроме тебя.

— И не говори.

— Все же я сюда, возможно, не вернусь. Ежели выпадет такая судьба, я рад был бы знать, что ты принял батальон.

— Брось эти думки. Вернешься.

— Говорю на всякий случай. Хотел бы видеть тебя командиром батальона. Тогда, что ни приключись, был бы спокоен.

— А Рахимов? Ведь по должности ему положено заменять командира.

— Федя, я это обдумал. Командир — человек творчества. Война — искусство. Одной исполнительности недостаточно, чтобы командовать. Знать — это еще не все. Надобно делать. Надобно сметь! Рахимов будет отличным помощником тебе. Я попрошу, чтобы ты меня сменил. Генерал с моей просьбой посчитается.

— Ей-ей, ты будто собираешься наовсе. Вернешься же!

— Не знаю. Говорю на крайний случай. Хочу, чтобы душа была спокойна.

— Ладно. Не подведу.

Я крепко пожал жестковатую широкую ладонь Толстунова. Затем отворил дверь, кликнул своих штабников. Они вошли.

— Товарищи, я вызван в штаб дивизии. Меня временно будет заменять лейтенант Рахимов. В батальоне остается и старший политрук Толстунов. Уважайте его авторитет! Авторитет воина! Товарищ Рахимов, понятно?

— Понятно. Слушаюсь.— Чуть помолчав, Рахимов счел нужным прибавить: — Вы правы, товарищ комбат.

Черт возьми, он ответил так, точно слышал наш разговор. Ни тени обиды, задетого самолюбия не мелькнуло в его черных глазах. Да, хорош у тебя, Толстунов, начальник штаба. Эта моя мысленно произнесенная фраза кольнула меня. Неужели и впрямь прощаюсь с батальоном?

Чуткий Бозжанов пристально посмотрел на меня. Сердце-вещун подсказало ему: произошло что-то недоброе. Он встревоженно спросил:

— Товарищ комбат, когда вы вернетесь?

— Сегодня,— спокойно сказал я.— Пожалуй, товарищи, не грех пререкуться.

Наконец-то повар Вахитов дождался своего часа. У него было готово и то, и это, и третье, и четвертое, но я помешал ему насладиться хлебосольством.

— Давай быстро. Званных обедов разводить не буду.

Из груды трофеев Рахимов вытащил несколько банок консервов: какие-то анчоусы, омары.

Толстунов поставил на стол бутылки трофейного вина. Я отказался. Стоявший в сторонке коновод Синченко протянул фляжку.

— Стопочку русской, товарищ комбат?

— Налей! Одна не помешает. Чокнемся, товарищи. Ну, как говорится, дай бог, чтобы не последняя.

Осушив свою посудинку, Рахимов встал.

— Разрешите, товарищ комбат, снарядить вашу экспедицию.

— Экспедицию? Важное нашел словечко.

— А как же? Не с пустыми же руками приедете в штаб дивизии. Я, товарищ комбат, уже дал распоряжение.

— Что же, снаряжай.

## 2

Моя «экспедиция» выглядела так: двое конных — это я и Синченко — и два мощных, испускающих мерные выхлопы трофейных мотоциклета с прицепами колясками. Один был вверен сорвиголове, неоднократно в мирные времена участнику гонок, лейтенанту Шакоеву, командиру взвода истребителей танков. Уроженец Кавказа, хранитель взлеянного там церемониала, каким сопровождается поездка в гости, знаток по части подарков и отдариваний, он заполнил коляску отборными трофеями. Там уместились и чемоданы с бумагами, и лучшее оружие, и фотоаппараты, и, разумеется, редкостные вина.

Нашелся водитель и для второго мотоциклета, тот, кто захватил эти машины, подтянутый, строгий Курбатов. Тут прицепную коляску занял плененный капитан. В сумерках, рассеиваемых отсветами снега, его разглядывали бойцы. Бинт чистойшей белизны, очевидно только что наложенный в санузле, прикрывал один глаз. Другой глаз никого не удостоивал вниманием, глядел лишь напрямик. На бритом, словно окаменевшем лице темнели царапины, густо смазанные йодом. Полоска пластыря пролегла на тяжелом подбородке. Шинель с капитанскими погонами оставалась полурасстегнутой, на ней не хватало двух или трех пуговиц. Капитану была уже возвращена потерянная в бегстве фуражка. Ее торчащая высокая туля, широкий блестящий козырек как бы подчеркивали, что пленный не согнут, сохранил непреклонность, надменность. Несомненно, страдающий от боли, потрясенный, он держался так, будто хотел сказать: «Я схвачен, обезоружен, но моральное превосходство — превосходство моей нации победителей, расы господ — вы не сможете у меня отнять». Позади устроился не покидавший своего пленника Строжкин. Съехавшая набекрень ушанка открывала белобрысое темя; тонкая в запястье рука держала винтовку; за поясом торчал парабеллум.

Там и сям на полукружии горизонта розовели шапки зарев. Пушечные раскаты поутихли. Но в разных местах еще продолжалась перебранка орудий, подчас вдруг ожесточавшаяся; не кончился боевой день. По шоссе шли со стороны фронта небольшими группами без строя, а то и вовсе в одиночку бойцы; их задерживали наши патрули.

Шевелю повод. Лысанка с места берет хорошей рысью. Сворачиваю с шоссе на боковую дорогу, ведущую к деревне Шишкино. Синченко на гнедом рослом коне и две ровно постукивающие моторами машины дви-

жуются за мной. По левую руку, там, откуда доносится словно погремление жести, темной громадой стоит лес. С опушки появляются то одинокие, то по трое, по четверо люди с винтовками, бредут по снежному полю. Их и здесь остапавливают, группируют. Неожиданно слышу:

— Стой! Пропуск!

Осаживаю Лысанку. Подъезжает всадник. Командирские ремни пересекают его грудь. Одна рука на поводе, в другой пистолет. Узнаю начальника политотдела дивизии Голушко. Чувствую, как напряжены сейчас его нервы.

— Момыш-Улы? Эти с тобой? Куда?

— В штаб дивизии. Вызван к генералу.

— Не знаю, застанешь ли его. К Шишкину уже подходили автоматчики. Возможно, штаб ушел. Все штабные командиры и политработники разосланы собирать людей. Сам видишь, какая петрушка.

Повернув коня, начальник политотдела поскакал навстречу понуро идущей от леса веренице. Опять разнесся его громкий, с чуть уловимым мягким украинским акцентом голос:

— Стой! Погоди! Куда? Какого полка?

Я подъехал, прислушался.

— Какой роты? Почему ушли?

— Ничего, товарищ командир, не разберешь. Потерялись. Может, роты уж и нету.

— А там кто дерется? — Голушко указал вперед, где рокотали орудия.— Слышите?

— Немец стреляет.

— По пустому месту, что ли, бьет? Становись! На первый-второй считайсь!

Голушко обернулся ко мне.

— Поезжай, посзжай, не задерживайся, Момыш-Улы. Возможно, из Шишкина тебя еще куда-нибудь направят. И будь поосторожнее, а то как бы тебя наши не подстрелили. Подумают, гитлеровские мотоциклеты.

— Это и есть гитлеровские. Сегодня взяли.

— Ого! Славно! Слышиге, ребята? Взяли у фрицев мотоциклеты! Равняйсь! Смирно! За мной!

Я вернулся к своим. Мы тронулись дальше. А слева, со стороны фронта,— кто знает, где сейчас он пролегал! — беспорядочно шли и шли бойцы, словно осколки, остатки полков, раздробленных молотом боя.

### 3

Перед Шишкином нас остановило боевое охранение. Здесь окопалась, была готова к обороне комендантская рота штаба дивизии. На краю деревни чернели пятна пожарищ, кое-где пробежали синеватые язычки пламени. Подумалось: наверное, сейчас скажут: «Генерала здесь нет». Должно быть, придется ехать куда-нибудь дальше, в тыл. Однако командир роты снесся с кем-то по телефону, затем дал провожатого.

Несколько минут спустя я подъехал к небольшой бревенчатой избе под железной крышей — обитальщу Панфилова. Наглухо завешенные окна. Стекла потрескались, в иных створках зияла пустота. Неподалеку, возле большой избы, где помещались некоторые отделы штаба, втаскивали на грузовик тяжелый негорящий ящик. Штаб дивизии, видно, все же уходил.

Приказав моим спутникам ожидать, я соскочил с седла, пошел к часовому. Почти тотчас, как и в миновавшие времена передышки, на крыльцо выбежал одетый в стеганку лейтенант Ушко, адъютант Панфилова.

— Идите, идите, товарищ старший лейтенант. Генерал уже знает, что вы здесь.

Вот и знакомая мне комната. Небольшая лампочка, работающая от аккумулятора, источала яркий свет. На подоконнике по-прежнему стояла обшитая кожей коробка полевого телефона. Восток, проникавший сквозь разбитые, хотя и зашторенные окна, пошевеливал лист газеты на столе. В крытую черным лаком обшивку трюмо угодила шальной осколком. Возле расщепленного дерева был отбит и кусочек стекла. Э, тут, в этой выстуженной комнате, приходилось жарковато. Походная кровать генерала была уже сложена. Рядом лежал обернутый в плащ-палатку объемистый тюк. Генерал, видимо, не собирался здесь ночевать. Из соседней комнаты, не затворив за собой двери (я заметил в глубине капитана Дорфмана, сидевшего над разостланной картой, заметил еще один телефонный аппарат), вышел Панфилов. Его долгополый, ниже колен, полушубок был надет нараспашку, концы длинных рукавов генерал вывернул черным мехом наружу, укоротил их, словно для того, чтобы не мешали работать. Что-то в сегодняшнем облике Панфилова удивило меня, оно, это «что-то», как бы не вязалось с обстановкой. Еще не выветрившийся занашок одеколona исходил от генерала. Не прикрытая шапкой сидящая голова была аккуратно подстрижена, морщинистая шея, которую недавно я видел заросшей, свежо поблескивала — должно быть, по ней сегодня прошла бритва. Парикмахерские ножницы коснулись и усов, они чернели на чисто выбритой губе двумя четкими квадратиками. В старательно начищенных — наверх, не только щеткой, но также и бархоткой — сапогах генерала отражались бликами свет электролампочки. Одним словом, мне показалось, что наш генерал в этот вечер выглядит щеголеватым.

— Товарищ генерал, по приказанию генерал-лейтенанта Звягина сдал командование батальоном и...

На миг я приостановился. Как я обязан сказать: явился или прибыл? Я произнес:

— Прибыл.

Панфилов чуть прищурился.

— Так-так... Почему не договариваете?

Я не понимал, что он понимает.

— Почему вы не назвали?

— Виноват... (Подумалось: странно, ведь наш генерал никогда, кажется, не был формалистом.) Старший лейтенант Момыш-Улы.

— Какого полка?

Я назвал номер полка.

— Какой дивизии?

— Как?

— Я спрашиваю: какой дивизии?

— Триста шестнадцатой стрелковой.

Панфилов обернулся, крикнул в раскрытую дверь:

— Слышите, товарищ Дорфман? Не знает. Ничего еще не знает.

Загем снова обратился ко мне. Верхняя губа, наполовину скрытая усами, слегка сморщилась, будто удерживая улыбку.

— Ошибаетесь, товарищ Момыш-Улы. Теперь мы именуемся иначе.

Он взял со стола и протянул мне газету. Это был свежий номер «Правды». На первой странице выделялось обведенное красным карандашом сообщение, что наша дивизия отныне зовется: Восьмая гвардейская стрелковая.

— С чем, товарищ Момыш-Улы, вас и поздравляю.

Откинув овчинную полу, он вытащил из брючного кармана значок

советской гвардии — я впервые тогда его видел, — эмалевое развернутое алое знамя.

— Посмотрите, товарищ Момыш-Улы. Мне сегодня привезли вместе с газетой. Пока только один. Я уже примерил. Потом снял. Не хочу один ходить гвардейцем.

Он еще повертел значок, полюбовался переливами эмали, водворил в карман. Вспомнилось, как несколько дней назад он помечтал вслух, сказал парикмахеру: «Заработаем гвардейскую, тогда подмоложусь, предамся в ваши руки, обещаю...» Панфилов тоже припомнил ту минуту.

— Приходится обещанное исполнять, — сказал он, — как видите, и побрился и подстригся. Благо, времени у меня сегодня много.

Он вновь удивил меня. Как так? Обрушен ударный кулак немцев, они таранят, рвут нашу оборону, нынешний день, возможно, предопределяет исход этого нового гитлеровского наступления, нового рывка к Москве, а у командира дивизии, принявшей удар, опять времени много? Панфилов пояснил:

— Почти с обеда нет связи ни с Малых, ни с Юрасовым. Даже не знаю, держатся ли еще наши в Ядрове. Но вот сижу тут у себя в Шишкине, сижу, что называется, на чемоданах, и ничего, противник пока в гости не пожаловал. А хотелось бы ему, ох, как хотелось бы оказаться здесь.

Посмотрев на свою сложенную койку, он продолжал:

— Отделы переехали, а мы вот с товарищем Дорфманом еще, может быть, тут заночуем.

Панфилов поддернул опущенные вывернутым черным мехом рукава своего распахнутого полушубка — генералу, наверное, не терпелось поработать, — обернулся к зеркалу, которое, несмотря на удар, не треснуло, распрямил плечи, коснулся пальцами усов. Он еще ничего не сказал обо мне, о моем вызове. Я молча ожидал его слов.

#### 4

В комнате опять объявился Ушко.

— Товарищ генерал, к вам с подарками лейтенант Шакоев. Разрешите?

— Мы, товарищ генерал, — произнес я, — кстати прихватили с собой на мотоциклетке и пленного капитана.

— У вас уже и мотоциклетка на ходу?

— Да. Со мной две. И еще две в батальоне.

— Гм... Выйдем-ка, посмотрим.

Панфилов уже застегивал полушубок, нетерпение, жажда дела, неясное живое любопытство влекли его на улицу.

С подарками вторгся Шакоев. Он смело водрузил на стол свою увесистую ношу — узел из немецкой плащ-палатки с маскировочными бурами и зелеными разводами. Затем черноусый дагестанец лихо вытянулся.

— Товарищ генерал, бойцы и командиры, — с расстановкой, со вкусом рапортовал он, — первого батальона Талгарского полка...

— Спасибо, — прервал генерал. — Всем вам спасибо.

Тотчас он перешел к делу:

— Везите, товарищ Шакоев, пленного и все захваченные документы в деревню Гусеново, в разведотдел. И побыстрее. Вы меня поняли?

Вместе с Панфиловым мы вышли на улицу. Впереди, главным образом на левом краю небосклона, по-прежнему розовели размытые пятна зарев. Нет, пожалуй, не по-прежнему. Иные сникли, потускнели. И пальба заметно улеглась. Пушки вели уже редкий огонь. Вот глухо протре-

шала колотушка пулемета. Слабо донеслась еще одна пулеметная очередь. Панфилов глубоко вобрал морозный воздух.

— Устояли,— проговорил он,— где, что, как — почти ничего еще не знаю, но устояли, выдюжили, товарищ Момыш-Улы.

У калитки на заснеженной дороге темнели силуэты двух коней и наши два мотоциклета. Курбатов и Строжкин стояли с винтовками, взятыми к ноге. Как и ранее, в прицепе сидел будто нахохлившийся пленный в своей встопорщенной фуражке. Торчал поднятый воротник его шинели.

— Встать! — резко скомандовал по-немецки Шакоев. — Перед вами генерал.

Капитан-гитлеровец поднялся, пошатнулся — наверное, затекли ноги,— но удержал равновесие, переступил через борт коляски, вскинул голову, опустил руки по швам.

— Э, как его разукрасили,— вглядываясь, сказал Панфилов. — Он у вас, товарищи, кажется, совсем закоченел.

Шакоев ответил:

— Пусть, товарищ генерал, его русский морозец проберет.

— Не гоже мучить пленного. Товарищ Ушко, принесите ему что-нибудь, хотя бы ватник.

Ушко направился в дом.

— Товарищ генерал,— раздался новый голос,— разрешите обратиться. Сержант Курбатов.

— Да, да, товарищ Курбатов, говорите.

— У нас тут его чемодан. Оттуда можно взять.

Не обиженный силой и сметкой, сержант ловко достал большой кожаный с металлическими наугольниками чемодан, положил на жестяную обшивку прицепа.

— Мы поглядели, товарищ генерал, а тронуть ничего не тронули.

Курбатов откинул крышку чемодана, осветил карманным электрофонарем. Сверху аккуратно лежала белая, тончайшей шерсти, так называемая оренбургская шаль. Под шалью обнаружилось женское шелковое белье, женские цветные блузки, туфли.

— Гм... Не буду я с ним разговаривать. Бросьте обратно. Это вы, товарищ Курбатов, его изловили?

— Нет. Боец Строжкин. Вот он, товарищ генерал.

— Строжкин? Из Алма-Аты?

— Москвич! — звонко ответил Строжкин.

Панфилов не скрыл радости.

— Из пополнения? Вот это подарок! — Он подумал. — У нас, товарищи, нынче такой день, после которого уже не будем разделяться на ювельных и старых. Нынче у нас...

Он не договорил. С крыльца с ватником в руках бежал Ушко.

— Товарищ генерал, вас к телефону. Звонит комиссар семьдесят третьего...

— А, отыскались... Так поезжайте, товарищ Шакоев. Киньте это господину из грабьармии... До свидания, гвардейцы! Пойдемте со мной, товарищ Момыш-Улы.

В комнате уже с порога было слышно квохтанье мембраны. Слегка отстранив трубку от уха, у аппарата стоял капитан Дорфман в туго стянутой поясным ремнем, нигде не наморщенной шинели. Близ телефона на краю стола (узел трофеев, что там высился, был уже убран) Дорфман пристроил свою постоянную спутницу — раскрытую черную папку, в которой хранилась оперативная карта.

— Минутку,— произнес он,— передаю трубку хозяину.

Панфилов придвинул к телефону стул, присел, не позабыв обратиться к нам: «Садитесь, товарищи, садитесь!» — и взял трубку.

— Товарищ Лавриненко? Долгонько ждали от вас вести... Слушаю, слушаю. Не торопитесь.

В мембране опять заклокотал голос. Панфилов время от времени вставлял вопросы:

— А штаб полка? В котором часу это случилось? Кто же вас прикрыл? Гм... Какие же там еще нашлись у нас силенки? Дайте-ка, товарищ Дорфман, карту.

Положив карту на колени, он продолжал слушать.

— И Угрюмов? — Лицо Панфилова сразу стало будто старше, резче обозначились складки вокруг рта. — И Георгиев? У моста? Вижу. В живых кто-нибудь остался? Погодите-ка, помечу.

Генерал повернулся к Дорфману, хотел, видимо, что-то сказать, но лишь обвел карандашом точку на карте. И опять стал слушать. Тень сошла с его лица, привычка, жестокая и спасительная привычка солдата, позволяющая утолять голод, порой даже гуторить на поле брани рядом с павшими, взяла свое, Панфилов уже снова мог улыбаться и шутить.

— Располагайтесь, товарищ Лавриненко, на ночлег. Я? Нахожусь на прежнем месте. Да, преспокойно здесь сижу.

Удерживая усмешку, верхняя губа Панфилова опять чуть сморщилась. Легко угадывалось, что ему было очень приятно произнести эти слова.

— Отчасти, товарищ Лавриненко, благодаря вам,— тепло добавил Панфилов.— Завтра вы меня тут смените. Вы поняли? Оставляю вам трюмо, к сожалению, подбитое.

Теперь интонация Панфилова была шутливой. Поражала эта быстрая смена выражений лица, оттенков тона, эта, отважусь сказать, раскрытая душа генерала. Вот опять тон изменился:

— Объявите, что дивизии сегодня присвоено звание гвардейской. Да, Восьмая гвардейская стрелковая. Всех поздравьте от меня. Передайте, что каждому жму руку, каждому говорю спасибо!

Панфилов мягко, без стука, положил трубку, вернул Дорфману карту.

— Помните, товарищ Момыш-Улы, лейтенанта Угрюмова?

Я кратко ответил:

— Да.

Конечно, еще бы мне не помнить курносого веснушчатого лейтенанта, которого повар Вахитов однажды обнес кашей, на вид деревенского парнишку — парнишку с рассудительной речью и крепкой рукой.

— Погиб... А политрука Георгиева знавали? Тоже погиб. Почти весь этот маленький отрядец сложил головы. Но не пропустил танков. Девять машин подорваны, остальные ушли. Видите, товарищ Дорфман, дело просветляется. Но и загадок еще много.— Панфилов почесал свой подстриженный затылок.— Вроде бы книга с вырванными страницами. Надо, чтобы эти страницы не пропали. Надо их восстановить. Прочсть эту книгу.

Разложив на столе карту, он некоторое время еще беседовал с Дорфманом. Потом взглянул на меня.

— Идите, товарищ Дорфман. Поработайте.

— Слушаюсь. Извините, товарищ генерал, но не пора ли...

— Переселяться? Это успеется. Спасибо, что заботитесь. Идите.

Панфилов остался со мной наедине.

— Загадок много,— повторил он.

И по знакомой мне манере повертел в воздухе пальцами. Этот жест нередко сопровождал его размышления вслух.

— Ведь совсем мальчик...

Я мгновенно догадался: он разумел Угрюмова.

— Оголец... Я знал, товарищ Момыш-Улы, что у него за душой кое-что есть. Но этого... Этого не ждал.

Он подался ко мне, с интересом в меня всматривался, явно желая услышать мое мнение. Но что я мог ему сказать? Протянулась минута молчания.

— Ну-с, товарищ Момыш-Улы, доложите, что вы...— Панфилов прищурился, мелкие морщинки разбежались от уголков глаз,— что вы направили. И не спешите. Я не тороплюсь.

Я стал докладывать. Описал тактику немцев, решивших перебить издалека минометным огнем окопавшихся в поле защитников станции Матренино. Сказал, какими гнетущими были сообщения о потерях. Поведал о своих колебаниях, о встрече с раненым бойцом, изрекшим солдатскую мудрость: «Так держать — значит не удержаться».

Панфилов слушал, ни разу меня не перебив.

Однако мне все же пришлось прервать доклад. С улицы донесся звук мотора, хлопнула автомобильная дверца. Панфилов поднялся. Я тоже встал. Подумалось: не Звягин ли сейчас войдет?

## 6

Вошел лейтенант Ушко.

— Товарищ генерал, опять корреспонденты. Очень просят.

Панфилов достал часы, взглянул.

— Те самые?

— Да. Торопятся в Москву. Я им сказал, что сегодня вы не сможете.

— Гм... Я им обещал. Утром обещал, когда они привезли вот это.— Он опять вынул значок «Гвардия», повертел.— Надо бы их понапутствовать. Нет, сейчас оторваться не смогу. Пусть извинят. Передайте, товарищ Ушко, мои извинения.

— Есть!

Однако, едва мы снова сели, едва Панфилов выговорил: «Продолжайте, товарищ Момыш-Улы, продолжайте»,— как опять предстал Ушко.

— Товарищ генерал, я им все сказал. Они просят...

— Ну, ну...

— Просят, чтобы вы разрешили им войти и задать только один вопрос.

— Только один? — Панфилов рассмеялся.— Хитры на выдумку. Что ж, придется отдать должное военной хитрости. А, товарищ Момыш-Улы?

Он вопросительно на меня посмотрел, словно требовалось мое согласие. Потом пошел к двери, раскрыл.

— Пожалуйста, товарищи. Хотелось бы с вами основательно потолковать, но... Так и условимся: один вопрос. Прошу, прошу...

Первым шагнул в комнату капитан Нефедов, корреспондент журнала «Фронтальная иллюстрация». Шапка прикрывала его льняной зачес. Новенький, изжелта-белый, еще пахнувший дубленой овчиной полушубок был кое-где испачкан глиной. Видимо, вместе со своим фотоаппаратом, что сейчас на тонком ремешке висел в кожаном футляре на груди, Нефедов побывал в укрытиях, притискивался к земле. Жизнерадостная, чуть смущенная улыбка, делавшая заметными ямочки на разруганных щеках, свидетельствовала, что капитан был удовлетворен своим рабочим днем. Нефедов козырнул генералу.



— Добрый вечер, товарищ...— Панфилов прищурился, узкие, монгольского разреза, глаза засмеялись,— товарищ Поворот Головы.

Тотчас негромко заговорил спутник Нефедова, обмундированный в ладный, уже мятый-перемятый короткий кожанок, не мешавший шагу. На обветренном досмугла лице проступила однодневная темная щетинка.

— Как? Как вы, товарищ генерал, сказали?

Панфилов усмехнулся.

— Это ваш вопрос?

Ваш коллега-бумагомаратель — назовем его Гриневичем — не потерялся:

— Товарищ генерал, помилуйте... Пока только переспрос.

— Гм... О повороте головы сейчас некогда, к сожалению, философствовать. Хотя, раз уже коснулись... Товарищ Нефедов однажды узрел сходство между нами,— и он показал на меня.— Не похожи, а поворот головы тот же... Кстати, познакомьтесь, товарищ Гриневич, с командиром моего резерва товарищем Момыш-Улы. И, пожалуйста, товарищи, садитесь. Хоть на минутку, а присядьте: в погах правды нет.

Вошедшие расположились на стульях. Гриневич вернул генерала к его мысли:

— Итак, сию мудрость...

— Да, скажу об этом кратко. У старшего поколения, у тех, которые своими руками совершали революцию, понимание своего долга родилось иначе, чем у вас, у молодых. Тем приходилось решать: против кого воевать, за что воевать? А вы... Вы — наши потомки по крови. Потомки. Иной раз глядишь на юношу. Что в нем отцовского? Как будто на отца не похож. А поворот головы тот же. Вы меня поняли?

По своей манере генерал подался к собеседнику, словно для того, чтобы получше рассмотреть, действительно ли понята, схвачена эта любящаяся Панфилову фраза.

— Ну-с, давайте ваш вопрос.

Неожиданно обладатель короткого кожанка поднялся. Раньше его походка, движения, говорок были неторопкими, теперь в нем пробудилась быстрота.

— Товарищ генерал, вы уже ответили. Больше задерживать вас не будем.

— Уже ответил?

— Да. У меня к вам был вопрос: как в одном-двух словах выразить смысл, итог сегодняшних боев? Эги слова вы уже сказали! Спасибо. Мне ясно, как писать. Товарищ генерал, разрешите идти.

## 7

Панфилов встал. Ворот расстегнутого полубубка приоткрывал неильную, изборожденную морщинами шею. Сейчас она была немного склонена. Складка губ казалась угрюмой. Что он, утомлен? Или недоумен? Кем?

— Вам, товарищ Гриневич, значит, ясно?

— Статья прояснилась, товарищ генерал. Еду писать.

Молчание. Черт возьми, почему Панфилов не отпускает корреспондентов?

— А вот мне неясно,— проговорил он.

Сутулясь — голова по-прежнему была упрямо склонена,— Панфилов прошелся.

— В одном-двух словах? Нет, товарищ Гриневич, мы с вами эту за-

дачку не решили. Поворот головы? Гм... Это можно отнести ко всей войне, ко всей нашей жизни, но нынешний денек...

Палец Панфилова коснулся газеты, которую по-прежнему потрагивали продувающие комнату невидимые струйки, указал число.

— Нынешний денек, семнадцатое ноября, что-то еще в себе таит...

Он почесал в затылке, снова прошелся, остановился перед смуглым корреспондентом, взглянул ему в глаза, увидел в них внимание, улыбнулся, опять заговорил:

— Кажется, у Вольтера в каком-то письме сказано: извините, мол, что пишу длинно, быть кратким не хватает времени. Могу лишь повторить это изречение.

Вновь протекла тихая минута. Корреспонденты вели себя умно: молчали. Панфилов поддернул рукава.

— Товарищ Гриневич, у вас карта с собой?

Извлеченная из планшета журналиста топографическая карта мгновенно оказалась на столе. Панфилов обернулся ко мне.

— Товарищ Момыш-Улы, вы тоже придвигайтесь.

С карандашом генерал постоял над картой.

— Да, мне, товарищи, неясно... Неясно, откуда они взялись, эти мои резервы?

Он опять посмотрел на меня.

— Сегодня, товарищ Момыш-Улы, вы, наверно, удивились: почему я не приказал вам бросить роту из Горюнов в Матренино? Признавайтесь, было? А ведь в этот час я ожидал, что на вас, на ваши позиции в Горюнах, выйдет противник, прорвавшаяся танковая группа.

Панфилов показал на карте район сосредоточения танковой дивизии немцев, провел черную стрелку, прободавшую — он это схематически наметил — переднюю черту дивизии.

— Здесь,— продолжал он,— танки проложили себе путь через наши артиллерийские заслоны. Конечно, за это уплатили. Но прошли.

Далее он сказал, что танки открыли этим себе выход на Волоколамское шоссе. Немецкая пехота наступала по обеим сторонам шоссе, чтобы обеспечить продвижение танков по основному большаку.

— Думалось, товарищи, вот-вот защелкают наши противотанковые пушки в Горюнах, вступит в дело узелок обороны на шоссе. Но туда танки не добрались. Объявился какой-то неведомый резервик, который принял их удар. И не дал им дороги. Кто же это сделал? Пока не ясно. Связь со штабом полка прервана. Артиллерии у меня тут не было. Горсточка пехоты? Еще вчера, товарищи, военная грамота...— Панфилов покосился на меня, в его прищуре мелькнула улыбка.— Военная грамота, пожалуй, не допускала таких случаев. А?

Панфилов разговорился. Несомненно, ему хотелось не только добросовестно ответить корреспондентам, но и удовлетворить собственное побуждение, излить мысли. Его шея распрямылась, сутуловатость перестала быть заметной. В распахе полушубка на свежем проутюженном кителе виднелись боевые ордена. Его обычное погмыкивание в эти минуты исчезло. Он легко поворачивался, легко переступал в своих начищенных до глубокого блеска сапогах, опять был помолодевшим, счастливым, щеголеватым — таким он мне и запомнился по этой последней нашей встрече.

Снова его карандаш помечал карту. Вот здесь кто-то — опять-таки пока не ясно, кто же именно, — прикрыл перестроение батальона, подвергнувшегося нападению с тыла. Откуда взялось это прикрытие, этот еще один неведомый, непредусмотренный резерв? А легионские пушки, которые долгими часами, захлестнутые со всех сторон противником, еще жили, дрались! А отряд истребителей танков под командой лейтенанта

Угрюмова и политрука Георгиева! Генерал не мог не рассказать об Угрюмове:

— Хлопчик, малец! И остановил со своими бойцами двадцать танков. Погиб. Самоотверженно, осмысленно погиб.

Я понимал: Панфилов вернулся к тем же думам, которые стал было высказывать наедине со мной. Сейчас он как бы сам себя спросил:

— Откуда у него, этого мальчика, нашлись эдакие душевные резервы?

— Поворот головы? — негромко вымолвил Гриневиц.

— Не только, не только... О повороте головы я, дорогой товарищ, и вчера хорошо знал. Но сегодня... Как охарактеризовать это сегодня? — Подняв руки, Панфилов в затруднении щелкнул пальцами. — Я, товарищи, готовился к этим боям, имел тактический замысел, план, готовил бойцов. Без бойца ведь любой замысел — пустое. Однако все, о чем я думал, чего добивался, все превзойдено.

Приподнятая рука генерала замерла. Загорелые пальцы опять сложились щепотью. Что он, снова щелкнет? Нет, пальцы остановились. Он воскликнул:

— Вот вам, товарищ, это слово! Превзойти! — Панфилов повторил раздельно: — Пре-взой-ти! Бойцы и командиры превзошли все, чего от них мог я ожидать. Превзошли себя! Таков, пожалуй, и был мой негаданный резерв. Вы поняли?

Он подумал, добавил:

— Конечно, у меня только предварительные сведения. Давно не имею связи со штабами двух полков. Не знаю, где командиры этих полков. Живы ли? Многого не знаю. И слово «превзойти» тоже предварительное. Потом отыщем что-либо посодержательнее, поточнее. Может быть, и поскромнее. Впереди еще нелегкие деньки. Будем это знать! И все-таки... Все-таки сейчас не подвертывается другое слово. Только это — «превзойти»! Ну-с, теперь, товарищи, я с чистой совестью могу сказать вам: до свидания.

Он потянулся к карте, хотел ее сложить, но задержал на ней взгляд.

— В темноте будем выводить войска на следующий рубеж... Отойдём, нигде не позволив врагу прорвать фронт дивизии.

Панфилов вручил карту владельцу.

— Итак, товарищи, до встречи. Доброго пути!

Вновь обнаружив в улыбке свои ямочки, Нефедов сдернул через голову ремешок фотоаппарата.

— Товарищ генерал, разрешите, я вас тут сниму. Вот как вы стоите! В полужубке! Рядом с этой выбоинкой! — Он указал на трюмо. — Товарищ генерал, надымлю немного магнием. Но здесь живо проветрится.

— Э, днем немец отсюда нас выкуривал, а теперь, извольте-ка, этим займетесь вы? Избавьте, товарищ Нефедов. Не надо.

— Товарищ генерал, ведь замечательный сюжет.

— Ничего. Есть позамечательней! Поезжайте-ка через Гусеново. Там в разведотделе найдете пленного гитлеровского капитана. Отборный экземпляр. Возможно, застанете и бойца-москвича Строжкина, который его взял. — Панфилов посмотрел на часы. — Застанете! Сейчас туда позвоним. Сфотографируйте их вместе. Юноша-боец ведет обезоруженного здорovenного разбойника, командира батальона. Москва этому порадует. А меня, товарищ Нефедов, снять еще успеете. Загляните завтра. Выйду на волю, на морозец, прихвачу товарищей, вот вы и щелкнете. Ну, по рукам!

Корреспондент в коротком колушке упрятал карту.

— Нефедов, не приставай. Товарищ генерал, спасибо вам за слово! Оба отковыряли. Гул заведенного мотора. Машина укатила.

Сказав мне «подождите», Панфилов удалился в соседнюю комнату, откуда во время беседы с корреспондентами иной раз заглушенно долетал голос капитана Дорфмана, разговаривавшего по телефону.

За притворенной дверью генерал провел примерно минут десять. Порой невнятно доносилась его хрипотца. Разумеется, я не прислушивался. Наконец генерал вышел.

— Сидите, сидите.

Он прошелся, озабоченно сказал:

— Еще не обнаружались ни Малых, ни Юрасов.

Сев возле меня, Панфилов достал, раскрыл коробку папирос «Казбек».

— Берите. Покурим, товарищ Момыш-Улы.

Чиркнув спичкой, он поднес мне огонек. Его ненаачальственная, нечиновная манера позволила мне спросить:

— Товарищ генерал, где же ваша зажигалка?

— А, зажигалка? — Он почему-то лукаво прищурился. — Подарил сегодня одному человеку. Сказал ему, что подарок со значением. А когда-то хотел преподнести вам. Тоже со значением. Вы меня понимаете?

Да, я понимал. Даже и сейчас, перед тем как вернуться к нашему прерванному разговору, Панфилов двумя-тремя фразами, дружелюбным прищуром как бы вновь расположил, согрел, настроил меня.

— Ну-с, продолжайте, продолжайте, товарищ Момыш-Улы.

Я без утайки рассказал, что решил рискнуть тем, что дороже жизни, — своей честью командира. Описал, как был отдан приказ, как помог мне Толстунов, как удалась наша контратака. Сказал и о звонке Звягина, не скрыл того, что, еще не сдав деревню, доложил: «Сдана!»

— Уже не мог отступить, загорелся. Приказом генерал-лейтенанта Звягина был отстранен, но все же до вечера командовал.

— Гм... Значит, воевали на два фронта? И с противником и со своим старшим начальником?

Едва он это сказал, мне вспомнилась минута, пропущенная в моем исповедном объяснении.

— Товарищ генерал, извините, упустил... Я увидел вашу руку и решился.

— Какую руку?

Из бокового кармана своей стеганки я вытащил красную книжку боевого устава, отыскал страницу, где тремя штришками, принадлежавшими Панфилову, был помечен пункт об инициативе.

— Вот... Увидел три черточки, которые вы провели, и в этот миг принял решение.

Неожиданно Панфилов рассмеялся:

— Хотите на меня переложить?

— Товарищ генерал, вовсе не переложить. Прошу поверить: так оно и было.

— Следовательно, и я там находился вместе с вами?

— Да, — твердо сказал я. — Вы, товарищ генерал, были со мной. Вы мной управляли.

— Ой, вас занесло. Соблюдаем меру.

— Товарищ генерал, вы же говорили: управление — уяснение задачи!

Панфилов опять засмеялся. Видимо, эта формулировка, которую мы столько раз от него слышали, была ему сегодня очень по сердцу. Я продолжал:

— Товарищ генерал, я с вами правдив. Вы мне поставили задачу: удержаться до двадцатого! Если бы не это, то сегодня, семнадцатого,

я имел бы право потерять в честном бою роту, имел бы право и сам с честью погибнуть. Но в мыслях было: до двадцатого! И я все собрал. И пришло решение.

Панфилов поглядел большим пальцем раскрытую книжечку устава.

— «Упрека заслуживает не тот...» Что же, товарищ Момыш-Улы, не отпираюсь. Согласен, беру на себя половину вины. Но и половину удачи. Горе и радость пополам. Идет?

— Багодарю вас, товарищ генерал.

— Но как нам понять, расценить этот бой? Случайно удавшаяся авантюра? Нет. Закономерность? Да, в этой удаче есть закономерность. Вы, товарищ Момыш-Улы, использовали слабости противника.

Казалось, Панфилов с кем-то спорил, находил аргументы.

— Однако, товарищ Момыш-Улы, приказ есть приказ. Ночью буду у командующего. Наверное, увижу и товарища Звягина. Доложу командующему обо всем. Отменять приказание не могу, но приостановить решусь. Поезжайте к себе. Я вам ночью позвоню. Эту вашу книжечку оставьте.— Он опять взял устав, повертел.— Пусть взглянет командующий.

— Разрешите ехать?

— Не торопитесь. Еще вас задержу немного.

Панфилов вновь пошел к двери, ведущей в соседнюю комнату, откуда по-прежнему время от времени слышался неразборчивый говорок Дорфмана, взялся за ручку и вдруг круто, по-молодому, обернулся.

— Значит, побывал у вас сегодня?

Он засмеялся. И, не ожидая ответа, толкнул дверь, скрылся за ней.

## 9

Воспользуемся несколькими минутами его отсутствия. Выскажу свое понимание Панфилова — понимание, в котором слиты и мои мысли того ноябрьского вечера, что стал последним для нашего генерала-учителя, и думы, пришедшие позднее.

Вот я провел с ним полчаса. Дважды и трижды я уловил его новый, не примеченный мной ранее жест — он поддегивал рукава, тяготясь отсутствием дела. Весь этот день, который, возможно, предвещал исход предпринятого еще раз немецкого рывка к нашей столице, судьбу второго тура битвы за Москву, день массового героизма, — под таким названием он вписан в историю войны, — Панфилов провел в деревне Шишкино, почти лишенный возможности управлять войсками. Телефонные шнуры, соединявшие генерала с подчиненными ему штабами, теми, что оказались в крутоверти боя, были порваны, посечены. Немецкие удары искромсали фронт дивизии. Там и сям наши уцепившиеся группы, потрепанные батареи, роты, взводы дрались как бы без управления.

И все же оно, управление войсками, управление боем, существовало.

Массовый героизм — не стихия. Наш негромогласный, неказистый генерал готовил нас к этому дню, к этой борьбе, предугадал, предвосхитил ее характер, неуклонно, терпеливо добивался уяснения задачи. «втирал пальцами» свой замысел. Напомню еще раз, что наш старый устав не знал таких слов, как «узел сопротивления» или «опорный пункт». Нам их продиктовала война. Ухо Панфилова услышало эту диктовку. Он одним из первых в Красной Армии проник в небывалую тайнопись небывалой войны.

Оторванная от всех маленькая группа — это тоже узелок, опорная точка борьбы. Панфилов пользовался любым удобным случаем, чуть

ли не каждой минутой общения с командирами, с бойцами, чтобы и так и эдак растолковать, привить нам эту истину. Он был очень популярен в дивизии. Разными, иногда необъяснимыми путями его словечки-изречения, его шутки, брошенные будто невзначай, доходили до множества людей, передавались от одного к другому по солдатскому беспроводному телефону. А раз бойцы восприняли, усвоили — это уже управление.

Мы не вправе сказать, что Панфилов командовал, например, взводом или ротой. Автор одного очерка ухитрился даже дать ему в руки гранату. Чепуха! Но все же Панфилов командовал! Он воспитал свою дивизию, сделал нашим общим достоянием свой замысел, план, свое проникновение в особый склад современного оборонительного боя, задачу грядущего дня.

И этот день настал. Рука, голос командира дивизии уже не достигали разрозненных очагов боя. Но боем управляла его мысль, уясненная и командирами и рядовыми. В таком смысле подвиги панфиловцев — его творение. Так мы будем верны исторической правде.

По отрывочным сведениям, а то и по звукам, по отличительному своеобразию пальбы, по всяким иным признакам Панфилов следил, как оправдывается то, что он задумал, загадал. Все, все было оправдано — риск внове примененного построения обороны, неустанное воспитание войск, чему он отдавал себя.

В тот вечер, о котором идет речь, он это уже знал, однако скромность не разрешала ему говорить о себе. Но заговорил я, выразил то, что являлось для него трепетом сердца, смыслом жизни. И ему это было приятно.

Здесь, думается, ключ к сокровенному миру, к переживаниям Панфилова. В кажущемся хаосе боя не только сбывался его план, но и разительно выявлялось нечто, чему он нашел наименование: превзойти! Да, вся его жизнь солдата, жизнь коммуниста, все, все было оправдано.

## 10

Меня заставил встрепенуться стук копыт, оборвавшийся возле крыльца. Снова промелькнуло: Звягин?

Со двора донеслось:

— Генерал у себя?

Слегка осипший голос принадлежал долговязому артиллеристу полковнику Арсеньеву. Покинув седло, полковник вошел, чуть подволакивая плохо гнущуюся ногу. Его шапка и длинная шинель заиндевели. Тотчас появился и Панфилов.

— Николай Викентьевич, прошу.

— Холодище! — произнес Арсеньев.

Стянув шерстяные варежки, он с силой потер красноватые руки.

— Не раздевайтесь. У нас здесь тоже не теплынь.

Полковник заметил меня.

— А, Момыш-Улы? Поминали тебя лихом.

— Лихом? — переспросил Панфилов.

— Так точно.. Мы уже начали отход. А его герои...— Арсеньев ткнул пальцем в мою сторону.— Его герои не пушают.— Выходец из стародворянской семьи, потомственный военный, Арсеньев любил иногда употребить эдакий простецкий оборот.— Крутые у тебя, Момыш-Улы, мужички. «Стой, занимай позицию, копай землю!» Пока я не приехал, так ни одну запряжку и не пропустили.

Казалось, он меня поругивал, но осипший голос рокотал спокойно, одобрительно.

— Хотел дать твоим молодцам взбучку, но вот чем откупились.

Длинные узловатые пальцы полковника извлекли из шинельного кармана бутылку с иноземной этикеткой.

— Мартель! — объявил он. — Настоящий, выдержанный! Пришлось сказать: спасибо, ребята!

В этой говорливости полковника чувствовалась душевная взвинченность, принесенная из мглы, уже спадавшая, уже как бы сопровождаемая вздохом облегчения.

— Они меня тоже одарили, — тепло сказал Панфилов. — Пройдите, Николай Викентьевич, к Дорфману. Кстати, полюбуйте там трофеями. И, пожалуйста, выбирайте, что понравится. Это будет память о деньке... С товарищем Момыш-Улы я сейчас закончу...

Полковник поставил на стол привезенную бутылку, выразительно крикнул и, уже не подволакивая, а твердо ставя ногу, не спеша прошагал в другую комнату.

Долгим дружеским взглядом Панфилов проводил своего постоянно сподвижника, командира пушек.

— Дайте вашу карту, товарищ Момыш-Улы.

Я разложил свою карту.

— Что же вам надлежит сделать? Во-первых, ночью вы будете пропускать через свои боевые порядки наши отходящие войска. У вас это предусмотрено?

— Да, товарищ генерал.

На карте Панфилов показал мне следующий рубеж обороны дивизии. Он пролегал уже позади Горюнов.

— Но всю эту полосу, — продолжал генерал, — которую мы сегодня держим, противник отнюдь не получит без борьбы. За каждый лесок, за каждую деревушку постараемся взять плату. Не заплатит — не продвинется. Так и будем обескровливать, лишая наступательной способности.

Уже не один раз Панфилов разъяснял мне принятую нашей армией тактику в сражении под Москвой. И все же считал нужным вновь и вновь повторять это. Стоя теперь возле меня в своем распахнутом долгополом полушубке, он опять, слегка подавшись ко мне, вглядывался, слежу ли, понимаю ли я.

— Завтра, товарищ Момыш-Улы, вы еще не почувствуете одиночества. Возможно, дышаться будет легче, чем мы с вами позавчера предполагали. Но случиться может всякое. Посмотрим, введет ли он завтра резервы. — Панфилов опять соображал вслух. — Рота Заева у вас на прежнем месте?

— Да, на отметке.

— Пусть будет наготове перейти в Горюны. Не исключено, что завтра придется прикрыться со стороны Шишкина. Но еще повременим. Вы поняли?

Карандаш генерала опять касался топографических значков на моей карте. Счастливый, что дивизия устояла, выдержала таранные удары, Панфилов не зарывался, не бахвалился, расчетливо, трезво вникал в завтра. Он сказал об артиллерии, которая вместе с моим батальоном будет драться в Горюнах. Но в последний момент, пока еще не захлопнется путь отхода по шоссе, она уйдет.

— А у вас, товарищ Момыш-Улы, прежняя задача: держаться до двадцатого. На рассвете двадцатого снимайтесь, уходите. Сегодня уже верю: свидимся. Ну...

Он протянул мне руку. Последний раз на меня смотрели его узкие, монгольского разреза, глаза. В них искрилась вера. ВЕРА! Опять большими буквами пишите это слово! Как и позавчера, он произнес:

— Иди, казах!

## Ночь на восемнадцатое ноября

## 1

Баурджан смолк.

Мы опять сидели на открытой солнцу гривке близ скрытого в лесу блиндажа-погребца, где пришлось обитать сыну степей Казахстана, герою этой книги. Из костерика тянулся по ветру смолистый дым хвои, отгонявший комаров.

Неожиданно, как случалось и прежде, Момыш-Улы запел. Я разобрал уже однажды слышанное: «На моем костре я загорался...»

Сейчас смысл этих слов был мне понятнее. Положив точеные темные кисти на рукоять упертой в землю шашки, Баурджан смотрел перед собой. Вот он проронил:

— Еду к себе от генерала..

И опять сопровождал отрывком песни встающие в памяти картины. И продолжал повесть.

## 2

Ухабистая полевая дорога влилась наконец в Волоколамское шоссе. Здесь оно уже сбегало с высотки, где смутно темнели Горюны, устремилось на восток, в наши тылы. У скрещения я остановил коня, смотрел несколько минут.

Что это? Разбитая армия? Идут люди в шинелях — идут усталые, повесив головы, без строя, маленькими группами. Винтовки за плечами будто гнут бойцов к земле. Иные садятся на обочины, ложатся, вытягиваются на снегу. Но лежат недолго. Поднимаются, тащатся дальше, стараясь из последних сил отдалиться от чего-то страшного. Поднимаются то молча, то с похожим на стон «эх» и идут, идут в сторону Москвы.

Прошел небольшой отряд в строю — не поймешь, рота или взвод — с командиром впереди. И опять в беспорядке тянутся отбившиеся от своих подразделений истомленные, вымотанные люди.

Вот кто-то повстречал, узнал однополчанина.

— Николай, ты?! А наши где?

Спрошенный махнул рукой. Жест сказал: пропали!

Я смотрел, не отрываясь. Знал, что в нескольких километрах позади, в селе Покровском, развернут заградительный пункт, — об этом сообщил мне Панфилов, — где уже останавливают, собирают, приводят в порядок бредущих бойцов, знал, что в жизни войск бывают такие мучительные периоды, и все же понурые фигуры, вереницы скитальцев удручали.

Опять предстал вопрос: что это? Разбитая, не способная к сопротивлению, покотившаяся к Москве армия? Но я ехал от Панфилова, слышал его слово «превзойти», понимал, что дивизия вынесла удар, принудила противника увязнуть.

Кто же это сделал? Да они же, изнуренные бойцы, сейчас без строя уходящие во тьму. Они дрались, стреляли, теряли товарищей, теряли командиров. Победители, они брели, еще не ведая, что победили.

## 3

Еду шагом навстречу уходящим. Вот и выстроившиеся вдоль шоссе избы Горюнов.

— Баурджан!

В полумгле замечаю характерную развалочку идущего ко мне Толстунова, отличительный твердый постав шеи. Соскакиваю с седла, отдаю повод коноводу.

— Куда, Федор, направился?



— Проверочка постов. Да и тебя уже заждался. Похаживаю, поглядываю. Ан вот и ты!

Не выказывая обеспокоенности моей судьбой, Толстунов с вкоренившейся небрежностью бросает фразы.

— Пойдем,— говорю я.

Толстунов просовывает свои пальцы в варежке под рукав моей стеганки, мы впервые с того дня, как познакомились, шагаем об руку. Он не спрашивает, ждет. Я кратко выкладываю:

— Звягина не видел. Наш генерал сказал: не могу отменить приказ, но приостанавливаю. И послал меня обратно.

— Понятно. На этом теперь точка!

— Не знаю. Еще можно повернуть и так и эдак. Все-таки ведь я...

— Брось! Или, может, мне слетать в политотдел?

— Не надо! Ни к чему.

— Тогда не забивай этим себе голову! Надобно, чтобы она была у тебя ясной. Поверь старому политслужаке: дело прикончено!

— Значит, закурим, друзья, и забудем?

Толстунов заглянул мне в лицо, рассмотрел улыбку.

— Все! И больше, Баурджан, об этом ни полслова!

— Ладно,— сказал я.

## 4

Вместе с Толстуновым я вошел к себе в штаб. В комнате, которая, наверное, навсегда останется мне памятной, уже был наведен порядок. Присутствовали лишь те, кому здесь полагалось находиться: Рахимов и Божжанов, да еще дежурный связист у телефона. Плащ-палатка аккуратно прикрывала сложенный в углу штабелек трофеев. Большим листом белой бумаги, прикрепленным кнопками — тоже, должно быть, нашлись среди трофеев,— Рахимов освежил, принарядил свой стол. Даже отклеившаяся, обвисшая полоса обоев, которую раньше никто не поднимал, теперь водворена на место, пришита несколькими кнопками. Чувствовалось с одного взгляда: улетучился, исчез дух обреченности, еще днем витавший здесь.

Глаза-щелочки Божжанова тревожно воззрились на меня — его сердце-вещун еще, видимо, томилось,— перебежали на физиономию Толстунова, остались беспокойными.

Рахимов без усилия вытянулся, стал рапортовать. В мое отсутствие чрезвычайных происшествий в батальоне не было. Подразделения занимали прежние позиции, в этот час пропускали отходивших. Рапорт окончен.

Толстунов спросил:

— Комбат, у генерала ужинал?

— Не довелось.

— И мы без тебя постились. Проголодались. Теперь давай-ка подправимся.

— Заправимся,— согласился я.

— Политрук Божжанов, действуйте! — скомандовал Толстунов.

Наконец-то Божжанов по-детски улыбнулся, поверил, что со мной ничего не стряслось. В один миг он засиял, залоснились его круглые щеки. Уже не спрашиваясь меня, лишь метнув заблестевший взгляд, он выбежал на кухню.

И вот мы за столом. Откупорены бутылки темно-красного бургундского; этим вином, льющимся в стакан медленной, густой струей, мы запиваем испанские сардины и обиходную рисовую кашу, одобренную салом.

В сенях слышится шумок. Туда по обязанности младшего тотчас

выскакивает Бозжанов. Минуту спустя дверь снова открывается. В свете неяркой керосиновой лампы, висящей над столом, вижу, как входит Исламкулов. За ним ступает притихший Бозжанов.

Встаю навстречу гостю. Что с ним? На нем, как говорится, лица нет. Куда делась плавность его черт, вся его приятная взору стать? Уголок рта подергивается.

— Мухаметкул, откуда ты?

Он нас оглядел, увидел знакомые, дружеские лица, ответил:

— Плохо. Позор.

— Что с тобой?

— Позор. Мы бежали. За нами гнались! Ты, Баурджан, не знал такого унижения.— И повторил:— За нами гнались.

— Раздевайся,— сказал я.— Как раз подоспел к ужину. Выпей. Поешь.

— Не буду. Не могу. Людей, Баурджан, накорми.

— Сколько их у тебя?

— Двадцать. Там и лейтенант Гуреев из штаба полка. Тоже оторвался ото всех, был все время с нами... Тоже испытал унижение.

Он, сдержанный, гордый казах, верный заветам нашей степной интеллигенции, что хранила, передавала сынам предания, традиции, древнюю славу народа, опустился на стул, открыто страдая.

Я приказал накормить команду Исламкулова, пригласил к столу начальника боепитания полка лейтенанта Гуреева — немолодого, изрядно за тридцать, уже с лысиной на темени.

За столом как ни в чем не бывало распоряжался Толстунов.

— Давайте-ка сюда свои шинели. Исламкулов, за тобой требуется поухаживать? На, тащи папиросу! Рахимов, в честь гостей не скопидомничай, потряси запасец!

К лампе пополз дым табака. Исламкулов одним духом выпил свою чарку. Крупные губы Гуреева тоже не отпустили стакана, пока он не был осушен.

Еще минуту Исламкулов жадно докуривал папиросу, потом, точно отворились душевные шлюзы у наших обоих гостей, полился рассказ.

## 5

Вырванная страница... Одна из тех, про которые наш генерал сказал: «Надо их восстановить». Вот этот клочок, эта страница еще не собранной книги, носящей название «Семнадцатое ноября».

Близ полудня Исламкулов, рота которого занимала отрезок переднего края у села Ядрово, был вызван в штаб батальона. Захватив связного, взяв полуавтомат, он пошел кружной лесной тропинкой. Она вывела к прогалине, где расположились походные кухни. Под гром пальбы кашевары в засаленных передниках и колпаках занимались своим делом, наряженные на кухню бойцы заготавливали дрова, чистили картошку. И вдруг, когда Исламкулов совсем было миновал кухни, лесом, с тыла, к прогалине вышла немецкая пехота. Это была страшная минута. Внезапно затрещали автоматы, засвистели пули. Прозвучал чей-то панический вопль.

Похолодев, но сохранив самообладание, мой красивый сородич, исповедующий заповедь «честь сильнее смерти», властно прокричал:

— Ко мне! Слушай мою команду!

Стоя во весь рост, он первым стал стрелять. Здесь же случайно оказался и лейтенант-штабник Гуреев. Он сразу отдал себя в распоряжение нерастерявшегося строевого командира. Наряд бойцов, связной, повара прибились к Исламкулову. Под команду, залпами, они стреляли, перезаряжали винтовки и снова стреляли. Исламкулов занял место на

одном фланге, Гуреев — на другом. Не позволили врагу подойти. Остановили, принудили залечь.

Что же этим достигли случайно объединенные двадцать человек? Я сужу как командир. Они помогли своему батальону. Вкопавшийся в землю батальон был обращен спиной к проникшим немцам. Повернуть фронт почти невозможно. Размеренные залпы двадцати винтовок заставили насторожиться каждого бойца в окопе: в тылу что-то неладно.

Что же дальше произошло с этим батальоном? Ни Исламкулов, ни два десятка воинов, стрелявших вместе с ним, не знали о дальнейшем. Однако мне, побывавшему у генерала, была уже известна следующая страница.

Сообщение со штабом полка оказалось перерезанным. Комиссар полка, находившийся в этот час в батальоне, принял решение: вывести батальон из огневого мешка, проделать перестроение. Этот трудный маневр удался. Роты снялись, заняли новые позиции, нависая над врагом. «Кто же вас прикрыл? Какие там нашлись у нас силенки?» — по телефону допытывался у комиссара Панфилов. И не получил ответа. Теперь мне предстала разгадка: вот они, герои!

Шел дальше застойный рассказ. Гуреев пытался пройти в штаб полка, путь был перехвачен. Он добрался к командному пункту батальона, нашел лишь пустые стены. Немцы уже обтекали группку Исламкулова. Он приказал отходить к шоссе. Там натолкнулись на немцев. Те заметили, стали преследовать, гнали по лесу. Наконец, после долгих метаний, удалось затаиться, дожидаться сумерек в овраге.

Впитавший с малых лет заветы достоинства и чести, Исламкулов терзался, передавая эти злоключения. Я сказал:

— А ведь ты молодец, Исламкулов!

— Я?!

— Не ты один. Много молодцов сегодня. До скончания дней буду гордиться подвигами моих бойцов. Сотня героев под командой Филимонова разгромила немецкий батальон. Рота Заева захватила танки. Но и ты на своем месте был молодцом.

— Что ты, Баурджан!

— Мы были внутренне подготовлены, чтобы прыгнуть на врага. А ты одолел то, что бьет со страшной силой: внезапность. Ты сохранил разум. Пересилил внезапность... Теперь Панфилову было бы понятно...

— Что?

— Генерал сегодня спрашивал: откуда взялись, где нашлись резервы? А они — вот!

— Резервы, которые побежали.

— И тут ты поступил правильно.

— Бежали, как зайцы. Это так стыдно!

— Заяц выдерживает взгляд хищника. Помнишь?

Исламкулов уже перестал отчаиваться.

— И знаешь, Баурджан, какое совпадение! Помнишь, как генерал отчитывал повара, не захотел у него пообедать? Помнишь — невычищенная винтовка? Так вот, все произошло как раз там, в том лесу, чуть ли не в том месте.

— И повар тот был?

— Был.

— Стрелял?

— Стрелял.

— И винтовка была чистая?

— Этого не знаю. Но лежала под рукой. Стрелял.

Я разлил по стаканам вино. В наших буднях мы, разумеется, не возглашали тосты. Но сейчас я сказал:

— Выпьем за отцов!

И не пустился в пояснения. Если угодно, знайте: я разумел и предков — родичей, передавших нам, ныне мужам войны, свое достоинство, гордость и честь, и тех (Баурджан приостановился, грозно проследил за моей рукой), на чьем огне мы загорались.

## 6

Сидим. Вахитов принес чай. К Исламкулову уже вернулась его стройная осанка, мерность речи.

Опять в сенях шаги. Отворяется дверь, чередом входят еще гости. Впереди полковник Малых, поджарый, почти дочерна загоревший под солнцем Туркмении, где он прослужил немало лет, сейчас еще потемневший, без кровинки на впалых щеках. За ним, пятидесятилетним командиром одного из полков нашей дивизии, следовал начальник штаба, молодой капитан Дормидонов.

Все, кто сидел за столом, встали. Я придвинул полковнику стул. Малых отрицательно повел головой, тяжело прошагал в угол, опустился на пол, повалился на спину.

— Товарищ полковник, может быть, поужинаете?

— Не могу. Устал. Чертовски устал. Немного полежу. Минут через пять позвоните генералу, что я здесь.

С усилием приподнявшись, он снял полевую сумку, сунул под голову и, даже не расстегнув полушубка, опять вытянулся. Его спутник занял место за столом, накинудся на ужин. Вымотанный Малых уснул.

И опять все это — сваленный изнеможением, простертый на полу командир полка, молчание начальника штаба — вызывало мысль: разбиты!

Вскоре к гостям присоединился сотоварищ спящего, комиссар полка, крепыш Хайруллин, полутатарин-полурусский, мой давний знакомый по Алма-Ате. Потеки крови, почти не почерневшей на морозе, испятнали его полушубок. Я невольно воскликнул:

— Что с тобой?

— Ничего. Гнедка подо мной убило.

Подойдя к столу, Хайруллин без приглашений, по-хозяйски, отрезал изрядный кусок колбасы, наложил толстый слой масла на ржаную горбушку.

— Отходим, Момыш-Улы,— прожевывая, говорил он.— С нами тут двести штыков. Да и раненых еще полстолько. Я у тебя реквизировал варево из кухонь. Приказал накормить своих людей. Прежде всего раненых.

— И хорошо сделал.

— Насилу, Момыш-Улы, до тебя добрались. Шли и спотыкались.

— Да ты сядь!

— Некогда, брат. Работенки еще невпроворот.

Он посмотрел на мерно дышавшего полковника. Я сказал:

— Когда он лег, то велел через пять минут позвонить генералу, сообщить, что находится здесь.

— Я уже позвонил. И для раненых вызвал машины из санчасти. Не буди. Дадим часок поспать. А я...

Комиссар отрезал еще колбасы, опять выискал горбушку в грудке хлеба, обратился к Дормидонову:

— Знаю, Дормидонов, ноги гудят, но айда со мной!

Немедленный отклик:

— Есть!

Я спросил:

— Далеко ли?

— Туда, где сейчас по штату положено нам быть. Обратнo в лес по своим следам. Собирает людей. Еще к тебе наведаюсь. Посидим, братки, все вместе, будем гонять чай. Только давай погорячей!

## 7

По телефону я проведал Филимонова, потом позвонил Заеву:

— Семен, что у тебя слышно?

Заев мне обрадовался.

— Товарищ комбат, слава богу, вспомнили. А то я тут уже песенку пою.

— Какую еще песенку?

— Какую? — Своим силым басом Заев воспроизвел заунывные причитания беспризорника: — Позабыт, позаброшен с молодых ранних лет...

— Брось чудить! Говори дело!

— Скучновато, товарищ комбат. Тишь. И морозец донимает.— Заев снова пошутил:— Вот вы немного взгрели, на сердце потеплело.

— Ночку перемайся,— сказал я.— А утром будет видно. Уразумел?

— Понятно, товарищ комбат.

Неожиданно в трубке раздался еще чей-то голос:

— Момыш-Улы, ты?

— Я. Кто говорит?

Выяснилось, что со мной разговаривает командир полка майор Юрасов. В лесу он подключился к телефонному шнуру.

— Момыш-Улы, как к тебе дойти?

— Держитесь провода. Идите смело. На немцев не нарветесь.

Примерно час спустя Юрасов с полковым инженером-капитаном оказались у меня. Я вытянулся перед своим командиром. Мягкий, впечатлительный, он подавленно молчал. Инженер произнес:

— Плутали, плутали... Уже не чаяли, что выйдем.

— С кем вы, товарищ майор? Я распоряжусь накормить.

Темная краска проступила на щеках Юрасова. Он ничего не ответил.

— Вдвоем?

Юрасов лишь кивнул. Я ни о чем больше не спросил, ни словом, ни лицом ничего не выразил. Вдвоем — этим сказано все. Командир полка был куда-то откинут вихрем боя, потерял свой полк, потерял штаб, бродил почти до полуночи в лесу, из своих нашел одного лишь инженера. Думается, это было возмездием за вину: обязанный строить оборону по-панфиловски, по-новому, Юрасов, как и раньше я мог изда- лека заметить, этим не загорелся, исполнял без веры, душой находился еще во власти прежней тактики. Ему отомстила половинчатость.

Юрасов увидел Исламкулова:

— Ты с ротой?

— Привел, товарищ майор, двадцать человек.

Юрасов опять промолчал. Раздевшись, сняв шапку, открыв свой смятый светлый ежик, он присел к столу, придвинул поданную Вахитовым тарелку, стал жадно есть.

## 8

Два часа ночи. Пустует мое кресло-раскладушка. Воинский такт, уважение к старшим по званию не позволяют мне прикорнуть там. Обойдя затихшую деревню, вернувшись к себе, дремлю на полу, на том самом месте, где лежал проснувшийся давно полковник.

— Разрешите войти.

В дверях — незнакомый лейтенант.

— Товарищ командир батальона! Вас вызывает штаб армии.

Я уже знал, что под боком у меня, в Горюнах, развернулся промежуточный армейский узел связи, откуда побежали провода к левому флангу армии.

Подымаюсь. Тотчас поднимается Бозжанов. В последние часы, с той минуты, как я вернулся от Панфилова, Бозжанов не покидает меня. Его не зовешь, он все-таки идет.

Шоссе уже пустынно. Кажется, все замерло в эту глухую пору ночи. Лишь иногда, как предупреждение, вдали прокатывается пушечный выстрел.

Лейтенант ведет в избу. Там на миг ослепляет, заставляет зажмуриться яркий электрический свет. У стены поставлен коммутатор. В наушниках сидят телефонисты. Мне подают трубку помассивнее, побольше, чем привычная.

— Говорите.

Сразу же из мембраны слышится:

— Товарищ Момыш-Улы?

Узнаю глуховатый голос Панфилова. Впрочем, он неожиданно звучен, усилен. Приходится чуть отдалять трубку от уха.

— Да. Слушаю вас.

— Как дела, товарищ Момыш-Улы?

— Пока, слава богу, тишь. Люди на своих местах.

— Я говорю от большого хозяина. Здесь находятся и товарищ Звягин и тот, кто является его начальником. Вы меня поняли?

— Понял.

— Доложите подробно, что у вас делается.

Сообщаю: пришел лейтенант Исламкулов с двадцатью бойцами, которые, находясь на кухне, винтовочными залпами встретили немцев.

— Как, то есть, на кухне? Расскажите.

Принимаюсь докладывать о группке Исламкулова. Панфилов требует подробностей. Странно: сидит у командующего армией, которому подчинены несколько дивизий, и заинтересованно спрашивает о действиях двадцати человек.

— Передайте товарищам гвардейское спасибо... Ядрово у немцев?

— По-видимому.

— Так... Дальше.

— Сидит у меня майор Юрасов. ОтбилсЯ от своих. Отошел почти в одиночку. Отстреливался. Ночью разыскал меня.

— А как полк Малых?

— Полковник Малых тоже у меня. Вывел раненых, вывел двести птЫков. Пришел с комиссаром, с начальником штаба. Сейчас они ходят по лесу, собирают людей.

— Что рассказывал Малых?

— Дрались весь день. Управление было потеряно. Но подразделения дрались.

— Так... Нет ли признаков, что немцы начнут ночью?

— Пока таких признаков не замечаю.

— Будьте, товарищ Момыш-Улы, еще внимательнее. Ночной удар возможен. Вы меня поняли?

— Да. Проверю готовность.

— Вот-вот... Теперь одну минуту подождите.

В мембране слабо гудит ток. Сейчас, наверное, Панфилов что-то скажет о приказе Звягина. Судя по всему, исполнилось пророчание Толстунова, старого политслужакИ, как он себя назвал: дело прикончено

Никому не мешая, у дверного косяка застыл Бозжанов. В узких глазах — ожидание. Конечно, усиливающая звук мембрана доносила и до него каждую фразу Панфилова. Теперь, как и я, Бозжанов ждет дальнейшего.

В трубке вновь возникает громкая хрипотца Панфилова:

— Вы слушаете?

— Да.

— Примите, товарищ Момыш-Улы, командование всей группировкой Красной Армии в Горюнах.

Не сразу осмысливаю эти слова. Ослышался я, что ли?

— Как? Что вы сказали?

Невольно приближаю трубку к уху. В барабанную перепонку будто ударяют молоточки, отчетливо выстукивают:

— Передаю приказание командующего армией: вам поручено командовать всей группой, сосредоточенной в Горюнах. И, пожалуйста, исполняйте поскорей ввиду возможности ночных действий противника.

— Но как же? Ведь тут есть полковник.

Слышу похмыкивание Панфилова.

— Должно быть, вы хотите, товарищ Момыш-Улы, чтобы командующий дал мне нагоняй,— интонация становится чуть иронической, в воображении вижу тонкую усмешку под квадратиками черных усов,— нагоняй за то, что у меня такие недисциплинированные подчиненные. Что я их распустил.

Выговариваю:

— Есть!

— Ну вот... Какие у вас ко мне вопросы?

— Пришлось накормить раненых. Да и бойцов полковника Малых. Продуктов осталось маловато.

— Останавливайте от моего имени любую повозку, любую машину с продовольствием, забирайте.

— Есть!

— Задача у вас прежняя. Вы поняли? Ну-с, будьте начеку. До свидания, товарищ Момыш-Улы.

Где-то на далеком конце провода трубка положена. Кладу трубку и я. Взглядываю на Бозжанова. Сияют его приоткрывшиеся в улыбке ровные белые зубы, сияют глаза, смотрят на меня с детской любовью.

— Чему радуешься?

— Аксакал!

Не раз в некоторые особые минуты — большей частью это были кульминации, пики нашей повести, сложенной автором Войной,— Бозжанов употреблял такое обращение. Сейчас в нем слышна торжественность.

— Аксакал, это замечательно! — Ища выражений, он возносит обе руки.— Теперь живем!

— Чего доброго, пустишься в пляс?

Продолжая улыбаться, Бозжанов встает «смирно»: руки по швам, каблуки вместе, носки врозь.

Возвращаюсь к себе. Со мною идет, держась на полшага сзади, неотлучный Бозжанов.

Все, кому привелось перебыть эту ночь в моем штабе, ждут моих вестей. Всем интересно: зачем меня вызывали на армейский узел связи?

Полковник Малых сидит на кровати, привалившись к спинке. Он после короткого сна уже побывал среди своих бойцов. Напряжением воли он заставляет себя бодрствовать, хотя разбит усталостью. Его втянутые щеки все еще землисты.

— Садись, Момыш-Улы, садись,— роняет он.

Как же я скажу ему, пятидесятилетнему полковнику, что он переходит в мое подчинение? Нет, язык не повернется произнести это. Нет, командующий, конечно, поспешил. И стоять как-то неловко, и не могу сесть. Говорю:

— Командир дивизии звонил от командующего армией. Там и товарищ Звягин. (К чему, черт возьми, приплетаю Звягина?) Генерал предупредил, что противник, возможно, будет атаковать ночью... Спрашивал, товарищ полковник, про вас.

Уф, не могу сказать, и баста!

— Ну! Чего тянешь?

— Я доложил, товарищ полковник, что вы находитесь у меня, что ваш штаб приводит людей в порядок. Доложил, что вы здесь являетесь старшим начальником.

Как-то виляю, клоню дело к тому, чтобы Малых принял командование. Ведь по уставу в таких случаях командование принадлежит старшему.

И вдруг повелительный, возмущенный голос:

— Аксакал!

Оборачиваюсь к Бозжанову.

— Аксакал! Почему не берете повод? Исполняйте приказание.

Это резкое, требовательное восклицание придало мне силы. Я остро ощутил веление долга. ДОЛГ — пишете крупными буквами это самое высокое слово — голосом Бозжанова прокричал мне: исполняй! Колебания, нерешительность вмиг меня покинули. Я выпрямился. Речь стала официальной.

— Товарищи! Командир дивизии приказал мне командовать всей группировкой в Горюнах. Товарищ полковник, доложите: чем вы располагаете?

Мгновение тишины. И вот полковник поднялся. Разбитый усталостью, он сейчас испытал еще и удар по самолюбию, но овладел собой, встал, спросил у начальника штаба:

— Дормидоныч, как ты считаешь, что у нас есть?

— Пока имеем, товарищ полковник, человек двести семьдесят или двести восемьдесят. Еще соберем.

Далее Дормидонов сообщил о вооружении: имелись противотанковые гранаты, пулеметы.

Все поочередно доложили.

Я занял новый командный пункт в железнодорожной будке, несколько позади деревни. В передней камерке запылала печурка, засветилась коптилка, в комнату побольше перебрались наша лампа, телефон, бумажное хозяйство Рахимова. Тимошин организовал связь со всеми моими новыми войсками. К ним, руководствуясь пословицей «свой глаз — алмаз», сходил обязательный Рахимов, на местности рассмотрел позиции, чтобы затем в точности нарисовать. Толстунова и Бозжанова я послал в роты проверить бдительность ночного охранения.

Незаметно пролетела ночь. Противник, говоря языком боевых донесений, активности не проявил. Помню, я откинул край нашей светома-



скировочной шторы — плащ-палатки, глянул наружу: показалось, тьма чуть помутнела. Как раз в эту минуту позвонил Панфилов.

— Доброе утро, товарищ Момыш-Улы.

Поздоровавшись, я отважился заметить:

— Покамест еще ночка.

— Э, ночка позади. Уже можем ее себе приплюсовать. Выиграли ее, отняли у противника. Не хотел он нам ее отдать, да помотали мы его вчера, вынудили приводить себя в порядок. Думаете, только нам выпало это? Ошибаетесь, товарищ Момыш-Улы.

— Я же ничего не говорю.

— А я вижу по глазам.

Панфилов засмеялся своей шутке. Нас разделяли заснеженные просторы, но не приходилось сомневаться: он встретил в отличном настроении этот первый брезг утра — последний свой рассвет.

— Я уже чаевничаю, завтракаю,— продолжал он.— Так сказать, справляю новоселье. Вы меня поняли?

— И я тоже новосел. Перебрался в путевую будку. Отсюда управляю своими сводными войсками.

— Со сводными войсками, товарищ Момыш-Улы, придется вам расстаться. Полковника Малых со всеми его силами отправьте в мое распоряжение. Всех его людей освободите. Пусть идут ко мне, пока темно.

Затем генерал приказал отослать к нему и майора Юрасова.

— Отдайте ему отрядец Исламкулова. Пусть майор явится во главе войск. Хоть двадцать человек, а все-таки войска. Вы поняли?

Ночью Панфилов отодвинул в сторону соображения, касающиеся самолюбия подчиненных. А сейчас заботился о том, чтобы без надобности не унижить командира, уже униженного, душевно израненного безжалостной действительностью, оберегал его достоинство.

— Рассчитывайте, товарищ Момыш-Улы, только на себя. Только на свой батальон. И вчерашним выигрышем не обольщайтесь. Нам с вами следует знать, что выигрыш с проигрышем в одной телеге ездят... Во все стороны поглядывайте. Прикройте себя справа и сзади. Роту Заева снимите.

Лишь прошлым вечером Панфилов говорил о переброске роты Заева «повременим», а нынче еще до утренней зорьки приказал: «снимите». Подготовляя сопротивление на следующем рубеже, оставляя в ключевой точке на шоссе впереди всех войск мой батальон, он, как и прежде, разговаривал со мной начистоту, ничего не обещал, не скрадывал реальность неясным, неверным утешительным покровом.

— Ну-ка, еще раз загляну в ваши глаза,— опять пошутил он.— Гм... Нет, не скажу... Не скажу, а то можете потерять скромность. О ней, товарищ Момыш-Улы, никогда не забывайте. Вы меня поняли?

— Есть! Никогда не забуду!

— Связь с вами я надеюсь сегодня еще удержать. Обо всем сообщайте. Всего вам доброго, товарищ Момыш-Улы.

Некоторое время я еще посидел у телефона, сложив руки, переживая разговор. «Не теряйте скромности». Конечно, Панфилов имел в виду не только зачинающийся день. Это завет наперед, завет надолго. Значит, там, впереди, вдалеке, Панфилов меня видит живым. «Пусть надежда вам согревает сердце» — таково было его недавнее напутствие. И сейчас он сказал ведь то же самое, лишь несколько иначе. Иначе и уверенней!

Но некогда переживать. Я взял трубку, принялся выполнять приказания генерала.

## Еще три дня

## 1

— Подходит к концу наша повесть,— продолжал Баурджан Момыш-Улы.— Приближаются ее скорбные страницы. Внутренний голос повелевает мне быть лаконичным.

...Туманный рассвет. Мороз. Ледящий ветер. На шоссе возобновился отход. Выбираются, бредут отбившиеся. Идут строем отдежурившие ночь на рубеже взводы прикрытия. В порядке уходят подразделения саперов, за собой они оставили минные поля.

...Возобновился и пушечный грохот. На Горюны, на склоны нашей высоты, на ближние опушки обрушился комбинированный частый огонь. Рывкают, бьют залпами и скрытые в лесу наши артиллерийские дивизионы. То и дело ко мне в путевую будку доходит дрожь сотрясенной земли.

...Рядом со мною в будке сидит чернобородый капитан, командир дивизиона «катюш» — мощных реактивных минометов. Это грозное оружие прислал в Горюны Панфилов. Выпустив серию ракет, «катюши», передвигающиеся на автотяге, немедленно меняют позицию, уходят из-под ответного огня. Производится заново расчет каждого выстрела. Цели указывает Панфилов: «Подготовьте туда-то. Потом я махну палочкой».

Слежу за работой «катюш». Выстрел. Басовое гудение заглушает все иные звуки боя. Накрыты позиции деревеньки Горки. Следующая цель — у Рождествена, где недавно генерал у нас обедал. Еще один наш залп туда же. И вот новая команда:

— Подготовьте в Шишкино!

Значит, отдали и Шишкино... Медленно тянулся день, дивизия оставляла деревню за деревней, залпы «катюш» очерчивали дугу вокруг нашей высоты.

Черт возьми, а Заева все нет! И со стороны Шишкина мы не прикрыты!

...Наконец-то он, верзила Заев, появляется. На поясе гранатная сумка, пистолет в кобуре. Из-за пазухи шинели, как и в прежние дни, торчит ручка парабеллума.

— Где ты пропадал?

— Товарищ комбат, дал людям часок обогреться в избах. Ознобились, спасу нет.

— Кто разрешил? Киркой, лопатой будем греться! Сейчас же выступай, перехватывай дорогу на Шишкино. Там уже противник.

— Подать его сюда! — по старинке отчебучивает наш Заев.

За два дня, проведенные в лесной глухомани, он оброс рыжей щетиной. Запавшие глаза не прячутся под выступами бровных дуг, преданно, смело глядят на меня. Отмочив шутку, Заев обретает серьезность.

— Товарищ комбат, слушаю вас!

— Занимай позиции по опушке! С тобой сейчас пойдет туда Рахимов. Укрывай, береги людей. Пристреляй дорогу. Если пойдут танки, отсекай огнем пехоту!

...Реактивные снаряды трахнули по Шишкину. Чернобородый капитан ожидает следующей команды. Связист зовет его к телефону. Выслушав приказ, командир «катюш» протягивает мне руку.

— Славно постреляли. Приказано ни минуты не терять, уходить из Горюнов. Сам знаешь, не дай бог, если моя техника попадет к немцам.

...Вызываю к себе лейтенанта Шакоева. Выхожу ему навстречу. Олютевший ветер несет, завихряет колючую снежную пыль. Горбоносый

красавец, командир взвода истребителей танков, легко, будто земля под ним пружинит, подбегает ко мне. За ним топает, попевает Кузьминич.

— Политрук, вы почему здесь?

— Я? — оторопело переспрашивает Кузьминич. — Я с истребителями. Бросаю короткое:

— Ладно.

И обращаюсь к Шакоеву, указываю на местности задачу:

— Из Шишкина возможен рывок танков. Могут пройти позицию Заева. Он отсечет пехоту. А ты готовься встретить танки. Перебрось сюда свой взвод. От скрещения далеко не уходи. Посматривай назад. Будь под рукой!

— Есть!

...Снимаются с огневых позиций, раскинутых в лесу возле Горюнов, пушки артполка. Мимо окна проплывают на тракторной тяге длинноствольные орудия.

Погрузился, ушел и армейский взвод связи. Вот теперь мы действительно одни.

Станцию Матренино противник сегодня не трогает. Такова манера гитлеровской армии: где единожды ожглись, туда больше не суются, обтекают.

Откуда же, откуда же грянет удар?

## 2

...В будку вторгся картинно одетый лейтенант: потрепанная длинная шинель, красный башлык, кубанка набекрень, из-под нее выбился пышный светлый чуб. Лихо козырнул, представился. Офицер связи такого-то кавалерийского полка.

Со вкусом, с расстановкой это выговорил. Почему он здесь? Залпы «катюш» были устремлены направо, а кавалерийский полк, что назвал лейтенант, удерживал участок фронта слева. Пришелец описал обстановку: рубеж лопнул, отходим, вернее — дали «драпака».

— Дело ваше. Спасибо, что сообщили.

— А ты что будешь делать?

— Остаюсь здесь.

— Ишь какой герой! Ну, мир праху твоему.

Опять произнес это со вкусом. Взял у Рахимова пачку немецких, в яркой обертке, сигарет, козырнул и ушел. Ни на грош не переживал горечи отхода. Беспечный прощельга!

...Танки! Они появились не спереди, не слева, не справа, а с тыла, с той стороны, где шоссе, обозначенное вылизанными ветром островками асфальта, чернеющего меж косячков снега, убегало к Москве. Не завладев станцией Матренино, обойдя ее, противник где-то нащупал слабинку и, сломив сопротивление, вырвался танковой колонной на основную магистраль. Но наш узелок в Горюнах преграждал прямое сообщение по шоссе, стоял у противника поперек горла.

Встают в мыслях те минуты... Сидя в будке, я вдруг услышал гул моторов. Почти в это же мгновение с негромким сухим треском броневой снаряд прошел стену, разнес вдребезги телефонный аппарат и, продырявив еще одну стену, ушел дальше. Сунув за телогрейку пистолет, я побежал на волю. Повар Вахитов, еще ни о чем не подозревая, священнодействовал над раскаленной плитой.

С порога сквозь поземку я увидел танки. Шли, приближались десять или двенадцать бронированных темных коробов, устрашающе рыча Шли развернутым строем, нагло, без пехоты. Одна машина — большущая, наверное командирская, — стояла рядом с моей будкой.

Башня была обернута красным полотнищем. Торчал прутик антенны. Высунувшись по поясу из приоткрытого люка, танкист оглядывал местность. Меня он не заметил.

Стрелять? Я еще не успел ничего сообразить — смутила и красная ткань над белеющим на бортовой броне вражеским крестом, — как из-за будки бесшумно шагнул побледневший Кузьминич. Его голые, без варежки, пальцы сжимали ручку противотанковой гранаты. Показалось, что он двигается непереносимо медленно, уже и немец насторожился, быстро пригнулся.

В этот миг я выстрелил. А Кузьминич неторопливо рассчитанным, точным швырком метнул в танк гранату. Стрелок, скрытый в машине, успел нажать спуск пулемета. Мой выстрел, пулеметный лай, остря пламени, вылетающие из тонкого рыльца, глухой грохот, содрогание стальной коробки — все это слилось воедино.

Стук пулемета оборвался.

— Кузьминич, вторую! — крикнул я.

Неспешным по-прежнему движением он кинул еще одну гранату и упал. Я бросился к нему, приподнял. Из рта лила кровь, пузырилась красная пена.

Взрывы двух гранат Кузьминича стали будто сигналом отпора. Зашелкали выстрелы двух пушечек, охранявших тыл, забухали противотанковые ручные гранаты.

Я вытащил бинт, растегнул на Кузьминиче шинель. К нам уже подбегал Синченко.

— Берись, — приказал я, — помоги перенести политрука в будку. И седлай коня, скачи за Киреевым.

Гимнастерка Кузьминича намокла. Сквозь свистящее дыхание он смог проговорить:

— Нет, уже не стану... Не стану военным.

Неживая пелена подернула его глаза. Он, научный сотрудник института экономики, сидень-книжник, впервые в годину великой войны надевший грубую солдатскую шинель, обретший в страшный миг бесстрашие истинного воина, угас с этими словами: «Не стану военным».

...Три танка уже были окутаны дымом, в котором металось коптящее пламя. Один вертелся на перебитой гусенице.

Огрызаясь, отстреливаясь, уцелевшие машины отошли.

### 3

...Снова немцы нас молотят бризантными гранатами, шрапнелью, минами. Скрывшиеся в лесу танки, не жалея боеприпасов, тоже лупят из башенных орудий по деревне. За наглость они уже проучены. Вынудить танки идти медленно, не отрываясь от пехотного сопровождения, — этого, думается, мы достигли.

Перебежками я добрался к Брудному, растолковал задачу: отрезать, отсекай пехоту от гусениц. И когда пехота заляжет под нашим огнем, останется в поле без брони, контратаковать, гнать, убивать!

Бойкий, смысленый лейтенант понимающе кивает.

...Вот она, еще одна атака.

Снова развернутым строем ползут по снегу танки, ползут на малой скорости, держась возле идущих беглым шагом автоматчиков. Их разит наш винтовочный огонь, подкашивает пулемет Блохи. К пулеметчикам ушел от меня Бозжанов.

Люди в зеленых шинелях не выдерживают, ложатся. Машины притормаживают, вроде бы оглядываются на залегших. Вступают в дело наши пушечки. Снаряд-другой попадает в цель, в черные, почти непо-

движные мишени. Минута колебания. Танки отвечают огнем, бьют по нашим пушкам. И дают задний ход. С ними отбегает пехота. Второй приступ отражен.

...Опять бешеный обстрел. Сидим в подполах, в земляных укрытиях. Медпункт заполнен ранеными.

Наконец смеркается. Еще одна ночка окутывает тьмой подмосковные снега. Мы выстояли, не отдали Горюны.

## 4

Занялся следующий день, девятнадцатое ноября. Последний день обороны Горюнов.

...Стрельба с трех сторон. Единственная спокойная сторона — станция Матренино. Туда, к Филимонову, мы ночью переправили раненых, разгрузили медпункт.

Взводы Брудного, и хозяйственный взвод, и взвод связи обороняют деревню. С разных опушек лезут танки и пехота. Ведем огневой бой. Немецкие снаряды выводят из строя одно за другим наши орудия. Ездовой Гаркуша придумал: поставить пулемет на розвальни, запрячь мшачка и стрелять с саней, перебрасывая эту огневую точку из конца в конец деревни.

...Тают и тают наши силы.

Навзничь простерт на снегу богатырь Галлиулин. Шинель прорвана у самого сердца. В миг смерти он прижал руку к груди, прижал точно так же, как и в ту минуту, когда однажды сквозь сон кротко произнес: «Я извиняюсь».

Неловко согнувшись, застыл навсегда Мурин. Очки сбиты с воскового заострившегося носа, в снегу торчит обвязанная ниткой дужка. Никогда больше он, аспирант консерватории, ставший пулеметчиком, не подойдет ко мне, не приоткроет свою впечатлительную душу. Сколько раз я его учил стоять «смирно», а теперь сам стою «смирно» над ним, недвижимым Муриным.

— Комбат, ты чего, сдурел? Нарочно ловишь пули?

Толстунов с силой пригибает меня к взрыхленному, перемешанному с глиной снегу, тащит за руку в укрытие.

...Сотоварищ погибших пулеметчиков, командир расчета Блоха ранен, осколок чиркнул по шее. Блоха не оставил розвальней — своего летучего пулеметного гнезда.

Вот несутся эти сани. Рядом с Блохой, странно сбывчившим голову, сидит на соломе у пулемета разгоряченный азартом, страстью боя Божанов. Вожжи держит тоже отнюдь не приунывший, подгоняющий коня кнутом и сочными ругательствами озорной Гаркуша.

Уже в середине дня этот пулемет остался у меня единственным.

...Еще одна атака немцев со стороны путевой будки, уже нами отданной. Лезут в гору танки, за броней укрывается пехота. Приближаются к крайним домам, к сараям на окраине. Наш злой ближний огонь заставляет наконец автоматчиков лечь. А танки врываются в деревню.

Сбоку, с горы, срываются, скатываются бойцы. Они с диким рыком «а-а-а», с примкнутыми штыками стремглав набегают на вражескую цепь. Вперед вынесся Брудный. Немцы не принимают удара.

А в Горюнах, на широкой улице промеж домов, глухо хлопают противотанковые гранаты. Взвод истребителей схватился с черными машинами смерти. Тут и там замерли, дымят подорванные, подоженные, одетые в броню громадины. Те, что избежали этой участи, прогрохотали сквозь деревню и, не снижая скорости, ушли по противоположному склону.

Мы остались хозяевами Горюнов. И опять на взрытом гусеницами и снарядами снегу простерты павшие.

В единоборстве подбив танк, сложил удалую голову красавец Шакоев. В этой же схватке погиб тот, кого в роте называли стариком, — солдат с прокуренными пшеничными усами Березанский. Во всем взводе лишь четверых не тронули пули или гусеницы.

Худенький низкорослый Джильбаев перевязывает сидящего на снегу раненого.

— Товарищ комбат, я тоже...

Джильбаев показывает взмахом руки, что и он метнул под танк гранату. Жар боя еще владеет им.

Он обводит взглядом улицу, что стала полем брани, видит догорающие танки, охваченную пламенем избу, недвижимые тела в шинелях, стеганку распластанного на обочине с протянутой вперед рукой дагестанца командира.

— Товарищ комбат, как же теперь? Что же мы теперь?

— Будем, Джильбаев, драться дальше.

...Вернулись бойцы, которые отогнали автоматчиков. Вернулись и принесли на шинели тело командира роты. В этой жестокой контратаке отдал жизнь кареглазый Брудный.

Маленький связной, скороход Муратов, уже не раз терявший в бою командиров роты — и стройного, подтянутого Панюкова и стеснительного, с грузинскими черными, навывкате, глазами Дордию, — сиротливо смотрит на утратившее краски жизни пожелтевшее лицо.

Прощай, храбрец Брудный! Прощай, мой сотоварищ! Опять секундную стою «смирно» над погибшим.

Уже некому передать командование ротой. Не забирать же Бозжанова от последнего моего пулемета. Опять рядом со мной Толстунов.

— Федя, прими роту. Больше некому.

Старший политрук сейчас словно забывает, что он выше меня званием, чеканит в ответ:

— Есть, товарищ комбат!

...Больше не пытаюсь взять деревню с ходу, немцы упорно захватывают пространство. Уже продвинулись на восемьсот метров, отделяющих Горюны от кромки леса, темнеющего за путевой будкой. Уже отняли у нас несколько сараев на окраине.

...Давно нет связи с Заевым. Ведущий к нему телефонный шнур пербит осколками. Порой доносится частая ружейная пальба с той стороны, где окопались бойцы Заева, отделенные от нас полосой леса.

Лишь с Филимоновым я держу связь. И телефонную (повреждения линии быстро исправляют герой-связисты) и огневую.

Поляна, где пролегает дорога на станцию, простреливается и с нашей высоты и боевым охранением роты Филимонова, выдвинутым в перелесок, откуда видны Горюны. Ни один автоматчик не лезет в это поле, огражденное перекрестным огнем.

...Продолжаем драться. Немцы занимают дом за домом, мы от дома к дому медленно отходим, цепляемся за каждый двор, снова и снова встречаем врага пулями.

Вот так бы держать и Волоколамск!

...Свечерело. Мы владеем половиной деревни, другая — у немцев. Нас разделяют еще не погасшие пожарища.

Во мгле бой замирает. Мутные красноватые зарева обозначаются в небе. Под прикрытием тьмы в братской могиле хороним убитых. Хорошо без салюта, без надгробных слов.

Санитары — их тоже осталось не много — без шума эвакуируют ра-

ненных в Матренино. Задерживается лишь фельдшер Киреев, чтобы уйти с последней горсткой.

...Часы показывают наконец полночь. Минуло девятнадцатое ноября. В душе умешаются и скорбь и пронзающая радость. Задача, которую поставил Панфилов, нами выполнена. Воинский долг свершен! Можно покинуть Горюны.

Неожиданно во тьме возгорается стрельба. Сунулась немецкая разведка: не ушел ли уже русс? Мы огрели разведку из винтовок.

Убедившись, что русс еще держит оборону, немцы без прицела забрасывают нас минами. Пережидаем налет. Опять все затихает.

...Выхожу на улицу. В ответе зарева вижу: мерно шагает Тимошин, сматывает провод.

Подзываю его. Заходим в стылую, с проломами в крыше избу. Приказываю Тимошину взять двух бойцов и пробираться к Заеву. Пусть рота Заева снимается, уходит. Назначаю место встречи — отметку в лесу близ деревни Гусеново. Обозначаю на карте Тимошина эту отметку. Отраженный от бумаги луч карманного фонарика падает на похудевшее, ставшее за один день поугловатее, мужественное юное лицо.

...Снаряжаю людей и в другую сторону, в недалекий лес, где открыты кухни и обоз батальона. Посыльные передадут мой приказ: сейчас же запрягать и двигаться на станцию.

...Снимаю оборону. Все сходится ко мне. Рахимов пересчитывает последних защитников деревни. Нас лишь двадцать четыре человека. С нами две пушки, один пулемет.

Втихомолку оставляем Горюны. Передовым идет Рахимов. Цепочку замыкает Толстунов.

## 5

Успеваю затемно оставить и станцию Матренино.

Засеревшее утро встречаем на марше. Двигаемся лесом: рота Филимонова, малые остатки роты Брудного — на время похода они переданы под начало Бозжанова, — добрый десяток саней, где тесно разместились раненые, санитарная линейка, розвальни под пулеметом, обозные двуколки, две пушки.

По лесным тропкам держим путь к отметке, куда должен подойти и Заев. Идем строем. Солдатская тяжелая обувь проминает до черной земли тонкий слой снега. Белые шапки лежат на лапах хвой. Уже облетает дуб Опавшими листьями усыпана наша тропа.

Порой приходятся топорами и малыми саперными лопатами подсекать прутняк, вырубать дорогу для оружейных запряжек.

Уже немало километров пройдено. Длинной дугой, кое-где с зубчиком — там мы огибали открытые места — прочерчен на карте Рахимова наш след. Нигде не наткнувшись на немцев, выходим лесной глушью к Волоколамскому шоссе. Нам его надо пересечь, прошагать полосу, очищенную от деревьев. Стоим в подлеске, наблюдаем.

Катят и катят в сторону Москвы длинные немецкие грузовики. Прошумела очередная автоколонна. В кузовах наложены, обвязаны толстыми веревками ящики с боеприпасами. Несколько машин заполнено солдатами. Сидят, съежившись, вобрав руки в рукава темно-зеленых шинелей. На уши натянуты пилотки, воротники подняты.

Прошла, вздымая колесами снежную пыль, эта колонна. Двигаться? Опять приближается, мчит вереница машин с гитлеровской мотопехотой. Противник, видимо, вводит резервы, свежей кровью оживляет, подкрепляет наступление. Посмотрим, надолго ли еще хватит у вас крови!

Стоим, пережидаем. Движение по шоссе то затихает, то возобновляется. Черт возьми, не переждешь! Приказываю открыть по машинам

огонь. Стрелять в пехоту, в кузова, чтобы шофер в ужасе добавил скорость.

Вот и еще одна колонна. Огонь! Трах, трах... Грузовики вихрем унеслись. Идет легковая штабная машина. Водитель, ошеломленный внезапной пальбой, тормозит. На шоссе выскакивает офицер и тут же валится, скошенный пулями. Шофер тоже застрелен.

Командую:

— Вперед!

Все кидаются через дорогу. Запряжки рысью обгоняют бойцов. Мчусь к легкой машине. На запястье только что рухнувшего офицера виден след ремешка ручных часов. Кто-то их уже снял. Обнаруживаю в машине радиоаппарат и портфель с документами. Берем это с собой.

Перевалив через шоссе, снова скрываемся в лесу. Снова идем строем.

## 6

Идем, как и прежде, по компасу, по азимуту. Путь прокладывает Рахимов, ведет строй к отметке, к пункту встречи с ротой Заева.

Подходим к железной дороге. Ее надо пересечь. Полотно расположено в глубокой выемке. Противоположный откос — настоящая круча. Почти отвесную глинистую осыпь лишь кое-где забелил снег.

Пушки здесь не вывезем.

Шагаю вдоль каймы леса: нет ли переправы поудобнее? Слышу немецкий говор. Будка путевого сторожа занята врагом.

Иду в другую сторону. В соседней будке тоже немцы.

Возвращаюсь. Что делать? Бросать пушки? В раздумье подхожу к обрыву. Позади, за деревьями, стоят бойцы. Вдруг ощущаю — однажды в нашей истории этакое уже было — ощущаю сто пятьдесят уколов в спину. Оборачиваюсь. Все смотрят на меня. Читаю во взглядах: ты нас погубишь или выведешь? Опять, как и в прошлый раз, взгляды были острее, сильнее любых слов.

Мгновенно обретаю решимость. Выпрямляюсь.

— Слушать меня! Лошадей выпрячь! Пушки вытащить на себе! Вперед!

С того самого места, где выемка-ущелье преградила нам путь, ринулись напрямик через нее. Бойцы вложили такую страсть, готовность побороть, одолеть препятствие, жажду жить, что пушки колесами едва касались земли. Потом легко вынесли сани, перевели выпряженных лошадей.

Война вновь и вновь учила: верь солдату! Стоит лишь сказать — и народ сделает, одолеет даже то, что тебе кажется немислимым. Невозможное свершалось походя. Превзойти! Превзойти себя! Невольно всплыли сказанные нашим генералом эти слова-ключ.

## 7

Не раз совершавший походы в неизведанных местах, хаживавший, случалось, и дикими лесами, грамотный топограф, инструктор горного спорта Рахимов уверенно вел строй. Любо-дорого было оглянуться — мы оставляли за собой точную прямую. Но шли без патрулей. На марше полагается выделять головное, тыловое, боковые охранения. Однако никого нельзя было послать в дозор. Ориентироваться в лесу очень нелегко. Молодые лейтенанты, досрочно выпущенные из военного училища, не владели топографической грамотой, весьма туманно представляли себе, а то и вовсе не знали, что такое азимут. Выделишь головное или боковое охранение — оно бредет черт-те куда, приходится самому верхом разыскивать свои заблудившиеся патрули.



Еще до полудня мы вышли к пункту сбора, к небольшой вырубке в лесном массиве. Рота Заева нас уже ждала.

— Встать! Смирно! — во весь свой застуженный бас прогорланил Заев.

И подбежал ко мне. К привычным моему глазу двум его пистолетам — один на боку в кобуре, другой за шинельной пазухой — Заев добавил еще и висевший на груди вороненый трофейный автомат. Оттопыренные, обвисшие карманы шинели погремливали на бегу. Заев туда втиснул набитые патронами жестяные диски, они прорисовывались через сукно. Свежий лоск оружейной смазки чернел на коротких сильных пальцах. Видимо, здесь, на привале, он занимался с бойцами разборкой и сборкой оружия. Зеленоватые, залегшие в глубоких впадинах, сейчас вскинутые на меня глаза верзилы-лейтенанта блестели радостью. Большой рот приоткрылся в улыбке, показались желтоватые, прокопченные табаком зубы. Он был весь виден насквозь, не затаил зла, обиды на меня, от сердца радовался встрече с комбатом.

Не позволив себе каких-либо чудачеств или вольностей, Заев доложил: боевую задачу рота выполнила, удерживала дорогу Горюны — Шишкино до получения моего приказа об отходе.

Все стояли «смирно», пока длился рапорт Заева. Затем я крикнул: — Вольно!

И приказал Рахимову располагать батальон на привал, раздать людям обед из батальонных кухонь, приготовленный на марше.

Батальон! С затаенной гордостью, со счастьем я вновь выговаривал это слово.

## 8

Итак, отдых в лесу. Бойцы нашли удобные местечки на вырубке и за деревьями, сели, привалились к пням, похлебали суп с мясной крошкой, блаженно задымили — табаку нам теперь хватало, еще не истощился запас трофейных сигарет. С разных сторон неподалеку — далеко не отпустишь: заплутаются — нас охраняли посты. Рахимову я приказал съездить на опушку, зорким глазом оттуда окинуть простор.

Сидим, курим, дожидаемся Рахимова. Слышатся шутки. Кони выпряжены, мирно жуют насыпанный на подстилку овес. Кто-то шагает по вырубке с огромной охапкой сена. Из этого вороха выглядывает разряженная на морозе плутоватая физиономия Гаркуши. Окликаю его:

— Гаркуша, где раздобыл?

— Стожок тут огыскался. Приберем. Не фрицу же дарить.

И вдруг в это безмятежное мгновение несколько бойцов вынеслись на вырубку с воплем:

— Немцы! Немцы!

По вырубке будто пронесся смерч — смерч паники. Все, кто сидел или прикорнул, кинулись врассыпную в лес. Поляна вмиг опустела. Застигнутый врасплох батальон буквально в один миг обратился в бегство. Мои закаленные воины, знавшие радость победы, славу подвига, громившие, гнавшие врага, отходившие от дома к дому в Горюнах, все же оказались подверженными ужасу внезапности.

На вырубке — никого! Лошади спокойно хрупают, перетирают на зубах овес. Стоят две наши осиротевшие пушечки, около них — ни души. А я? Вскочил, остолбенел. Смотрю на пушки. Они мучили нас, мы с ними не расставались, выносили на руках, берегли это наше последнее противотанковое средство. Они выходили с нами из всех окружений от села Новлянского и до этой поляны, посреди которой сейчас брошен ворох сена. Перевел взгляд на лесок. В просветах меж деревьями — немцы!

Человек тридцать в белых халатах, белых касках идут цепью. Впервые их вижу в этом маскировочном белом наряде. И стою, оцепенев. Идут, не торопятся, соблюдают осторожность. Уже выходят на открытое место.

Неожиданно слышу сиплый шепот Заева:

— Товарищ комбат, чего стоишь? — В эту минуту он опять говорит со мной на «ты». — Ложись! Сейчас вдвоем их шуганем!

Взор Заева уже обращен к немцам. Вот-вот он нажмет спуск. И как раз в этот миг позади раздается повелительный крик Толстунова:

— Комбат остался! Куда же вы бежите? За мной!

Разумеется, Толстунов поминает и мамашу — где только в дни войны ее не вспоминали!

Весь батальон вылетает обратно на поляну. Строчит автомат Заева. Бойцы с яростным «ура» бегут на врага, стреляя на ходу. Впереди Толстунов и Филимонов. Их обгоняют другие. Различаю Гаркушу. Он почти неузнаваем. Лукавинка раздета с последневшего лица, оно искажено злостью, страстью боя. Замечаю Ползунова, Джилбаева, Курбатова. Сейчас они страшны.

Страстные люди! Где-нибудь вставьте, употребите это выражение, когда будете писать о них, моих бойцах.

Немцы шарахнулись. Наши увлеклись преследованием. Выстрелы хлопают в лесу. Кричу:

— Заев! Ко мне!

Он подбегает, останавливается, ожидая приказа, серьезный, внимательный, суровый. Опущены по швам его длинные руки. Одна сжимает автомат. Вновь встречаю его честный, прямой взгляд.

— Семсн, лети! Возвращай людей! А то не расхлебам эту кашу.

— Есть!

9

Некоторое время занимаюсь сбором батальона. То и дело в лесу слышится «у-гу-гу-гу». Это аukaются, подают о себе весть далеко зашедшие бойцы.

Наконец все стянулись к вырубке, заняли места в своих взводах, отделениях. Батальон выстроен, готов к походу.

Всей колонной мы идем к опушке, откуда уже рукой подать и до Гусенова. В эту деревню, как сказал мне Панфилов, передвинулся штаб дивизии. Туда, к штабу Панфилова, нам, его резерву, надобно прийти, это конечный пункт нашего марша.

Опять меряем шагами лес. Головной взвод все время уклоняется куда-то вбок от прямой линии, прочерченной на карте. Посылаю вперед Филимонова, опять колонна кружит, выписывает зигзаги. Поручаю Заеву пролагать путь, и снова нас шатает из стороны в сторону. Сам беру взвод — невеликий остаток сражавшейся в Горюнах роты, — иду головным бойцом.

Вот и опушка. Раскаты пушечного грома, с утра нас сопровождавшие, гут, на открытом месте, звучат резче. Колется ветер. Мороз сразу становится чувствительнее. Чуть на изволокe виднеются домики Гусенова. По ветру влачится дым. Деревня горит. Нас отделяют от нее километра полтора чистого поля.

Кто же сейчас занимает деревню: наши или немцы?

Подзываю Джилбаева, Муратова, еще трех бойцов. Отправляю их в разведку. Объясняю: возможно, деревню удерживают наши войска. Тогда двинемся туда всем батальоном. Если же она захвачена врагом, пусть он себя обнаружит. Задача в таком случае — вызвать огонь

немцев. Идти с винтовками на изготовку, не прятаться, не ложиться, пока немец не откроет огонь. Потом отползать. Мы отсюда прикроем, не подпустим врага.

Оглядываю бойцов. Слушают внимательно. Волнуются. Муратов, словно стоя на горячем, переступает с ноги на ногу. Слегка расширились глаза-щелочки Джильбаева. Я продолжаю:

— Раненых не бросать! Вытаскивать на себе! Джильбаев, назначаю тебя командиром. Это твоё отделение!

Разведка покидает подлесок. Пятеро бойцов опасливо шагают по нетронутому снегу. Тяжелые кирзовые сапоги увязают по щиколотку — насыпало, намело за эти дни. Мои посланцы приостанавливаются, обобщиваются. Я кричу:

— Не трусить! Шире шаг!

Хожу по опушке. Сюда подтягивается вся колонна. На какие-то минуты чем-то отвлекаюсь. Потом опять озираю изволок. Что такое? Где разведка? В белом поле пусто. Куда делись бойцы?

Из Гусенова доходит глухой рык. Узнаю низкую октаву танковых моторов. Чьи же это танки? Снова обегая взором местность. Никого! Еще и еще всматриваюсь. В поле высится матерая одинокая елка, ее отягощенные снегом лапы мало-мало не достают земли. Под этой елкой, как цыплята под наседкой, тесно сбились, лежат мои бойцы.

Сердце мгновенно вскипает, жаркая волна ударяет в голову. А, подлые души! Вы решились обмануть комбата! Вам доверили судьбу батальона, а вы спрятались, трусы! Кричу, напрягаю голос:

— Встать! Исполнять приказ! Вперед!

Нет, они меня не слышат, никто не шевелится под елкой. Выхватываю винтовку у стоящего поблизости красноармейца и, не целясь, стреляю несколько раз туда, где запряталась разведка. Пусть просвистят листики пуль, подхлестнут оробевших.

Разведчики оглядываются на мои выстрелы. Посылаю еще пули Грозно тряску кулаком. Из-под елки выбегает Джильбаев, взмахом руки зовет за собой остальных. Хочется крикнуть: молодец! Любовь, такая же острая, как гнев, врывается в немилосердное сердце. Все пятеро, развернувшись, короткой цепочкой, шагают к деревне. Муратову не терпится — обогнал товарищей, проворно гребут снег его привыкшие к скорой ходьбе ноги.

Объятая пожарами деревня откликается, стучат автоматы немцев. Ясно — там противник. Бойцы кидаются наземь, отползают, отходят перебежками. Немцы не пытаются их захватить, пренебрегают этой малой группой. Огонь вскоре прекращается.

На опушке Джильбаев, запинаясь, виновато на меня поглядывая, докладывает об исходе разведки.

— Хорошо! — говорю я. — Будешь и дальше командовать отделением.

## 10

Мы опять выстроились, углубились в лес, пошли на восток. Где-то там, на новом рубеже, обороняется, дерется дивизия, теснимая к Москве.

Вновь глушитель-лес смягчал урчание канонады. Она как бы уже не нарушала лесную тишину. Небо над деревьями светлело — до вечера еще было не близко, — а тут, под слями, стлался легкий сумрак.

Я опять шагнул головным бойцом. Опять мы проламывали прямую. Она вывела на заброшенную, укрытую снегом, без единого следа дорожку. По этой тропе я повел колонну. И вдруг...

Из-за какого-то дерева появилась рослая девушка в военной одежде. Под ободком серой бобриковой шапки со звездой виднелось крыло гладко зачесанных темно-русых волос. На боку — фельдшерская сумка. Варя Заовражина! Встреча, наверное, была одинаково неожиданной для нас обоих. Внезапность не только в бою шутит свои шутки. Варя рванулась вперед и, не успев я моргнуть глазом, с силой охватила руками мою шею, спрятала лицо в жесткий ворс моей шинели. И тотчас опомнилась, отпрянула, залилась краской, поднесла, отдавая честь, руку к виску, но ничего не смогла выговорить. Я тоже молчал, пораженный этой встречей.

Следом за Варей приблизился еще один военный — тоже с брезентовой, меченной красным крестом сумкой. На длинном грушевидном носу были укреплены стекла пенсне. Беленков! Бывший врач батальона, бывший капитан медицинской службы, разжалованный за трусость. За его плечом винтовка рядового санитаря. Он тоже козырнул. Я ответил этим же воинским приветствием. Но слова на язык не приходили. В душе билась радость. Наши! Первые советские люди, встреченные в сегодняшнем походе! Вразвалку подошел Толстунов.

— А, Варя?! Откуда свалилась?

Затем он поздоровался и с Беленковым.

— Ну, Варя, докладывай. Краснеть хватит,— продолжал Толстунов. Черт возьми, все он примечал. Варя опять вспыхнула, не смогла заговорить.

— Нас послали за вами,— сказал Беленков.— Послали искать. Дошли сведения, что от батальона осталось лишь несколько бойцов, а комбат лежит в лесу тяжело раненный.

Я рассмеялся. Действительно, война, бои рождали множество слухов, легенд, распространявшихся с непостижимой быстротой, обраставших из уст в уста новыми подробностями.

— Это приказал товарищ Звягин,— доложил далее Беленков.— Приказал во что бы то ни стало отыскать вас. Идти в немецкое расположение.

— В немецкое расположение? — Я посмотрел на Заовражину.— Послал или вызвалась?

Варя ответила не сразу:

— Ну... Вызвалась. Мы оба... Он, товарищ комбат...— она посмотрела на Беленкова,— он сам попросился. Добровольцем!

— Спасибо, доктор!

Назвав Беленкова доктором, я как бы возвратил ему звание, которое ранее сам у него отнял. Да, теперь он заработал право так именоваться, поистине приобрел высшее медицинское образование.

— Оставайтесь, товарищ Беленков, у меня. Будете снова врачом батальона. Я об этом доложу генералу Панфилову.

Неспонятное молчание. Почувствовалось неладное. Наконец Варя произнесла:

— Генерал Панфилов убит.

### Он будет жить

#### 1

— Впоследствии мне довелось,— продолжал Баурджан Момыш-Улы,— слышать от очевидцев, как погиб Панфилов. Это случилось в деревне Гусеново, которую потом с лесной опушки мы видели в дыму и пламени.

В тот день, как в нашей летописи уже сказано, Панфилов говорил со мной по телефону, указывал цели командиру «катюш», сидевшему у меня в будке, «помахивал палочкой», по его собственному выражению.

Дивизия оставляла деревню за деревней, отходила на следующие рубежи, заставляя противника оплачивать кровью продвижение. Панфилов сидел со своим штабом в Гусенове, позванивал командирам — утраченная вчера связь наутро снова действовала, — следил по донесениям, а также и по разным признакам, приметам, как мы, его войска, в жестоком оборонительном сражении выхватывали, выигрывали у противника еще один денек.

Пробравшаяся в какую-то брешь обороны немецкая пехота начала обстреливать Гусеново из минометов.

Наш неутомимый генерал надел полушубок — тот самый, памятный мне долгополый полушубок с вывернутыми мехом наружу обшлагами, — накинул на загорелую шею ремешок бинокля и вышел взглянуть, откуда ведется обстрел. Белая улица была испещрена черными метками разрывов. Полковник Арсеньев, вышедший следом за генералом, видел, как тот сделал по ней несколько шагов — своих последних шагов. Послышался нарастающий вой мины. Пламя и грохот взметнулись почти у ног генерала. Панфилов упал. Невредимый Арсеньев бросился к нему. Небольшой, с горошину, кусок рваного железа пробил овчину на левой стороне груди, там, где китель Панфилова был скромно украшен малозаметным, со стершейся эмалью, полученным еще в гражданскую войну орденом Красного Знамени.

Мне до сих пор кажется, что я сам был в тот миг возле Панфилова. Мысленно вижу и сейчас землистую, смертную бледность, сразу подернувшую его лицо, вижу черные аккуратные щеточки усов и как бы удивленно изломанные брови.

Арсеньев плохо слушающимися пальцами принялся расстегивать, обрывая крючки, полушубок генерала. Мутнеющие глаза генерала разглядели, как взволнован, потрясен старый вояка-полковник. Панфилов успел прошептать:

— Ничего, ничего... Я буду жить.

Это были его последние слова.

## 2

Повторю: лишь впоследствии я узнал, как погиб Панфилов.

А на лесной тропе, когда впервые услышал соединенное с его именем краткое «убит», отказался верить, откинул, не допустил до сердца эту весть, приписал ее блиндажной неосновательной молве. Разумеется, я ничего не сообщил бойцам.

Марш батальона продолжался. Нашу колонну повел новый головной боец — Варя Заовражина. Она, смелая крупная девушка, родившаяся, взрослая в этой лесной стороне, засекала особой памятью все тропки, по которым шла разыскивать нас, удержала в уме всякие меты, что теперь направляли ее шаг.

Еще час, еще два часа ходьбы — и мы на краю леса. Близ опушки пролежала накатанная санная дорога. Мы увидели парную запряжку, влекущую розвальни с патронными ящиками, увидели шагавший в строю взвод в серых ушанках, в красноармейских шинелях. Бегом мы выскочили на дорогу. Наши, наши! Батальон вышел к своим.

Скомандовав привал, я побеседовал с командиром встреченного нами взвода, молодым лейтенантом. Спросил о Панфилове. И снова услышал:

— Убит.

Все же не верилось. Лейтенант уловил мое сомнение, достал из планшета фронтную газету, развернул.

Черным прямоугольником траурной рамки были обведены знакомые дорожные черты. «Снимок сделан в день гибели полководца» — обозначено было под фотографией. Всегда верный слову, Панфилов сдержал обещание, которое при мне дал фотокорреспонденту, капитану Поворот Головы, — снялся на вольном воздухе в Гусенове. Портрет был изумительно живым. Рука, окаймленная черной овчиной, приподняла бичокль. Слегка прищуренные, монгольского разреза глаза пронизывали даль. Этот сосредоточенный прищур, складочка на переносье, две глубокие борозды около рта, острые, нисколько не опущенные уголки губ, по-молодому крепких, — все было исполнено мысли. Да, мысли, проникновения, таланта!

В некрологе, что подписали начальник Генерального Штаба, командующий фронтом, командующий армией, члены Военных Советов, а также ближайшие соратники — друзья погибшего, Панфилов был характеризован как генерал-новатор, творец нового военного искусства, новой тактики современного оборонительного боя.

С тяжелой душой я смотрел и смотрел на газету. Прошелся, погруженный в думы. Затем приказал Божанову построить батальон.

На двадцатиградусном морозе у санной стежки в снежном поле выстроились мои бойцы. Двое — Варя Заовражина и Беленков — стояли поодаль. Я громко произнес:

— Товарищ доктор, займите, пожалуйста, место в строю.

Нарочно добавил это некомандирское «пожалуйста». Пусть слышит батальон! Блеклые щеки Беленкова порозовели пятнами — пятнами радости, смущения. Он встал в ряды санитарного взвода. Я покосился на Варю, ожидая, что встречу ее взгляд. Нет, даже глазами она ни о чем не попросила, глядела прямо перед собой.

— Заовражина, становись в строй!

Если бы ранее мне кто-либо предрек, что я когда-нибудь сам скажу женщине, чтобы она встала в строй батальона, я бы лишь усмехнулся. А теперь вон оно как обернулось! Видимо, прав был Исламкулов: «отечественная война изменяет многие понятия, делает возможным то, что прежде считалось немислимым».

Почти неуловимая улыбка — быть может, заметная лишь мне — тронула крупные губы Вари. Она козырнула, широкой походкой зашагала к строю, встала рядом с седым добряком, фельдшером Киреевым — своим названным отцом.

### 3

В две шеренги, взяв к ноге винтовки, стояли мои бойцы, небритые, прозябшие, измученные тяжелым маршем. А до штаба дивизии еще предстояло шагать добрый десяток километров. Надо было согреть сердечным словом, подбодрить солдата.

Я выехал к строю на Лысанке и, каждому зримый, закатил речь. Сначала я поздравил бойцов со званием советских гвардейцев, сказал о наших подвигах. Каждая рота увенчала себя доблестью. Сто двадцать бесстрашных — бойцы роты Филимонова — окружили и разгромили немецкий батальон. Вчерашний московский школьник рядовой Строжкин взял в плен командира батальона.

— Строжкин! Три шага вперед! Повернись лицом к товарищам. Пусть посмотрят на тебя. Но не загордись! А то велю нарвать крапивы и крапивой выпорю!

Эта моя шутка-присказка была давно известна батальону, и все же усталые лица прояснели, из простуженных глоток вырвался хриплый смехок. Я продолжал:

— Восемьдесят воинов лейтенанта Заева тоже приумножили славу советского солдата, атаковали с такой яростью, что сумели взять три немецких танка, набитых награбленными тряпками, громили, гнали барахольщиков, захвативших нашу землю.

Далее я сказал о героической роте Брудного, почти поголовно погибшей вместе со своим командиром и со своим политруком.

— Эти наши товарищи,— говорил я,— не зря отдали жизнь. Два дня эта рота, окруженная врагами, удерживала опорный пункт на Волоколамском шоссе, не позволила гитлеровским мотоколоннам пройти по шоссе. Честь и слава нашим павшим братьям! Родина вовек их не забудет!

Держа речь о героях боя в Горюнах, я вызвал из рядов пулеметчика Блоху, повернул его лицом к батальону. Шея этого белобрового солдата была забинтована. Он остался на посту, продолжал драться, хотя осколок перерезал ему дыхательное горло. Не оставил пулемета и во время нашего марша-отхода.

Подошел черед и слову о Панфилове. Я сказал, что наш генерал погиб. Сказал о строках, посвященных его памяти, в которых он назван генералом-новатором. Таким он и войдет в историю.

— Иван Васильевич Панфилов,— продолжал я,— был очень человечным, чутким к человеку. Он уважал солдата, постоянно напоминал нам, командирам, что исход боя решает солдат, напоминал, что самое грозное оружие в бою — душа солдата. На этом Панфилов и основал свое новаторство в тактике оборонительной битвы. Он ушел от нас, изведав высшее счастье творца. Его новая тактика была испытана таранными ударами врага и выдержала эти удары. Он исполнил дело своей жизни. И его смерть не напрасна, не бессмысленна. Находясь близко к очагам боя, он незримо касался рукой плеча командиров, удерживал войска от преждевременного отхода. И если сейчас, на пятые сутки немецкого наступления, нам, нашей дивизии, принадлежит вот эта дорога, вот это поле, этот рубеж и дивизия по-прежнему грозна, то этим мы обязаны ему, Ивану Васильевичу Панфилову. Он был генералом разума, генералом расчета, генералом хладнокровия, стойкости, генералом реальности.

Я перевел дыхание — оно вылетело изо рта белым парком,— подумал. Напряженно подумал, еще не удовлетворенный своим словом. И продолжал:

— По рождению, по воспитанию, по натуре он был глубоко русским человеком. Знал и любил прошлое и настоящее русского народа, гордился его славными сынами, творениями, делами. И уважал все другие народы.

Мысль стремилась схватить, выразить нечто самое главное в Панфилове. Пробегая глазами по рядам, я остановил взгляд на Заеве. Насупив лохматые рыжеватые брови, он внимал мне.

— Лейтенант Заев!

— Я!

— Все вы, товарищи, знаете командира второй роты лейтенанта Заева. В недавних боях он дрался так, что не грех о нем сказать: герой среди геросв! Однажды он молвил о нашем генерале: глашатай! В тот раз я не понял, что он разумеет. А сейчас повторю, товарищ Заев, это твое выражение. Да, генерал Панфилов был глашатаем возвышенной великой идеи. В каждом слове, которое мы от него слышали, жила эта идея, великая идея революции угнетенных и трудящихся, ленинский

огонь. Это был генерал-коммунист, сын партии, воспитавший нас, воинов Советской страны,— и тех, кто хранит партийную книжку на груди, и беспартийных.

Ощущая невидимый ток, соединявший меня с батальоном, я теперь знал: слово найдено, дошло!

— Товарищи, я только что назвал Панфилова генералом реально-сти. Нет, этого мало! Он был генералом правды.

Хотелось рассказать бойцам, как он прямо, бесхитростно заявил мне: «Вам будет тяжело. Очень тяжело». Хотелось воскресить его тон, суровый и нежный. Но я молча смотрел на своих бойцов. Вот мы вернулись, а его нет... Я сказал:

— Память об Иване Васильевиче Панфилове будет, товарищи, жить в наших делах, в подвигах его дивизии!

## 4

Штаб расположился в селе, в каменном здании, глядевшем на обширную — вероятно, некогда базарную — площадь. Здесь после очередного марша я скомандовал батальону:

— Стой!

На крыльце уже стояли вышедшие нам навстречу некоторые штабные командиры. В центре выделялся человек в кожаном черном пальто с воротником серой мерлушки, в мерлушковой же шапке, что носили генералы. Я узнал крепко сбитую фигуру Звягина. Прокричал:

— Смирно! Равнение направо!

И, обнажив шашку, или, как мы, военные, говорим, салютуя клинком, пошел через всю площадь строевым шагом к заместителю командующего армией. Огромное красное солнце уходило за не застланный облаками горизонт. Багрянец играл на узорчатом светлом лезвии, которое я, печатая шаг, держал перед собой.

В душе переплелись разные чувства: и гордость и — чего скрывать! — некое затаенное удовлетворение: вот тебе партизан с шашкой!

Звягин не дал мне подойти. Он легко сбежал с крыльца, отодвинул мою шашку, проговорил:

— Брось ты, Момыш-Улы, свои штучки!

Обнял меня за плечи и по-русски поцеловал в губы.

Я со вспыхнувшей вдруг нежностью смотрел на этого генерала с тяжелой рукой, который три дня назад приказал мне сдать командование, а теперь без лишних слов одним объятием, одним поцелуем зачеркнул свой приказ.

Вновь попытавшись салютовать, я произнес:

— Товарищ генерал-лейтенант! Резервный батальон командира дивизии...

— Брось, Момыш-Улы! — вновь воскликнул Звягин. — И людей зря не томи.

Своим мощным, звучащим колокольной медью басом он скомандовал:

— Вольно! Можно курить.

Вынув из кармана коробку папирос высшего сорта, он раскрыл ее передо мной:

— Кури.

Я взял папиросу. Звягин опять запустил руку в карман и... И в его крепких пальцах с блестящими, коротко стриженными, видимо, твердыми ногтями я увидел зажигалку Панфилова. Так вот кому Панфилов ее подарил! Как он сказал? «Преподнес со значением одному человеку...» Вот кто этот «один человек»! Звягин подержал зажигалку меж



теплыми ладонями. Знал ли он, с каким значением Панфилов подарил ему эту вещицу? В светлых глазах Звягина, под которыми, как и прежде, набухли небольшие отеки, промелькнула умная ироническая искорка. Черт возьми, возможно, ему было известно, что Панфилов хотел подарить ее и мне. И тоже со значением! Не обмолвившись про это ни словечком, мы лишь обменялись взглядами.

Чирк — возник огонек. Мы закурили.

\* \* \*

— Ставьте большую-пребольшую точку,— сказал Баурджан Момыш-Улы.— На этом мы закончим нашу летопись о батальоне панфиловцев. Двадцать третьего ноября 1941 года я перестал быть комбатом. Меня вызвали в штаб армии, назначили командиром полка. Свой батальон я передал Исламкулову.

Применяя панфиловскую спираль-пружину, огревая гитлеровцев огневыми пощечинами, мой полк отходил — отходил до поселка и станции Крюково. Там, на Ленинградском шоссе, мы выдержали шестидневный бой и вместе с другими частями Красной Армии, поворачивая историю, погнали врага от Москвы. Об этом можно было бы написать еще одну книгу под заглавием «Ленинградское шоссе». Можно написать и «Под Старой Руссой». Но — книга кончена! И в будущем могу обещать вам лишь одно...

Положив свою точеную кисть на рукоять шашки, Момыш-Улы одним махом неожиданно извлек клинок. В полутьме блиндажа засияла узорчатая сталь — та, что сверкнула и в зачине и только что в последней главе этой книги.

— Лишь одно,— повторил Момыш-Улы.— Наврете — кладите на стол правую руку. Раз! Правая рука долой! Вы подтверждаете ваше согласие?

Я скрыл улыбку. Мой грозный Баурджан, ты верен себе, характеру, что создан под пером, создан вниманием и воображением. Впрочем, нищу следует быть скромным.

— Подтверждаю,— сказал я.

1942—1960 гг.



---

С. МАРШАК

★

## ИЗ ЛИРИКИ

### ЧУДО

Чудес, хоть я живу давно,  
Не видел я покуда.  
А впрочем, в мире есть одно  
Действительное чудо:

Пмножен мир — иль разделен —  
На те миры живые,  
В которых сам он отражен  
И каждый раз впервые.

Все в мире было бы мертво, —  
Как будто мира самого  
Совсем и не бывало, —  
Когда б живое существо  
Его не открывало.

Оно проникло в глубь небес,  
В пространство мировое.  
Какое чудо из чудес —  
Живущее, живое!

### БЕССМЕРТИЕ

Года четыре  
Был я бессмертен.  
Года четыре  
Был я беспечен,  
Ибо не знал я о будущей смерти,  
Ибо не знал я, что век мой не вечен.

Вы, что умеете жить настоящим,  
В смерть, как бессмертные дети, не верьте.  
Миг этот будет всегда предстоящим —  
Даже за час, за мгновенье до смерти.

\* \* \*

Бывало, полк стихов маршировал.  
 Шеренги шли размеренно и в ногу.  
 Рифмованные, звонкие слова  
 Литаврами звенели всю дорогу.

Теперь слова подчас идут вразброд.  
 Не слышен четкий шаг в стихотвореньи.  
 Так шествует — назад, а не вперед —  
 Разбитый полк во время отступления.

Свободный строй стиха я признаю,  
 Но будьте и при нем предельно кратки  
 И двигайтесь в рассыпанном строю,  
 Но в самом строгом боевом порядке.

\* \* \*

Полные жаркого чувства,  
 Статуи холодны.  
 От пламени стены искусства  
 Коробиться не должны.

Как своды античного храма —  
 Души и материи сплав, —  
 Пушкинской лирики мрамор  
 Строен и величав.



---

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ

★

## ХВАЛА ВОСТОКУ

*Моим друзьям — поэтам Востока.*

Когда я вымолвлю: «Восток!»,  
Его сынов припоминаю,  
Гостями бывших в нашем крае  
И не таввших свой восторг.

И потому среди друзей  
Я отдаю им предпочтенье,  
Что в годы юности мой  
Востока видел пробужденье.

Ты потянулся вдруг, Восток,  
Своими сонными грядами  
И стены прочные расторг  
Между соседними садами.

Ты можешь первым быть в борьбе,  
Ты песни складываешь мудро.  
И я приветствую в тебе  
Едва занявшееся утро.

А старый век — он злом истек,  
Но песни боя недопеты,  
И я дожить хочу, Восток,  
До окончательной победы.

Брожу сейчас меж давних дней,  
Теченье времени замедлив,  
Как будто в юности своей  
Я заплутался, не заметив.

И снова, юностью томим,  
О чудесах мечтаю столькоких...  
Абдель-Керим! Абдель-Керим! —  
Горели степи на Востоке.

А за Великою стеной  
Все было пламенем залито.  
Китай, поднявшийся войной,  
Терпеть не хочет Чжан Цзо-лина.

И разом треть земли отсёк  
Тот год прекрасный и жестокий.  
Над миром слышалось: «Восток!» —  
И отзывалось на Востоке.

Я с удивлением открыл:  
По новой мир летит орбите.  
И, как ученый, счастлив был,  
Такое сделавши открытье.

И я не знаю, почему  
Я быть не мог в те дни спокойным,  
Я тоже жил тогда в дыму,  
Я тоже был огнем и воином.

Да будет вечно счастлив тот,  
Кто в жизнь открыл дорогу бурям!  
И я стремился на Восток,  
Как мой отец стремился к бурам.

О эта жизнь! О эта страсть!  
О сердца злые перебои!  
О радость — на бегу упасть!  
О счастье — жертвовать собою!  
Но, говорят, прошло сто лет...  
Да нет! Вчера все было только!  
И вот ликует красный цвет  
На флагах юного Востока.

Поднялся деревом росток.  
Пусть песни боя недопеты —  
Я доживу теперь, Восток,  
До окончательной победы!

*Перевел с грузинского Валерий Тур.*



---

В. ПОЗНЕР

★

## МЕСТО КАЗНИ\*

На рассвете

**Г**лубокой ночью в корпусе ПКС алжирской тюрьмы не спит заключенный. ПКС — означает «приговоренный к смерти». В соседних камерах, по трое в каждой, спят или, как он, тихо лежат на своих тюфяках около ста ПКС.

В эту камеру заключенного перевели лишь недавно, после того как он объявил голодовку. В прежней не было окна, а в этой есть, через него виден клочок алжирского неба, и, когда заключенный попал сюда, он в первую минуту испытал ни с чем не сравнимое чувство свободы. Но в этот час, глубокой ночью, неба не видно — он наедине со своими мыслями, мечтами, воспоминаниями.

Ему двадцать девять лет. Его зовут Абделькадер Геррудж. Он ПКС.

Его отец был поденщиком, каменщиком, чернорабочим, садовником. Участник войны четырнадцатого года, он сражался на восточном фронте. Весной он занимался обрабатывать сады; осенью, когда созревали оливы, работал на маслобойнях. Его основным занятием была безработица.

Герруджи жили в Тлемсене, в низком доме, где по обе стороны длинного коридора тянулись двери и за каждой из них ютилась семья. В каждой комнате было окно, кроме последней, комнаты Герруджей: свет и воздух проникали туда через коридор, как посетители, только посетителей было много, а света и воздуха — мало, поэтому комната была темная и сырая. С потолка свешивалась лампочка без абажура; из экономии ее зажигали только поздно вечером, когда уже нельзя было обходиться без света. Днем наружную дверь и дверь, выходившую в коридор, держали открытыми. Слабое освещение скрывало убожество обстановки. Не будь в комнате так темно, с улицы были бы видны голые стены и единственный предмет домашней обстановки — швейная машина, за которой, портя глаза, работала жена поденщика.

Вечером на полу расстилали тюфяки, и семейство Герруджей, кое-как укрывшись двумя или тремя общими одеялами, укладывалось спать. Их было девять человек: отец, мать и семеро детей — шесть девочек и один мальчик. Мальчик — Абделькадер, или, как его звали дома, Джилали — был самым старшим.

Джилали играл в мальчишеские игры: в реккала (нечто вроде чехарды), в шарки, в юлу, а больше всего в футбол. На перекрестке трех улочек с утра до вечера гоняли мяч тридцать или сорок босоногих ребя-

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

тишек. У них даже была поговорка: «Хоть ноги в кровь собьешь, а сандалии сбережешь».

Девочки играли в куклы, в «дочки-матери», а на «мулú», когда празднуют рождение пророка, наряжались, нацепляли материнские серьги и ожерелья, усаживались на крылечке дома и пели, подыгрывая себе на тамбуринах. Некоторые, в том числе и совсем маленькие, семи-восьми лет, даже красились.

Праздник мулú продолжается целую неделю. Днем и ночью на улицах трещат петарды — забава мальчишек. Иногда дядя Джилали, подручный кузнеца, раздобывал кусок металлической трубы, и дети, распотрошив десяток петард, набивали в трубу порох, затыкали ее с обоих концов тряпками и старыми газетами и поджигали фитиль. Когда фокус удавался, взрыв сотрясал весь квартал, и женщины испуганно вздрагивали. Но теперь они уже привыкли к взрывам.

Лежа на своем тюфяке, Джилали прислушивается. Тюрьма молчит. Молчит Алжир. Редкой ночью из камер не доносятся стоны и вопли. По этим воплям заключенные узнают, за кем пришли, из камеры в камеру передают их имена и по крохам восстанавливают истории оборвавшихся жизней. Таким образом, здесь каждый одновременно жертва и свидетель.

Дети обувались, только идя в школу, и то не все и не всегда. В Тлемсене были две школы для французских детей и еще две, где в переполненных классах учились маленькие арабы, тоже не все и не всегда. Джилали ходил в школу благодаря матери и ее швейной машине: если бы мать не подрабатывала, Джилали пришлось бы чистить ботинки европейцев и носить кошельки их жен — на заработок отца семья прожить не могла.

Когда Джилали возвращался из школы, мать переставала шить, и он усаживался за швейную машину готовить уроки. Это было не очень удобно: локтем он задевал за привод, а листы тетради загибались и рвались, попадая под лапку. Чаще всего мальчик вместе с двумя или тремя товарищами, у которых дома было не лучше, располагался на ступеньках портала на противоположной стороне улицы или на скамейке в Ботаническом саду. Они сидели там часами, уча уроки и болтая, пока их не прерывала мадам Геррудж, чтобы послать сына на дипломатические переговоры к лавочнику или, если кто-нибудь в доме был болен, отправить к аптекарю — описать ему симптомы болезни и получить лекарство и совет: приглашать врача им было не по карману. Джилали был уже образованнее своих родителей, и, когда отец шел на почту, он брал его с собой в качестве переводчика.

В школе Десье училось около сорока маленьких алжирцев. Их родным языком был арабский, но они должны были объясняться между собой и с учителем, тоже мусульманином, на чужом языке, котсрый они плохо знали. По окончании школы Джилали в числе немногих был принят в Коллеж де Слан. В классе из сорока учеников оказалось всего шесть или семь таких, как он, детей ткачей, метельщиков, поденщиков, безработных. Французские дети были из семей архитекторов, врачей, преподавателей. Среди них был сын мэра Тлемсена и дочь прокурора. Дома их ждали комфорт, вкусная пища, книги, родители, умеющие проспрягать неправильный латинский глагол и решить алгебраическую задачу. Программа была рассчитана на них.

— Я дам вам сейчас тему для совсем короткго, строк на пятнадцать, сочинения, — говорил учитель. — Опишите букет хризантем и мысли, которые он у вас вызывает.

Французы тут же начинали строчить: было начало ноября. Остальные вопросительно смотрели друг на друга. Ни один из них не знал о дне поминовения усопших, а некоторые никогда не видели хризантем.

Как быть сыну черноработного, едва умеющего говорить по-французски, и неграмотной женщины, которая совсем не знает французского языка, когда ему нужно посоветоваться с родителями, выбрать ли отделение «А» или отделение «М», то есть изучать ли греческий язык или естественные науки? Если он хочет знать их мнение, которым он дорожит, ему нужно сначала их всему научить, а не то решать самому, сидя на ступеньках портала напротив открытой двери в коридор, в конце которого, в комнате без окон, склонилась над швейной машиной его мать.

Между этой комнатой и коллежем с его учителями-французами, учениками, учебниками, сочинениями и задачами лежала целая пропасть. Класс представлял собой автономный мир, в котором царили свои особые законы, и юный араб чувствовал себя там чужаком. В словах учителей и в избранных отрывках из произведений французских писателей звучали истина и справедливость, но эта истина и эта справедливость имели цену только для европейцев, их благодетельность не распространялась на мусульман. Как только арабы выходили из коллежа, они попадали в другой мир, и, встречаясь с ними на улицах, их одноклассники-французы по большей части даже не здоровались с ними.

В День победы по улицам Тлемсена двигалась длинная колонна, скандируя:

— Эль истикляль! Эль хуриа! (Свобода! Независимость!)

В демонстрации приняли участие не только мужчины — старые и молодые, — но даже женщины, закутанные в свои покрывала. Джилали и его товарищи кричали вместе со всеми: «Эль истикляль! Эль хуриа!» На демонстрантов напала полиция. В Тлемсене жертв не было, но в других местах были тысячи убитых и раненых. По городу расхаживали вооруженные до зубов патрули. На улицах грохотали гусеницы броневиков.

Джилали был уже в третьем классе, где проходят историю французской революции. 1789 год переключался с 1945 годом выстрелами, топотом шагов и гневными выкриками. Французская культура, которую он до сих пор изучал упорно, но безучастно, вдруг обрела для него смысл. Вскоре семена, которые заронили в его душу все прочитанные им книги — Рабле и Мольер, Лабрюйер и Руссо, а особенно Гюго, — созрели и дали ростки.

Время идет. Алжир спит. Ночь гнетет тюрьму. В корпусе ПКС Джилали не смыкает глаз.

Доехав на велосипеде до Оранских ворот на окраине Тлемсена, достаточно нажать на педаль, чтобы спуститься свободным ходом до самого Негрие — селения, расположенного в пяти километрах от города. Дорога идет мимо старого еврейского кладбища, между огромными, многовековыми тузовыми деревьями, ветви которых в хорошую погоду облеплены ребятишками, перемазанными соком ягод. За поворотом у Хар эль Бей спуск становится более пологим, по обе стороны дороги тянутся виноградники, а впереди показывается Негрие — селение мелких колонистов, с его низкими домиками под красными черепичными крышами, главной улицей, церковью и мэрией, в здании которой помещается и школа, как во многих французских селениях.



В 1948 году, к возмущению обывателей Негрие, туда впервые прислали учителя араба и учительницу еврейку. Ахмед был холост и жил в Тлемсене. Учительница, Жаклин Неттер, родилась в Руане. Ее семья была из Эльзаса; после войны 1870 года Неттеры все бросили и уехали во Францию. Семьдесят лет спустя им пришлось носить желтую звезду, а Жаклин, арестованной в Туре, едва удалось избежать отправки в Германию и кремационной печи. Когда она с детьми от первого брака приехала в Негрие, ее встретили огромные знаки свастики, которые были намалеваны на стенах домов во времена оккупации и которые никто не удосужился стереть.

Ахмед учил мусульманских мальчиков, Жаклин — маленьких европейцев и девочек, в том числе и Даниэль, свою старшую дочь.

Весь этот шумный народ жил одной семьей, арабские и французские дети не знали предрассудков или забывали о них в школе. На переменах Ахмед и Жаклин выходили во двор, садились рядом и беседовали. Он рассказывал ей о жизни алжирских крестьян. Время от времени она вставала, чтобы заняться детьми. Иногда прибежали ее ребяташки. Она сажала на колени маленькую Катрин. Тогда Клод, ревнуя к ней мать, прогонял сестренку и забирался на ее место. Катрин начинала хныкать. В конце концов они оба усаживались верхом — один на правое, другой на левое колено Жаклин.

Поздней осенью, в холодный дождливый день, Ахмед встретился с двумя своими друзьями детства, которых он не видел с той поры, когда они больше берегли сандалии, чем ноги. Теперь они учились в Коллеж де Слан на отделении философии. Одного из них звали Иналь; впоследствии он стал преподавателем истории, ушел в партизаны и погиб с гранатой в руке у селения Декарт. Другой был Джилали. Он сидел в углу комнаты; вид у него был замкнутый, почти угрюмый, и тому, кто его не знал, он мог бы показаться нелюдимым. Он был одет так же бедно, как в детстве; воротник его рубашки был распахнут — он его никогда не застегивал, даже зимой. Таким Жаклин и увидела его в первый раз: нахмуренный лоб, расстегнутый ворот рубашки. С женщинами он был воплощенная робость.

В следующий четверг он опять приехал, потом стал приезжать каждый четверг. Обычно вместе с ним приезжал Иналь. Они гуляли с Жаклин, купались — она научила их плавать, и скоро Джилали плавал лучше всех.

И на велосипеде он тоже ездил лучше всех в их компании; только он один доезжал до самого Тлемсена, не сходя с велосипеда на повороте у Хар эль Бей, — остальные поднимались в гору пешком. Он любил возиться с сломанными велосипедами, авторучками, старыми часами. Как-то он заменил выпавшую минутную стрелку травинкой, и часы шли.

Однажды они отправились втроем купаться на Тру де ла Негресс — маленькое озеро неподалеку от селения. Дорога вела через владения самого крупного колониста в округе. Жаклин шла впереди. Их обогнала машина и тут же остановилась. Из нее вышел маленький безбровый человечек в рыжем парике. Это был сам колонист. За ним вылезли управляющий в каске и с ружьем и две женщины, державшие на поводке длинномордых, поджарых собак.

— Я мог бы вас пристрелить, — сказал управляющий. — Закон был бы на моей стороне.

— Меня подмывает спустить собак на этих субъектсв, — сказала одна из женщин.

В коллеже один преподаватель читал лекцию о расах. Он перечислил основные расовые признаки, но заметил при этом, что они могут ввести в заблуждение, и в подтверждение своей мысли указал на одного из

учеников-мусульман — белокурого, с голубыми глазами. Дочь прокурора подскочила на месте.

— Этот? Да ведь за версту видно, что он вонючий араб!

Оробевший юноша молчал. Джилали взорвало.

В тот год он получил награду за физическую подготовку и первую награду по философии. Он делал блестящие успехи в греческом языке, который преподавал латыни. За несколько дней до выпускных экзаменов заболела его младшая сестренка, которой было всего шесть лет. Семья была слишком бедна, чтобы пригласить врача. Когда наконец раздобыли деньги, было уже поздно. Девочка, удушенная дифтерией, умерла на руках у брата.

«Это несчастье,— рассказывал Джилали,— объяснявшееся нищетой, общей для всего нашего народа, было для меня страшным ударом. Оно довершило для меня картину несправедливости, расовой дискриминации, злоупотреблений, которые не нуждаются в доказательствах, и мне стало ясно, что, если я хочу следовать морали, которой нас учили в коллеже, я должен бороться и, если надо, пострадать, чтобы положить конец такому положению вещей».

Он написал дипломную работу по философии на тему об ощущениях, получил степень бакалавра и вопреки советам своих преподавателей, которые настаивали на том, чтобы он продолжал свое образование, стал школьным учителем. С тех пор его семья не нуждалась.

Легко сказать: «Бороться и, если надо, пострадать». В двадцать лет все кажется просто. Теперь, когда Джилали лежит на своем тюфяке в корпусе ПКС, он знает, что это значит.

Осенним вечером 1951 года Джилали и Ахмед выходили с собрания ячейки коммунистической партии, в которой они оба теперь состояли. Они были довольны: многие учителя вступили в партию.

Вечер был теплый. Джилали, широко шагая, шел по безлюдным улицам. Ахмед едва попевал за ним. Когда они подошли к руинам крепостной стены, когда-то окружавшей Тлемсен, Джилали вдруг произнес:

— Послушай, я должен сказать тебе одну вещь. Я женюсь.

Его друг не удивился — он предвидел такую возможность.

— Ты уже говорил об этом кому-нибудь? — осторожно спросил он.

— Нет, никому, кроме тебя.

Ахмед продолжал допытываться:

— Ты хорошо подумал?

— Все обдуманно, взвешено, решено,— сказал Джилали.

Они прошли молча несколько шагов. Ахмед искоса смотрел на спокойное и волевое лицо товарища и думал, что сам он не решился бы бросить такой вызов общественному мнению.

— Ты думаешь, что будешь счастлив? — спросил он и уточнил: — Ты думаешь, что вы всегда будете счастливы?

— Я в этом уверен,— сказал Джилали.

Ахмед, считая что в дружбе откровенность важнее всего, заметил.

— Она старше тебя. И главное, у нее четверо детей.

— Я женюсь через две недели,— сказал Джилали.

Две недели спустя Ахмед, сидя за столиком кафе, увидел своего друга, который направлялся к нему со свертком в руке. В узелке было полотенце и смена белья.

— Я иду в мавританские бани,— сказал он.— Завтра я женюсь.

У Ахмеда сжалось сердце. Никто не ходит один в мавританские бани накануне свадьбы, все друзья идут с вами, поют песни, а в прежнее время даже играл оркестр и, выйдя из бани, жених садился на лошадь.

покрытую красивой попоной, и все провожали его до дома под треск петард и ракет.

— Ты будешь свидетелем,— сказал Джилали.

Ахмед был в поношенном сером костюме и в сандалиях. Больше у него ничего не было.

— Но ты же видишь, как я одет,— сказал он.

Джилали бросил на него рассеянный взгляд.

— Придумай что-нибудь. Я на тебя рассчитываю.

Он пошел в мавританские бани один. Ахмед обежал всех своих знакомых и в конце концов раздобыл белую рубашку и темно-синий костюм, который был ему велик. Потом он купил черные ботинки, но впопыхах плохо их померил; они оказались ему малы, и в продолжение всей церемонии он ужасно страдал.

Бракосочетание происходило в расположенном недалеко от Тлемсена селении Хенпайя, где учительствовал Джилали. Его свидетелем был учитель-француз. Ахмед был свидетелем Жаклин. Она привела с собой детей. Потом торжественное событие скромно отпраздновали. Новобрачная сама подавала угощение, ей помогала Даниэль, которой было уже двенадцать лет.

Если в жизни алжирской матери бывает счастливый день, то это день свадьбы ее сына, а Джилали был единственным сыном. Его мать весь день проплакала: он женился на европейской женщине, на еврейке. Через год этот брак стал ее гордостью, а затем принес ей славу.

Они не искали славы. Они хотели лишь счастья, но они были из тех людей, которые не умеют быть счастливыми одни. Ничто в такой мере не заразительно, как несчастье других. Попробуйте заткнуть уши, когда слышен плач. Они не сумели. И если бы им пришлось начать жизнь сызнова, они опять не сумели бы.

Парижский электрик Б., который вместе с женой в 1953 году побывал в Тлемсене, познакомился там с Герруджами. Они жили тогда близ Тлемсена, в Аин-Фецца, где учительствовала Жаклин. Джилали преподавал в школе Десье, где когда-то учился сам. Год назад у них родился сын Саид. Б. много слышал о Джилали еще до того, как познакомился с ним. «Ты не представляешь себе, что это за человек!» — говорили о нем и студенты и рабочие. Наконец однажды Б. сказали: «Сегодня он придет продавать газеты на базар». На базаре Б. и встретился с Джилали, когда тот распространял коммунистическую газету.

Они зашли в мавританское кафе. Крестьяне из окрестных деревень встали в очередь, чтобы посоветоваться с Герруджем. И так было везд: незнакомые люди останавливали его на улице, каждому нужно было что-нибудь спросить у него. Он все записывал. Можно было подумать, что это профсоюзный уполномоченный.

Через некоторое время Джилали повез парижан за город, в дуары. Они увидели людей, которые получают триста пятьдесят франков за десятичасовой рабочий день. Они увидели умирающего ребенка, у родителей которого не было денег, чтобы пригласить врача. Крестьяне, видя Джилали в обществе французов, не скрывали своего удивления. Он объяснял им, что не все французы жандармы или колонисты.

«Теперь его считают героем,— рассказывает Б.— Но в домашней обстановке вы не заметили бы в нем ничего необыкновенного. Разве только в отношении к детям — к четверем старшим. Никому бы и в голову не пришло, что он им не родной отец. Дети его обожали. Он чистый человек. Чистый не в том смысле, что он себя ничем не запятнал, а в смысле душевной чистоты. Геррудж принадлежит к типу деятелей коммунистического движения, который воплощал собой Белояннис, человек

с гвоздикой. Он не походил на некоторых партийных работников, всегда суровых и хмурых. Это был красивый, жизнерадостный парень. Жаклин была тоже хороша собой. Прекрасная пара! От них так и веяло счастьем. А между тем о них как будто даже нечего рассказать. Они вели простую, ничем не примечательную жизнь».

По утрам Джилали отвозил Даниэль в Тлемсен, где она училась в коллеже, а потом ехал к себе в школу. Обеденный перерыв он посвящал партийной работе. По воскресеньям и четвергам они с Жаклин колесили по округе, из дуара в дуар, выполняя обязанности фельдшеров, писарей, стряпчих, политических руководителей, советчиков и друзей. Все их знали; Жаклин была единственной европейской женщиной, которую феллахи не называли «мадам». Герруджи были для них просто Джилали и Жаклин.

И он и она часто и заразительно смеялись. Если у человека было тяжело на душе, ему стоило побывать у Герруджей, чтобы он повеселел. У них было всегда полно народу. Им никогда не удавалось отложить ни гроша.

Первого апреля 1955 года Джилали был выдвинут кандидатом на выборах в Генеральный совет, и число голосов, поданных за коммунистов в Тлемсене, удвоилось. Через несколько дней он был выслан вместе с семьей. «В этот день, первого мая 1955 года, — говорил он потом на суде, — глядя на исчезающие берега моего родного Алжира, я осязательно осознал свою нерасторжимую связь с алжирским народом. Я считаю, что любить свою родину не преступление, и я полюбил ее еще больше, когда был изгнан из нее».

Семья нашла пристанище в Руане, у родителей Жаклин, потом в селении Розьер департамента Тарн, где бывший учитель Лоран Нав предоставил в их распоряжение свой дом. Розьер находится возле Кармо, и почти все его жители — шахтеры. Зная, что у Жаклин нет денег, они тайком, чтобы не обидеть ее и избежать изъятий благодарности, приносили ей продукты и уголь. Попав сюда, Джилали наконец нашел людей, унаследовавших ту мораль, которую проповедовал его учитель, и когда впоследствии он говорил, что дружба между Алжиром и Францией возможна, он думал о шахтерах Розьера.

Внимание Даниэль привлекла брошюра, посвященная сыну господина и мадам Нав, Роберу, семнадцатилетнему партизану, павшему от руки врага. Девочка с увлечением прочла ее и сказала мадам Нав:

— Вы можете быть уверены, что, если когда-нибудь мне представится случай, я сумею последовать примеру Робера.

Случай не замедлил представиться. В Алжире, куда вскоре вернулся Джилали со своей семьей, уже начались бои.

Джилали думает о Даниэль. В семнадцать лет она ушла в партизаны. Теперь ей восемнадцать, и она тоже в тюрьме.

В среду, 4 января 1957 года, две молодые алжирские женщины — стенографистка и медсестра — были задержаны полицейскими в штатском и доставлены в полицию. Их провели на второй этаж, в помещение КРС<sup>1</sup>, где, кроме стола и нескольких колченогих стульев, не было никакой мебели. Окно выходило во двор, где стояла толпа арабов. В подвале находились камеры заключенных, и оттуда днем и ночью доносились душераздирающие крики.

---

<sup>1</sup> КРС — от французского Compagnies Républicaines de Sécurité, республиканские стряпы безопасности, то есть отборные отряды французской жандармерии.

Женщин охраняли КРС, не спускавшие с них глаз, точно это были опасные преступницы, хотя через пять дней их освободили, даже не подвергнув допросу, и немедленно выслали из Алжира, чтобы оправдать их арест. КРС сменялись на посту, и по их выговору можно было узнать, откуда родом каждый из них — из Бургони или Руссийона, из Нормандии или Прованса: казалось, вся Франция стояла на часах перед этой импровизированной тюрьмой.

Спустя несколько часов туда привели еще одного арестованного, молодого и, как показалось женщинам, красивого. Они его не знали, и его имя — Геррудж — им ничего не говорило. Им было запрещено разговаривать. Скоро его увели на допрос.

Когда арестованный вернулся, он едва держался на ногах. Они ни о чем не могли его спросить, а он ничего не мог им рассказать. Он только обхватил руками шею, как будто хотел удавиться. Они поняли. Его опять увели. Теперь они знали, чем это пахнет, и боялись за него.

Напрстив помещения, где находились женщины, была канцелярия, и на этот раз Герруджа привели с допроса туда, чтобы они не видели, в каком состоянии он вернулся. Но один из КРС, словоохотливый южанин, сказал женщинам:

— Знаете, этот господин, которого отвели в комнату напротив, — замечательный человек!

Когда они его снова увидели, он был совсем обессилен. Молодые женщины заставили его выпить немного бульона, который принесли им родные. Он захотел побриться, и ему это было разрешено. Пока он тщательно брился, охрана не спускала с него глаз. Потом к нему впустили жену с четырьмя детьми. Женщин поразило, что у них светлые волосы, румяные щеки и такой здоровый вид; после их ухода, улучив удобную минуту, одна из них сказала Джилали:

— Какие они у вас красивые!

— Они красивы, — ответил он, — потому что едят досыта. За это мы и боремся.

Теперь Джилали думает о своих детях, о четверых младших. С тех пор, как его посадили в тюрьму, он видел их редко и мало. Они живут в Тлемсене у его родителей, в доме, где он вырос. За ними сматривает его сестра Фатима, которой уже шестнадцать лет. Те, у кого было французское имя, переменяли его на арабское, и, когда пишут ему, Клод подписывается Тевфик, Катрин — Нассима, а Жиль — Джавед.

Скоро займется день. Родители Джилали пойдут к колодцу за водой, совершат омовение, прочтут молитву. Фатима разбудит детей. Они побегут в школу. Старый поденщик отправится на рынок за продуктами. Женщины готовят на маленькой жаровне кускус без мяса, приправленный сывороткой. Дети придут из школы голодные.

Сейчас они еще спят, все семеро, старые и малые, на тюфяках, разложенных на полу, укрывшись общими одеялами, как спала семья Герруджа, когда Джилали был ребенком.

В течение пяти дней Джилали допрашивали все тем же способом. На шестой день его передали в руки следователя, отправили в тюрьму, и он таким образом был на время спасен. Спустя две недели арестовали Жаклин. В камеру политических ввели молодую черноволосую женщину. На ней был красный свитер, светло-коричневая юбка и того же цвета пальто. Засунув руки в карманы, она молча смотрела на заключенных. Никто не знал ее. Одна из «стареньких» спросила:

— Как вас зовут?

— Геррудж.

Они слышали эту фамилию и даже знали, что у Джилали есть жена и взрослая дочь. Вновь прибывшая выглядела счень молодо. Они поколебались и снова спросили:

— Мать или дочь?

— Мать,— ответила Жаклин.

Характер у нее был ровный, держалась она скромно и была всегда рада оказать другому услугу. Ее не оставляла мысль о судьбе ее пятерых детей. В первый раз, когда она получила письмо от своих, на нее напала тоска. Когда это случалось с одной из заключенных, остальные давали ей минут пять поплакать в одиночестве, а потом окружали ее. Среди них были француженки из Франции и из Алжира, еврейки, мусульманки, в том числе три медсестры, захваченные с партизанами. Все они были друг с другом на «ты».

В шесть часов утра зажигали электричество, и женщины сразу просыпались. Они вставали, прибирались, выходили во двор. Им давали мутной воды вместо кофе и по пол-лепешки. Два раза в день им полагалась горячая пища: «суп», то есть вода, в которой плавали несколько кружочков моркови и мелко нашинкованная капуста, или немного подгнившего риса. Изредка они получали мясо — кусочек падали. Днем они изучали арабский язык или совершенствовались в нем. Жаклин была самой прилежной ученицей. «Мой муж говорит по-арабски,— объясняла она,— и я тоже должна говорить на этом языке к тому времени, когда выйду отсюда». Они чинили белье, стирали, напевали вполголоса. Петь, впрочем, было запрещено тюремным уставом. У одной из женщин надзиратели отобрали тетрадь, в которой она записывала слова песен,— они заявили, что это нарушение правил внутреннего распорядка. Женщины, конечно, этого не знали, потому что никто, во всяком случае никто из заключенных, правил внутреннего распорядка не видел, а когда они, не зная, что можно и чего нельзя, потребовали показать им эти правила, им было в этом отказано. Вероятно, правила внутреннего распорядка запрещали знакомить заключенных с правилами внутреннего распорядка. Тем не менее они тихонько напевали, а Жаклин училась арабскому языку.

Все в камере восхищались ею: легко ли растить пятерых детей да еще учительствовать? Тем более что дома ей все приходилось делать самой. Женщины не понимали, как она управлялась. Жаклин объясняла им, что все зависит от организации дела. У них в семье каждый что-нибудь делал по дому, ей помогали дети, и муж тоже, они жили душа в душу. Это вызывало еще большее восхищение.

В девятнадцать тридцать свет гасили. Еще некоторое время с улиц доносился смутный гул, потом все стихало — наступал комендантский час. В Алжире воцарялась тюремная тишина, и если ее нарушал шум машин, то это могло означать только облавы, обыски, аресты. Прислушиваясь к шуму, Жаклин знала, что Джилали, который находится где-то совсем близко, тоже слышит его, и эта мысль одновременно причиняла ей боль и ободряла ее.

Вот-вот забрезжит рассвет. Джилали спешит вспоминать. Он вспоминает первое свидание с Жаклин, когда он говорил с ней через двойную решетку в присутствии трех надзирателей. Свидание с детьми. Свою непрерывную борьбу за права заключенного — письма, жалобы, голодовки: достаточно было пойти на малейшую уступку, чтобы утратить человеческое достоинство. Тюремный двор, алжирское небо, алжирское солнце. Великое братство узников.

Среди заключенных были националисты и коммунисты, мусульмане, христиане и евреи, алжирцы и европейцы, ткачи и учителя, адвокаты и

чернорабочие. Одни из них были схвачены с оружием в руках, другие арестованы по доносу шпика за то, что, сидя в кафе за аперитивом, высказывали свое мнение о событиях. Глядя на них и беседуя с ними, можно было лучше, чем на свободе, понять, что происходит в стране, а там происходили невероятные вещи — тому свидетель, например, заключенный, которого легионеры заставили ходить по битому стеклу; на его ноги страшно было смотреть. Рассказывали о крестьянах, которых родные под наведенными на них автоматами закапывали по шею в землю и которых затем допрашивали и приканчивали. В Альме, в тридцати километрах от Алжира, десять полицейских с четырьмя собаками набросились на трех «подозрительных». Двоих из них, совершенно изувеченных, пристрелили, третьего посадили в алжирскую тюрьму, где Джилали и услышал его историю.

Иногда из близлежащей крепости доносилось чревовещание репродукторов, провозглашавших, что Алжир останется французским и что ФЛН<sup>1</sup>, как Карфаген, должен быть разрушен. Иногда за кем-нибудь из заключенных приходили жандармы, и, когда его приводили назад, похожего скорее на какое-то отрепье, чем на человека, он способен был только рухнуть на тюфяк. Однажды утром в тюрьму ворвался необычный шум: жужжали вертолеты, ревели сирены санитарных машин. На балконах здания жандармерии, расположенного напротив тюрьмы, не видно было ни одного мужчины, только женщины — машинистки, уборщицы — стояли там, глядя в сторону крепости. В другой раз заключенные узнали, что во Франции началась Неделя борьбы за мир в Алжире, и их мысли обратились к французскому народу. Они много ждали от него — коммунисты больше, чем все остальные, Джилали еще больше, чем его товарищи.

Он думал о французских мыслителях, о французских писателях, о шахтерах Розьера, о своем парижском адвокате Мишеле Бругье, который стал его другом. Неужели, думал он, этот народ, давший миру столько примеров революционной доблести, народ, у которого мы научились борьбе за освобождение, позволит себя без конца обманывать? Джилали не хотел верить в равнодушие французского народа. Если бы только, повторял он про себя, этот народ знал истину, если бы он слышал вопли истязуемых, если бы ему стала известна история Нассимы Хабляля, молодой государственной служащей, которая после месяца пыток на вилле Сусини была в состоянии лишь механически повторять: «Вы — иноземцы», «Уходите к себе» и «Я сделала это ради своей родины». Мухаммед Абдели, преподаватель литературы, встретившийся с ней в лазарете Сусини и переведенный потом в алжирскую тюрьму, посвятил Нассиме стихотворение, которое заключенные выучивали наизусть:

...В этот день ты присела  
 На мою больничную койку,  
 Будто легкая тень.  
 У тебя были длинные, иссиня-черные волосы,  
 А в глазах твоих  
 Спорили жизнь и небытие.  
 Нассима,  
 Моя замученная сестра,  
 С какой планеты ты вернулась?  
 Ты обняла меня  
 Своими исхудалыми руками, говоря:

<sup>1</sup> ФЛН — Front de la libération nationale, Фронт национального освобождения

«Они замучили тебя, брат мой».  
 И от твоей грустной улыбки  
 Растаяли мои страдания:  
 Что они значили  
 В сравнении с твоими?

В этот рассветный час Джилали понял, что, если бы он не любил Францию, ему не было бы так стыдно за нее.

Процесс «Борцов за свободу» начался 4 декабря 1957 года. Постоянный трибунал французских вооруженных сил в Алжире заседал в зале суда, отделанном красным деревом и золотом. Справа от председателя сидели майор инфантерии, лейтенант войск связи и сержант — регулировщик движения, слева — подполковник сенегальских стрелков, капитан войск связи и лейтенант зуавов. Подполковник был почему-то в синем берете, какие носят парашютисты. Правительственный комиссар в чине майора, позади которого находился переводчик, унтер-офицер, сидел напротив сержанта — секретаря суда. У входов стояли на часах солдаты. В глубине зала разместилась публика, а в углу теснились стоя родственники обвиняемых.

Подсудимых было восемь человек — шестеро мужчин и две женщины. Они обвинялись в преступлениях, предусмотренных различными статьями уголовного кодекса, Уложения о военных судах, а также особых законов и декретов, изданных после начала войны в Алжире. В частности, Жаклин обвинялась в том, что она везла с собой мину замедленного действия, а Джилали — в том, что познакомил свою жену с человеком, который впоследствии передал ей мину. Мина эта была заложена таким образом, что ее взрыв мог причинить лишь материальный ущерб; своевременно обнаруженная, она не причинила никакого ущерба. Правительственный комиссар заявил, что подсудимые не подвергались пыткам и что «Алжир так же принадлежит Франции, как и Артуа». Почему он назвал именно Артуа, осталось неясным. Быть может потому, что А — первая буква алфавита, а быть может, он сам был из Артуа. Он требовал смертной казни для пяти обвиняемых, в том числе для Джилали и Жаклин.

Они сидели рядом. Впервые со дня ареста Джилали — а с того дня прошло уже около одиннадцати месяцев — они могли видеть друг друга не через двойную решетку, могли прикасаться друг к другу. И в продолжение всего процесса они держались за руки, разнимая их только тогда, когда ему или ей надо было встать, чтобы ответить на вопрос или выступить.

На второй день слушания дела встала и заговорила Жаклин, обращаясь к судьям и через их головы — к Джилали.

— Я предложила свою помощь ФЛН, — сказала она, — не для того, чтобы угодить мужу, который, напротив, тревожился за меня, видя, что я подвергаю себя риску, а потому, что меня толкали на это мои собственные убеждения. Впрочем, мои политические взгляды те же, что и взгляды мужа, но я усвоила их не вследствие замужества. Они сложились у меня в силу условий, в которых я жила, и событий, в которые я оказалась вовлечена. Во время нацистской оккупации Франции я как еврейка была отправлена в концентрационный лагерь, где пробыла, правда, довольно короткое время. Меня, как и других членов моей семьи, спасли участники французского Сопротивления, хотя в то время я не имела никаких политических воззрений и не занималась политической деятельностью. Я полностью осознала тогда, что есть обстоятельства, при которых нельзя не занять определенную позицию, и что я в



долгу перед людьми, открывшими мне глаза. И я дала себе слово, что оплачу этот долг, как только мне представится случай...

Быть может, вы недоумеваете, как я, родившаяся и выросшая во Франции, встала на этот путь. Мне нетрудно это объяснить. Я чувствую себя алжиркой, потому что я замужем за алжирцем, а главное, потому, что я люблю эту страну, которая так страдает и за которую я сама боролась и страдала, потому что не могла остаться в стороне от борьбы, хотя больше всего ненавижу войну и насилие...

На третий день встал и заговорил Джилали, обращаясь к судьям и через их головы — к Жаклин.

— Во французской школе, — сказал он, — изучая жизнь и деятельность ваших великих людей, изучая историю французского народа со времен Верцингеторикса<sup>1</sup> и его борьбы против римских завоевателей до героического Сопrotивления немецким захватчикам с тысяча девятьсот сорокового по тысяча девятьсот сорок четвертый год, я составил себе известное представление о Франции... Я ненавижу расизм, потому что нет на земле высшей и низшей расы, а есть только люди и должны были бы быть только братья. Да, я ненавижу расизм, эту чудовищную глупость, и тех, кто сознательно культивирует его. Поэтому я не должен ни краснеть за то, что я женат на еврейке, ни гордиться этим. Только те, кто стыдится своего происхождения, достойны презрения...

Господин председатель, господа судьи, — продолжал Джилали, но обращался он не к ним, а к Жаклин, — и до нас люди страдали, и до нас люди шли в ссылку, в тюрьму, а иногда и на смерть во имя торжества благородных идеалов. Мы глубоко убеждены в том, что наше дело правое и что мы идем в ногу с историей и прогрессом. Алжир принадлежит всем тем, кто хочет трудиться ради него, всем тем, кто готов, если нужно, принести известные жертвы, чтобы облегчить бедствия большинства. Он принадлежит также тем, кто любит его красивые берега, его ясное небо, ослепительное солнце, нескончаемые пески пустыни, весну, наполненную благоуханием цветущих садов. Алжир принадлежит всем людям, презрев искусственные перегородки, воздвигаемые расовыми и религиозными предрассудками, решают жить в нем бок о бок, как равные, как братья. Только таким мы хотим видеть Алжир. Таким он и будет в недалеком будущем.

Господин Брюгье, последним из адвокатов взявший слово, был взволнован гораздо более, чем это подобает защитнику. Он знал Герруджей уже около года и испытывал к ним чувство дружбы, которое не мог и не хотел скрывать от судей. Он высказал все, что знал и думал о Джилали и Жаклин. Как обычно, он держался немножко неловко и говорил почти робким голосом, что ему так идет, но так плохо вяжется с прошлым этого человека, отважного бойца Сопrotивления.

— Приговоры, узаконивающие расправу с политическими противниками, — шаткая опора, — сказал он, думая как раз об этом прошлом. — История редко сохраняет имена судей, которые их выносили, но увековечивает память людей, павших их жертвой, если эти люди боролись за правое дело, которому принадлежит будущее. Не следует прибавлять новые имена к списку мучеников, увы, и без того уже длинному: по этим именам, выбитым на мемориальных досках, которые завтра повесят во дворах тюрем, где сегодня устанавливают гильотины, грядущие поколения научатся ненавидеть Францию.

После краткого совещания трибунал вынес три смертных приговора. Поскольку дело касалось Талеба, студента-химика, обвинявшегося в из-

<sup>1</sup> Верцингеторикс — галльский вождь, возглавивший в 52—51 гг. до н. э. всеобщее восстание галлов против Рима.

готовлении мины, и его самого, это не удивило Джилали, но он имел наивность думать, что эта чаша минует его жену, и был потрясен, услышав, что и она приговорена к смертной казни. Однако он знал, что она полна мужества.

После суда его перевели в корпус ПКС. В камере не было окон; свет проникал в нее лишь через крохотный глазок; от открытой параши несло вонюю. Камера была такая тесная, что тюфяки заключенных налезали один на другой. Когда кто-нибудь из узников ворочался во сне, его соседи просыпались и им с трудом удавалось снова заснуть, потому что электричество никогда не гасило. От малейшего движения у них кружилась голова — они так ослабели, что, казалось, жизнь уже мало-помалу отлетает от них.

Однажды в корпус смертников ввалились жандармы. Какой-то унтер-офицер подошел к камере и заглянул в глазок.

— Кто тут Геррудж? — спросил он.

— Я, — ответил Джилали, ожидая удара кулаком или дубиной.

— Очень рад с вами познакомиться, — с показной учтивостью сказал тот и, поздравив своих людей, объявил: — Вот господин Геррудж. Он человек ученый. Но он не республиканец.

Унтер-офицер улыбнулся, довольный собой, и его подчиненные почти-тельно ответили ему улыбкой.

— Господин Геррудж — близкий родственник великого брата Насера, — продолжал унтер-офицер. — Он станет в будущем президентом Алжирской республики...

И, сделав паузу, добавил:

— ...Если только его прежде не укоротят.

На этот раз жандармы засмеялись первыми. Их начальник коснулся рукой фуражки и сказал:

— До свидания, господин Геррудж, желаю вам удачи и хорошего здоровья.

Они отошли. Джилали слышал, как они остановились перед соседней камерой, где находился Талеб.

— Это химик, — сказал один из жандармов. — Он пишет свои мемуары.

— Нет, — ответил унтер-офицер. — Он готовится к экзамену, который ему придется сдать на эшафоте.

Жандармы с хохотом ушли, предоставив Джилали и сотне его товарищей готовиться к предстоящему экзамену.

Жаклин находилась в маленькой камере — три метра в длину и два в ширину — вместе с двумя другими женщинами, приговоренными к смерти. Их тюфяки лежали вплотную один к другому. Посредине спала Джамила Буаза, справа от нее — Жаклин, а слева — Джамила Бухиред. Они прекрасно ладили.

Мусульманкам не хватало места, чтобы творить молитвы. Жаклин было трудно писать письма своему адвокату, родителям, детям.

«Я переменила квартиру, — писала она своим. — Теперь я живу в камере, побеленной снизу доверху, вместе с двумя подругами, а в соседней камере находятся еще две женщины. У нас не очень просторно, но мы удобно устроились и как нельзя лучше проводим время: пишем, работаем, читаем, болтаем, поем и т. д. В середине дня мы все выходим во двор, вместе завтракаем, потом гуляем, занимаемся гимнастикой и иногда веселимся, как девчонки. Впрочем, мои подруги и в самом деле совсем молоденькие.

Я вижу вашего папу в течение четверти часа каждое воскресенье утром. Мы оба ходим в тюремной одежде. На нем коричневый костюм,

не очень красивый. На мне длинное платье вроде халата из голубого вельвета; женщины одеты лучше мужчин. Белье у нас свое, и у себя в камере мы одеваемся, как хотим...»

Окно камеры выделяется белесоватым пятном: забрезжил рассвет. Джилали один. Жаклин помиловали, его — нет. Он больше рад, чем она. Теперь он один.

Он думает о Жаклин и о себе. Не потому ли ее оставили в живых, что она родилась во Франции, и не потому ли ему суждено умереть, что он алжирец? Он думает о том, как она будет жить, если он умрет. Вопреки всему тому, что столько его братьев считает самоочевидным, он не хочет, да и не может отчаиваться во Франции. Возможно ли, чтобы ее действия были обратны тому, чему она учила мир, чему он сам от ее имени учил других? Рабле, Монтень, Декарт, Паскаль, Дидро, Вольтер, Руссо, Мишле, Гюго, Золя, Анатоль Франс, Ромен Роллан, Элюар... Он повторяет их имена, и камеру наполняют их могучие голоса. Он знает еще один французский голос — голос, от которого рушатся стены тюрем. С затаенным дыханием Джилали ждет, вкладывая в это ожидание всю силу своей надежды, всю силу своей любви к Алжиру и к Франции, — ждет, что раздастся голос французского народа.

Заря встает над Парижем и над Алжиром. Мир видит отраженное в широком ноже гильотины, еще неподвижном, еще отвратимом, лицо Джилали.

Вскоре после событий, описанных в этом очерке, Геррудж был тоже помилован, иначе говоря, вместо того чтобы отрубить голову этому двадцатидевятилетнему человеку, ему, как и его жене, даровали право кончить свои дни в тюрьме. Талерб был гильотинирован.

### Место казни

#### 1

Клейст<sup>1</sup> рассказывает об одном капуцине, который под проливным дождем сопровождал на место казни приговоренного к повешению. Осужденный жаловался, что ему приходится совершать столь скорбный путь в такую скверную погоду, и монах, пытаясь его утешить, заметил, что из них двоих он более достоин сожаления, ибо ему предстоит проделать еще обратный путь.

Весной 1958 года, около двенадцати часов ночи, г-н Н., адвокат парижского суда, мужчина тридцати двух лет, со спокойной и мягкой внешностью, подошел к окошечку воздушного агентства на площади Инвалидов, где висело объявление: «Рейс 2333. Париж—Алжир через Марсель». Он сдал свой чемодан и, оставив при себе потертый портфель, разбухший от бумаг, спустился в кафе, безлюдное в этот поздний час. Подождав там немного, он сел в поданный автобус.

Миновав площадь Инвалидов, бульвар того же названия, авеню Мэи, авеню Орлеан и внешние бульвары, автобус подъехал к Итальянским воротам. Ночь была теплая. Париж засыпал, пригород уже погрузился в сон. Г-н Н. рассеянно смотрел на мелькавшие перед ним серые фасады с железными ставнями. Он положил портфель рядом с собой на свободное сиденье и не открывал его: для изучения бумаг в его распоряжении была целая ночь.

<sup>1</sup> Генрих фон Клейст (1777—1811) — немецкий драматург и новеллист.

Слева показались огни Орли. В темноте можно было различить силуэты неподвижных самолетов. После осмотра багажа и проверки документов пассажиры — женщины с одной стороны, мужчины с другой — прошли в разгороженную комнатку, где таможенные чиновники с большей или меньшей деликатностью, в зависимости от того, насколько элегантно одет человек и имеется ли у него на лацкане орденская лента, удостоверились, что у них нет при себе оружия. Затем пассажиры собрались в зале ожидания. Один-два человека, которые, по-видимому, летели в первый раз, вылили чернила из своих авторучек, к чему их призывало объявление, и читали условия страхования жизни: каждый пассажир мог в последнюю минуту получить полис, дав свою подпись и внеся небольшую сумму. Большинство пассажиров просматривало вечернюю газету или дремало. Было двадцать минут второго. Наконец стюардесса вывела их из состояния оцепенения.

Огромный аэродром Орли пестрел оранжевыми и зелеными огоньками, обозначавшими взлетные дорожки. Маленькая группа пассажиров пересекла бетонированную площадку и остановилась под брюхом двухмоторного «бреге». Ступеньки трапа задрожали под их каблуками. Когда все вошли, дверца захлопнулась и зажглась надпись, призывающая не курить и затянуть ремни. Те, кто в зале ожидания изучал условия страхования жизни, прижавшись лицом к стеклу, всматривались в темноту, остальные опять уткнулись в газеты или задремали. Самолет грузно повернулся и покатил по расцвеченному огоньками полю, еще раз повернулся, приостановился, заработал пропеллерами, сначала медленно, затем все быстрее, помчался вперед и вдруг оторвался от земли. Г-н Н. открыл портфель и стал читать материалы двух дел, по которым он должен был выступать в суде; одно слушалось послезавтра в Константинополе, другое — через три дня в Алжире. Г-н Н. еще не успел ознакомиться с ними: он замещал коллегу, которого дела задержали в Париже. Через несколько секунд, оторвавшись от бумаг, он взглянул в окошко: самолет набрал высоту и описывал круг, поднимаясь все выше и выше. На севере небо окрасилось в пурпур. Если бы г-н Н. мог предвидеть, что его ожидает, он лучше всмотрелся бы в этот последний ответ Парижа.

В 1951 году, во время второй послевоенной кампании «восстановления порядка» в Алжире, г-н Н., тогда еще молодой адвокат, впервые побывал в Северной Африке. Первые повстанцы скрывались в лесах Ореса; их было в ту пору меньше, чем теперь заключенных в алжирских тюрьмах; электричеством еще пользовались для освещения, а не для пыток. Вместе с другими защитниками он принимал участие во многих процессах, новых и тянувшихся с 1945 года, со времени первой послевоенной кампании «восстановления порядка», жертвы которой в департаменте Константины насчитывались десятками тысяч. Между 1951 и 1958 годами г-ну Н. не раз приходилось пересекать Средиземное море, это было его сороковое путешествие. Поэтому не из безразличия, а в силу привычки он лишь бросил рассеянный взгляд на пурпурное небо над Парижем и снова принялся за чтение бумаг.

Речь шла о различных, однако схожих делах, касавшихся двух солдат регулярных войск, которые отказались воевать в Алжире. Тот, который должен был предстать перед военным трибуналом Константины, пришел к этому решению после пятнадцати месяцев службы в Северной Африке. Другой, содержащийся в алжирской военной тюрьме, заявил о своем отказе после года службы в гарнизоне Эпиналь, когда его часть отправляли в Алжир. Оба они были рабочие и сыновья рабочих, оба выросли в парижском предместье, оба написали президенту республики, чтобы поставить его в известность о своих намерениях.

Однако они не были знакомы и никогда не слышали друг о друге. Но еще до них несколько молодых солдат поступили так же: одни из христианских убеждений, другие — таких было большинство — под влиянием коммунистической морали. Их была лишь горстка; некоторые газеты писали о них, и их поступку придавали значение примера, хорошего или дурного, в зависимости от точки зрения.

О точке зрения армии нетрудно догадаться. Пример, который эти два молодых человека подавали своим товарищам, был вдвойне вреден. Для военного тяжкий проступок — высказать о войне суждение, идущее вразрез со взглядами командования, и еще более тяжкий проступок — нарушить приказ. Когда спаянность корпорации зиждется не на свободном согласии ее членов, а на дисциплине, мнение подчиненных не принимается в расчет, единственно важным считается их покорность. Отказ повиноваться не просто преступление, а смертный грех и заслуживает примерного наказания. Военный кодекс в качестве меры наказания за это преступление, если оно совершено в мирное время, предусматривает тюремное заключение сроком до двух лет. Когда новобранцы, сообщившие президенту республики о своем решении не воевать в Алжире, бросили свои письма в почтовый ящик, они так же хорошо знали, что обрекают себя на двадцать четыре месяца тюрьмы, как если бы уже слышали приговор военного трибунала. Но это было еще не самое тяжелое. Каждый из них был вынужден смотреть в глаза не только своим начальникам, но и своим товарищам, рискуя в двадцать лет быть обвиненным в трусости, так как могло показаться, будто они просто уклоняются от опасности. Вот почему они были немногочисленны.

Солдат, содержащийся под арестом в Константине, Жак Александр, был сыном парижского канализационного рабочего и швей-мотористки, которая семнадцать лет своей жизни изготовляла пристежные воротнички, а потом посвятила себя воспитанию своих трех детей — двух девочек и мальчика. Семья жила в Альфортвилле, на улице Стасьон, переименованной после Освобождения в улицу Раймона Жоклара в память их соседа, расстрелянного фашистами в возрасте двадцати двух лет. Жак учился в школе имени Виктора Гюго. Она была в двух шагах от его дома. Два раза он, прерывая занятия, надолго уезжал в санаторий, так как у него были слабые легкие.

В детстве он не хотел ничего есть, приводя этим в отчаяние своего отца; чтобы ребенок не капризничал, отец даже разрезал ему мясо на гарелке, так что в семь лет Жак сам еще не умел этого делать. Больше всего он любил жареную картошку. Однако со временем он стал хорошим едоком, научился стряпать лучше сестер и так пристрастился к пирогам, что, когда их подавали, надо было не зевать — Жак с отцом уписывали их наперегонки. За столом у каждого было свое место. Жак сидел слева от отца, между ним и старшей сестрой, Рене, а мать — между двумя девочками.

Он любил животных и ребенком проводил целые дни за городом в лесу, где ловил диких голубей, которых потом приручал и держал вместе с собакой и кошкой, одинаково преданными ему. От отца он унаследовал страсть к рыбной ловле, и по воскресеньям они оба отправлялись удить рыбу. Он мог часами делать карандашные наброски самолетов, и его учитель уговаривал его стать чертежником, но он не захотел вести сидячий образ жизни и освоил профессию монтажника.

Когда Рене или Клодина, которую он звал Биби, хотели купить себе юбку или корсаж, они брали Жака с собой и советовались с ним при выборе покупки; они же научили его завязывать галстук. В те дни, когда Жожо, Марсель и другие приятели заходили за ним, он говорил: «Биби, у меня галстук мятый, ты мне его не погладишь?» И Биби его

гладила. Ребята отправлялись в дансинг — скорей подучиться, чем потанцевать, — или в кино. Там они забирались на балкон и бросали бумажные шарики на головы людей. В хорошую погоду они предпочитали загородные прогулки и рыбную ловлю. Жак не пил и не курил. В лагере, где он был на каникулах, он получил прозвище «Пичун», которое за ним и осталось. Из всей семьи он один не интересовался политикой.

В 1956 году его призвали. Он попал в часть, которую отправляли в Алжир. Мать и сестры были в отчаянии. Он утешал их:

— Не портьте себе кровь. Я никого не убью.

Ему были смешны эти женщины, которым мерещились всякие ужасы. В то время люди еще не знали, что происходит в Алжире, и первых солдат, вернувшихся оттуда, считали фанфарами, настолько трудно было поверить их рассказам. В глубине души Жак был не прочь вырваться из своего предместья, побывать в других краях.

Попав в саперную часть, которая разминировала дороги, он вдоль и поперек исходил Орес и Неманша. Больше всего ему запомнились не пещеры, которые ему и его товарищам приходилось взрывать вместе с теми, кто в них находился, а облепленные мухами дети, неподвижно сидящие перед землянками. Его неотступно преследовал старчески серьезный и невыразимо скорбный взгляд их запавших глаз, казавшихся огромными оттого, что у детей были такие исхудалые лица. Он думал, что никогда не увидит картины печальнее, но как-то раз, идя полем, он заметил согнувшуюся от натуги женщину, впряженную в плуг с деревянным лемехом. Жак подумал, что видит страшный сон. Но то была явь. Ему навсегда врезался в память образ этой женщины, которая показалась ему старше его матери и которой на самом деле не было и тридцати лет. Но ему не раз представлялся случай убедиться, что в Алжире есть зрелища еще более невыносимые, чем женщина в упряжке.

Он ничего не стал об этом рассказывать, когда через пятнадцать месяцев приехал на побывку домой. Их собака с лаем прыгала, притаясь лизнуть его в лицо. Родители и сестры то притягивали к себе Жака, чтобы обнять, то отталкивали, чтобы лучше разглядеть. Девушки находили, что он возмужал, мать искала на лице сына следы лишений, а в кармане фартука — носовой платок, и только гордость мешала отцу воспользоваться своим.

Домашние стали строить планы — пригласить тех-то и тех-то, навестить такого-то и такого-то. Но Жак отмалчивался. Ему не хотелось теперь ходить в гости и принимать у себя друзей; на улице он избегал встречаться со знакомыми. Когда родные упрасивали его пойти куда-нибудь с ними, он отвечал:

— Да ну, опять будут говорить об Алжире.

И в самом деле, в Альфортвилле всё больше говорили об Алжире. Слишком много юношей там находилось, слишком много юношей вернулось оттуда, и все они рассказывали, что видели там. Их больше не считали фанфарами: они все говорили об одном и том же. Знакомые, которые останавливали Жака на улице и спрашивали о его жизни и о ходе войны, понимали что к чему. Их улыбка выражала сочувствие, а глаза не смеялись.

И когда у Жака, избегавшего говорить о событиях, как бы против воли вырывалось: «Там творится такое — глаза б не глядели!» — люди не задавали ему вопросов, словно заранее знали ответы или боялись их услышать.

Родные подозревали, что его молчание объясняется определенной причиной, но ни о чем не спрашивали, только ухаживали за ним и баловали его, как в те времена, когда ему надо было разрезать мясо на та-

релке. Однако им хотелось ему помочь, и, видя, что одной ласки недостаточно, отец наконец сказал ему:

— Не стесняйся нас, Пичун. Если совершается преступление, за которое несут ответственность крупные колонисты и капиталисты, тебе нечего мучиться угрызениями совести.

Он говорил осторожно, не настаивая и не рассчитывая на ответ. И действительно, Жак не сказал ни слова.

— Да,— сказала Рене,— но с известного момента тот, кто молчит, становится сообщником.

Юноша посмотрел на нее, но продолжал молчать. Большинство его товарищей, как и он, отбывало воинскую повинность. Однако он встретил кое-кого из них и почти доверился им, сказав, что не хочет возвращаться в Северную Африку, но не знает, как ему поступить. Он достал газеты и брошюры, где молодые солдаты делились алжирскими впечатлениями и выражали по поводу войны чувства, которые испытывал он сам, думая, что их никто не разделяет. Правда, еще в части он слышал об одном новобранце постарше его, заключенном в тюрьму за то, что он написал президенту республики о своем решении не участвовать в войне против алжирского народа. Но там об этом говорили вполголоса, недомолвками. А теперь Жаку казалось, что его несет поток, в который слили свои мысли и чувства его учителя, товарищи, семья, соседи и незнакомые люди.

Как-то вечером они сидели за столом: Жак на своем месте, между отцом и Рене, мать между двумя дочками. Они включили радио и слушали последние известия. Диктор сообщил о взятии в плен двухсот алжирцев-мятежников.

— Да,— сказал Жак,— знаем мы эти истории.

Он заговорил так внезапно и так горячо, что все повернулись к нему.

— Знаем мы эти истории,— повторил он.— Рассказывают небылицы, а на самом деле уничтожают целые деревни, как тот поселок в Оресе, где было триста шестьдесят жителей...

Он говорил все быстрее и быстрее, как будто, раз начав, уже не мог остановиться. Родные слушали его, не прерывая. Стыд, терзавший его в течение многих месяцев,— стыд за себя и за других — мешал ему смотреть на родителей и сестер, а они, застыв в тех позах, в каких застигла их лавина его слов, старались не смотреть друг на друга. Когда Жак кончил, наступило долгое молчание, прерванное голосом диктора, перевозившего миссию Франции в Алжире. Их всех тошнило.

Отпуск подходил к концу, но Жак больше не заговаривал о войне. Угрюмый и молчаливый, он с утра до вечера слонялся как неприкаянный, избегая визитов и встреч. Теперь каждый раз, когда родные обращались к нему по самому безобидному поводу или молча смотрели на него, в их взглядах таилось понимание и сочувствие. Когда кто-нибудь из них задумывался, Жака мучил вопрос: какие образы, какие мысли бродят у него в голове?

Прошел день, когда Жак должен был уехать, прошел другой, третий. а он все не уезжал. Отец, придя с работы, застал его сидящим в глубоком раздумье и сказал ему:

— Не ставь себя вне закона, Пичун.

Юноша поднял голову и ответил:

— С меня хватит.

На следующий день Рене в свою очередь объяснила ему, что он свободен в выборе, но что какое-то решение он обязан принять.

— Иначе ты станешь дезертиром,— сказала она в заключение, стараясь забыть, что он ее брат, которого она когда-то учила завязывать

галстук и за которого, не задумываясь, пошла бы на смерть.— Дезертиром,— повторила она.— А для дезертира нет оправдания.

Он заговорил, с трудом подыскивая слова, пытаясь объяснить сестре, а главное, самому себе, что он думает и чувствует. Он не хотел погибнуть за дело, которого не одобрял. Вначале он думал, что сможет держаться в стороне, но это было невозможно: или ты убиваешь алжирца или алжирец убивает тебя. Убивать он тоже не хотел.

Она выслушала его молча и сказала:

— Слова — вода.

Он резко повернул к ней голову.

Жак заперся со словарем на целых три дня.

«Г-н Президент Республики,— написал он наконец,— по зрелом размышлении я решил поставить Вас в известность о моем намерении не воевать более против алжирского народа».

Письмо было написано на двух с половиной страничках школьной тетрадки и заканчивалось так:

«Я готов служить Франции, я готов продолжать военную службу, но я отказываюсь служить бесчестию Франции. Я не желаю более участвовать в этой несправедливой алжирской войне. Вот почему я остаюсь дома и предоставляю себя в распоряжение военных властей».

Он тщательно переписал письмо, вышел, купил марку в табачном киоске, сунул конверт в почтовый ящик и внезапно почувствовал потребность смеяться и видеться с друзьями. И когда две недели спустя за ним пришли жандармы, он смеялся, стоя на стуле и пытаясь укрепить на стене деревянных ласточек, которых Рене привезла из провинции.

## 2

Это произошло двадцать шестого декабря, примерно в половине первого, а на следующий день, двадцать седьмого, в Эпинале Рафаэль Грегуар, молодой рабочий, электрик из Монтрейля, узнал новость, которой он опасался с первой минуты своего пребывания в полку, где служил уже четырнадцать месяцев и где, будучи постоянно на хорошем счету, стал сначала капралом, потом старшим капралом и, наконец, сержантом. В продолжение этого долгого года у него было время обдумать, как ему поступить в тот день, когда он узнает эту новость, прийти к определенному решению и даже обсудить его с родителями. И когда этот день наступил и слухи о предстоящей отправке полка в Алжир были официально подтверждены, Рафаэлю — домашние и друзья звали его Нино — осталось лишь сесть и написать письмо, над которым он столько думал, что, казалось, знал его наизусть.

«Сын муниципального советника-коммуниста,— писал он,— и сам коммунист, я не могу принять участие в борьбе против алжирского народа, который сражается за свою независимость, и против моих товарищей, членов алжирской коммунистической партии». За этим следовали две страницы сжатой аргументации.

Он отправил письмо и приготовился испытать на себе его последствия. Двадцать раз на день ему казалось, что за ним пришли. Но никто не обращал на него внимания, командиры не изменили своего отношения к нему, товарищи готовились к отъезду. Так прошла неделя, и Нино решил про себя: «Либо они делают вид, что не получили письма, надеясь, что второй раз я не напишу, либо хотят за меня взяться, когда я уже буду в Алжире, так как там им не придется считаться с общественным мнением, прессой и т. д. В обоих случаях я должен сорвать их игру».



Третьего января, за два дня до отъезда, он передал копию письма ротному командиру. Через четверть часа его вызвали к подполковнику.

Нино ожидал, что тот начнет его распекать, но перед ним стоял холодный, вежливый человек, который сообщил ему, что, адресовав письмо непосредственно президенту республики, вместо того чтобы направить его по инстанциям, он нарушил дисциплину, а потому получит пятнадцать суток строгого ареста. Юноша думал, что это только начало, но офицер сказал:

— Можете быть свободны.

Нино был уже в коридоре, а у него на языке все еще вертелись несказанные доводы. Отдав себе в этом отчет, он едва не расхохотался.

Он думал, что его немедленно отведут в полковую тюрьму, но и на этот раз, казалось, все забыли о нем, словно разговор с подполковником ему просто приснился. Однако через некоторое время унтер-офицер спросил у него с видом человека, который выполняет простую формальность, отказывается ли он только ехать в Алжир или вообще служить в армии. Нино объяснил, что, пока он во Франции, он будет исполнять приказы, как он это делал раньше, но отказывается сесть на пароход. Он думал, что унтер-офицер отведет его в тюрьму, но тот только сказал: «Ну ладно!» — и ушел.

Это произошло в пятницу, а в воскресенье Нино и его товарищи получили приказ отправиться в Мец. До строгого ареста дело все еще не дошло. В понедельник к нему подошел старший сержант. Он спросил, почему Нино отказывается воевать в Алжире, а узнав, что он коммунист, понимающе покачал головой. В свою очередь Нино спросил его, не он ли отведет его в тюрьму. Старший сержант ответил, что, по-видимому, нет, так как ему поручено сопровождать в Марсель сорок семь унтер-офицеров, в том числе и Грегуара, и кстати осведомился, согласен ли он последовать за ним добровольно. Нино объяснил, как он это уже сделал два дня назад в Эпинале, что готов повиноваться любым приказам, за исключением приказа отправляться в Северную Африку. Старший сержант молча смотрел на него, шевеля губами: казалось, он тихо повторяет слова, которые только что услышал. Вдруг его лицо просветлело.

— Если так,— сказал он,— мы уезжаем сегодня вечером.

В Марселе капитан отвел его на гауптвахту и оставил там одного. Услышав, как поворачивают ключ в замочной скважине, юноша вздохнул с облегчением: он боялся попасть в западню. Правда, он все еще не мог понять, почему его заставили отбывать наказание в Марселе, а не в Эпинале или Меце, но сказал себе, что в его распоряжении две недели для размышлений над этой загадкой.

Через день к нему вошли два жандарма.

— Вставай,— сказал один из них.

Нино подумал, что если он окажет сопротивление, то это обернется против него, тем более что все происходило без свидетелей. Поэтому он дал надеть на себя наручники, и его отвели в порт, посадили на пароход, готовый к отплытию в Алжир, и заключили в корабельную тюрьму. Таким образом, он все же уезжал в Северную Африку, но уезжал как арестант, а не как солдат, не с оружием в руках, а в наручниках. Он спросил самого себя, все так же ли он полон решимости не воевать, и, поняв, что его воля не ослабела, почувствовал успокоение. Вскоре его затошнило: пароход вышел в открытое море, а в камере нечем было дышать.

Если бы рейс длился дольше, а качка была сильнее, кто знает, что ответил бы Нино по прибытии в Алжир офицеру службы безопасности, который ожидал его, чтобы расспросить о причинах наказания, которо-

му он подвергся, и о-содержании письма к президенту республики. Впрочем, он, по-видимому, не слишком интересовался всем этим, а возможно, был уже в курсе дела, потому что после двух-трех вопросов сказал: «Ну ладно!» — и отвел Нино в гарнизонную тюрьму, не проронив больше ни слова. На следующее утро другой офицер, на этот раз капитан, пришел за арестованным и отвел его в Мезон-Карре, на гауптвахту его нового полка. Нино понял, что это командир роты, в которую он теперь попал, и подумал, что с момента его отъезда из Меца, то есть за четыре дня, его конвоировали три офицера и он побывал в четырех тюрьмах. Не многовато ли для двухнедельного ареста?

«Я решительно в центре внимания», — подумал он, когда спустя несколько часов к нему снова пришел ротный командир.

— Подпишите акт, — сказал офицер.

«Актом» во французской армии называется документ, в котором указывается мера взыскания, наложенная на военнослужащего его командирами, с объяснением причин этого взыскания. Нино подумал, что речь идет о пятнадцати сутках ареста, которые посулил ему подполковник в Эпинале. Однако, когда он уже хотел подписать документ, он заметил, что его подвергают лишь недельному аресту, но что при этом возбуждается ходатайство о предании его военному трибуналу. Он прочел акт, в котором не упоминалось о его письме к президенту республики, а говорилось только о его отказе покинуть Францию и применить оружие против алжирцев. Информация была неполной, но точной. Он подписал.

Ему хотелось поскорее остаться наедине с самим собой и спокойно поразмыслить. Почему его алжирское начальство сделало вид, что забыло о наказании, наложенном на него в Эпинале, и заменило его другим наказанием? «Там, — думал он, — подполковник пресек всякую дискуссию о содержании моего письма и объявил мне взыскание за нарушение устава, выразившееся в том, что я не отправил это письмо должным порядком. Здесь больше не подымается вопрос ни о нарушении субординации, ни о самом письме — речь идет только о моем отказе воевать против алжирцев. Быть может, во Франции командование придает главное значение форме, а в Алжире — существу дела?»

Он вспомнил, что всякий военнослужащий, виновный в преступлении, должен предстать перед соответствующими судебными инстанциями — либо перед трибуналом того округа, в котором было совершено преступление, либо перед трибуналом, которому подведомственна часть, где служит обвиняемый. «Если бы подполковник в Эпинале упомянул о письме, он вынужден был бы предать меня военному трибуналу в Меце. Парижская пресса заговорила бы о моем деле и т. д. Здесь нет гласности, и меня можно осудить на максимальный срок. О письме не станут упоминать для того, чтобы в Алжире можно было осудить солдата из Эпиналя, виновного в том, что он написал в Париж».

Довольный тем, что ясно понимает суть дела, он лег спать. В голове у него еще мелькнул вопрос: «Какое же преступление я совершил в Алжире?» Но его слишком клонило ко сну, чтобы он попытался на него ответить.

Он проснулся в хорошем настроении. Стояла ясная, теплая погода. После лотарингской зимы африканское солнце, щедрое и в январе, навело на мысль о каникулах. Кормили хорошо, разрешали читать и писать родным. Правда, Нино приносили только детективные романы, и он попросил отца выслать ему дешевые издания классиков: Вольтера, Руссо, «Письма к провинциалу» Паскаля, а также произведения Золя и Анатоля Франса.

Все, казалось, забыли о его деле. Его капитан проникся к нему симпатией, приходил побеседовать с ним и даже как-то раз повел его на

прогулку, чтобы показать ему окрестности. Они забралась вместе на башню древней турецкой крепости, и офицер сказал, показывая оттуда на виднеющийся кругом леса строек:

— Здесь строят больше, чем во Франции.

Он привел подробности, цифровые данные. Нино слушал его с интересом: сын муниципального советника-коммуниста, он еще ребенком слышал за столом разговоры о жилищном кризисе.

Через два дня капитан пришел снова.

— Я прочел ваше письмо к родным! — воскликнул он. — Как вы могли написать, что у нас нет ничего, кроме детективов? Пойдемте.

Он отвел Нино в гарнизонную библиотеку и подождал, пока тот выбрал два тома Анатоля Франса и еще какой-то роман.

На обратном пути он возобновил разговор, который завел в прошлый раз, — стал рассказывать о школах, построенных в Алжире и предназначенных как для маленьких мусульман, так и для маленьких французов, о больницах, часто более современных, чем в метрополии, о дорогах, проложенных на месте троп для мулов, о забившей в Сахаре нефти, которая скоро прольется золотым дождем на всю Северную Африку.

Воспользовавшись паузой, Нино спросил у офицера, как собирается поступить с ним командование. Он думал, что, отбыв недельный арест, предстанет перед военным трибуналом.

Капитан испытующе посмотрел на него.

— Военный трибунал — это решение, которое вы сами себе навязываете, — сказал он и, помолчав, прибавил: — Можно найти и другой выход.

Он помедлил, словно собираясь продолжать, потом передумал и вышел.

«Он решил, что я сдаю, — подумал Нино, — и предлагает мне сделку». Внезапно внимание и предупредительность капитана, казалось, ставшего скрасить для него пребывание в Мезон-Карре, где он провел уже девять дней, предстали перед ним в новом свете. «Бесплатные школы и больницы. А я-то развесил уши!»

Теперь у него была только одна мысль: доказать, что он не попался на удочку.

На следующий день он сел писать родителям. Он рассказал им о посещении библиотеки и о предупредительном капитане, затем продолжал:

«Я думаю, что наши отношения как нельзя лучше может передать фраза Анатоля Франса: «Умственная изощренность, а также безразличие, с которым каждый относился ко всякой мысли, чуждой ему самому, сообщали их отношениям приятную видимость взаимной терпимости». Однако это очень относительное безразличие: меня пытаются убедить, ссылаясь на конкретные факты, что мы принесли алжирцам не только горе, но и «цивилизацию» — великое слово, которое, однако, если его употреблять в точном смысле, само по себе еще не является синонимом счастья. По-видимому, здесь даже убеждены, что я изменю свое мнение. Конечно, это грубая ошибка».

Он перечитал абзац и решил, что высказался недостаточно ясно.

«Настроение у меня бодрое, — продолжал он, — потому что я уверен в своей правоте и потому что тюрьма, как мудро заметил Максим Горький в романе «Мать», — место отдыха для коммунистов. Понятно, это не означает, что отдыхом следует злоупотреблять. Однако это единственное место, где мы можем полностью использовать время для того, чтобы читать, учиться, думать».

Это было лишь начало: он хотел изложить свою мысль ясно, но так, чтобы не чувствовалось никакой нарочитости. Он начал с новой строки.

«Ибо,— продолжал он,— вопреки тому, что твердят наши противники, коммунист не заучивает урок наизусть, а заставляет работать свой мозг, стараясь проанализировать действия, которые ему навязывают, и понять, не противоречат ли они тому, что диктует ему совесть».

«Ибо,— писал он, увлекшись темой и забыв, что обращается якобы к родителям, а не к капитану, который счел его способным на подлость,— коммунист любой национальности вопреки басням, которые о нас распространяют, больше всего любит свою родину. Моя родина — Франция, самая прекрасная страна на свете; страна, которая всего более способствовала развитию цивилизации, дав миру целую плеяду ученых, философов, великих утопистов и великих правдоискателей; страна, которая всегда была колыбелью революционных и демократических идей, страна, которая вдохновила трудящихся всего мира славным примером Парижской коммуны, предвосхитившей торжество социализма. Я простой французский солдат, исполнивший свой долг. Я готов сражаться с любой державой, которая нападет на мою страну. Но я не хочу, чтобы Франция была последним колониальным государством на земном шаре», и т. д. и т. п.

Он отдал письмо унтер-офицеру, не сомневаясь, что не позднее завтрашнего дня его прочтет капитан.

Через день его разбудили в шесть часов утра. Он услышал:

— Встать, вы немедленно отправляетесь.

Он наспех оделся, и под охраной четырех вооруженных солдат его посадили в «рено». Подъехал «джип», куда сел офицер, и они тронулись в путь.

Узнав, что его переводят в район боевых действий, Нино сказал себе, что его письмо прочли и поняли.

На гауптвахте Тизи-Узу, в пятой тюрьме, где его держали с момента прибытия в Алжир, в ожидании транспорта, который должен был доставить его на место назначения, у Нино было достаточно времени для размышлений. Он думал, что, убедившись в его непримиримости, командование немедленно предаст его суду: он не видел другого законного пути для решения его дела. Однако было очевидно, что его привезли в эту глушь, куда лишь раз или два в неделю приходит транспорт, отнюдь не для предания трибуналу; по-видимому, алжирский «акт» был так же предан забвению, как и взыскание, наложенное на него в Эпинале: с ним обращались так, будто он не совершил никакого проступка.

Он вспомнил истории, которые слышал во Франции. ...Ты написал, дружок, президенту республики? Плевать на это хотели, тебя все равно пошлют в Алжир. Там тебя направят в подразделение, участвующее в боевых действиях. И вот тебя зовет лейтенант. Вначале тебе льстят: «Ваш поступок доказывает, что вы человек незаурядный. Вы проявили мужество, характер, возвышенные чувства. Однако вы должны понять...» За этой болтовней следуют угрозы: «Если ты не хочешь идти сам, мы заставим тебя силой». На ночь ты назначаешься в караул. Вас двенадцать человек, и если ты не будешь охранять сон твоих товарищей, одному из них придется встать на пост вместо тебя и охранять твой сон. И ребята рассуждают так же: «Ты рискуешь не только своей шкурой, но и нашей. Нас одиннадцать человек, и мы все должны тебя защищать, а ты нас защищать не желаешь». Или, наконец, тебе говорят: «Ты будешь санитаром». Всеми правдами и неправдами стараются втянуть тебя в грязное дело. А если это не удастся, тебя посылают в штурмовой отряд, состоящий из добровольцев, легиснеров, парашютистов.

Нино спросил себя: а что сделал бы на моем месте отец?

На следующий день его отправили под конвоем в Мишле. Вид транспорта, оцетинившегося автоматами и прикрываемого броневиками, на-

помнил ему, что, помимо той войны, которую он вел в одиночку со времени своего отъезда из Эпиналя, в Алжире идет и другая война, куда более губительная. Это вернуло ему хладнокровие, и когда по прибытии Нино провели к командиру его новой части, он был готов встретить лицом к лицу любую опасность. Но офицер только сказал ему, что на своем боевом участке никому не позволит нарушать приказ.

— Вы будете пока находиться под арестом, а там поговорим, — сказал он в заключение не угрожающим, но и не дружелюбным тоном, так что, сидя в светлой и натопленной комнате, служившей ему шестой тюрьмой, Нино долго раздумывал над тем, хотел ли офицер вселить в него надежду или страх. Ему казалось, что, решив во что бы то ни стало привести его к повиновению, командование собирается применить к нему самые непредвиденные меры воздействия, и он с минуты на минуту ждал, что откроется дверь. Вот уже больше месяца он жил, окруженный противниками, и, если не считать Анатоля Франса, ему не с кем было посоветоваться. Он почувствовал себя одиноким и легко уязвимым и снова подумал о том, как вел бы себя на его месте отец, бывший боец интернациональной бригады в Испании (оттуда он и привез для сына прозвище *пино* — малыш) и бывший военнопленный, дважды пытавшийся бежать из концлагеря, куда он попал в 1940 году. Когда он вспомнил этого высокого спокойного человека, ему стало легче.

Дверь открылась: ему принесли есть. Но минутой раньше, когда он услышал, как поворачивается ключ в замке, у него захолонуло сердце, и он сказал себе, что должен любой ценой найти свидетелей. «Здесь, — думал он, — я не вижу никого, кроме солдата, который приносит мне еду и которому запрещено разговаривать со мной. К тому же он, наверное, специально подобран. Что бы со мной ни случилось, никто ничего не узнает, или, что еще хуже, будет сочинена такая версия происшедшего, которая всего больше устроит командование. Я должен найти кого-нибудь, кто сможет потом засвидетельствовать истину».

Через пять минут он писал родителям. Сообщив, что его перевели в Мишле, он продолжал: «Я полагаю, факты говорят за себя. Меня держат в труднодоступном, гористом районе. Железной дороги поблизости нет, телеграфа и телефона — тоже, и связь осуществляется лишь при помощи автоколонн с сильным охранением, которое не оставляет сомнений в том, что здесь происходят частые стычки с повстанцами. Почта отправляется и доставляется нерегулярно. Что бы со мной ни случилось, я наверняка не смогу вам сообщить об этом или в лучшем случае сообщу спустя много времени».

Он остановился, чтобы мысленно перебрать все козни, все опасности, которые ему угрожали, потом написал:

«Я хочу точно определить свою линию поведения. Я не подчинюсь ни под каким видом, я отказываюсь воевать и выполнять любую работу: ведь войну ведут и в штабе, и в мастерской, и даже когда моют коридоры или комнаты военного здания».

Он опять подумал с минуту и прибавил:

«У меня вовсе нет намерения покончить с собой, и если меня возьмут на боевую операцию, то только силой».

Он закончил довольно романтическими рассуждениями: ему еще не было двадцати двух лет, и он отдавал себе отчет в том, что, быть может, его ждет смерть.

Он сложил письмо, сунул его в конверт и подумал: «Вот мой свидетель».

На следующий день он смотрел в окно на зеленые горы со сверкающими на солнце снежными вершинами, когда открылась дверь. Нино резко повернулся. На пороге стоял батальонный священник. Он спросил:

— Любуетесь видом?

Подойдя в свою очередь к окну, он обратил внимание арестованного на особенности кабийского пейзажа: на бесплодную почву, на широкие ручьи, превращающиеся летом в каменистые тропы. Бедная и суровая страна с таким же бедным населением.

— Потому что мы отняли у него все хорошие земли,— сказал Нино, стараясь понять, подослан ли его посетитель капитаном или пришел по собственной инициативе.

— Потому что они слишком быстро плодятся, как вы убедитесь, когда вам представится случай побывать в этих селениях,— продолжал тот, словно разговаривал не с арестованным, а с туристом, и указал на возвышавшиеся по ту сторону долины холмы, на вершинах которых лепились лачуги.— Их построили там, наверху,— пояснил он,— из боязни набегов соседей. Не забывайте, что кабийцы воинственный народ. Вы только что намекнули на оккупацию Кабилии, но мы были вынуждены прибегнуть к ней вследствие ущерба, нанесенного этими мародерами Алжиру. Впрочем, это обернулось к их выгоде.

«Если он заговорит о дорогах,— подумал юноша,— значит он выполняет задание».

— До нашего прихода здесь были только тропы для мулов,— сказал священник.— Теперь...

— Мы проложили дороги,— сказал Нино, не замечая, что он прервал своего собеседника,— там, где нам это было нужно по стратегическим или экономическим соображениям, и создали промышленные центры, которые нам приносят доходы, но оставили без внимания бедные и заброшенные уголки, которые были бы для нас обузой.

— Немало еще нищеты на свете,— согласился священник, подняв глаза к потолку.— Однако нефть Сахары может многое изменить.

С тех пор как Нино был в Алжире, он не встречал ни одного офицера, который не упоминал бы о нефти. Можно было подумать, что французская армия находится здесь исключительно для того, чтобы обеспечить транспортировку нефти к морю.

— Да, я знаю: Алжир — столица Сахары,— сказал он, повторив формулу, которую уже не раз слышал. И прибавил:— Как будто населенная часть страны не в счет.

Священник посмотрел на него с некоторой грустью.

— Не будем забывать,— сказал он,— что Франция обязана Сахарой отцу Фуко<sup>1</sup>.

Через девять дней Нино узнал, что он разжалован. Согласно уставу тем самым отменялись все предыдущие меры взыскания.

Он узнал об этом вечером. «Завтра утром,— подумал он,— я стану солдатом второго года службы и буду свободен». Он испытал чувство огромной радости. Вот уже около шести недель он жил в постоянном напряжении и теперь наконец мог вздохнуть полной грудью. «Свободен — значит отправлен в часть».

Радость отхлынула. Он был слишком молод, чтобы знать, что решительное сражение всегда то, которое еще предстоит дать.

Весь вечер он писал письма: родителям, адвокату, которого они ему нашили, Жаку Дюкло и Даниэлю Рену (первый был его депутат, второй — мэр Монтрейля), знавшим его еще ребенком. Проведя таким образом два часа со своими близкими, он успокоился. «Я откажусь выполнить первый же полученный мной приказ,— подумал он, укладываясь спать,— и потребую командира, чтобы узнать его решение. А единствен-

<sup>1</sup> Фуко Шарль (1858—1916) — французский миссионер и путешественник, исследователь Сахары. (Примеч. перев.)

ное решение, приемлемое для меня,— это тюрьма, в противном случае я скорее тут же покончу с собой, чем выполню приказ». Он заснул.

На следующее утро солдата второго года службы Грегуара, снова надевшего форму альпийского стрелка, привели к капитану — командиру роты, в которую он был направлен. Сержант, сопровождавший его, тоже остался в штабе роты, где к ним присоединился еще один унтер-офицер. Все четверо знали, зачем они здесь собрались и что будут говорить и делать. Так ведут себя актеры, участвующие в пьесе, которую они долго репетировали. Каждый знает наизусть все роли — и свою и чужие; но в то же время они слегка взволнованы, так как после бесконечных репетиций должны в первый раз выступить перед публикой. Нино и капитан, занятые в главных ролях, волновались больше, чем два унтер-офицера, которым отводились второстепенные амплуа. Каждый по-своему старался скрыть свою нервозность.

Нино отдал честь и с безупречной корректностью ответил капитану, спросившему его имя, фамилию и т. д. Офицер для вида записал его ответы, притворился, будто ищет что-то на письменном столе, и сказал небрежным тоном:

— Вы зачислены в третий взвод. Следуйте за сержантом.

Он сделал маленькую паузу, и два унтер-офицера, которые до этого не сводили с него глаз, перевели взгляд на Нино.

Капитан посмотрел на свои руки и прибавил, делая вид, что Грегуар его больше не интересует:

— Он вам выдаст оружие.

Наступило молчание. Нино почувствовал на себе взгляд двух унтер-офицеров и подумал: «Теперь моя очередь».

— Мне не нужно оружие, господин капитан,— сказал он почтительно,— и довожу до вашего сведения, что, пока я в Алжире, я отказываюсь подчиняться каким бы то ни было приказам и выполнять какую бы то ни была работу.

Он говорил слишком быстро, тогда как офицер говорил слишком медленно. Оба унтер-офицера отвели взгляд от Нино и уставились на командира, который тотчас сказал:

— А почему?

Нино, не видя статистов, почувствовал, что они снова воззрились на него.

— Я отказываюсь убивать себе подобных,— ответил он.— Я отказываюсь воевать против свободы.

«Теперь он спросит меня, подумал ли я о последствиях моего поступка»,— сказал он себе, и, так как следующей была реплика офицера, последний действительно осведомился, обдумал ли солдат Грегуар свой поступок и предусмотрел ли он последствия своего отказа.

— Так точно, господин капитан,— сказал Нино.

— Вас ждет военный трибунал.

— Так точно, господин капитан,— повторил Нино, и взгляды унтер-офицеров, не поспевавших за столь быстрым диалогом, с некоторым опозданием устремились на него и тотчас перенеслись на офицера.

Тот повернулся к ним и приказал отвести Нино в полицию.

Под вечер его поставили в известность, что, так как он противился исполнению полученного приказа, на него накладывают недельный арест. Через день он узнал, что его предадут суду за отказ повиниться. Его заперли в камеру, где не было никакой мебели — только циновка из рафии, узкий тюфяк и несколько одеял. И вот в своей седьмой тюрьме он мог наконец спокойно подумать над событиями последних недель. Он пришел к заключению, что если в Эпинале командование закрыло глаза на его поступок, являвшийся нарушением дисциплины, и отослало

его в Мец, а затем в Марсель, если оттуда его отправили в Африку и под конвоем доставили в Мишле, если его разжаловали, отменив все взыскания, и занесли в списки новой части, то все это было сделано с единственной целью дать ему возможность совершить преступление, которое в отличие от его первого проступка — отправки письма президенту республики — подлежало бы юрисдикции военного трибунала в Алжире. Это одновременно привело его в восхищение, разъярило и позабавило. Стоило огорд городить!

## 3

Г-н Н. закрыл досье Александра и Грегуара. Он прочел их с таким вниманием, будто речь шла о делах, при рассмотрении которых подробное и последовательное изложение фактов могло повлиять на мнение судей. Он хотел было сделать кое-какие пометки для защитительной речи в Константине, но отложил это до встречи со своим подзащитным, с которым еще не был знаком. К тому же у него гудело в ушах. Самолет шел на посадку. На горизонте, подобно бахrome черного полога ночи, показались пенистые волны: Средиземное море, Марсель, Мариньяк.

Через час, на заре, они снова поднялись в воздух. «Бреге» поднимался проворнее солнца, которое с трудом высвобождалось из утреннего тумана, и скоро они остались вдвоем — серебристый самолет и оранжевый шар — между синью моря и более густой синевой неба. Пассажиры дремали, только некоторые разговаривали вполголоса, а один или два, те, что летели впервые, не раз уже пожалев о том, что не застраховали жизнь в аэропорту, созерцали теперь с чувством боязливого восхищения однообразную красоту простора.

В Мезон-Бланш, где запах раскаленного песка, запах пустыни души путешественников, словно они приземлились в Сахаре, г-н Н. пересел на другой самолет и в девять часов пятьдесят минут был уже в Константине. Он оставил свой чемодан в гостинице, получил разрешение на свидание и тут же, захватив портфель, отправился в военную тюрьму.

Через несколько минут он увидел грустного и бледного молодого человека в белом полотняном костюме, придававшем ему еще более унылый вид. Жак Александр был маленький, шуплый юноша с большими глазами, высоким лбом, темными, коротко остриженными волосами, которые упрямо топорщились, и тоненькими усиками.

Г-н Н. представился, объяснил, что приехал вместо своего коллеги, который прежде занимался этим делом, но в силу непредвиденных обстоятельств в последний момент был вынужден остаться в Париже и поручил ему защищать его клиента. Заключение слушал его внимательно, не перебивая и не задавая вопросов, и, заметив меланхолический взгляд его больших карих глаз, г-н Н. подумал, что юноша огорчен заменой адвоката и, быть может, опасается, что Н. не так основательно ознакомился с его делом и потому будет хуже защищать его. Поэтому он объяснил Жаку, что изучил его дело и, кроме того, уже участвовал в подобных процессах, что все они схожи как по форме, так и по существу и вследствие этого не требуют специальной подготовки, если не считать ознакомления с некоторыми дополнительными данными, которые могут благоприятно повлиять на судей. Такими данными он считал слабое здоровье Жака, а также уважение, которым он, будучи квалифицированным монтажником, пользовался в механических мастерских Альфортвилля, и у своего нанимателя, и у товарищей, прекрасную репутацию его родителей — парижского канализационного рабочего и бывшей швей-мотористки — и другие подобные детали.



Однако не следовало обольщаться насчет военных судей в Алжире, которые, рассматривая дела такого рода, всегда приговаривали обвиняемых к максимальной мере наказания, предусмотренной данной статьей кодекса.

— Я знаю,— сказал юноша.

Он говорил совсем тихо, беззвучным голосом, который гармонировал с его бледностью и меланхоличным взглядом, и у г-на Н. мелькнула мысль, не жалеет ли он о своем поступке и не боится ли последствий.

— Увидите,— сказал он непринужденным тоном, каким адвокаты и врачи разговаривают со своими клиентами накануне решающего дня,— мы постараемся, чтобы все кончилось как можно лучше.

— Я знаю,— повторил солдат с той же монотонной интонацией.— Только...

Он протянул последний слог. Г-н Н. подождал, что за этим последует, и, так как не последовало ничего, проронил:

— Да?

Жак уныло пожал плечами.

Из него надо было вытягивать слово за словом. Не то чтобы он избегал отвечать на вопросы, напротив, он делал это охотно, но не забегал вперед, оставляя инициативу за своим собеседником; ответив, он ждал новых вопросов.

«Это не от боязни, а от робости»,— подумал адвокат и сказал:

— О вас много говорят в Альфортвилле.

Он рассказал арестованному о проходивших в предместье, где он вырос, многочисленных собраниях и митингах, на которых юристы, священники, учителя, депутаты ставили его в пример и требовали его оправдания; о петициях в его защиту, подписанных тысячами жителей Альфортвилля; о том, что его дело получило широкую огласку и пролило в прессу, и т. д. и т. п. Жак мало что знал об этом, он был отрезан от внешнего мира, откуда в тюрьмы не пропускают вестей, ибо между этим миром и обвиняемым существует сообщничество, и его необходимо разбить, чтобы обречь заключенного на неведение, одиночество и отчаяние, которые служат целям юстиции.

В течение двух недель, прошедших с того момента, как он отослал письмо, до прихода за ним жандармов, Жак чувствовал вокруг себя одобрение, симпатии соседей. С тех пор как он находился в тюрьме, он понял по осторожным намекам в письмах родных, что его поступок вызвал большой интерес. Группа юных католиков — ученик мясника, железнодорожник, котельщик и другие — выступила в его защиту. Говорили, что они действуют при поддержке священника Альфортвилля. Медсестра, которая ухаживала за Жаком, когда он был в санатории, регулярно приходила к его матери и каждый раз оставляла деньги для пересылки ему. Она была не единственной; среди тех, кто пытался таким образом выразить ему свое уважение и смягчить его участь, была и семья Раймона Жоклара, того самого, которого расстреляли фашисты, когда ему было столько лет, сколько теперь Жаку, и чьим именем была названа улица, где жила семья Александр.

Тем не менее солдат не подозревал о размахе кампании протеста, вызванной приближением процесса, и его адвокат, знавший об этом и пытавшийся поднять его дух, не скупился на подробности, приводил цифры, фамилии, упомянул о вмешательстве председателя Комитета освобождения Альфортвилля. Но по мере того, как он подчеркивал значение этого дела наряду с другими делами того же рода, особенно для рабочих, говорил о резонансе, который оно получило среди молодежи, среди сверстников Жака, последний, вместо того чтобы ободриться, все

больше мрачнел. Когда г-н Н. кончил, юноша помолчал, потом сказал просто:

— Я боюсь.

Это признание, следовавшее за рассказом, окрашенным разумным оптимизмом, удивило адвоката. Он переспросил:

— Бойтесь?

Арестованный покачал головой.

— Боюсь оплошать завтра на процессе,— сказал он.

Жак боялся, что ему не по плечу вести спор, раздиравший Францию, а в течение нескольких месяцев раздиравший и его самого, спор, лишь прерванный, когда он опустил в почтовый ящик письмо президенту республики, и почти тотчас вспыхнувший опять, теперь уже не в его сознании — оно вновь обрело цельность,— а между ним и людьми более опытными, более образованными, более речистыми, которым он был выдан в наручниках. Он боялся, что для этого спора, исход которого в отношении его самого был предreshен, у него не хватит отнюдь не мужества, а аргументов. Жак плохо оперировал абстрактными понятиями и не всегда мог ясно выразить то, что ему казалось ясным, поэтому, думая о том, как он будет отвечать будничными словами на блестящие тирады противников, он повторял про себя, что процесс заранее проигран, ибо он не сможет ясно и убедительно сформулировать теоретическое обоснование своего поступка, практические последствия которого для него самого его несколько не беспокоили. Он говорил себе, что, будь на его месте его старшая сестра, она без труда доказала бы, что он поступил совершенно правильно, что только так и следовало поступить. Она легко опровергла бы возражения судей, пользуясь еще лучше, чем они, их собственным лексиконом. Но Рене была в Париже. А он, хоть и вырос в семье, где только и говорили о политике, всегда предпочитал спорт.

В то время как адвокат говорил о резонансе, который получило его письмо, надеясь поднять настроение заключенного, тот думал о своих родных, друзьях и товарищах, о медсестре и о семье Раймона Жоклара, которые отказывали себе в необходимом, чтобы послать ему немного денег, о своих учителях, о юных католиках, о всех соседях и знакомых, а также о чужих людях, удостоивших его доверия и дружбы, и, взвешивая лежавшую на нем ответственность, все больше проникался чувством своей беспомощности.

— Вы должны только рассказать судьям, почему вы написали президенту республики,— сказал г-н Н., рассматривая бледного и задумчивого юношу.

Жак вспомнил о трех мучительных днях, когда он писал письмо, стоившее ему таких усилий.

— Я знаю,— сказал он тем же беззвучным голосом, каким уже два раза повторил эти два слова.

Он ушел, похожий в своем белом, как мел, полотняном костюме на меланхоличного Пьеро, и адвокат подумал, что на процессе его защитный будет ему скорей обузой, чем опорой.

Он еще думал так и на следующий день, когда пришел в военный трибунал, находившийся в центре арабской части Константины. Зал с низкими сводами был пуст: на утро не было назначено к слушанию никаких других дел. Г-н Н. оказался один на скамье, предназначенной для защитников.

Слева от него сел государственный обвинитель в чине капитана, стража, стоявшая справа у входа, взяла на караул, и группа военных в головных уборах и перчатках вошла в зал заседаний. Их было семь человек: полковник запаса, снова надевший форму военно-воздушных

сил, пять офицеров разных чинов и один унтер-офицер. По бокам от председателя суда шли к своим местам подполковник и майор, по краям — младший лейтенант и унтер-офицер. Было ясно, что такое расположение неизбежно. Они выстроились за длинным столом, полковник посредине, остальные с обеих сторон от него, по трое справа и слева в нисходящем иерархическом порядке, и застыли, взяв под козырек. Секунды через три полковник сказал: «Вольно!» Начальник стражи повторил: «Вольно!» Стража выполнила команду, и офицеры сели все одновременно, сняли головные уборы и, положив их перед собой, бросили на них перчатки. В этот момент появились два жандарма, конвоировавшие солдата.

Из-под отворотов его френча цвета хаки, стянутого в поясе, виднелась белая рубашка и хорошо выглаженный, аккуратно повязанный галстук. Он был гладко выбрит и, видимо, смочил волосы, чтобы они лучше держались. Г-н Н. с удивлением посмотрел на Жака: его было трудно узнать. Он не узнал даже его голоса, когда Жак заговорил, обращаясь к председателю, который, пригласив его подойти к барьеру, спросил, почему он дезертировал. В отличие от Грегуара и других молодых солдат, с самого начала заявивших, что они не примут участия в войне, которая ведется против алжирского народа, Жак на первых порах участвовал в ней, и потому его судили не за отказ повиниться, а за дезертирство в мирное время. Он не считал себя дезертиром и попытался объяснить это судьям, вначале в общих словах, очевидно, полагая, что достаточно упомянуть о резне и опустошениях, чтобы его поняли люди, причастные к войне в Алжире. Он с удивлением констатировал, что это вовсе не так: офицеры делали вид, что не понимают его и не знают о событиях, на которые он только намекал, не вдаваясь в подробности из стыдливости и простого приличия, и Жак, чувствуя, что не способен теоретически обосновать свой поступок, был вынужден сослаться на факты, свидетелем которых ему пришлось быть.

Уже прошло то время, когда стоило обвиняемому или адвокату упомянуть о подобных вещах перед военным трибуналом, как председатель лишал его слова; эра добродетели сменилась эрой апатии — судьи терпеливо ждали окончания «старой песни о пытках», чтобы вернуться к прениям сторон. С недавних пор они еще раз изменили тактику: вместо того чтобы отрицать зверства, они их игнорировали, как факты, не относящиеся к делу.

Так было и на сей раз. Обвиняемый под конец рассказал суду о случае, сыгравшем решающую роль в его душевном переломе, о том самом случае, который однажды вечером, за обеденным столом, когда по радио разглагольствовал диктор, он описал родным, от чего их буквально затошнило, хотя Жак многое опустил.

Коротко говоря, дело было так.

Подразделение Жака разминировало дороги обычно под охраной темных элементов из Иностранного легиона. Когда же легионеры выполняли задание, саперы в свою очередь оказывали им ту же услугу. И вот Жаку пришлось присутствовать однажды в Оресе при уничтожении деревни, насчитывавшей триста шестьдесят жителей. Один ребенок бросился бежать; какой-то легионер поймал его и всадил ему нож в спину. Жак услышал, как он сказал: «Достал до печенки!» Он знал этого легионера и считал его хорошим парнем: когда он получал жалованье, то устраивал для всех выпивку. Для Жака было открытием, что человек способен дойти до такого зверства. Когда он думал об этом случае, ему самому казалось, что это был какой-то кошмарный сон, и он находил естественным и даже успокоительным, что люди, не видевшие этого собственными глазами, отказываются в это поверить. Поэтому он назвал

дату, место происшествия и даже фамилию полковника, проводившего операцию, прибавив, что если трибунал ему не верит, то может вызвать других свидетелей.

Члены трибунала слушали его в молчании.

— Вам отдавали преступные приказания? — спросил председатель.

Напрасно Жак пытался объяснить, что повсюду, где проходила его часть, царило такое умонастроение, что не было никакой надобности отдавать подобные приказания; вам предоставлялось самим проявить инициативу, и те, кто «действовал по-военному», ставились в пример, а остальные считались мокрыми курицами и трусами. Напрасно говорил он об отвращении, которое вызывали у него «подвиги» многих солдат, а также о боязни искушения, столь сильного в его годы, подражать большинству, о заразной жестокости, которую он страшился перенять, о силе привычки, которая могла и его сделать бездушным убийцей, — председатель каждый раз прерывал его и спрашивал с ледяной вежливостью, получал ли он когда-либо преступные приказания. Наконец Жак ответил «нет», и на этом допрос был закончен.

Жак вернулся на свое место между двумя жандармами и стал слушать речь государственного обвинителя. Он знал, что процесс окончен и что в лучшем случае его присудят не к трем годам тюремного заключения — максимальной мере наказания, — а к двум годам и шести месяцам. Но он знал также, что исход дела определялся не сроком тюремного заключения: оно было продолжением спора, раздиравшего Францию, и спор этот был не правовой, а нравственный. Жак считал, что, если государственный обвинитель хочет обосновать свою точку зрения не только юридически, но и морально, он должен со своей стороны также потребовать допроса свидетелей резни, о которой говорил обвиняемый, и либо доказать, что никаких зверств не было, либо убедить суд, что они вполне допустимы.

Офицер начал с того, что напомнил преамбулу конституции, где говорится о «единой и неделимой» Франции, из чего следовал вывод, что никакая часть нации не имеет права восстать против целого. Обвиняемый должен был как гражданин подчиниться большинству, как военный — выполнять приказы. Как все государственные обвинители, произносящие речь в военном трибунале, капитан, видимо, читал «Рабство и величие солдата» и, как все его собратья, запомнил оттуда следующий абзац: «Армия слепа и нема. Она разит прямо перед собой с того места, куда ее поставили. Она ничего не хочет и действует как орудие».

— Если каждый солдат станет обсуждать приказы и раздумывать, выполнять их или нет, — сказал в заключение офицер, — в армии в короткий срок воцарится анархия.

«Теперь, — подумал Жак, — он напомнит, что я никогда не получал преступных приказов, или объяснит, почему эти приказы нельзя считать таковыми». Однако его ожидания не оправдались, так как государственный обвинитель оборвал свою аргументацию и потребовал применения максимальной меры наказания, обосновав это тем, что обвиняемый не какой-нибудь темный парень, совершивший преступление по глупости.

Г-н Н. тоже читал Виньи, но больше всего ему запомнилась и казалась наиболее подходящей для данного дела глава «Об ответственности», где автор писал по поводу одного случая слепого исполнения приказа: «Я почувствовал вдруг, как унижительно подвергать себя опасности стать преступником, держа в руке саблю раба вместо шпаги рыцаря».

Как и его подзащитный, он не питал иллюзий относительно исхода процесса, однако говорил так, словно находился перед настоящим судом, словно все не было заранее решено. Ему подсказывала это не толь-

ко профессиональная добросовестность. Он знал, что данный процесс, так же как и тот, который ожидал его через три дня в Алжире, так же как и другие, прошедшие и будущие процессы, был составной частью спора, раздиравшего Францию: защищая Жака, он защищал будущее.

Он говорил поэтому о войне в Алжире и о том, что Виньи называл «опасностью стать преступником». Борьба против этой опасности повелевает не только совесть, но и закон, ибо никто не должен исполнять преступные приказы, сказал он и напомнил о возникшей в прошлом веке доктрине «умных штыков», которая оставляет за солдатом право принимать самостоятельные решения в случае противоречия между дисциплиной и моралью. Он говорил сдержанно, стараясь выразить свою мысль как можно яснее: человек пятнадцать военных — судьи, стража, жандармы — слушали его, и, видимо, ни один не был с ним согласен, но кто может знать, что застрянет в памяти людей и не дойдет ли мало-помалу до их сознания истина.

Суд удалился на совещание, и г-н Н. вышел в коридор со своим подзащитным. Говорить было трудно — подле них стояли два жандарма. Жак был недоволен собой, ругал себя, так как не сумел высказать трибуналу все, что накипело у него на сердце.

— Напротив, — сказал адвокат, — вы держались прекрасно.

Он говорил это не для того, чтобы ободрить юношу, он действительно так думал. Ему даже казалось, что судьи проявят умеренность.

— Не думаю, — сказал Жак. — Они дадут мне три года.

Военный трибунал объявляет решение в отсутствие обвиняемого; услышав звонок, означающий, что совещание окончилось, адвокат один вернулся в зал. Офицеры были на своих местах, но стояли. Председатель прочел приговор. Жак был прав: его приговорили к трем годам тюрьмы.

Г-н Н. поспешно направился к выходу. Он уже не имел права разговаривать с арестованным, но издали искал его взгляд и, когда встретился с ним, скорчил гримасу, пожал плечами и поднял три пальца. Жак кивнул головой и улыбнулся. У г-на Н. не хватило духа улыбнуться ему в ответ. Он не спускал с него глаз, пока тот в сопровождении двух жандармов шел в зал суда, чтобы выслушать приговор в присутствии вооруженной стражи.

Только позже, изнывая от жары на аэродроме Константины, он по дивился своим вчерашним опасениям в отношении Жака. То, что он принял за слабость, было лишь сдержанностью, и робость уступила место спокойному мужеству и твердости. Адвокат мог в свое удовольствие размышлять об этом: самолет, который должен был доставить его в Алжир, при посадке повредил шасси, и ремонт продолжался больше часа. Лишь к исходу дня они пролетели Атласские горы и уже в сумерках приземлились в Мезон-Бланш. Но даже если бы самолет прибыл без опоздания, адвокат не успел бы попасть в положенные часы в военную тюрьму, чтобы познакомиться с Рафаэлем Грегуаром, а так как была суббота, он мог с ним встретиться теперь лишь накануне процесса, в понедельник.

## 4

Весь день с неба, где носились чайки и вертолеты, солнце ярилось на Алжир, и теперь, когда оно скрылось за хребтами гор, знойный воздух, казалось, давил на раскаленные камни. Сухой ветер пустыни гулял по улицам, уже почти безлюдным — приближался комендантский час. В городе было спокойно.

С балкона своей комнаты в отеле «Алетти» г-н Н. мог наблюдать, как Алжир окутывался тишиной и мраком. Приехав с аэродрома, он

пообедал вместе с несколькими коллегами, среди которых была и молодая женщина, г-жа З., прибывшая в тот же день из Парижа; она, как и г-н Н., часто прилетала в Алжир, чтобы выступать в военных трибуналах по делам, которые в силу обстоятельств и накаленной атмосферы чаще всего можно было заранее считать проигранными. Разговор вертелся вокруг назначенной на начало следующей недели демонстрации протеста против казни алжирскими партизанами трех французских солдат, повинных во всякого рода эксцессах. Европейцы, проживавшие в Алжире, часто и охотно выходили на демонстрации; на этот раз можно было ожидать беспорядков. Прошел слух о готовящемся погроме.

Перед сном г-н Н. вышел на балкон. Кругом одно за другим гасли последние освещенные окна. Внизу прошел патруль: четверо солдат, вооруженных автоматами, шли гуськом, за ними следовали поодаль еще два солдата, а двое других шли по противоположному тротуару. Скоро на улицах воцарилась тишина, нарушаемая лишь размеренным шагом патрульных. Парашютистов не было слышно: они двигались в своих ботинках на каучуковой подошве по-кошачьи осторожно и бесшумно.

Но их было немало: днем на улицах то и дело мелькали их красные, синие, зеленые береты, как и белые фуражки легионеров, чаще немцев, чем французов, и, обратив на них внимание по дороге в тюрьму, г-н Н. вспомнил о первом столкновении Грегуара с войной в департаменте Эндр в 1944 году, когда ему было восемь лет: полк эсэсовцев, которому предшествовала мрачная слава,— он возвращался из Орадур-сюр-Глана — остановился как раз у деревни, где жил тогда мальчик; неожиданно свернув с дороги, эсэсовцы подожгли соседнюю ферму и исчезли в облаке дыма и пепла. С тех пор едва успели промелькнуть четырнадцать мирных лет, и вот уже подросло и пошло воевать новое поколение французов.

Военная тюрьма в Алжире — это своего рода подземная крепость, вырытая среди утесов, огибающих залив. Однако она отнюдь не оставляет мрачного впечатления, напротив, после шума и суеты, которые царят в гражданской тюрьме, где заключенных сотни, а часто и тысячи, тишина и порядок в военной тюрьме приводят на память воскресные дни в провинции. Туда можно попасть через потайную калитку с глазком. Двадцать ступенек вниз, и вы в тюремном дворе, обсаженном банановыми деревьями. Там находится приемная, где адвокат имел возможность сорок пять минут беседовать с Рафаэлем Грегуаром, которого он видел в первый раз.

Доставленный десять недель назад из Мишле в Алжир, Нино застал в своей восьмой тюрьме двух других солдат, которые отказались воевать против алжирцев и должны были, как и он, предстать перед трибуналом; вскоре к ним присоединился четвертый, а потом и пятый товарищ. Нино почувствовал, что оживает. Ничто так не изнуряет, как необходимость непрестанно следить за собой. С тех пор как Нино мог опять говорить то, что думал, он вновь стал свободным человеком. Он играл с другими арестантами в шахматы, шашки, спорил о событиях, политике, спорте. Он изучал немецкий и много читал: «Характеры» Лабрюйера, «Историю одного преступления» Виктора Гюго и других классиков. За две недели до процесса он начал читать «Люсьена Левена». Один из его товарищей по заключению уже прочел этот роман и нашел его «потрясающим»; Нино находил его, кроме того, актуальным.

Г-н Н. был удивлен, найдя его столь спокойным и веселым. У этого крепкого, коренного парижанина с открытым лицом была, казалось, только одна забота: избежать напыщенности. Он опасался, как бы завтра, на суде, ему не пришлось невольно встать в позу героя. Адвоката

это позабавило, и он его успокоил: для пресыщенных алжирских судей это дело было мелким. Нино это знал: он шутил.

Оставшись один, он закончил письмо к своим родителям, которые все больше волновались по мере приближения дня суда.

«Я надеюсь,— писал он,— что вы спокойно отнесетесь к приговору; главное, не надо оплакивать нашу судьбу, это ничему не поможет, напротив. Завтра я постараюсь вести себя как можно достойнее. Я еще не занимался такого рода спортом, поэтому не совсем уверен в своих результатах. Впрочем, не беспокойтесь».

Сам он был не очень-то спокоен, хотя и старался не показать этого, когда во вторник после обеда вошел в наручниках под конвоем жандармов в просторный зал суда. За столом в глубине зала сидел полковник, справа от него — подполковник, капитан и унтер-офицер, а слева — майор, лейтенант и младший лейтенант. Сбоку, друг против друга, сидели майор и унтер-офицер. С обеих сторон центрального прохода на некотором расстоянии от членов трибунала заняли места несколько человек в черных мантиях; среди них был и г-н Н.; он улыбнулся Нино и дружески кивнул ему. Позади адвокатов стояли несколько вооруженных солдат под командой унтер-офицера. Нино и его конвоиры уселись на одну из скамей, отведенных для публики, где уже сидели другие солдаты под охраной других жандармов. Их дела тоже слушались в этот день. Стояла жара; высокие окна, выходящие на улицу Колонна д'Орнано, были открыты, но так как зал заседаний находился на втором этаже, городской шум сюда едва доносился.

Нино полагал, что его будут судить одного или по крайней мере первого. Он не учел, что, посвятив ему одному целое судебное заседание, трибунал рисковал бы придать его делу слишком большое значение, а рассматривая это дело в начале заседания, обеспечил бы подсудимому слишком большую аудиторию. Поэтому было решено ввести его в зал и посадить среди других обвиняемых, но судить последним. Ему пришлось прослушать уйм мелких дел, похожих одно на другое. Унтер-офицер, секретарь суда, вставал и читал обвинительный акт; один из соседей Нино в свою очередь вставал, чтобы ответить на вопросы председателя и сказать, что сожалеет о своем поступке; когда он садился, вставал майор, исполнявший обязанности государственного обвинителя, и произносил несколько фраз о дисциплине, чести и смягчающих вину обстоятельствах; едва он опускался в кресло, брал слово один из адвокатов и начинал разглагольствовать о юности, раскаянии и снисхождении; потом судьи вставали, присутствующие в зале следовали их примеру, стража брала на караул, суд удалялся на совещание и почти тотчас возвращался, председатель читал приговор, и все повторялось сначала. Разбирались — по крайней мере судя по тому, что говорилось на суде, — незначительные и заурядные происшествия, которыми правосудие занимается лишь изредка, случайно или для остротки, неизменно проявляя снисходительность: мародерство, самовольные отлучки, хищения военного имущества. Нино отметил про себя, что его соседи присуждались к мягким мерам наказания и условно, и, так как председатель только что прочел приговор, столь же милосердный, как и другие, он вернулся к г-ну Н., улыбнулся ему и, видя, что защитник ответил ему улыбкой, решил, что они поняли друг друга.

Действительно, адвокат как раз вспомнил дело, по которому он выступал полтора года назад в военном трибунале Алжира. Один алжирец, которого он не знал и с которым не смог повидаться, когда тот был в тюрьме, избрал его своим защитником, и он решил, что речь идет о политическом деле. Дело оказалось очень серьезным: его подзащитный убил человека. Судя по бумагам досье, во Франции ему грозили каторжные

работы, а в Алжире — смертная казнь. Члены трибунала тоже приготовились к политическому процессу, наверное из-за присутствия г-на Н.: чувствовалось, что они взволнованы. В самом начале заседания обвиняемый встал и заявил, что он не занимается и никогда не занимался политикой; он убил свою жертву в драке. Лица судей просветлели. Убийца отделался двумя годами тюрьмы: никогда еще у г-на Н. не было столь легкого дела.

Он вернулся к действительности: секретарь стоя читал обвинительный акт по делу Рафаэля Грегуара. Он привлекался к суду за отказ повиноваться.

Нино подошел к столу трибунала. Стройный, в форме, облегаящей его мускулистое тело, он отвечал почтительно, но с достоинством на вопросы председателя о его семье и о нем самом; видя и слыша его, легко было понять, почему после года службы его произвели в сержанты, несмотря на то, что он был коммунистом. Его точные и ясные ответы контрастировали со слезливыми объяснениями предыдущих обвиняемых. Он первый не выражал раскаяния, и его первого прервал председатель. Он процитировал, как и в своем письме к президенту республики, преамбулу конституции, где говорится, что Французская республика никогда не употребит силу против свободы какого бы то ни было народа. Война, направленная против свободы алжирского народа, сказал он, — война не справедливая. Кроме того, она сопровождается зверствами, существуют неопровержимые свидетельства этого, и, так как он читал и слышал немало таких свидетельств, он отказывается принять участие в преступных действиях.

Председатель прервал его еще раз, и он вынужден был сесть на свое место, недовольный самим собой и уверенный, что излагал свою мысль туманно и многословно. Он говорил самое большее минуты три.

Государственный обвинитель счел полезным вызвать свидетелей, и Нино представился случай еще раз увидеть двух унтер-офицеров из Мишле, тех самых, что во время разыгранной там сцены, в которой он и капитан играли главные роли, следили за обменом репликами. Теперь они ели глазами полковника-председателя и один за другим рассказывали, как их начальник пробовал образумить обвиняемого, но тот стоял на своем. Государственному обвинителю как раз это и нужно было. Этот человек, говоривший добродушным тоном, с сильным эльзасским акцентом, подчеркнул, что в деле Грегуара речь идет не просто о нарушении присяги, а о подрывной пропаганде.

В это время на улице раздались крики, на которые никто не обратил внимания: улица Колонна д'Орнано была очень людной; впрочем, почти тотчас воцарилась тишина.

Майор не прервал своей обвинительной речи.

Он говорил, что, поскольку обвиняемый захотел придать своему поступку значение примера, трибунал в свою очередь должен вынести ему такой приговор, который служил бы предостерегающим примером для других. Но закон предусматривает в качестве максимальной меры наказания за отказ повиноваться в мирное время два года тюрьмы, а за то же преступление во время войны смертную казнь. Чтобы потребовать более сурового приговора для Грегуара, государственному обвинителю понадобилось бы допустить, что Франция находится в состоянии войны с Алжиром, чего он сделать не мог. Поэтому он ограничился тем, что потребовал максимального срока — двух лет тюрьмы, сожалея о гуманности кодекса.

Снова в зал через открытые окна донеслись крики, сопровождаемые на этот раз гудками машин: видимо, внизу, на улице, образовался затор.



Майор, который все еще подыскивал аргументы, чтобы добиться для обвиняемого самого сурового наказания, предусмотренного законом, напомнил, что в таких случаях военный трибунал Алжира, как правило, применяет максимальную меру, чтобы устранить опасность повторения подобных поступков. Он тоже читал «Рабство и величие солдата».

— Куда это нас заведет,— спросил он,— если каждый солдат будет решать сам, какие приказы он должен выполнять?

Он замолчал, и, как бы подавая ему реплику, хор людских голосов на улице прокричал что-то невнятное. Г-ну Н. показалось, что они повторяют «Смертная казнь!» и еще какое-то слово, которое он не смог разобрать. Но ему надо было выступать, и он перестал об этом думать.

— Один из самых серьезных аспектов этой войны,— сказал он рассудительным тоном,— состоит в том, что она затрагивает будущее молодежи нашей страны.

Обвиняемый бросил взгляд на судей и снова перевел его на адвоката. «Его никто не сможет прервать,— подумал Нино.— Он скажет то, что я хотел бы выразить».

Г-н Н. разъярялся, почему, по его мнению, война в Алжире угрожает будущему молодежи. Речь идет не о физической угрозе, говорил он. Эта война, решающей важности испытание для целого поколения французов, наложит неизгладимый отпечаток на жизненную философию и моральный кодекс каждого из них, подорвав их чувство чести и национальную гордость. Миллионы молодых людей будут обречены всю жизнь носить в себе воспоминание об этой войне, и им придется отделяться от него при помощи цинизма или страдать от угрызений совести.

Стараясь как можно яснее выразить свою точку зрения, г-н Н. в то же время невольно прислушивался к шуму, доносившемуся с улицы. По всей видимости — ему бы следовало раньше об этом догадаться,— началась манифестация, о которой было объявлено несколько дней назад. Крики, гремевшие во время речи государственного обвинителя лишь изредка, как внезапные залпы, теперь слышались непрерывно — стихали и тут же снова раздавались, перемежаемые автомобильными гудками, которые переключались, чередовались и наконец сливались, позволяя уловить их общий ритм: три коротких, два долгих; потом невпопад вступали новые гудки и переиначивали сигнал: два долгих, три коротких; торжествовал хаос.

Застыв на своих местах, судьи делали вид, что не придают ни малейшего значения этому кавардаку. Они прилежно слушали защитительную речь, некоторые делали записи.

— Мы все видели молодых солдат, вернувшихся из Алжира. Они упорно молчат или, когда их осаждают вопросами, отшучиваются, чтобы извинить свое молчание, именно извинить, а не объяснить, так как объяснения завели бы их слишком далеко.

На улице шум не утихал. По-прежнему ревели гудки, перекрывая голоса, которые скандировали хором: «Алжир остается французским!» или «Алжир французам!». Иногда сквозь гул толпы прорывался особенно пронзительный крик, и до зала суда доносилось: «Смерть негодьям!», «Да здравствует Сустель!» или «Смерть Мендесу!».

— Нужно иметь в виду,— сказал г-н Н.,— характер этой войны.

Он перешел к последней части своей речи, где показал неизбежную жестокость колониальных войн, заклеянных историей. Председатель сделал знак привратнику, и тот на цыпочках подошел к окнам и закрыл их одно за другим. Уличный шум стих, отхлынул, стал невнятным. Но все, кто был в зале, лишь тем внимательнее прислушивались к нему, пока г-н Н. напомнил случаи отказа повиноваться, известные из древней и новой истории французской нации.

Он сел, поймал взгляд Нино, улыбавшегося ему, и в свою очередь улыбнулся.

— Обвиняемый,— сказал председатель,— желаете ли вы что-нибудь добавить?

— Нет, господин председатель,— сказал Нино.

Жандармы увели его, стража взяла на караул, и суд удалился на совещание.

Он должен был разрешить два вопроса. виновен ли обвиняемый в том, что четвертого февраля в Мишле отказался выполнить полученный им приказ, и имеются ли смягчающие вину обстоятельства.

Немного погодя Нино узнал в присутствии государственного обвинителя и вооруженной стражи, что на оба вопроса были даны утвердительные ответы. Его приговорили лишь к восемнадцати месяцам тюрьмы. Но адвоката уже не было, и он не мог разделить его радости и удивления: г-на Н. ожидало другое дело. Нино так и не узнал — и г-н Н. был осведомлен об этом не лучше, чем он,— почему военный трибунал Алжира скостил ему шесть месяцев заключения, отказавшись в первый раз от максимальной меры наказания в делах такого рода,— под влиянием аргументов его адвоката, благодаря его собственному поведению или в честь других военных, которые в тот же день, тринадцатого мая, тоже подали пример неповиновения.

## 5

Когда г-н Н. был уже арестован и, попав в руки парашютистов, ожидал своего конца, он не мог без улыбки думать о том, что прибыл в Алжир в мае 1958 года, чтобы защищать перед судьями в военной форме право солдат на отказ повиноваться. Он заявлял, что военные должны сказать свое слово по кардинальным вопросам, которые встают перед Францией, и вот теперь его желание было щедро удовлетворено. Правда, вприсок попали и государственные обвинители, которые отстаивали неизбежность дисциплины, чуждой всякому усилию мысли, утверждая, что она имеет свои основания чуть ли не в самой природе вещей. И адвокат представлял себе, в каком затруднительном положении оказался бы майор, говоривший с эльзасским акцентом, если бы он произнес слово в слово ту же речь, что и на процессе Грегуара, тремя днями позже, если бы, сожалея о мягкости закона, он потребовал двух лет тюрьмы, максимальной меры наказания, для обвиняемого, солдата второго года службы, в то время как генерал Х., генерал У. и другие безнаказанно пренебрегли полученными приказами.

Государственный обвинитель мог сказать (и, вероятно, он так и поступил бы): мы здесь не для того, чтобы судить генерала Х., генерала У. и других, чьи имена не фигурируют в материалах следствия, а для того, чтобы покарать солдата второго года службы Грегуара, виновного в преступлении, предусмотренном статьей 205 уголовного кодекса. Это было бы правильно и соответствовало бы букве закона. Но на это нечего было бы возразить только в том случае, если бы за процессом Грегуара незамедлительно последовали бы процессы генерала Х., генерала У. и других.

Ведь само собой понятно, что дисциплина имеет значение лишь постольку, поскольку ей подчиняются все, иначе она становится тиранической, а следовательно, эфемерной. Начиная с какого чина отпадают обязанности? С чина полковника? Но что скажут подполковники? А если распространить и на них привилегию свободы воли, то как заставить майоров исполнять свой долг? Уж не провозгласят ли раз навсегда, что офицеры — высшая каста и что долг повиновения начинается там,

где кончается табель о рангах? Это можно думать, но как это признать, да еще перед вооруженной стражей?

Так г-н Н. в своей тюрьме бессонной ночью размышлял о величии и падении армии, а также о притче Клейста про смертника и капуцина.

Когда трибунал удалился на совещание, и г-н Н., оставив Нино между двумя жандармами, вышел из здания суда, он думал как раз о монахе, который жаловался, что ему еще предстоит проделать обратный путь под дождем, и о том, что этот путь проделывает не только исповедник, но и адвокат; он тоже возвращается с места казни — если надо, под дождем, но возвращается, и заранее знает, что вернется. На улице, где несколько минут назад стоял оглушительный шум, теперь не было ни души. У г-на Н. было назначено свидание около памятника павшим. Оттуда доносился гул толпы.

«Должно быть, так происходят перевороты в Латинской Америке», — подумал адвокат, глядя на автомобили с выставленными в окна флагами и на военные машины, снабженные громкоговорителями, которые призывали население собраться на форуме. Из уст в уста распространялись слухи, выдаваемые за сообщения телеграфных агентств и официальные известия: прибыл Сустель, Национальное собрание и Елисейский дворец захвачены, де Голль взял всю власть в свои руки. Слышались крики: «Да здравствует Сустель!», «Массю к власти!», «Долой Бургиба!» и, реже, «Долой Коти!» и «Долой Дюваля!» (это был архиепископ алжирский, которого многие упрекали за мягкотелость). Когда проезжала машина, сигналившая «Алжир остается французским» — очевидно, это и означали три коротких, два долгих гудка, — прохожие подхватывали лозунг, долго повторяли его и только потом опять начинали каждый по-своему выражать обуревавшие их чувства ненависти или восхищения. Раза три адвоката останавливали группы женщин, вопивших:

— Сударь, мы спасены! Франция спасена!

Иногда появлялся военный — полковник или майор, — который рассеянно отвечал на приветствия толпы, поглощенный своими галлюцинациями. Прежде Вьетнам, а теперь Алжир кишел офицерами, которые, наслушавшись разговоров о том, что начиная с 1914 года французская армия по своей тактике и вооружению всегда отстает от времени на одну войну, считали для себя делом чести быть на уровне новейшей военной техники; бедные родственники «западного мира», они за неимением бомб, которые могут уничтожить массу людей, но стоят чертовски дорого, питали пристрастие к психологическому оружию; они читали Мао Цзэ-дуна, которого фамильярно называли Мао, и мечтали применить на практике его указания по военным вопросам; и они не замечали, что, пытаясь в середине XX века любой ценой удержать в зависимости колониальные народы, они отстают от времени на две войны.

В отеле «Алетти» мужчины держались так, словно воображали себя героями всех приключенческих фильмов, которые они видели начиная с ранней юности; штатские, расхаживая без пиджаков, старались обратить на себя внимание военной выправкой, офицеры подделывались под парашютистов — разговаривали тихо, смеялись громко. Портье подтвердил адвокату, что Бурбонский дворец взят приступом и все депутаты в тюрьме. Маленькие алжирцы лифтеры молчали и бросали короткие взгляды на дверь всякий раз, когда кто-нибудь входил.

В эту ночь на улицах Алжира слышались крики, гудки машин, скрежет тормозов; сумятица продолжалась до утра, и когда, такое же безжалостное, как накануне, над заливом поднялось солнце, озарив спящий город, там и тут на мостовых и тротуарах валялись воззвания и листовки, точно следы гигантского карнавала.

К полудню город опять залихорадило, и г-н Н., заказавший билет на послезавтра, решил ускорить свой отъезд. Но ни один пароход, ни один самолет не отправлялся больше в рейс через Средиземное море. Г-жа З., молодая женщина, с которой он обедал по возвращении из Константины и которая жила в той же гостинице, что и он, подала мысль поехать через Тунис. Они пошли справиться, возможно ли это; оказалось, что воздушное сообщение с Тунисом прервано. Служащий агентства предложил им последнее место на самолет, отправлявшийся в Рабат. Г-н Н. настаивал, чтобы г-жа З. взяла билет себе. Она отказывалась, говоря, что ему больше угрожает опасность. Он напомнил ей, что, когда она прибыла в Алжир, ее подвергли настоящему допросу и что, кроме того, у нее двое маленьких детей, которые ждут ее в Париже. Она заметила, что в отличие от нее он коммунист. Внезапно им объявили, что самолет не полетит.

Они пошли обедать. Официанты, узнавшие адвокатов, обслуживали их неохотно. Вечером г-н Н. повел г-жу З. в кино. Шел какой-то детективный фильм; на экране мелькали убийства, которые как-то не принимались всерьез. Среди публики было несколько парашютистов; картина им, видимо, нравилась.

На следующий день, в четверг пятнадцатого мая, разнесся слух о предстоящем отплытии «Кайруана», одного из пароходов, которые курсировали между Алжиром и Марселем, стоявшего на швартовах у мола. Один приезжий, который жил в той же гостинице и тоже искал возможность вернуться во Францию, рассказал об этом двум адвокатам. Сначала они ему не поверили, но перед агентством увидели толпу народа. Им удалось достать для нее спальное место в каюте, для него — шезлонг на палубе.

Приготовление к отплытию — всегда праздник, а на Средиземном море вдвойне. Перед тобой пароход, весь белый, между синевой моря и лазурью неба; краски чистые, как цвета флага. Стоит только перейти сходни, и ты уже на волнах, уже плывешь, а впереди манящий горизонт. Но в этот день на палубе «Кайруана» не было и следа праздничного оживления. Ее заполняла встревоженная, взвинченная толпа — не пассажиры, а беглецы, которые следили за собой, не зная больше, что можно говорить, кому можно доверять: последние сорок восемь часов отбросили их на четырнадцать лет назад. Сотни людей то и дело украдкой смотрели на часы, казалось, остановившиеся, — так медленно ползли стрелки. Пароход должен был отплыть в двенадцать тридцать. В час они еще не тронулись с места. Никто не спускался в каюты. Бродили противоречивые слухи, ободряющие и тревожные, в зависимости от характера каждого, кто строил догадки и предположения.

По радио объявили, что пассажиры приглашаются завтракать. Они уселись за столики. Г-н Н. и г-жа З. завтракали в обществе одного алжирского коллеги и молодой эльзаски, которая разговаривала очень осторожно, но под конец призналась, что она замужем за врачом-мусульманином и что ее муж заключен в концлагерь. Никто из ее трех собеседников не спросил, по какой причине.

После завтрака демонстрировался фильм: все шло обычным порядком, только «Кайруан» по-прежнему стоял на причале. Г-н Н. повел своих сотрапезников в зрительный зал. Шла картина о зимнем курорте, поставленная любителем, и автор, по-видимому, сам читал сопроводительный текст. Внезапно его голос прервал громкоговоритель:

— Пассажиров просят подняться на палубу: проверка документов.

Зажегся свет. Побледневшие зрители с тревогой смотрели друг на друга.

На палубе образовалась длинная очередь, которая спускалась в туристский бар. Г-на Н. оттеснили от его спутников. Вокруг были хмурые лица; казалось, каждый чувствовал за собой какую-то вину. «Беглецы, которых вот-вот поймают», — подумал адвокат и стал смотреть на море, позолоченное солнцем, которое уже начинало клониться к закату, на порт, на мол, у которого был пришвартован «Кайруан» и по которому ходили взад и вперед и, судя по всему, горячо спорили, хотя слов не было слышно, морской офицер в темно-синей форме и офицер-парашютист. В первом, высоком и сухопаром, г-н Н. узнал командира «Кайруана». Второй, маленький и круглый, по-видимому, ему что-то объяснял, безуспешно пытаясь его убедить.

— Это полковник Годар, — сказал кто-то в толпе, и многие обернулись, чтобы посмотреть на человека, облеченного чрезвычайными полномочиями с тех пор, как функции полиции в Алжире были переданы парашютистам. Он был в форме цвета хаки и в пилотке, с португеей через плечо и револьвером сзади. Накануне его назначили начальником управления государственной безопасности в Алжире; видно, дело было важное, раз он сам потревожился.

Со всех сторон до г-на Н. доносились нервные смешки и обрывки разговоров, которые становились общими, когда один из собеседников произносил какую-нибудь фразу громче, чем другие. Всех интересовали причины проверки. Незнакомый человек, стоявший возле г-на Н., спросил его мнение.

Г-н Н. неожиданно для самого себя ответил шутливым тоном:

— Не думаю, чтобы на борту парохода искали какого-нибудь налетчика.

Пассажиры засмеялись с деланной беспечностью.

«А должно быть, на борту кого-то ищут», — подумал адвокат. В эту минуту очередь подвинулась, и он вошел в туристский бар.

Там, за сдвинутыми столами, расположились пять или шесть военных. Посредине сидел молодой капитан-парашютист, перед которым лежал красный берет. Он часто вставал, делал несколько шагов по-кошачьи мягкой, бесшумной походкой, обегал толпу металлическим взглядом своих голубых глаз и садился на свое место.

— Это капитан Бурдонне, — опять сказал кто-то в толпе, и опять многие обернулись, чтобы посмотреть на помощника Годара.

Каждый предъявлял билет и документы; один из полицейских проверял их и делал пометку в списке пассажиров. Полицейский, который взял паспорт г-на Н., едва взглянул на него и, увидев фамилию его владельца, подошел к капитану Бурдонне. Тот встал из-за стола и сказал с подчеркнутой учтивостью:

— Г-н Н., будьте любезны пройти сюда. — И, указав на стул, стоявший в стороне, добавил: — Садитесь, пожалуйста.

Адвокат спросил:

— В чем дело?

— Не знаю. Я получил особые указания относительно некоторых пассажиров.

Г-н Н. заметил, что его со всех сторон окружили полицейские в штатском, но еще до того, как он их увидел, и даже еще до того, как он спросил у офицера, в чем дело, понял, что он арестован, и подумал, что его будут пытаться и убьют.

Он прошелся взад и вперед по бару, отметив про себя, что полицейские в штатском не отстают от него ни на шаг, сел на диванчик и стал глядеть на пассажиров. Они продолжали проходить мимо столов, и по тому, как они избегали смотреть в его сторону и лишь украдкой бросали на него быстрые взгляды, по тому, как они улыбались, когда он перехва-

тывал эти взгляды, он догадался, что все следили за сценой, которая разыгралась между ним и капитаном-парашютистом, и поняли ее смысл.

Г-н Н. думал только об одном: предупредить г-жу З., которая еще стояла в очереди на палубе, и известить о случившемся возможно большее число людей. Для этого ему следовало привлечь к себе общее внимание, что было ему совершенно несвойственно и как нельзя более неприятно: по натуре он был человек тихий и скромный и, даже выступая в суде, избегал повышать голос. Ему пришлось сделать над собою усилие, чтобы встать и громко заговорить. Если бы его предоставили самому себе, ему было бы трудно продолжать, но один из полицейских, худощавый верзила, заставил его сесть. Тут он попросту разозлился и, приподнявшись, крикнул:

— Это гнусно!

Он обводил глазами толпу, беря ее в свидетели, но люди опускали головы, мимоходом сочувственно улыбаясь ему, избегая встречаться с ним взглядом, и, сжимая в руке паспорт, который им возвращали полицейские, направлялись нарочито спокойным и размеренным шагом к выходу, к свободе.

В этот момент в бар вошла г-жа З., и г-н Н. поднял руки над головой, обхватив пальцами левой запястье правой. Г-жа З. недоуменно посмотрела на него и улыбнулась, приняв это за дружеский жест.

Ее документы были у него. Она сказала об этом капитану-парашютисту. Тот вежливо спросил ее, не она ли г-жа З., и еще более вежливо сказал, указав на ее спутника:

— Будьте любезны пройти туда.

Слишком удивленная, чтобы понять, что происходит, она подошла к г-ну Н. и безотчетно обратила внимание на его спокойный вид и невозмутимый тон.

— Нас высадят,— сказал он.

Он видел, что г-жа З. явно не сознает серьезности положения, и старался внушить ей, что надо быть начеку.

Она воскликнула:

— Ты сошел с ума!

Он спросил:

— А что в этом невероятного?

Она подумала: «В самом деле».

Проверка документов продолжалась. Эльзаска, с которой они затракали за одним столиком — с тех пор прошла целая вечность — и которая рассказала им, что ее муж в концлагере, отделилась от толпы и подошла пожать им руку. Только она одна решилась на это. Супружеская пара, с которой они были знакомы, не оборачиваясь, торопливо прошла мимо них; и муж и жена улыбались, глядя прямо перед собой. Поразмыслив, г-жа З. решила, что на них нельзя обижаться. Бар мало-помалу опустел. Скоро они остались там одни под охраной полицейских. Один из них открыл портфель. В нем был целый набор наручников.

Окруженные со всех сторон охранниками, они подошли к капитану-парашютисту, и г-н Н. спросил, долго ли он намерен их задерживать.

Офицер едва взглянул на них.

— Я ничего не знаю,— сказал он.— Я только выполняю приказы.

Они ходили взад и вперед по бару и кормовому деку. Маленький отряд полицейских следовал за ними по пятам. Бурдонне куда-то ушел и, вернувшись через несколько минут, объявил:

— Получен приказ высадить вас на берег.

Г-н Н. спросил, отправится ли пароход без них. Офицер сказал, что не знает. Трудно было представить себе человека, который так мало знал бы и должен был бы выполнять так много приказов.

За ними пришло отделение морских стрелков под командой совсем молоденького младшего лейтенанта с румяным лицом.

— Возьмите с собой ваш багаж,— сказал парашютист.

— Куда нас отправят?— спросила г-жа З.

— Не знаю,— сказал он.

Они направились к трапу. Пассажиры расступились перед ними и молча смотрели им вслед.

У морского вокзала их ждал военный грузовик, крытый брезентом.

— Куда вы нас повезете?— спросил г-н Н.

— В казино Корниш,— сказал младший лейтенант.

Адвокат повернулся к своей спутнице и сказал, не повышая голоса, но так, чтобы офицер услышал:

— Весьма известное место пыток.

Младший лейтенант не подал вида, что понял. Г-н Н. сказал ему все тем же ровным голосом:

— Мы — З. и Н.— из парижской коллегии адвокатов. Если с нами что-нибудь случится, сообщите нашим семьям.

На добром и открытом лице молодого человека отразилось замешательство: он, видимо, не хотел обманывать арестованных, подавая им ложную надежду.

Он сел рядом с водителем, остальные взобрались в кузов грузовика, который сразу же тронулся и помчался по ухабистой дороге. Под брезентом было жарко. На улицах раздавались гудки машин, звучавшие, как выкрики: «Алжир остается французским!» Арестованные обменивались шутками — шутить было легче, чем молчать. Г-жа З. обратилась к стрелкам. Сначала они ничего не ответили. Она попросила их известить друзей.

— Нам это трудно сделать,— проронил один из солдат.

— Мы ведь как в воду канем,— сказал г-н Н.

Другой стрелок нетерпеливо бросил:

— Что ж мы, не понимаем, что ли?

Его резкий тон относился не к арестованным.

Грузовик развернулся, въехал во двор, где было много военных машин, и остановился перед входом в здание. Они приехали.

Одиннадцать месяцев назад, в воскресенье, на троицу, в казино Корниш во время танцевального утренника взорвалась мина замедленного действия, заложенная под эстраду оркестра; насчитывалось восемь убитых и раз в десять больше раненых. Казино было закрыто, а потом превращено парашютистами в «сортировочный центр». Это — большое аляповатое здание девяностых годов, где еще не выветрилась атмосфера азартных игр, алкоголя и любовного пота и стены украшены зеркалами и фресками, изображающими обнаженных женщин в сладострастных позах; теперь рядом с этими фресками висят карты генерального штаба, на которых обозначены районы, находящиеся в руках алжирских повстанцев.

Обоим адвокатам не раз случалось защищать мусульман, которых держали под арестом в казино, и им было известно, какой репутацией пользовался этот центр, где имелась одна из тех динамо-машин, дающих постоянный ток, которые люди, пользующиеся ими в Алжире, фамильярно называют «жеженами» и которые, по слухам, оказывают на допрашиваемых неотразимое действие.

Их не сразу ввели в помещение. Через несколько минут они увидели, как жандармы поспешно сажают в грузовик десятка три алжирцев. «Это подозрительные, которых увозят в другое место, чтобы мы их не видели,— подумала г-жа З.,— а еще вероятнее, чтобы они нас не видели». Она хотела высказать эту мысль г-ну Н., когда услышала донесшийся

из казино вопль. Она искоса посмотрела на своего спутника; он, по-видимому, ничего не расслышал, и она подумала, что ошиблась, что у нее просто шалют нервы. Но в эту минуту он сказал:

— Ты слышишь?

— Да.

— Может, это нам только показалось?

Итак, значит, и он надеялся, что ошибся.

Он повернулся спиной к двери, через которую выводили арестованных. Г-жа З., которая стояла к ней лицом, увидела в этот момент алжирца, который выходил, держа одной рукой другую, по-видимому сломанную или изуродованную. Она ничего не сказала г-ну Н. У нее было такое чувство, будто ей снится кошмарный сон: она воочию видела то, о чем столько раз ей рассказывали ее подзащитные, что она в свою очередь повторяла перед судом, что судьи, правительственные комиссары, свидетели обвинения оспаривали, отрицали, опровергали, изображали как нелепую, смешную выдумку и что теперь ей предстояло испытать на своем собственном опыте.

Во двор въехал голубой «джип» полиции, и из него вышла какая-то женщина. Адвокатов разлучили: г-н Н. остался во дворе, а г-жу З. жандармы ввели в здание и оставили в маленькой комнате. Женщина, приехавшая на грузовике, обыскала г-жу З. и вышла. У двери стоял на часах жандарм. Г-жа З. осмотрелась вокруг. Она находилась, по-видимому, в кухне с маленьким, вроде слухового, окном. Посредине стоял мраморный стол, слишком большой для этой комнаты и достаточно большой для того, чтобы на него можно было положить человека. Над столом г-жа З. заметила штепселя и свешивающиеся электрические провода. Вдруг она услышала голос г-на Н., которого, вероятно, допрашивали в соседней комнате. Он что-то говорил, потом закричал. Г-жа З. подошла к окну, решив выброситься из него: она хотела умереть, потому что боялась, что и ее будут пытать. Жандарм схватил ее за руку и силой заставил сесть на прежнее место.

Через несколько минут после ухода г-жи З., за г-ном Н. пришел жандарм, который отвел его в комнату, смежную с залом, где раньше давались театральные представления, а теперь стояли койки жандармов. Обстановку комнаты составляли стол, где валялись иллюстрированные журналы, походная кровать, умывальник да вешалка, на которой висела военная одежда. С потолка свешивались электрические провода с огленными концами. Г-н Н. прикоснулся к одному из них, и его ударил ток, правда, не очень сильный. Он с минуту подумал над своим положением и над положением г-жи З., потом взял один из журналов и стал его перелистывать.

Прошло около часа. Он лег на походную кровать и задремал. Никто его не допрашивал; его голос, крики, слышавшиеся г-же З., были плодом ее воображения.

Она не знала этого и все еще ждала своей очереди. Она представляла себя на месте своих противников и мысленно говорила за них, обращаясь к самой себе: «Вы много разглагольствовали о пытках в своих защитительных речах; теперь вы будете говорить о них со знанием дела». Внезапно она почувствовала потребность немедленно узнать, что случилось с ее товарищем. Для этого ей нужно было во что бы то ни стало выйти из этой комнаты, которую она про себя упорно называла кухней. Она сказала жандарму, который ее охранял, что ей нужно сходить в уборную. Проходя по коридору, она вдруг увидела через приоткрытую дверь одной из комнат г-на Н., который, видимо, отдыхал, лежа с закрытыми глазами на походной кровати. Окликнув его по имени, она спросила:



— Все хорошо?

— Да,— сказал он.

— Молчать! — крикнул жандарм.

Успокоившись, сна пошла дальше.

Г-н Н. проснулся, услышав шаги офицера, который вошел в комнату. Он решил, что пришли за ним, но офицер принялся снимать с вешалки одежду.

— Почему я здесь? — спросил адвокат.

— Я ничего не знаю,— ответил офицер, по-видимому нимало не удивленный тем, что на его кровати лежит посторонний человек; быть может, его предупредили, а может быть, это было уже не в первый раз.

— Это ваша комната? — осведомился г-н Н. и, вдруг вспомнив о приличиях, добавил: — Я вас, наверное, стесняю?

— Ничего,— вежливо ответил военный.

Он ушел, забрав свои вещи, и у арестованного на мгновение мелькнула мысль, не приснилось ли ему все это.

Потом его охватила неодолимая потребность действовать.

— Я требую, чтобы мне дали возможность поговорить с мадам З., которую доставили сюда вместе со мной,— сказал он жандарму, который стоял у двери комнаты.

Тот ответил, что это невозможно. Тогда адвокат заявил, что хочет говорить с начальником участка, и потребовал, чтобы о его аресте немедленно довели до сведения председателя коллегии адвокатов и генерального прокурора Алжира. Жандарм кивнул головой и пообещал передать начальству его требования, но, так как он не двинулся с места, г-н Н. понял, что напрасно теряет время. Он сел и начал писать письма и составлять телеграммы всем тем как в Алжире, так и во Франции, кого он считал необходимым или полезным уведомить о том, что с ним произошло. Ему казалось маловероятным, что он сможет их отправить, однако это была не причина для того, чтобы не держать их наготове. К тому же, занятый делом, он не так томился ожиданием.

Давно уже стемнело, когда в сопровождении двух жандармов в комнату вошла г-жа З. Здесь находились все их вещи, и она воспользовалась этим предложением, чтобы повидать своего товарища. Они оба думали, что видятся в последний раз, и каждый знал, что и другой так думает. Он сказал:

— До свидания.

Она сказала:

— До свидания.

И ушла.

Немного погодя за г-ном Н. пришел жандарм. Он отвел его к унтер-офицеру, который спросил у него фамилию, имя, где и когда он родился, где его постоянное местожительство. Адвокат заставил себя повысить голос.

— Если вы отдадите нас в руки парашютистов,— сказал он,— вы будете отвечать за это.

— Я не имею к вашему делу никакого отношения,— сказал унтер-офицер.— От меня потребовали, чтобы я дал вам кров на одну ночь, вот и все. Сегодня вы будете спать под охраной французской жандармерии. А там...

Он не кончил фразы.

Г-на Н. отвели в подвалы казино, превращенные в тюрьму. Его заперли в клетушке без вентиляции и без отдушин, если не считать нескольких дыр, проделанных в двери; там было душно и сыро; подвешенная к потолку лампочка без абажура, горевшая всю ночь, тускло освещала облепленные мухами грязные стены.

Камера г-жи З., тоже грязная и тоже без окон, была расположена на первом этаже, и там было не так душно, но она выходила на крыльцо казино, где стояли на часах волонтеры. Эти переодетые в военную форму и вооруженные штатские, алжирские французы, комментировали события позапрошлого дня, в которых они участвовали, и предсказывали события, которых они ждали. Молодая женщина долго слушала, как они говорили о безрассудности Парижа и о карательных отрядах, и наконец заснула.

Г-ну Н. не давали спать мухи и свет, но еще больше думы. Он был убежден, что его испытания только начинались. Днем было слишком много свидетелей, но по крику, раздававшемуся в ночи, нельзя узнать, кого истязают или убивают. Каждый раз, как до него доносился шум машины, въезжавшей во двор и останавливавшейся неподалеку от того места, где он находился, он прерывал свои размышления и напряженно прислушивался к шагам и голосам, пытаясь определить, удаляются они или приближаются. Это никогда не было ясно: шум, производимый людьми, неожиданно стихал, как бы поглощенный стрекотом кузнечиков, непрерывным и нескончаемым, раздававшимся отовсюду, словно сама земля, которую с утра до вечера палило солнце, звенела, охлаждаясь ночью. Наступал момент, когда узник замечал, что снова вернулся к нити своих размышлений, которая разматывалась, разматывалась и вдруг опять обрывалась, когда, перекрывая неумемное стрекотание, у него над головой раздавался рев мотора.

Всю ночь арестованный с минуты на минуту ждал пыток, а в промежутках, то более, то менее длительных, думал о вопросах, которые ему будут поставлены, и об ответах, которые следует на них дать, о степени любопытства тех, кто будет его допрашивать, и о степени своей выносливости. Он думал также обо всех своих подзащитных, которые через это прошли, и ему казалось, что теперь он их лучше понимает и что если он когда-нибудь вновь обретет свободу, то сможет лучше защищать свободу других. При мысли об испытаниях, которые он уже перенес, и об испытаниях, которые его ждали, он ощущал не только страх, но и известное удовлетворение: в глубине души он никогда не находил приятной роль капуцина, уверенного в том, что он, во всяком случае, вернется с места казни. Лишенный своей неприкосновенности, он общался к судьбе обыкновенных людей и, вероятно, к судьбе обыкновенных мучеников. Он считал правильным, чтобы адвокаты, французские адвокаты, были поставлены в такое положение, и находил естественным, что одним из этих адвокатов окажется коммунист. Он думал о своей жене, которая как раз перед его отъездом сказала, что, кажется, у нее будет ребенок, их первенец, хотя она еще в этом не уверена, и говорил себе, что никогда не узнает, так ли это. Во двор снова влетел «джип», и он перестал думать.

Он заснул на рассвете, убаюканный песней кузнечиков.

Г-н Н. и г-жа З. встретились на следующее утро в саду казино. Они были взволнованы тем, что еще живы. После первых взаимных излияний г-н Н. сказал:

— Нам придется это терпеть самое меньшее три недели и самое большее четыре года.

Он выглядел таким же спокойным, как и накануне.

Три недели спустя они сели в самолет, легевший в Париж. Их освобождение было таким же неожиданным и непонятным, как и их арест; они так и не узнали причин ни того, ни другого. «Арманьяк» подруллил к взлетной дорожке, остановился и заработал пропеллером, сначала медленно, потом все быстрее, помчался вперед, внезапно оторвался от земли и набрал высоту; взорам пассажиров открылся белый, как все

африканские города, Алжир со своей крепостью, своим судом, своим памятником павшим и своими тюрьмами; самолет, поднимаясь все выше, описывал круг, и казалось, навстречу ему поворачивалась алжирская земля — земля, которой люди, пришедшие из-за моря, хотели помешать вертеться.

Самолет взял курс на Францию. Для обоих адвокатов начался обратный путь. Сидя рядом, они молчаливо предавались невеселым размышлениям. Возвращаясь, никогда не находишь того, что покинул; они возвращались во Францию, большую отжившей мечтой о господстве, но не это мешало им радоваться.

Рассказав историю о монахе и приговоренном к смертной казни, Клейст добавляет: «Слова капуцина не покажутся глупыми тому, кто изведал чувство скорби, какое испытываешь, возвращаясь с места казни даже в хорошую погоду». Вот почему, когда два освобожденных узника возвращались на самолете домой, живые и здоровые, они не могли отдаться радости и знали, что не смогут отдаться ей со спокойным сердцем до тех пор, пока будет продолжаться война в Алжире.

*Перевел с французского К. Наумов.*



---

---

## АНАТОЛЬ ГИДАШ

★

## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

*Это было в самом начале тридцатых годов. Молодой тогда композитор Мариан Коваль и я приехали в живописный подмосковный лагерь знаменитой, первой в Красной Армии, мотомеханизированной бригады.*

*Командовал бригадой мадьяр, из тех легендарных красных офицеров, чьи биографии были бы похожи на сказки, если бы не были подтверждены сотнями документов, сохраняемых в архивах Красной Армии. Где-где только не побывал этот человек! Какие самые неожиданные превращения с ним не происходили! При неисчерпаемом богатстве своей биографии товарищ Г., как старый подпольщик, был скуп на рассказы, и все, что мы о нем знали, было получено из третьих рук.*

*Однажды вечером он прислал к нам в палатку своего вестового.*

*— Товарищи! Комбриг просит вас прийти к нему. Там гости из Москвы приехали. Ваши знакомые.*

*И в самом деле, трое прибывших из Москвы были нам давно и хорошо знакомы. Штатский, среднего роста коренастый мужчина с пристально вглядывающимися во все глаза, был вождь венгерской пролетарской революции Бела Кун. Такой же коренастый крепкий в гимнастерке с синими кавалерийскими петлицами, украшенными ромбом, был наш старый друг писатель Мате Залка, кому судьба в будущем судила стать легендарным командиром одной из самых прославленных интернациональных бригад в Испанской республиканской армии — генералом Лукачем. Третий, высокий, широкоплечий брюнет с горящими черными глазами и густой копной иссиня-черных волос, был уже нашедшим широкого советского читателя венгерским революционным поэтом Анатодем Гидашем.*

*После ужина, предложенного хозяином, было решено спастись от духоты летнего вечера на озере.*

*Гуськом спустились мы к большой лодке, причаленной к берегу невдалеке от домика комбрига. Быстро разместились на скамейках.*

*Все литературные темы были исчерпаны за ужином. Как-то непроизвольно, сами собой, возникли воспоминания о гражданской войне, о славных днях Венгерской Коммуны, «о боях-пожарищах, о друзьях-товарищах» и тех, кто покоится в братских могилах, и тех, кто изнывает в хортистских застенках, и тех, кого судьба профессиональных революционеров раскидала по всему белу свету.*

*Разговор то уходил в непонятную нам венгерскую речь, то вновь звучал по-русски. И в каком-то месте человеческая речь перелилась в песню.*

*Кажется, первым запел Бела Кун. И сразу три сильных голоса подхватили мелодию, такую неожиданную под этим русским звездным небом, над гладью этого древнего русского озера.*

*— Это песня венгерской революции, — шепотом пояснил нам Мате Залка.*

*Еще не успела потухнуть мелодия песни Венгерской Коммуны, как сильный голос Анатоля Гидаша поднял энергичный, маршевый напев им самим сочиненной в венгерском подполье песни, в которой слышалось напряженное, сильное, неутомимое биение сердца рабочего Чепеля. Одна песня сменяла другую. И когда на смену боевым песням пришла старая народная песня о прекрасной стране над Дунаем, о чистых звездах Венгрии, наши глаза, уже давно прильдевшие к темноте, увидели в глазах всех четверых певцов, сотни раз смотревших в лицо смерти, невыплаканную тоску по далекой родине, по матери Венгрии, которая ждала разметанных по всему свету беспокойных своих сыновей.*

*Едва ли не три десятка лет отделяют мое сердце от этой незабываемой ночи. Много воды утекло. Уже нет в живых троих из шести участников этой встречи. Но едва передо мной возникает фигура моего друга Анатоля Гидаша, я вспоминаю до мельчайшей детали все, что тогда было.*

*Вот я вглядываюсь в его лицо, лицо человека, прошедшего сорокалетний нелегкий путь борца-революционера. В густой седине, в морщинках возле глаз и губ читаю я повесть грудной человеческой судьбы, в которой радость участия в великом деле созидания нового мира перемешана с горечью незаслуженных обид. Но всем сердцем чувствую я сильный, несломленный характер этого упрямого, несибязаемого человека.*

*И, переводя лирику трудных лет его жизни, иногда сосредоточенно скорбную, иногда на миг срывающуюся в крик отчаяния, я все время чувствую горячее дыхание его неукротимо революционных стихов большевика-интернационалиста, безмерно любящего жизнь, безгранично верящего в счастливое завтра человечества.*

*Сейчас Анатолий Гидаш вернулся на родину. Прислушиваясь по вечерам к голосам, которые звучат на улицах Будапешта, он слышит слова своих ставших безымянными, усыновленных рабочим народом песен. Он видит над собой мерцание чистых звезд Венгрии, которой он посвятил столько горячих, полных любви и надежды строк своих стихов. И может быть, прислушиваясь к шелесту дунайских струй, полирующих серую облицовку берегов, он вспомнит летний вечер на подмосковном озере, вспомнит неукротимого комбрига, пламенного вождя своего народа, неутомимого искателя народной правды, писателя-воина.. Пусть же голос Гидаша так же сильно и высоко, как тогда, поднимает песню о Венгрии, вставшей под красное знамя, о Венгрии, которая грезилась ему в молодых снах лирика-революционера.*

**Ал. Сурков.**

\* \* \*

Легка слеза людская, невесома.  
Дожди прольются — луг зазеленеет,  
Плотина рухнет в грозном реве грома.  
А оттого, что льются слезы эти,  
Ничто не изменится на свете.

\* \* \*

Видят ли ветки при звездах,  
Или же в полночи мгlistой  
Пальцев незрячестью листья  
Щупают трепетный воздух?  
Кто угадает: из чистой  
Солнце проглянет лазури  
Или по-прежнему бури  
Шквалы обрушат на листья?

### МОСКВА

Глаза твои жарким горят огнем,  
Поля расплеснулись, синяя,  
Москва.

То выпадет иней, то стáет опять,  
А песня рояля слышнее,  
Москва.

Смеюсь я, душа ликованием полна,  
И сердце разбужено песнею вновь,  
Москва.

Ты песня борьбы, ты моя любовь,  
Нет этой любви сильнее,  
Москва.

Поля рассверкались, синяя.

\* \* \*

Вечер. Усталому солнцу вслед  
Белое облачко тянется, тая.  
Шепот листвы ветерку в ответ.  
Слушаю.  
Видеть тебя желаю.

В небе ночном гудит самолет.  
Звук улетает все выше и выше.  
Ветер листве беспокойной поет.  
Слушаю.  
Звезды как будто дышат.

\* \* \*

Вот и солнце светит не в глаза,  
А затылок греет еле-еле.  
Сорок лет, как летняя гроза,  
Быстролетным шквалом пролетели.

Вечер влагой не затянет глаз,  
Лишь печаль мужская станет зримой.  
Солнце! Задержи хотя на час  
Свой круговорот неотвратимый.

Солнце! В ночь не падай, погоди.  
Разве песня сердца уже спета?  
Я все тот же, и в моей груди  
Много жарких песен, много света.

Солнце, стой! Угрозами полна,  
Злая ночь не может длиться вечно.  
Я один в потемках. Тишина  
Вкруг меня незрима, бесконечна.

Сядет солнце — проблеснет звезда.  
Глушит песню горя стон унылый.  
Пусть меня схоронят, и тогда  
Факел сердца вспыхнет над могилой.

\* \* \*

Будет весна, дорогая!  
Пусть и появится поздно.  
Вместе с зимой убегая,  
Тучи нахмурились грозно.

Будет весна, дорогая!  
Встретим ее ликоваьем!  
Знаки весны примечая,  
Жду с затаенным дыханьем.

В мире, заваленном снегом,  
Кровь моя пенится ало.  
Первым зеленым побегом  
Счастье в сердцах засверкало.

*Перевел с венгерского Ал. Сурков.*

**ИСПАНСКИЕ ПАРТИЗАНЫ**

Вот они, горы!  
Слева и справа  
Сосны на небо  
Взбегают толпой...  
Что это?  
Слушай, немая дубрава:  
Кто это  
Крадется там, за спиной?  
Верные горы,  
Вы мощью богаты!  
Родина,  
Здесь твои вижу огни!  
Здесь ты, Испания!  
Возле костра ты  
Знамя Свободы  
Опять разверни!  
На повороте  
Река и долина,  
На повороте  
Испанцев судьба!  
Может быть, завтра,  
Может быть, нынче  
Снова начнется  
За счастье борьба.

\* \* \*

Я в смутном беспокойстве лег  
и не могу заснуть,  
бессонной ночи тупиком  
дневной закончен путь.

Горланит ветер за окном,  
и ломится он в дом;  
зима на нервах мне играть  
пришла своим смычком.

Замерз подслеповатый глаз  
окошка моего,  
снаружи тысячи домов  
глазеют ча него.

Усталый конь, седой как лунь,  
возник в моем окне.  
Как с лунной морды валит пар,  
почти что слышно мне.

Но вот и вихрь, устав свистать,  
в седую пелену  
укутывает никому  
не нужную луну.

Теперь заснут окно, и дом,  
и кляча у ворот,  
воспоминания плывут —  
и сон меня берет!

\* \* \*

Подхватил Припев Запевку,  
Побежали, обнялись,  
И балуются, целуясь,  
И в одно они сплелись.  
И расходятся с поклоном,  
И когда над небосклоном  
Зорька красная встает —  
Новорожденная песня  
Голосок свой подает!

*Перевел с венгерского Л. Мартынов.*





---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ВИКТОР ПАНОВ

★

## ПОЕЗДКА В РОДНЫЕ МЕСТА

### 1. Иван Тимофеевич

**П**рошлым летом поехал я в родные вологодские места. В Вологду — поездом, а дальше — рекой, на старом пароходике. Еще в городе начали мы обгонять длинный плот. Уже за город выбрались, а плот все мешал нам. Из воды выглядывали концы бревен, издали похожие на выстроившиеся в ряд тупые звериные морды.

— Ерш,— сказал о нем один из пассажиров с брезентовым плащом на руке, назвавшийся Иваном Тимофеевичем.— И тянуть его легче, и меньше требуется проволоки, тросов... В последние тридцать лет миллиарды бревен протащили по речкам Вологодской области. Остались здесь одни пеньки да кустарник — рубаху сдираем с земли.

— Голыми не останемся,— сказал я — С самолетов засевают землю сосной и елкой...

— Благодарим покорно! — Иван Тимофеевич шаркнул кирзовыми сапогами — Лет пятьдесят еще побарствуем, а потом уж окончательно останемся голенькими и не с неба, а пешим порядком, к земле пригибаясь, начнем деревья сажать. Каждое дерево на учет возьмем.

Мне подумалось: «Брюзжит человек!»

Солнце тонуло за хвойной горкой, избы горели в его лучах, сосны качались, опрокинутые закатом в тихую реку. На берегу стоял шалаш Косы и серпы, висевшие на дерекладии у шалаша, сверкали, как отточенные сабли. Из шалаша, низко пригибаясь, вышли с десятка мужчин и женщина.

— Видите? — спросил нас Иван Тимофеевич, обращаясь не столько ко мне, сколько к моему соседу — немолодому художнику Завьялову.

Да признаться, и я ждал, что скажет Завьялов. Не мне же первому говорить о красоте природы, когда рядом со мной художник. Но он, широко улыбнувшись, тоже спросил:

— А дом бакенщика заметили в темных кустах? Столб с разноцветными огнями? А у костра — братья-разбойнички, добрые молодцы...

Иван Тимофеевич рассмеялся.

— Должен огорчить вас — я-то ведь не об этом думал. Кто сено косит? Вот в чем вопрос. Выехали на лучшие травы райбухгалтеры, райторговцы, райбанковцы. А вернуть бы из контор эту силу крестьянскую на колхозные земли!

Иван Тимофеевич разговорился.

— И лугов у нас много, и травы богатые, и засух не знаем, а молочком оскудели. Вологда еще когда свое первосортное масло на европейские рынки возила! Революционер Воровский, соратник Ленина, книжку когда-то написал о маслодельных артелях в Вологодской губернии. Первые сепараторы — Вологда, первые маслодельные артели — Вологда... А само слово-то «вологда» вам известно? — воскликнул он.— В далекую старину в Новгородской Республике было слово «волога» и обозначало оно масло, молоко, сметану, творог — все продукты, которые тогда человек получал от

коровы. Вот наши-то места новгородцы и назвали Вологой, или Вологдой. Вон откуда слава идет!

Вокруг начал собираться народ. Обиженные за свою область называли знаменитых доярок из районов Кубено-Озерского, Усть-Кубинского, Грязовецкого. Валентина Федоровна Голикова за восемь месяцев от каждой коровы, а их двенадцать у нее, надоила по три тысячи семьсот килограммов, Храброва — по три тысячи, а в колхозе «Красный Север» чуть не каждая доярка за восемь месяцев — по две тысячи.

— Тимофеевку и клевер почти свели на погибель, — ворчал Иван Тимофеевич. — Семян, мол, не имеем, государство наряды не спустило. Да скоси дикую тимофеевку — вот вам и отличные семена! Клевера вон красного и розового по запущенным пашням и залежам по шестьдесят центнеров с гектара снимай.

Завьялов сказал:

— По-моему, вы агроном. Да? И критиковать мастер. А сами вы что сделали хорошее? В колхозе или в совхозе? Критиковать легче всего...

— Делаю, товарищ художник, делаю.

Пароходик, петляя на изгибах реки, привозил нас к заре, увозил от зари; то она справа, то слева, отчего половина реки серебристая, половина — под нависшими кустами — черная, как вороненая сталь; или вдруг вода вспыхивала, словно залитая огнем; была розовой, с медным отливом. В черных кустах еще один белый домик с огнем и столб полосатый с красным и зеленым светом — сигналы дорожные. Заря тускнела, тускнели и краски на воде, на берегу. Темноватая линия кустарника, темноватые облака, низкий горизонт...

Завьялов, не отрывавший глаз от берегов, сказал:

— Неделю тому назад был я в Италии, и прямо из Рима потянуло к русской старине. Новгород и Ростов знаю, а вот в Кириллове и Ферапонтове не бывал.

Иван Тимофеевич, думая о своем, спросил вдруг:

— Хороша, поди-ка, древняя живопись в Италии?

— Древняя? — Завьялов прищурился. — Живопись к итальянцам, да и к нам на Русь принесли византийские мастера... Что вы считаете древним?

— Да как вам сказать... — Иван Тимофеевич немного сконфузился, он явно уже не рад был тому, что задал такой вопрос. — Ферапонтово и Кириллов — это древности или не древности?

Завьялов, ответив утвердительным кивком, сказал:

— Отсюда и начнем разговор, не касаясь времен более давних. В молодой Италии, пожалуй, только в четырнадцатом веке появляются художники, которых заинтересовала натура, совершенство техническое в рисунке, но в это время и у нас мастера, тот же, скажем, Андрей Рублев, а позже — Дионисий.

— Ну, так значит в области живописи догоняем? — спросил Иван Тимофеевич.

— Не думал об этом. Как догонять? Кого? В той же Византии иконы, писанные на дереве, были очень давно. Во всяком случае, до нас дошли иконы, писанные тысячу двести лет назад... На этих иконах, да и на живописи византийской учились позже и мастера Возрождения. Если говорить о фресках, то современники нашего Дионисия, к примеру Микеланджело, во фресках не сохранились, реставрированы не раз, а Дионисий цел, не переписывали его. В шестнадцатом веке у нас были уже свои школы, и греки начали ездить к нам за образцами русского письма. Нас догоняли! Иконописцев у нас уже в те времена было великое множество — «царских», «жалованных», «кормовых»...

На рассвете пароход из реки Вологды вошел в Сухону, и мы, расставшись с попутным течением, начали подниматься по Сухоне к Кубенскому озеру, из которого она берет свое начало, к знаменитым сухонским лугам, к родине ароматного вологодского масла. На левом берегу мы увидели штабеля бревен, склады белого леса, потому что кора с него снята, заводские трубы, многоэтажные корпуса. Это Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат...

Утром мы снова встретились на палубе.

Луга и олуговелые лесные поляны сменялись зарослями щучки, отливающей и желтыми и фиолетово-черными цветами; росла она и по болотистой зыби и по высоким кочкам, похожим на столбики. Дальше — березники с примесью осинника, ольхи, ива и чистый приподнятый луг, заросший красной овсяницей, красным клевером, васильком, сине-лиловым астрагалом. Ковер! И опять во все стороны болота — шавель, хвощ, вероника, лисохвост: смесь курчавых головок, бледно-голубых кистей, пушистых колосьев...

Завьялов, делая наброски на большом листе, сказал мне:

— Мертвые кусты очень рельефны на фоне зеленых осок и водной глади.

Иван Тимофеевич незамедлительно откликнулся, словно эхо:

— Эти рельефы нам боком вышли. Тут шлюз близко. Речники уровень поднимают, копошатся со своим копеечным интересом, а колхозы без лугов остаются — миллионы в трубу! Надо бы осушать, а они льют и льют...

Вошли в Кубенское озеро — берега отступили, чуть виднелись, ветер усилился, пароход закачался на крутой волне, закрипел. Многие, в том числе Иван Тимофеевич и Завьялов, спустились с верхней палубы, а я остался, потому что затеял беседу с крестьянкой, которая только что с Иваном Тимофеевичем прогуливалась по палубе, что-то горячо рассказывая ему.

Это была синеглазая северянка с высоким лбом, говорила она не спеша, певуче, мягкими жестами подчеркивая слова. Вслед Ивану Тимофеевичу она сказала:

— У нас агрономом работал. Башковитый. Начнет, бывало, о посеве трав, льна, об истории вологодского маслоделия — заслушаешься! Неохота было расставаться с человеком, а пришлось. В позапрошлом году вдруг ставят к нам председателем Ваньку Васюкова, страшного пьяницу. И пошло у них слово за слово. А Иван Тимофеевич тоже горяч, собирался луга улучшать и назвал Ваньку дураком и паразитом, а Ванька — с жалобами в район. И вот стал наш агроном задумчивым. Выжил его Ванька и начал безобразничать. Я ему в глаза кричала: тебе, Ванька, не только бы кнута, но и плахи мало, а он, пьяная морда, зубы только скалит... Посхали мы, доярки, в район: спасайте колхоз от неминуемой беды! Сняли Ваньку, на гармонной фабрике теперь работает.

Из озера вошли в реку Порозовицу, и сразу запахло цветущими лугами, хотя река сужалась постепенно — низкие, заболоченные берега были далеко от парохода.

После шлюза река незаметно перешла в неширокое озеро Благовещенское. На высоком берегу мы увидели старинное село Волокославинское, начиналось оно с большой церкви без купола, в которой и находилась гармонная фабрика. За церковью виднелись еще высокие покосившиеся хоромы — памятник прошлой жизни — и старыестарые тополя с засохшими верхушками.

В древности здесь был знаменитый волок. Из новгородских земель, с Волги торговые люди, переселенцы приплывали в Шексну, из Шексны по речке Славянке поднимались в Никольское озеро, а из Никольского до Благовещенского, где остановился наш пароход, — четыре километра — волочили суда, чтобы идти в Кубенское, на Сухону, на Двину и Печору, к северному Уралу. Бывал я на речке Славянке, соединявшей Запад с Востоком, она длиною километров с двадцать пять, извилистая, богатая омутами, котлованами, в которых не переводятся щука, язь, окунь, лещ, сорога. Седую историю хранят названия деревушек и приметных мест по берегам Славянки: Саванькино, Судно, Кресты, Еловый мыс, Быстрянка, Белый Двор, Болванцы... Впадает Славянка в Шексну между Ниловицами и Сизьмой

Пристали к Волокославинскому.

Иван Тимофеевич с маленьким чемоданчиком и с брезентовым плащом, перекинутым через руку, подошел к нам попрощаться.

— Лихом не поминайте, может лишнее что сбодтнул сгоряча-то. — Морщинистое лицо его растянулось в улыбке, глаза засияли. — На досуге люблю покалякать, но по натуре своей не охотник хвастаться — черное называю черным. Желаю вам получить удовольствие от исторических памятников — Он молодое сбегал по трапу.

Северянка, издали наблюдавшая за Иваном Тимофеевичем, сказала, о нем:

— Голова! В большом колхозе теперь главным агрономом. И председатель там из ученых. Года полтора уже душа в душу работают.

Пароход проплыл мимо поля, по которому из озера Никольского в Благовещенское в старину волочили суда,— теперь лен и рожь зрели тут, пахло клевером, валерьяной лекарственной. Лошади, сытые, лоснящиеся, толпились у воды. Между небольшими деревеньками в зеленых падах вольготно разгуливали коровы и овцы, мелькали по дорогам автомашины.

## 2. В пути на Феропонтово

Художник Завьялов остался в Кириллове писать монастырские церкви, а я поехал в Феропонтово смотреть знаменитые фрески.

Долго усаживались в кузов крытой машины, обставленный скамейками вдоль бортов. Две голстухи успели захватить лучшее место — возле кабины; два проворных парня с рыжими чемоданами, сбивая пассажиров с ног, сели к толстухам, шумно выражая свой восторг. Подвыпивший пассажир с девочкой лет пяти пристыдил парней за нахальство, и те подвинулись, чтобы дать ему с девочкой место.

Мало-помалу народ уселся, притих. Ждали отъезда.

Влезли еще двое. Длинная женщина высоко подняла ногу в черной лакированной туфле с острым каблуком и, очертив ею, словно циркулем, полукруг над головами сидящих, уверенно воткнула ее между людьми, не обращая внимания на протесты и крики; она так же высоко занесла и вторую ногу, сразу очутившись в переднем углу.

— Пробирайся сюда, Василий! — крикнула она мужу.

Василий завяз; неказист, невелик, с большим баяном в футляре, он кое-как поместился у задней стенки кузова и платком стал утирать потное запыленное лицо. Руки его тряслись.

Машина тронулась. За городом — неопикуемые ухабы: нас кидало из стороны в сторону, то сильно подавало вперед, то назад, то толкало головой в брезентовый верх.

Баянист, посмеиваясь, спросил:

— В Феропонтово монастырь небось? — И, получив в ответ утвердительный кивок, добавил: — Ничего выдающегося нет в монастыре-то. Строеньца неважнецкие.

Пожилая женщина с морщинистым носатым лицом, одетая в пальто песочного цвета, с которой многие охотно заговаривали, называя Авдотьей Егоровной, сказала басовито:

— Ездил на Урал к сыну, живет в новом городе — по улицам пеня да коренья, да березы. — Она улыбнулась соседке в зеленой шляпке. — Девять лет под землю ходит... А сноха-то в собесе, а сватья в пекарне. Домик свой.

Баянист спросил:

— Пьет, поди?

— Нет, не пожалуюсь. Остерегаются. Приваживали, а не могли привадить. Дал нам с отцом денегат — задумали избу поновить и дворикшко.

На глубоком ухабе Авдотья Егоровна слетела с мешка. Это вызвало смех, но Егоровна гневно пробасила:

— Умереть не дадут спокойно в родной стороншке. На Урале-то ездил в мягких автобусах, а здесь живот замучишь...

Румяная блондинка в яркой зеленой шляпе и с клетчатым плащом на коленях вполголоса спросила Авдотью Егоровну, красивую ли жену взял ее сынок-шахтер. Егоровна, покосившись на шляпу, ответила — невестка не хуже других и умом и обличьем, и тоже спросила:

— Ты-то не вышла?

— Вышла.

Блондинка слегка смутилась, а Егоровна, обращаясь ко всем, продолжала говорить:

— Раньше: дочку — в колыбельку, а приданое — в коробейку. Вырос жених — открывай, девка, сундуки, кажи, что накопила, с чем собрали батюшка с матушкой. А ныне: была бы кость да тело, а платье сама делай...

Парни рассмеялись, а одна из толстух сказала:

— И нынче по-старому получается: единственный сынок, а от своего двора и дворища идет в зятя-приемыши, да и в область-то в другую... Не больно сладко.

— Куда денешься! — Егоровна притворно вздохнула. — Жизнь такая. — И снова обратилась к румяной блондинке: — Любава, а детки-то у тебя есть?

Я не расслышал ответа, потому что, приближаясь к Ферапонтову, стал припоминать все, что знал о здешних местах, исстари знаменитых пребыванием опального патриарха Никона. Перед глазами невольно рисовалась картина: исход морозной ночи, когда высадили из кошевки гонителя раскольников, называвшего себя в указах «великим государем»; был он весь в ушибах, с разбитой головой, потому что кошевка его часто опрокидывалась в лесах при бешеной гоньбе государевых ямщиков. И стал он узником, которому пришлось прожить десять лет в Ферапонтове и пять — в Кириллове.

Громкий голос толстухи с передней скамьи оборвал нить моих размышлений. Она говорила Авдотье Егоровне:

— Около Мурманска тоже заработки дай бог всякому: руду готовим для Череповца...

Ответила не Авдотья Егоровна, а женщина с боковой скамьи, державшая на коленях толстенного мальчугана.

— И Воркута в деньгах не утеснена. От вас — руда, от нас — уголь металлургам в Череповец.

Расхваливали Ташкент: фрукты, теплынь! Ленинград — вот где жить-то! Ехали к своим родителям отпускники с Кубани, из казахстанских степей, из Сибири, из Челябинска — все они были довольны жизнью там и захолустьем называли Белозерский край. Одна только девушка со связкой книг, молчавшая долго, запротестовала:

— Тогда я тоже скажу свое слово: вокруг Ферапонтова и места красивые, и озера рыбные, и травы по лугам густы, а народу нет, потому что молодые бегут от нас — Воркута, Кайдалакша, Мурманск... Для животноводства нет мест лучше Ферапонтова.

Баянист воскликнул:

— На сметане живем! А в Ленинграде ничего выдающегося нет. стакан воды и тот за деньги, а дома-то у нас и в подполе и в амбаре припасы на весь год, и сотенки тоже получаем.

Авдотья Егоровна не унималась:

— В деревне тому на сметане, кто с баяном по свадьбам да по именинам нафантазировался... Баянисты живут, как попы... Не вру я, Вася?

За Василия вступилась его длиннющая жена: человек был на двух войнах, и вот находятся еще люди упрекать его за честный труд.

Завиднелось Ферапонтово, и мысли мои снова вернулись к Никону.

Вокруг Ферапонтова в семнадцатом веке часто бывали недороды — пекли хлеба для братии, трудников и стрельцов из овсяной муки да к ней лебеды примешивали. Никон царю писал: «А у нас ни хлеба, ни дров, ни соли во многие времена не было... и от нужды великой оцынжал...»

Прочитал царь письмо, прослезился, назвал Никона «святым и великим отцом» и вопреки боярам, духовной власти велел решительно изменить жизнь Никона к лучшему. Для ферапонтовского узника распахали огороды и развели сады. У Никона и старцев появилась малина, смородина, тыква, огурцы, салат, свекла, морковь, чеснок, лук, хрен, капуста, репа, горох, лекарственные травы. Местных жителей гнали на огороды, пашни и скотные дворы Никона.

— Осталось ли хоть что-нибудь в здешних местах от Никона? — спросил я Авдотью Егоровну.

Она с ответом замешкалась, а баянист поспешил:

— Два кресла и стол.

— А остров его? — спросила Авдотья Егоровна. — Самое главное не знаешь.. На Бородаевском озере чей, по-твоему, остров?

Притихшие пассажиры были явно довольны Авдотьей Егоровной, озадачившей и баяниста и меня. А она начала рассказывать, как Никон, получив деньги от царя, подрядил крестьян возить на лодках камень в глубокое озеро, за версту от берега, возить до тех пор, пока не получится остров, а от острова до берега тропу из такого же камня выложить.

— Время было самое работное,— рассказывала Авдотья Егоровна,— сено косили, хлеб с полей убирали, рожь под зиму сеяли, а он — в озере остров делать, вот вам деньги и вот мое благословение. Ну, к чему это? — Егоровна развела руками. — Чертям, что ли, жить на этом камне среди воды? Да так оно и вышло — вот уже триста лет минуло, а мы и досель ребятишек пугаем чертями с острова... Он и всего-то метров двадцать в длину, а в ширину, пожалуй, вдвое короче. Ёрону сидеть, а не человеку.

Баянист спросил:

— А где же дорога? Бугор-то видать — тростничком порос, а дорога к острову?

— А ты осенью разуй глаза, когда воду спускают из озера, и дорогу заметишь. Нынче все новые моря да каналы. Прежде от воды до воды — волюки, лодку и суденышко на катках волокут, а нынче не то. Слева от Ферапонтова — Бородаевское озеро, а справа — Пасское. В Бородаевском воду подняли на четыре метра выше против Пасского и держат ее в запасе для Северо-Двинской системы. Бревна гонят из Бородаевского в Пасское. Система. Ну, как подняли воду на четыре метра, так дорожка из камней затонула, а от острова Никона осталась самая верхушечка, рожки да ножки.

Снова нас сильно трянуло на ухабе. У задремавшего пассажира с девочкой слетел картуз с лохматой головы. Егоровна строго сказала:

— Ты, пьянчужка, девку-то целой хоть к бабке доставь.

— Не беспокойся, мать, я и не шибко пьяный, да и не без ума.

Он поднял картуз, а девочка о самой себе сказала уверенно:

— Девка целая будет.

Все засмеялись.

— Откуда все это узнали вы? — спросил я Авдотью Егоровну.

— Откуда бы ни было, а знаю,— с достоинством ответила Авдотья Егоровна.— В народе память осталась — и подати платили, и службы служили, да и читывала маленько, да и ученые наезжают, а я охотница послушать умных людей.

Машина остановилась между магазином и столовой; приехавшие не спеша выбрались из кузова и, разминая ноги, пошли в разные стороны. Я направился к воротам монастыря, над которыми на широченной стене уютно сидела церквушка с двумя шатрами, стоявшими рядышком.

### 3. Ферапонтовские фрески

Прежде чем идти в собор, к фрескам, зашел я в старую избушку, которая стояла под березами за северной стеной собора. Здесь я предполагал поговорить с местными старожилками — стариками, старухами, но увидел московских студенток и пестрые этюды, развешанные по бревенчатым стенам.

Невысокая девушка с загорелым лицом и чуть вздернутым носиком, снимая листы бумаги с ящика, стоявшего у порога, сказала:

— Садитесь, пожалуйста. Вы, наверное, архитектор?

Я, как всегда, назвался газетчиком.

— Почему вы решили — архитектор?

Вторая, черноглазая, в узких брюках и майке, сказала:

— Анна судит правильно: на живописца не похож, значит — архитектор или, в крайнем случае, историк. А газетчики в Ферапонтово и дорогу не знают. Из Москвы — неохота, да и не близко, а вологодские проезжают мимо памятника: сенокос, уборка льна, отелы и окоты, опоросы, цыплята, жеребята...

Кто-то из девушек перебил:

— Опять завела свою шарманку...

— А вы опять не согласны? Аннушка, поддержи меня как бывшая колхозница!

— Не поддерживаю! — Аннушка подняла обе руки. — Против голосую. Скажи, разве нам будет не обидно, если газетчики не станут писать о текстильной промышленности? — Анна повернулась ко мне с пояснением: — Мы на практике — из Московского текстильного института.

Признаться, я был порядочно удивлен: текстильщики — на практику в монастырь, но и девушек удивило мое невежество.

— А цвет? Краски? Композиция? — наступала девица в узких брюках. — Вы еще не видели Дионисия?

Аннушка села на низкий порожек избушки и, шурясь на солнце, вздохнув, сказала.

— Узнать бы секрет составления зеленовато-лазурных тонов. А небо у него? Воздух? Вон посмотрите на север, за тучку, в глубокое прохладное небо — это Дионисий!

— Откуда он родом? — спросил я.

— Я уверена, — сказала Аннушка, — он земляк мой — из владимирских.

— А по-моему, из киевлян — Девушка в узких брюках говорила с украинским акцентом. — В те времена владимирские еще в шкурах звериных ходили, а в Киеве была культура...

Я хотел было посмотреть их этюды на стенах избушки, но хозяйки рисунков запротестовали.

— Приехали к подлинникам, и не надо начинать с нашей мазни, — сказала черноглазая в узких брюках. — Копии с Дионисия, да еще и отличные, в Москве найдутся...

Охотнее всех беседовала со мной Аннушка.

Текстильщиц, как я понял, больше всего интересовали разнообразные одежды святых. Девушки мечтали о небывалой раскраске тканей. Дионисий, по их рассказам, умел комбинировать цвета. Взять его цветные концентрические круги: сперва красное, чуть пригашенное, потом розовато-красное с белилами, а потом еще светлее — киноварь с сильной примесью белил. Или сперва желто-золотистое, затем светлое и, наконец, совершенно светлое, легкое... А одежды синего, фиолетового цвета с прозрачными тенями, узорные ткани, парча... Послать бы в Феррапонтово еще и тех, кто расписывает посуду, — орнаментальные мотивы Дионисия могла бы широко заимствовать фарфоровая промышленность.

— Да что там говорить! — вдруг воскликнула Аннушка, махнув рукой. — Жил в пятнадцатом веке, а в двадцатом с радостью взяли бы мы его профессором по раскраске тканей...

Даже мучеников, мучениц, постников, грешников и грешниц, безнадежно дряхлых старцев Дионисий наряжал, как женихов.

— И при всем этом, — говорила Аннушка, — главное у мастера не яркость красок, не резкость их, как это наблюдалось позже, в семнадцатом веке, на стенах ростовских и ярославских церквей, а главное — живость раскраски, чутье колорита, умение владеть цветом...

В собор мы поднялись по широкой лестнице примерно на высоту второго этажа; дверь слева вела в бывшую монастырскую трапезную, в которой, как рассказывают историки, братья небогатой обители в нехлебные годы шумно делила на непокрытом столе жиденькую уху из мелкой рыбешки и хлеб с примесью лебеды; еще левее — распахнутая дверь в общежитие студентов-практикантов, а прямо перед нами — главный вход в храм.

Но что же это? Храм весь в строительных лесах. Ремонт? Стойки, столбы, площадки, настиленные из теса, только на площадках этих не штукатурки и маляры, а студенты и студентки, измазанные разноцветными красками.

— Копируют, — пояснила Аннушка. — С утра до вечера копируют, куда позволяет дневной свет.

Это была практика студентов Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, художественного факультета текстильного института и других учебных заведений. Архитекторы с рулетками и длинными пиками, как у воинов, обмеривали собор. Маленького роста розовощекий юноша с вихрами, в рабочем комбинезоне, так сказал:

— Обмерная практика.

— А пики зачем?

Юноша недоуменно покосился на меня, как на человека до последней степени недогадливого, и, переглянувшись с Аннушкой, нацепил свою рулетку на острие пики и поднял под самый купол, так, чтобы один конец рулетки оказался у седой головы святого на вершине потолка, а другой — в руках студента.

— Поняли, как я измерил высоту? — спросил он меня, готовый терпеливо объяснить еще что-нибудь.

Аннушка повела меня к фреске, изображающей группу людей в богатых одеждах из парчи и шелковых тканей, чтобы сразу показать вкус и страсть Дионисия к колориту. Это был царский пир, брачное торжество в Кане Галилейской. До мелочей выписаны роскошные наряды жениха и невесты, драгоценные камни, жемчуг.

— Обратите внимание, — сказала Аннушка, когда архитекторы отвели свое копьё от стены и солнечный луч из высокого окна приласкал древнее стенное письмо, — не только люди и одежда их, но и пейзажи, трон, горы, портки, колонны, мрамор желто-золотисты, розовато-красны, светло-зелены с нежнейшими оттенками...

Стены собора почти сплошь покрыты росписью. Картины, отдельные фигуры праведников, чудотворцев местами в четыре ряда поднимаются до свода и заполняют его, словно бы споря из-за места.

Богоматерь с младенцем в алтаре ферапонтовского собора по-человечески задумчива, губы плотно сжаты, ноздри широкие, русские, да и белый платок на ней под свободным пурпурным покрывалом — русский платок, под который забраны волосы. Обрусевшая божья мать! Но младенец Христос, как обычно, держит в левой руке свиток, а правой благословляет двуперстно — каноническое изображение, нет жизни, все застыло. Зато на южной стене Христос на руках матери не в хитоне, а в белой коротенькой рубашке, и рукава короткие, словно у распашонок, и свитка нет, не благословляет — обыкновенный малыш, забавляющийся на руках у своей матери.

Никого так часто, пожалуй, не изображали у нас в храмах, как Николая Чудотворца; великое множество церквей было посвящено этому угоднику. Старик с высоким морщинистым лбом, с небольшой округлой бородкой, с клоком на макушке — образ этот канонизирован еще в двенадцатом веке в Константинополе и отсюда распространялся на Руси с незначительными отклонениями от установившегося шаблона. У Дионисия, на мой взгляд, Николай Чудотворец прежде всего строгий, но добрый старец, с решительным характером. И опять сомкнутый рот постника-россиянина, очень впалые щеки, выпуклые скулы, брови сдвинуты, седые, щетинистые, словно иглы, и незабываемые глаза умного угодника, сотворившего «неисчерпаемое чудес море». Молоды, приветливы люди Дионисия, и не верится, что живут они на этих стенах без малого пятьсот лет.

Многие праведники и мученики напоминают птиц с вытянутыми шеями или каких-то животных с маленькими головами и длинными туловищами.

— Это манера письма, — ответила Аннушка. — Школа. Условная трактовка фигуры, а впечатление получается очень хорошее — фигура стройная, легкая. Тут большие головы немислимы, они бы все испортили. Длинные фигуры — от итальянцев раннего Возрождения.

Мы сели на скамью и общими силами стали вспоминать все, что знали о Дионисии, восстанавливая картины московской жизни той поры, когда среди столичных живописцев появился Дионисий. То было время перестройки Кремля — сердца уже обширной России, когда сооружались дворцы и храмы, доставшиеся нам в наследство. В Москву зазывали итальянских мастеров раннего Возрождения, и рядом с ними работали русские живописцы, зодчие, скульпторы, резчики. Воздвигался «третий Рим». Не удивительно, что в такой среде талантливого художника потянуло к действительности, к жизни, тесными для него были условные схемы средневековья.

Лет тридцать работал Дионисий в артелях живописцев — рядовым, старостой, трудился со своими сыновьями Феодосием и Владимиром. Велик перечень монастырей, храмов, расписанных артелью Дионисия, но сохранились только ферапонтовские, последние фрески мастера. Находят, правда, письмо его по разным, давно непробудно



заснувшим обителям, спорят — его или не его иконы. В 1952 году издана книжечка В. И. Антоновой «Новооткрытые произведения Дионисия в Государственной Третьяковской галерее», но все это лишь крупницы из наследия знаменитой артели, да и часто историки только предполагают, что крупницы эти принадлежат Дионисию, в Ферапонтове же он и широко представлен и на одной из дверных притолок сохранилась надпись: «В лето 7008 месяца августа в 6 день на Преображение господа нашего Иисуса Христа начата бысть подписывать церковь, а кончена на второе лето месяца сентября в 8 день на Рождество пресвятые владычица наша богородица Мария при благоверном великом князе Иване Васильевиче всея Руси и при великом князе Василии Ивановиче всея Руси и при архиепископе Тихоне, а писци Дионисий иконник со своими чады. О, владыко всех царю, избави их, господи, мук вечных».

Аннушка и другие студенты ушли.

На лесах, близко от меня, художник усердно копировал фреску. Эту согнутую спину я заметил два часа назад, когда впервые поднимался по лестнице в собор. С кистью, в темной рубашке с разноцветными пятнами, в старых-престарых штанах, в опорках, живописец был похож на бродягу или на пропойцу-маляра. Мне он показался еще и древним живописцем; такими были, может быть, на этом месте, на подобных лесах, Феодосий или Владимир — сыновья Дионисия. Зубы у художника белые-белые, глаза черные, татарские, словно лаком покрытые.

Вечером, когда солнце садилось за мелкие холмы и от острова Никона вытягивалась на воде тень, похожая на темную монашескую одежду, когда избы отражались в озере, а на белых стенах церковей дрожал нежно-розоватый отблеск, когда на верхушках елей как бы свечи зажигались, — вечером встретил я рыжего художника под горой на озерном песке. Шел он с небольшим чемоданчиком, поглядывая себе под ноги: он искал земляные краски, которыми Дионисий создал будто бы фрески в Ферапонтове.

В ферапонтовской земле? Яркие краски? Тогда не поверил я художнику. Фрески изысканного мастера напоминали о юге, манили в Грецию и, казалось мне, были очень далеки от елок и сосен Белозерского края, но велико было мое удивление, когда позже, в Москве, читая книгу «Техника фрески», изданную в 1940 году, я встретил такие строчки: «Особенно необходимо отметить хорошее поведение в фреске природных красок месторождения близ Ферапонтова монастыря, являющихся по своей природе типичными цветными сланцами. Они равномерно располагаются под кистью на известковом фресковом грунте и прочно закрепляются на поверхности». И на следующей странице: «Природные краски с жесткой структурой употреблялись, кроме росписей Ферапонтова монастыря, также и в склепе Деметры в Пантикапее II в. до н. э.; как в том, так и в другом случае (на севере и на юге) фресковые росписи сохранились очень хорошо».

Молодые живописцы рассказали мне о необычайной прочности древней штукатурки — левкаса — для стенового письма.

В. А. Щавинский, автор специального исследования, пишет, что «наилучший левкас старых мастеров требовал прежде всего очень продолжительной промывки старой долголежалой уже гашеной извести. Ее мыли в творялах с весны в течение всего лета, дено и ношно переменяли воду в течение каждых 5—6 часов, затем ее морозили зимою, а с весны опять тем же порядком мыли в течение шести недель, «пока достальная емчюга из левкаса выдет». Емчюга, которая образуется на поверхности отстаивающейся извести и которой так боятся иконописцы и левкашики, — это водный раствор гидрата окиси кальция или едкой извести. При промывании старой гашеной извести, состоящей из едкой и углекислой извести, первая частично вымывается водой, частично же обращается в углекислую соль за счет углекислоты, растворенной в воде. Если бы левкашикам удавалось действительно вывести «всю достальную емчюгу», то левкас потерял бы способность затвердевать при высыхании, так как только едкая известь способна схватывать известковый раствор, обращаясь на воздухе в нерастворимую углекислоту. Кроме того, на таком слишком перемытом левкасе не стали бы держаться и краски, творимые на чистой воде. Вот почему старые мастера принуждены были свой очень бедный едкой известью или даже вовсе не содержащий ее левкас

поливать «клеем сильным» из ячменного отвара с мучным клейстером и посыпать мукою овсяною».

Подготовка стены состояла в удалении с нее старой извести и вколачивании гвоздей для связи кладки с левкасом. Непосредственно перед левкашением стена смачивалась хорошо водой, затем ее покрывали левкасом, обычно в два приема. Верхний слой наносили частями — с таким расчетом, чтобы мастер успевал заполнить живописью еще не высохший левкас, — затем по левкасу рисовали контуры краской или очерчивали их острием.

Рано утром около собора рыжий художник рассказывал мне:

— Здесь писано по сырому левкасу — я это установил. Шляпки гвоздей кое-где заметны — известка осыпалась... К известковому тесту добавлялись мелко изрубленные волокна льна... Северный ленок! — Он прищелкнул языком. — Да и накладывали первый слой левкаса на сыроватую стену. Спаяно! — Он поднял крепко сжатый кулак. — Не много найдется в Европе письма, которое в таком виде сохранилось бы от пятнадцатого века, да еще в сырой глуши, где и окна-то в здании выбиты... Микеланджело позже Дионисия занялся фресковой живописью, итальянец был неповторимо велик в этом искусстве, но роспись его скоро блекла, покрывалась пятнами, емчюга портила ее. А Дионисий — мастер из мастеров — сохранился.

Я вернулся в Кириллов, побывал на улице моего детства и юноства, побродил с художником Завьяловым по музею, расположенному в старинных церквях за монастырской стеной, и парохом выехал в Белозерск, а оттуда — на Мариинскую водную систему.

#### 4. На канале

Из Белозерска мы уходили по узкому каналу Маринки. Горели на солнце крыши городских домов, оштукатуренные стены, поленицы березовых дров, шляпки подсолнечника в огородах, стекла в окнах, даже мальчишки, бродившие в трусиках по берегу, пылали, будто подожженные вечерней зарей.

Но вот уже и лес остался позади, и деревня заслонила белокаменный городок, и канал, доселе огибавший Белое озеро, потянулся в густой ельник, словно бы заманивая наш пароходик на свою ослеплую ленту. Я сел на скамью возле двух женщин и вместе с другими стал прислушиваться к их оживленному разговору. Речь шла о сселении деревень с мест, затопляемых новым каналом.

— Ступить негде — одно болото, и нисколько нам свое место не жалко, — говорила женщина о деревне, — пусть затопляют. У Митрофанихи в сорок две тысячи оценили избу и двор, у Борьки Захарова — в тридцать пять тысяч, у Юдичева — в тридцать две. Не рядятся. Не жаль им казенного рубля. Сперва-то я, дура, схватилась за волосье — как жить на новом-то месте! Понеси меня леший совсем на тот свет, а переезжать не стану. А потом люди урезонили. Из болота переселяют на гору да еще за все про все платят, и убытку нисколько нет, а одна сплошная выгода. За хибару мою одиннадцать тысяч дали, а на горе я высватала домишко за три с половиной. В новом стаде беру по две тысячи литров от коровы, а в старом полутора не надаивала. В болотах-то ноги от ревматизма нашаркивала тройным одеколоном, а на горюшках, на суходолах и ревматизма не стало. В старом-то едва пятьсот авансом доярке давали, а в новом семьсот выписывают...

Становилось прохладно, и рассказчица надела ватник, а соседка ее — вязаную кофточку и белый дождевик. Колхозной доярке, как я потом узнал, было тридцать лет, но выглядела она старше — старили впалые щеки и большущие печальные глаза, а соседке, девушке в белом дождевике, едва исполнилось девятнадцать. Звали ее Машей.

— Сколько же у тебя детей? — спросила Маша.

— Пятеро... Я слабая сердцем, а мужики-паразиты льнут и льнут... На водном транспорте они знаешь какие? Делать-то им нечего...

— Неправда! Я тоже на водном. Земснаряд...

— Ну, если ты на земснаряде, то печалься заранее — и рядом не посидишь, а дите родится...

Они заспорили было, но поблизости сидел молодой человек в берете, с китайским термосом в руках, и они примолкли.

Утром проснулся я ранехонько, вышел на палубу, но доярки на пароходе уже не было — проспал ее деревеньку на болоте. Начинаясь восход солнца. Сперва засветились высокие облака, словно разостланные плотными полосами, затем солнце на хвойные леса и березы исподволь накинulo медную ярь, рассеялось по зубчатым вершинам, раскрасило полную реку. Мы подплыли к пристани Утма, похожей на домишко в лесу. У окон домишка парень в светлой капроновой шляпе поднял от воды блёснувшие удилища и с ведром, с удочками отступил, чтобы матросы с пароходика без помехи накинuli чалку на столбик. Пароход прижался к деревянной стенке пристани.

На палубе ко мне подошел молодой человек в берете и представился.

— Орнитолог Марат.

— Он птиц изучает,— пояснила Маша.— Имя его Марат, а фамилия — Кошельков. Студент, из Москвы поехал искать птиц...

Солнце поднялось; пригревало.

Шумливые парни в брезентовых куртках торопливо катали гулкне бревна от воды в гору; женщины граблями ворошили тяжелые валки сырого сена; машины пробегали горой, но главное было — лес, лес и лес, во все концы по неоглядным падам и пригоркам, и, казалось, река Ковжа без берегов, утонула в лесу. Пароходик обогнул большую землечерпалку, от которой в ельник тянулась широченная труба.

— Наш снаряд,— сказала Маша.— Готовим дно для Волго-Балтийского канала.

Землечерпалка, содрогавшаяся от работы мотора, фрезой своей, наверное, ввинчивалась под берег, потому что кусты сползали в воду, опрокидывались, выставляя вверх корни, облепленные грязью; как подсеченные, падали с берега в реку ели, березы. Женщины баграми вылавливали корни, кусты, а трактор металлическим тросом волочил из воды большие деревья.

— Снаряд,— Маша кивнула на землечерпалку,— намывал грунт в Москве, в Лужниках, а потом заходил в Кострому — начальник рассчитался в Костроме, уехал в Ангарск, а снаряд без команды явился к нам, на Волгобалт... Усилен разрыхлитель — новый поставили.— Она закричала на берег женщинам: — Ура! — Народ на палубе с удивлением посмотрел на нее, и, смущенная, она спряталась между мной и Маратом Кошельковым. Позже она сказала нам: — Думала, девки услышат, а девки и ухом не повели... У нас команда коммунистическая! Багермейстеры — будьте уверены! И главному закоперщику палец в рот не клади — руку откусит. План перевыполняем, себестоимость намного снизили...

Пароход причаливал к райцентру, и Марат быстро поднял на плечи туго набитый вещевой мешок, взял в руки китайский термос и ружье.

Началась обычная суматоха. С парохода волокли мешки, чемоданы, укладывали в штабелек ящики с надписью «Печенье». Машу поцеловали две тетki, тут же подхватив ее узлы из моих рук. Тетки клялись — самовар на столе! Но Маша торопилась в свою Утму, поближе к брандвахте. На брандвахту поехал и я — соблазнила Маша рассказами о команде земснаряда.

— А я в лес иду,— важно сказал Марат,— в глухой, далекий лес, куда почти не ступала нога человека. Задумал повторить маршрут моих однокурсников.— Навьюченный, как лошадь, он с трудом поднимался в гору.

У Марата не было командировки, и Маша подозрительно оглядела его, спросив, есть ли хоть паспорт. Не отвечая девушке, студент похвастался дневниками своих однокурсников — чуть не на каждой странице записано: «Видели свежие следы медведя, лося...»

Маша воскликнула:

— Могли! В прошлом году лось разбил у нас радиатор. Как? А очень просто. Ехали, а лось — на дороге. Остановились, а он изо всей силы ударил задними копытами в радиатор — смял все! И потеха и горе.

Около автобусной остановки мы расположились на чемоданах и мешках, продолжая разговор. Один из пассажиров знал еще случай: явился лось на колхозный ток и копытами разнес веялку.

— А мне как раз шестьдесят километров сплошным лесом,— похвастался Марат.

Маша, узнав, куда он собирается, рассмеялась: во-первых, надо было сойти в Утме, а во-вторых, глупо — пешком, если через часок автобус.

— Автобус? — пренебрежительно спросил Марат.— Зачем он мне? Я пойду туда, где нога человека давно не ступала, а вы — автобус...

Марат показал мне чертеж, на котором две реки, множество озер и лес, вписанные в треугольник, пересекала жирная линия.

— Моя гипотенуза,— сказал он об этой линии.

Маша, вытягивая шею, заглянула в чертеж.

— А где автобусные остановки?

И опять орнитолог начал горячиться: нет никаких дорог, зачем ему голову морочат, он пойдет по своей гипотенузе. Маша, подмигнув мне, повторила не раз, что дорога есть, а звери в той стороне вовсе не водятся. Она, конечно, подшучивала над путешественником, он же, бедняга, не понимал, видимо, шуток.

— Если бы не водились, наши студенты не поехали бы туда к знаменитому егерю.

— Егерь? Егерь с утра до вечера на сенокосе... Пора-то сенокосная или не сенокосная?

Автобус возник вдруг из-за угла, весь в рыжеватой пыли, и ждущие его засуетились, выстраиваясь в очередь, а Марат отнес мешок свой к изгороди, помахал нам на прощание, затем, навьючившись, пошел в чайную.

Мы с Машей на первой же остановке слезли с автобуса; она пошла в Утму, домой, а я — через поле к реке, на брандвахту. Недавно побрызгал теплый дождик, и всюду сверкала зелень, цветы.

Перед входом на брандвахту я познакомился с рыбаком в капроновой шляпе, его звали Иваном. Это он разводил костер под закоптелым чугуном, полным воды и рыбы. Трое после ночной смены купались; один, давно небритый, растянувшись на траве, читал книгу; двое гоняли металлические шарки на маленьком бильярде. По трапу поднялся я на брандвахту, как поднимаются с берега на баржу, остановился около двух женщин, чистивших картошку, и начал рассказывать им о Маше, потому что они спрашивали, хорошо ли она отдохнула и как выглядит.

Приглашали к одному столу, к другому, но я отказался от жареных грибов, от консервированной печенки, подогретой на большой сковороде, от болгарских помидоров, привезенных судовым механиком из Вытегры, отказался из-за окуньковой ухи Ивана, которая манила меня на берег.

Багермейстер Онисим Анатольевич, матросы Олег, Иван и я — все мы разом сели вокруг закоптелого котла с наваристой ухой и подняли большие деревянные ложки. Незабываемы ломти черного хлеба, тронутые свежим ветерком с реки, густо напоенным луговым ароматом! Что за чудо происходит с ломтями хлеба в поле, а в особенности на берегу озера или реки? Мякиш их покрывается шершавинкой, и они так остро душисты, как никогда не бывают душисты ни дома, ни в ресторанах. Хлебать уху в низине, около болота, — одно, а раскинуть скатерку на бугре, занять наволоком — совсем другое, и, может быть, потому русский человек, заселяя Север, ставил деревеньки по наволокам. Похлебают ущицу на высоком берегу и задумают избы тут же срубить...

Иван торопил меня:

— Ешьте, ешьте, а то хлопцы начинают ложками о дно шебаршить... Поймаю сестра — быть моей свадьбе!

Багермейстер Онисим солидно изрек:

— Жениться — ошибка.

Иван и Олег засмеялись — потому, узнал я позже, что багер Онисим, расставаясь с одной стройкой, чтобы ехать на другую, расставался всегда и с женой: «Жирно будет — возить их с канала на канал!» Перекочует Онисим на другую стройку, и останется здесь женщина с ребенком, как знакомая нам доярка...

В деревеньке, у сельской лавки, я познакомился с командиром снаряда. Тонкий, беловолосый, с обветренным лицом, в синей майке на плечах кирпичного цвета, он выговаривал толстяку обиды свои на сельскую лавку. Толстяк, видимо начальник всех лавок в районе, сонно моргал ресницами, рассеянно слушая горячившегося командира.

— Ваши номера нам давно известны! — возмущался командир.— Запечена в булку целая макаронина. А прошлый раз в булке — полпряника. Затвердели пряники — в муку, зацвела подмоченная вермишель — сыпь в муку!

Толстяк, одетый в добротный костюм, процедил сквозь большие желтоватые зубы:

— Проверю, проверю...

— Мы бы не взяли эти булки,— командир постучал в свою грудь,— будь бы хлеб в другом магазине...

Толстяк уехал на мотоцикле с пустой коляской, а командир земснаряда, обернувшись ко мне, спросил, кто я, откуда и что мне нужно. Бегло, без интереса, глянул он в мое командировочное удостоверение, сел на ступеньку магазина. Перед нами лежала обычная северная земля — глина и суглинок, а в наволоку — песчаная дорога с глубокими колеями от автомобильных колес; и я знал: дальше по большаку будут примеси гальки, щебня, валуны, обнаженные залежи торфа, кое-где ставшие обрывистыми берегами нового канала, и, конечно, безмолвный лес.

— Океанские пароходы пойдут по каналу Волга—Балтика,—сказал командир земснаряда.

— А как это повлияет на жизнь здешних мест?

— Здешних? — Он подчеркнул это слово и задумался.— Для этой глухомани канал даст много электрической энергии. Тут бы пашни полагалось торфом засыпать и лугами заняться. Край позабыт, позаброшен...

Он называл фамилии багермейстеров, матросов, судовых механиков и проценты: проценты квартальные, годовые — заработков, простоев, себестоимости, а я торопливо записывал цифры, связывая их стрелками, чтобы не забыть, какие дела обозначают они.

— Сколько мы зарабатываем? — переспросил командир.— От одной до трех в месяц. И все-таки, понимаешь, местные жители меняют родные места на Петрозаводск, Мурманск, тянутся к Ленинграду, а к нам идут мало.

С наволока шел Марат, согнувшийся под тяжелой поклажей. Он встретился с нами на перекрестке дорог, опустил с плеч вещи и, улыбаясь мне, сказал, что с этой точки он снова отклоняется по своей гипотенузе.

Командир земснаряда, узнав замыслы путешественника, отказавшегося ехать на автобусе, присвистнул:

— На вашем-то месте плюнул бы я на эту чертову гипотенузу. Оставайся у меня, а на охоту к тому озеру в любое время — хоть на автобусе, хоть на мотоцикле. Может, рыбой интересуешься? Закрепись на снаряде до заморозков, грудь широкая, а вкус к работе привьем. Махнешь в Москву с деньгами.

— Я орнитолог.

— Ну и что же? — Командир, задумавшись, покусал обветренные губы.— А я гидролог, гидрограф и механик, и вся моя карьера на каналах...— Он рассмеялся.— Птиц изучаешь? У нас на реке и в лесу их сколько хочешь! В сутки будешь занят ровно восемь часов, а в остальное время лови, набивай чучела. На медведей съездим, лося прилуним... Винтом завихрится, не успеешь загрустить... А?

На костистом лице Марата изобразилась улыбка, по которой мы поняли, что его несколько не увлекает работа на земснаряде. Он повесил мешок за плечи, взял термос и ружье.

Командир земснаряда ударил ногой о подножку мотоцикла, и я быстро сел в узкую коляску машины, еще раз помахав рукой Марату.

День был тихий, но ветер бросился нам в лицо с зеленого пригорка, раскрашенного пятнами цветущего клевера, ромашки, иван-чая.

Мы промчались мимо цветов, мимо вырубки и в сосновом пригорке едва выбрались из сыпучего песка.

— Дорога нужна,—сказал командир,— широкая асфальтовая дорога от Архан-

гельска на Москву и Ленинград. Вот бы студентам каждое лето собираться на постройку такой дороги... Я не хаю Марата, он пешком в одиночку пошел искать свою гипотенузу, а на большой трассе для всех нашлись бы гипотенузы.

Остановились у берега и на лодке подплыли к земснаряду.

Снаряд, внешне похожий на грузовой пароход, как слон, хоботом-трубой тянул в себя землю со дна реки и по такой же трубе пнал ее на берег, в кусты, в болото. Жужжащие моторы, колеса и ремни — самое приметное в снаряде. Дежурный механик на множество моих вопросов ответил коротко:

— Основное — команда сработалась.

Я подумал об Онисиме Анатольевиче, у которого, как у багермейстера, ведущая роль на земснаряде, и спросил командира, доволен ли он им.

— Удачный багер, в ночную он...

— Говорят, вы взяли его на работу без трудовой книжки, с пятью судимостями? Не приходилось ли раскаиваться?

— Да нет... У него — три, а пять — у Ивана...

— Это который в капроновой шляпе?

— Да... В шляпе... Двадцать первый год, а судимостей успел нахватать. Из милиции звонок — не связывайся с «Императором». Кличка — «Император». Команда на дыбы: не возьмем! Ванька надел шляпу и потопал от нас. Вернись, говорю. А он и слышать не хочет. Не обращай внимания на мелочи — иди бревна таскать, давай-ко, друг, обувайся в резиновые сапоги. — Командир указал на топкий берег, по которому лежали седые березы. — Пошел мой Иван и с бревнами вальсировать и березы арканить чалкой. В первый же месяц — полторы тысячи. И не напился. Но после третьей получки — вдрызг! Спросили с Онисима — Онисим был виноват. Онисим тянет его, как якорь... «Ванька, знать судьба наша с тобой такова!»

Пронеслись мы с командиром по старому тракту Петербург—Архангельск, живому только на пути строительства Волго-Балтийского канала, в иных же местах он зарос кустарником, затонул в болотах.

Примчались к обрыву; далеко внизу белая струя воды из брандспойта хлестала по черной стене торфа, так хлестала, что брызги, насыщенные перегноем, напоминали красноватое, вихрящееся пламя; если же попадал в них измельченный старый мох, то пламя казалось особо ярким, хотя это всего-навсего была причудливая игра солнца с водой и раскрошенным торфом.

— Им воды не хватает, — командир указал на глубокий канал, — насосная бьется изо всех сил, а мы по горло в реке... Но грязи и там и тут до пояса. — Он скуповато улыбнулся. — Гипотенуза незавидная...

Вечером у брандвахты, увидев Ивана, собиравшегося на работу, я сказал командиру:

— Все-таки молодец он — после пяти судимостей сразу отсек прошлое.

— Где там сразу! Сразу — в сказках: свистни — появится сивка-бурка, в одно ухо влезешь коню, поешь там, поешь, одежду бархатную натянешь и в другое вылезешь молодцом из молодцов... А в жизни... — Он указал глазами на Ивана и Машу.

Маша, в синей новенькой спецовке, смеясь рассказывала что-то Ивану, делая широкие жесты, а он, прямой, без улыбки, стоял перед ней.

Командир негромко говорил мне, поглядывая в лес, в сторону от людей и брандвахты:

— Пристрастился к рыбалке, ну мы похвалили его, потянуло к девушке — делаем вид, будто не замечаем, а насторожились, конечно, потому что любовь — это самое главное в жизни. Справимся, думаю... В команде пять коммунистов да комсомол, в комсомоле и Маша... Главное, за Онисимом гляди в оба... — Командир вздохнул. — Боремся за звание, но не знаю, будем ли мы командой коммунистического труда с нашей оравой.

В катере, увозившем рабочих к земснаряду, Маша поехала рядом с Иваном; платок ее, полоскавшийся на ветру, залетал на плечо матроса.

## 5. В Череповце

У секретаря директора Зинаиды Евгеньевны на столе восемь черных телефонов с горбатыми рычажками. В какой-то момент все они заверещали, как злые поросята, а Зинаида Евгеньевна стремительно вскочила со стула и распростерла над ними свои белые руки. Чего-то требовала Вологда, кто-то из Магнитогорска или Оленегорска хотел говорить с Череповцом, докучали цеха, кто-то немедленно просил выехать на вокзал для встречи важного начальника. Словом, столько неотложных дел, что мне, путешественнику, стыдно было отвлекать человека на разговоры со мной, от которых, как говорится, никому ни жарко ни холодно. Пошел я на завод один и три дня подряд с утра до вечера ходил по цехам, и удивление мое при виде всех здешних чудес еще и оттого усиливалось, что многого не понимал я.

На развилке заводской дороги, когда я задираю голову, чтобы дивиться на воздухоочистители домы, похожие на железные брюки с раздвинутыми штанинами, мне показали путь к сталеварам.

Высокий цех напоминал станционную платформу, под куполом которой останавливаются дальние поезда. И в самом деле, на приподнятом пролете под крышей цеха — обыкновенные вагоны с тюками спрессованного железного лома, и толкал их обычный паровоз. В тот ли цех я пришел? Через минуту вагоны, уже пустые, откатились, а я, преодолев последние ступеньки решетчатой лестницы, остановился на краю печного пролета. В стене, на одинаковом расстоянии друг от друга, за железными дверками — завалочными окнами — бесновался, вихрился страшный огонь. Если на цех посмотреть проще, без мудрствования, то любая печь в доме, в квартире внешне похожа на мартеновскую — тоже дверка железная, за ней гудит огонь, и топливо подкидывается, но в домашней оно сгорает, а в мартеновской плавится, как в котле. Вот и представьте себе пять-шесть печей, поставленных на одной линии, — скажем, в коридоре, — и тогда передняя сторона, коридор, будет печным пролетом, а задняя — разливочным отделением, в которое на Череповецком заводе подкатывают по железнодорожным рельсам ковши для приемки жидкой стали.

Откинулось завалочное окошко, сверкнула раскаленная толстая огнеупорная подкладка крышки, и тут же из печи, словно из пасти, вылетел жадный огонь, лизнул стену, затем уменьшился, затем стал еще сильнее, потому что, подумал я, трусливо застывший на месте, тесно было ему в печи вихриться, извиваться узким, длинным зверем. Вдруг сверху в печь полился чугун, как сказочный змей, а из печи полетел к потолку взрыв красного пламени, заплясали искры, и солнце сквозь стеклянный потолок цеха показалось мне маленьким тусклым пятном. Завалочное окошко захлопнулось. Опорожненный ковш поплыл под потолком, и, следя за ним, я заметил под куполом человека, сидящего в застекленной будке, — крановщика у рычагов. И в этот день и в другие всюду под потолками в цехах видел я крановщиков, которые, нажимая на кнопки и рычаги, посылали в разные стороны ковши, бабды, слитки, крюки, похожие на огромные вопросительные знаки.

Было жарко, душно, и я склонился к питьевому фонтанчику, тонкой струей бюбюцему в рот.

Опять на рельсах платформы с металлическим ломом, спрессованным в тюки. Пожалуй, лет тридцать с лишним назад был я рабочим в одной из контор треста «Рудметаллторг», ездил по городу на лошади, собирая ведра, тазы, чугунные ступки, лестики, колеса от разных машин, тележек. Во дворе конторы молотом дробил «негабаритные» чугунные вещи, гнул железо, стягивая проволокой в тюки. И рабочим и агитатором был: «Славяйте государству металллом!» Но лишь теперь сам увидел, как этот знаменитый лом, столкнутый с платформы в печь, превращается в сталь самых ответственных марок. В те времена спутниками сталевара были кирка, лошадь, запряженная в грабарку, лопата. О Кузнецком и Магнитогорском заводах тогда мы лишь мечтать начали.

Лопаты, надо сказать, и здесь валялись против каждой дверцы: рабочие изредка забрасывали ими в плавку что-то похожее не то на гравий, не то на крупный песок. Как ни величественно было пламя, как ни удивляли краны, ковши, стеклянная

будка, из которой варкой стали управлял молодой человек, одетый во все белоснежное, а мне все-таки хотелось поскорее увидеть сталевара. Сталевар, запомнившийся из современных романов, очерков, давно и прочно жил в моем воображении. Он рисовался мне высоким, полным, с чуть седоватыми бровями, сомкнувшимися у переносья, с чисто выбритым лицом. Бас или баритон сильный у этого человека. Втемяшился мне вот такой образ.

Из романов, очерков и пьес (а может быть, я и сам, начитавшись, нафантазировал) всегда возникает передо мной сталевар, у которого сын, или зять, или племянник, или свояк — министры, директора трестов, заводов, знаменитые художники, артисты, дочери замужем за дипломатами, и родня много училась, знает иностранные языки, судит о тонкостях живописи, литературы, но благоговейно смотрит сталевару в рот, когда он, мудрейший из мудрых, произносит слово. Почтительно выслушивают его советы секретари обкомов и горкомов, а директор завода считает за великое счастье появление сталевара на своем домашнем празднике.

И вот настало время встретиться мне с этим необыкновенным героем. Но где же он? И кто эти молодые люди с очками на козырьках фуражек?

— Я третий подручный,— охотно ответил один из них и склонился попить из фонтанчика.

— А я — второй... А вам кого нужно?

В ответ я улыбнулся и отошел к стеклянной будке, надеясь увидеть здесь патриарха металлургии. Прокатились платформы с металлическим ломом. Рабочий, опиравшийся подбородком на совковую лопату, оглянулся на меня, и я подошел к нему.

— Могу ли я здесь увидеть сталевара?

— Я сталевар,— отрывисто сказал он и очень ловко бросил лопатой в жадную печь несколько порций чего-то, что я принял бы и за крупный песок и за мелкую щебенку. С первого движения человек уверенно набирал полный совок и точно закидывал песок в жаркую топку. Много лет довелось мне поработать лопатой, и я сразу признал умение сталевара пользоваться этим древнейшим инструментом. Точно, экономя движения, бросал он песок на расплавленную сталь, как на солнце. Закончив дело, откинул лопату небрежно, а она, звякнув, покорно легла близко от его ног.

Даже не скосив глаз в мою сторону, он, показалось мне, без всякого интереса спросил:

— А вы кто?

— Журналист,— сказал я.— Надоели они вам?

— Да нет... Не встречался.

— С журналистами не встречались?

Я всегда думал, что журналисты покоя не дают сталеварам, и вдруг такой ответ.

— Знаем редактора заводской газеты, а так чтобы вот с приезжими... Не помню.

Молчим. Полутайком разглядываю сталевара. Он повыше среднего роста, в старой кепчонке, в пиджачке из грубого сукна, в таких же пузырящихся брюках, ботинки старые, очки с потрепанного козырька свисают косо. Ему, наверное, за пятьдесят, хотя он прям, строен, ходит быстро, ступает прочно.

— Пятьдесят четвертый. Годочки катятся. По законам пора бы в отставку, но в семье сам-седьмой, и на голой пенсии тесновато. Две девятьсот зарабатываю да шестьсот пенсионных идет... На здоровьишко еще не жалуюсь...

— Хватает?

— Лишнего нет, но концы с концами сводим. В Москве-то у вас мясо пятнадцать, а у нас на базаре — тридцать. Такой городишко...

Поглядывая в щель между печью и завалочным окном, я заметил, как постепенно закипает сталь, выбрасывая на свою поверхность языки, похожие на мелких шук. Всплыл шлак, хорошо заметный. Сталевар сказал мне, что зеркало расплавленного металла в ванне почти всегда бывает покрыто шлаком — легкое поднимается на поверхность. Он снова подобрал в огненную пасть несколько лопат и, чтобы утолить мое любопытство, сказал:

— Рудка у нас особая — обогащают ее на Кольском полуострове. Главное в Череповце — сталь, а не чугуны. Чугун тут получают дорогой, как золото,— тысяча во-



семьсот километров до воркутинского угля да тысяча пятьсот с лишним до кольской руды. Издалека приезжают жених и невеста — свадьба недешевая. Но если выплавлять стали процентов на шестьдесят, а то и на семьдесят больше чугуна да с толком заниматься прокатом, чтобы наши стальные заготовки Ленинграду обходились дешевле уральских и южных, то все расходы окупятся, прибыль дадим.

— Еще, значит, не даете?

— Строимся! Все впереди.

Он склонился немного попить из фонтанчика, а затем и я попил из той же струи, бьющей человеку в небо; вытирая губы и щеки, мы улынулись друг другу.

— Тепловата,— сказал сталевар о воде.— В Кузнецке и вкусом была приятнее и холоднее.

Он весь будничный, опершийся подбородком на лопату, и фамилия у него рядовая из рядовых — Тимохин. Родом он из-под Орла, в молодости Москву строил, где-то от Ярославского вокзала к Сокольникам, Русаковскую улицу как будто, а с 1936 года — сталевар Кузнецка. Сталевары в Череповце — из Кузнецка и Магнитки, а машинисты кранов, операторы, разлишники — из Тагила. Тимохина, например, квартира сманила... Понаблюдав за печью, он ушел в застекленную будку к рычагам и стрелкам, при помощи которых велась варка стали.

— На войне я не был,— сказал Тимохин, вернувшись из будки,— но сталь для фронта варил, для того же Ленинграда, по две смены, бывало, не уходил от печи, едва-едва плетешься домой.

Сталевары на работе сосредоточены, внешне строги, почти не улыбаются, поглядывают на печи. Сходит в будку к рычагам и кнопкам, к автоматике и опять возвращается к печи, к бушующему пламени, делает скупой жест, и подручный по этому жесту выполняет уже какое-то распоряжение. Подручные молоды, а тоже не засмеются, не засвистят, не сядут в кружок — нет у них лишнего времени.

Тимохин отправил куда-то помощника, а мне сказал, что скоро можно будет посмотреть, как пойдет сталь.

— Советую. Поглядите.— Он слегка улыбнулся мне.— Доживают люди до старости, до могилы, а горячую сталь только в кино видели. Сходи.— Это уже прозвучало подобно приказу.

Спустившись по лестнице, я обогнул крайнюю печь и у другой стороны ее увидел на рельсах вагонетки с ковшами. Ковши формой похожи на громадные горшки для цветов, метра четыре, я думаю, высотой. Стены их выкладываются в два слоя огнеупорного кирпича, днище — в три.

У стены, на площадке, сел я на мешки с цементом и приготовился воспринять первое впечатление при виде струи расплавленной стали. Двое молодых людей в спецодеждах, в шляпах с широкими полями и в брезентовых куртках спросили меня, кто я, откуда, а я в свою очередь спросил их. Они, подручные сталеваров, оказались местными жителями — из Уломского района.

Я воскликнул:

— Из железной Уломы?

— Она самая.— Белобрысый парень с синими глазами доверчиво улыбнулся.— У нас и песня старинная так начинается: «Улома железная, ремесленный народ...»

На русском болотистом Севере, с его клюквой и брусникой, еще в домосковские времена жители Новгородской республики находили железную руду и научились изготавливать стрелы, копыя, мечи, топоры, косы, горбуши. Рудознатцы клали в лесах примитивные печи и выплавляли металл. Так продолжалось до тех пор, пока Россия Петра Первого после поражения под Нарвой не занялась выплавкой железа на Севере заводским способом... Уломские же крестьяне были не только знаменитыми «сталеварами», но столь же известными кузнецами. В последние два века железо выгоднее было купить в Нижнем Новгороде и водой доставить под Череповец, в Улому. Уломская волость начала ковать гвозди, ремеслом этим прославилась на все отечество. «Уломский гвоздь!», «Улома гвозди кует!» Осенью запасались металлом, а

весной в бочках по Шексне и Волге везли продавать свои гвозди. В каждой деревне были кузницы.

— Разбогатеть не могли,— согласился со мной синеглазый парень,— но и голодными не сидели. Бабушка наша все помнит, сама возила купцам бочки с гвоздями. В Уломе народ пробивной: сегодня подручные, а завтра сталеварами будем.

— Сколько зарабатываешь?

— Да побольше, чем деда и прадеды на ковке гвоздей.

На стену с летками, на подручных, похаживающих вдоль тыльной стороны мартеновских печей, мы смотрели издалека. Мы как бы сидели на балконе, а тыльная сторона печей была сценой, но разделял нас не зал, а пролет, по которому тянулись поблескивающие рельсы, ковши на них и свободно могла пройти еще автомашина. Я часто посматривал с нашего «балкона» на ковши, чтобы не упустить самое первое появление стали.

— Вы чью плавку ждете?

— Тимохина.

— Натурального деда!

— Почему — натурального?— удивился я, чуть обиженный за Тимохина.

— Да у него внуки. У нас одна молодежь, а Тимохин — дед натуральный. Вон его помощник — начал дыру пробивать. Вася Попов. Легкоатлет. Ходил на субботники строить стадион. В дружине состоит. И учится еще в вечерней школе.

Вася Попов расчищал летку. Бил, бил тяжелым ломом в стену, отгребал в сторону леточную массу, которая хоть и похожа на глину, но, говорят, если брать на вес, дорожке чугуна и стали. Десятки раз этот момент видел я в киноочерках, там был именно момент, а у Васи Попова — нескорая работа.

И вот сталь пошла.

Не вдруг она кинулась по слегка наклонному лотку. Сперва сверкнула из норы, как бы замерев на секунду, затем свернувшись, похожая на ослепительный колобок, словно раздумывая, застыть ли ей здесь или спуститься в ковш, и, наконец, полилась, за сверкав ручьем; к потолку да и к нам полетели зубчатые, игольчатые звезды, тающие в воздухе, они снопами рассыпались во все стороны, но смотрел я на толстый, мощный ручей стали, языком льющийся из печи в ковш; он казался мне и белым, как молоко, с оранжевым оттенком, и багровым, дымящимся чуть, хлещущим, словно кровь, и рождались в нем полосы медной лазури, пятна белил, игра камней разноцветных...

В краю заснувших монастырей, болот и озер, лесов непролазных забурлил металл в домнах и мартенах, построенных, как говорится, по последнему слову техники

В конторе молодой инженер, сидевший на месте начальника цеха, сощурился и посмотрел в потолок, вспоминая, видимо, внешность Тимохина.

— Это неплохой сталевар...

— Тимохин? — спросили от другого стола.— Кому он понадобился? Об этом писать я бы не советовал, есть люди получше.— И зашелестели бумагами, чтобы «подобрать кандидатуру».

— А чем же он плох? — загудел от порога рослый сталевар с очками на козырьке.— Исполнителен. Скромнен. Две плавки даст подряд, если надо, и не поморщится. Не рвет и не мечет у мартена...

— Да так-то оно так, а если взять общественную струнку...— Бумаги шелестели на столе.

— Можно взять и общественную,— гудел человек с очками на козырьке.— Старик и в Кузнецке и здесь давал и дает сверхплановую сталь. За восемь месяцев сверх программы подарил две тысячи тонн. В Череповце четырех сталеваров подготовил.

В конторе на знали, есть ли награды у Александра Александровича, и я немедленно отправился за справкой к Зинаиде Евгеньевне.

Опять трещали телефоны. Зинаида Евгеньевна позвонила в отдел кадров, куда-то на другой конец города, и, поднявшись над восемью телефонами, спросила, сколько наград у Тимохина, в каком году он родился.

— Нельзя? — удивилась она. — Но почему же? Господи, меня-то вы, надеюсь, знаете... Да тут один товарищ... разговоривал с Тимохиным, а спросить забыл. В том-то и дело — по службе надо ему. Да. Слушаю. Так, так... Из Кузнецка. Спасибо. — Зинаида Евгеньевна положила трубку, сказав мне: — У Тимохина орден Трудового Красного Знамени, медаль «За трудовую доблесть», значок отличника соцсоревнования, три раза премирован... Рождения 1906 года, детей семеро...

— Как семеро? Сам он седьмой, а не семеро...

Зинаида Евгеньевна приподняла брови и плечи, сказав:

— У меня сведения отдела кадров... Сын у него то ли машинист крана, то ли первый помощник сталевара. Сына приплюсовать надо.

Так я познакомился с рядовым из рядовых — из тех, кого романисты и драматурги не берут в герои, а газетчики не ставят его подписи под статьями к торжественным дням.

## 6. Вторая встреча с Иваном Тимофеевичем

Возвращаясь в Москву, встретил я в вологодской гостинице агронома Ивана Тимофеевича и художника Завьялова, с которыми познакомился в первый день своего путешествия на пароходе. Иван Тимофеевич приехал в город на областное совещание агрономов, художника интересовали здесь соборы и церкви.

Вечером собрались в комнате художника. Завьялов развесил по всем стенам свои рисунки и картины.

— Смотрите. Творческий отчет!

Это были церкви, колокольни, шатровые крыши, монастырские стены, грушевидные купола, арочки на колонках, рельефные кресты на церковных фасадах, избы из толстых бревен, лодки по берегам озер, и среди всей этой старины едва можно было заметить сенокос, уборку льна, колхозную кузницу.

Иван Тимофеевич живо заинтересовался рисунками.

— Вот оно дело-то какое, ребяташки. — Он покачал головой. — Человек ненадолго приехал, а увидел в десять раз больше того, что мы, старожилы, видим. Старины-то сколько! Стало жарко мне — открыть бы окошко... — Распахнули окошко, и шумящий город ворвался в комнату. — Но старина стариной, а замечать надо и новое: машины в деревне и в лесу, новые дома, городскую одежду у колхозника...

Завьялов ответил:

— Но я специально за стариной приехал.

Иван Тимофеевич заговорил о сплошной грамотности, о Вологодском молочном институте, а я громко сказал, что мне очень нравится картина «Луга с кустарником», на которую падал свет из раскрытого окошка. Завьялов согласился: работа удачная. А Иван Тимофеевич головой покачал, сказав, что зелень и светлые солнечные пятна действительно хороши, тени забываемы, но за последние тридцать лет луга настолько позаросли в точности таким вот кустарником, что скот остался без кормов, приходится в областном масштабе объявлять беспощадную борьбу ивам, тальнику, ракитнику. В прошлом году в «Северной Авроре» за ум взялись: как только стаял снег, так без директив и понукания от мала до велика вышли на луга с топорами на-чисто вырубать кустарник — и травы больше вырастет, и сено быстрее высохнет, и злаки и бобовые пойдут вместо несъедобных осок... А одну поляну тракторной фрезой обработали — культурный луг стал, сто центнеров брать с гектара будем, а не восемь.

— Но почему же тридцать лет терпели на лугах кустарник?

— Потому что не включался он в плановые мероприятия, а что не включалось, на то и смотреть не хотели сельские руководители. А нынче песня другая — сам шевели мозгой, если дело тебе доверили. Ох, люди, люди... За пятнадцать лет я не ужился в семи колхозах, но года полтора тому назад, после Ваньки Васюкова, встретил председателя — поняли друг друга! — Он повысил голос. — Я спрашиваю вас, что это такое, если крестьянин берется за работу в девять и в пять кончает ее да минус полтора часа на обед? Лежебока он или не лежебока? Мы поговорили об этом с каждым человеком...

В «Северной Авроре» удалось вывезти на поля навоз и торф. И был урожай, какого не случалось лет десять. Торфа хватит колхозу навечно, и навоза горы!

— Пашню северную до смерти довели! — воскликнул Иван Тимофеевич. — Выступает сегодня молодой агроном: «Сейте белый донник! Корневые остатки донника — это сплошной азот. Не надо пятьдесят тонн навоза на гектар, посеять донник — результат будет лучший». Говорит гладко, жесты богатые. И я в молодости выступал с речами о доннике, о суданской траве, эспарцете, но только теперь мне стало ясно, о чем думали мужики, слушая меня. Они сто лет зимой навоз возили на поля, а летом сеяли отличные корма: смесь гороха и овса, вики и овса, клевер, тимофеевку. Вспоминать стыдно. Люди видели, как гибли луга и как мы привязываем коров на цепи, но поскольку все делалось только по плановым мероприятиям, как по струнке...

— Коров на цепи? — удивился Завьялов. — Что за цепи?

— Ничего-то люди не знают! В «Авроре» четыреста пятьдесят дойных коров, и каждая голова была на цепи. Сорок пять доярок, двадцать скотников, восемь телятниц, подвозчики кормов, заведующие с помощниками, учетчики с подручными... И собрались они в красном уголке при ферме — зоотехник лекцию затеял о путях снижения себестоимости мяса и молока... Ну а я только что приехал — взялся за дело на правах заместителя председателя, и мне интересно было послушать лекцию. На второй день говорю зоотехнику: «Как же снизишь себестоимость, если за молоко денег столько не выручить, сколько требуется на зарплату твоим людям?» А зоотехник, как Ванька Васюков, отвечает: «Трудодень платим, а не деньги, можно дать и не ахти сколько». Ой, беда, беда... Жирный зоотехник — раздобыл на молоке и сливках. Он боится коров на прогулку выпустить: ошалеют, мол, от радости и заколют друг друга.

Иван Тимофеевич улыбнулся, поправил на себе пиджак, словно предстояло ему появиться перед начальством.

— Ладно! Отстегнули цепи, и коровы давай носиться вокруг двора, давай скакать с поднятыми хвостами, бодаться от восторга. Едва натешились. На второй день — спокойнее, а на четвертый — нормальная прогулка. Сняли цепи, выкинули стойла, часть кормушек. Свобода! Стоимость ухода за телятами снизилась в три раза, а за коровами — в три с половиной, и молока, между прочим, коровы прибавили. Тридцать пять человек освободелось из животноводства — пошли возить на пашню торф и навоз. Торф и навоз — наш клад.

— А кто эти дурацкие цепи придумал? — спросил Завьялов.

— Кто? — Иван Тимофеевич помедлил с ответом. — Зоотехники, видимо, ученые.. Может, с границы взяли пример, но только для Вологодской области он совсем не подходит: Окреп наш колхоз буквально в один год, потому что и хлеб родился, и трава на лугах, и вика с овсом. А с этой весны районы целиком двинулись в поход на кустарник — с топорами на луга. Фрезой разрушают кочки, дернину рыхлят, режут мелкий кустарничек, бородавки всякие снимают... А за фрезой подсеять начали злаковые и бобовые. Да что там говорить! Ожили. Если вернемся к прежним гравам, повысится жирность молока. А что значит сегодня, к примеру, повысить жирность молока хотя бы на одну десятую процента по всей области? Это триста тонн масла, или чуть ли не восемь миллионов рублей добавочного дохода. Пока на других равняемся, но придет время... Вам не надоело?

Завьялов молча снял со стены картину «Луг с кустарником» и прислонил ее лицом к тумбе стола, но Иван Тимофеевич стал убеждать его: дачникам картина понравится — любят они располагаться на отдых в лугах с кустарником. Завьялов забормотал что-то о живописи и о дачниках. Он был смущен. Теперь он показался мне менее уверенным в себе, чем на пароходе, а Иван Тимофеевич, наоборот, здесь выглядел солиднее — походка увереннее, жесты смелее, голос громче, да и приделся он по праздничному по случаю областного совещания агрономов.

---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Е. ОСЛИКОВСКАЯ

★

## НА СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ

*Прошло тридцать лет с тех пор, как в июне — июле 1930 года состоялся знаменательный XVI съезд Коммунистической партии, съезд развернутого наступления социализма по всему фронту, ликвидации кулачества как класса и проведения в жизнь сплошной коллективизации.*

*В резолюции съезда «О колхозном движении и подъеме сельского хозяйства» говорилось:*

*«Если конфискация земли у помещика была первым шагом Октябрьской революции в деревне, то переход к колхозам является вторым и притом решающим шагом, который определяет важнейший этап в деле построения фундамента социалистического общества в СССР».*

*Сплошная коллективизация была подготовлена целым рядом экономических и политических мер, проведенных партией. Пригодился и опыт, накопленный первыми колхозами, создававшимися в предшествующие годы, задолго до великого перелома.*

*Ниже мы предлагаем вниманию читателей рассказ старого агронома, члена Коммунистической партии с 1919 года Е. С. Осликовской о создании первых колхозов на Украине.*

### 1. СПЕЦ ПО КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

**Н**едавно мне попала в руки моя трудовая книжка. В графе «Занимаемая должность» против 1922 года написано: «Специалист по коллективизации сельского хозяйства».

...В конце лета 1922 года по путевке Одесского губкома КП(б)У я открыла входную дверь в здание губземотдела. То была первая и последняя дверь, виденная мной в этом сером особнячке. Я прошла через несколько зияющих дверных проемов с торчащими петлями, раньше чем попала к заведующему агрономическим отделом, главному агроному Одесского губземотдела Ивану Васильевичу Балашеву.

Поговорил он со мной очень вежливо, но ничего внятного не сказал. Ему, видимо, как и мне тогда, не очень ясно было, что надо делать человеку в моей должности.

В агрономическом отделе я оказалась единственным членом партии, единственной женщиной и единственным неагрономом, да еще обязанным заниматься не совсем понятным делом. По совокупности этих признаков новые сослуживцы встретили меня не очень доброжелательно.

Раньше других завязалась беседа с агрономом-животноводом Михаилом Ивановичем Цурканом. Он-то и поведал мне историю с дверьми.

— Назначили нам, в агрономический отдел, комиссара,— рассказывал Цуркан,— бывшего лица из портового пакгауза. Говорили — в боях он отличился. Возможно. Но в нашем деле ничего не понимал. По его мнению, обязанность агронома в том, чтобы непрерывно писать. Рассадил он нас — агрономический отдел тогда в зале разме-

шался — всех к себе лицом, свой стол поставил как для президиума, положил на стол наган, курил сигарку за сигаркой и следил, чтобы все писали. Как кто-нибудь ручку на стол положит или только глаза от листа бумаги отведет, комиссар сейчас же заметит. «Пишите!» — приказывает... Но вот отдел в это крыло дома перевели, в трех комнатах разместили. Как же за всеми уследить? Тогда наш комиссар велел снять все двери и сдать на дровяной склад. Спустя недельку, правда, и комиссара сняли, а куда его «сдали» — не знаю.

Михаил Иванович умолк. Молчала и я. Пауза неловко затянулась.

— Вы не подумайте только, что я против большевиков вообще. Я раньше всего мужик и всей душой за ту власть, которая мужику землю дала. Я агроном, немало лиха хлебнул в черносотенном бессарабском земстве. Знаю, что сейчас каждому специалисту будет к чему руки приложить. Но я интеллигент, и заставлять работать мои мозги подобным способом глупо, бесполезно!

Он посмотрел на меня, точно хотел убедиться, внимательно ли я его слушаю, потом добавил:

— Да и не все комиссары таковы. Вот в землеустройство товарища Березикова прислали. Так ведь этот человек дело знает! У них и работа движется.

Постепенно Цуркан вводил меня в круг жизни нашего отдела, пересыпая деловые эпизоды бытовыми, а серьезные дела — смешными историями из жизни одесской агрономической корпорации. Лейтмотивом всех этих разговоров было одно: надо скорее дело делать, надо работать.

Мобилизовав весь свой трехмесячный опыт работы в аналогичном амплуа в Киевском уездном земельном отделе, я усердно занялась материалами о колхозах Одесской губернии. В моем распоряжении оказался ворох зарегистрированных колхозных уставов. Начала с изучения названий коммун, артелей, ТОЗов — товариществ по совместной обработке земли. Что это не праздное занятие — я знала. В Киевском уездном отделе к руководству колхозами пробрался какой-то недобитый петлюровец, составляя в то время «приятное» дополнение к эсеровскому засилью в отделе колхозов губернского земотдела. В круг своих обязанностей он включил придумывание названий вновь возникающим колхозам. В этом невинном, на первый взгляд, занятии проявлялась подлая полтика. ТОЗам и артелям он давал «поэтичные» названия. Вот и получили право гражданства в Киевском уезде колхозы с такими названиями: «Шуми, зеленый гай», «Ой у лузи, тай при берези», «Зелененький барвиночек». Много было «бджолок» (пчелок), «вулькив» (ульев) с ласкательными прилагательными и без них.

Названия коммун не были овеяны поэзией, к ним бывший петлюровец подходил с позиций грубой прозы: «Журба» (что значит — заботы, хлопоты), «Голота», «Биднота». На уставе одной из коммун рукой земотделовского спеца было тщательно выписано и такое название: «Один с соншкой, а семеро с ложкой».

В отличие от киевских, названия одесских колхозов присваивались по желанию их организаторов. «Якорь», «Дружба», «Добродетель», «Согласие», «Рукопожатие», «Справедливость», «Братство» — объединения немецких колонистов. На другой стороне стола — еще одна стопка уставов. В их названиях полыхают алые знамена Октября, сияют красные звезды, серпы и молоты крепят союз рабочего класса и крестьянства, прославляются свобода, новая жизнь, новый быт советского крестьянства, вожди революции, герои гражданской войны, поются гимны труду, пролетарской солидарности, интернационализму, величается Советская власть. Три коммуны села Антоно-Кодинцы — «Труд», «Заря» и «Счастье» — объединились в сельскохозяйственную артель «Заря счастливого труда». Можно ли сказать лучше?! Попались и такие, например, названия сельскохозяйственных артелей: имени Генри Джорджа, имени Лютера Бербанка. В организации этих колхозов, несомненно, участвовал какой-нибудь сельский интеллигент, не преминувший козырнуть своей образованностью.

Постепенно из вороха колхозных уставов, из характеристик коммун, артелей, товариществ по совместной обработке земли, по их личному составу, по другим мелким штрихам вырисовывалась общая картина коллективизации сельского хозяйства Одес-

ской области (тогда — губернии). Здесь осенью 1922 года насчитывалось свыше шестисот колхозов. Это были, как правило, мелкие объединения в десять, двенадцать, пятнадцать дворов. Состояли они по преимуществу из бедняков с легкой середняцкой прослойкой.

## 2. ПЕРВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ

Вскоре ко мне, как «специалисту по коллективизации», стало приезжать много людей из колхозов.

В одно прекрасное утро на пороге нашей комнаты появился человек, лицо которого показалось мне очень знакомым. Во взаимных приветствиях мне во всех деталях вспомнились прежние встречи.

Как-то утром, еще до работы, иду я по улицам Николаева, от памятника адмиралу Грейгу к губисполкому. Навстречу представительный дядько в просторной свите из садового сукна, в черной барашковой шапке.

«Настоящий запорожец!» И не успела подумать, как он, остановившись посреди тротуара, преградил мне путь. Обтер рукой рот, поправил усы — так делают в украинских селах мужчины, намереваясь повести серьезный разговор.

— Мені нужна установа одна,— начал он, мешая украинскую речь с русской, и запнулся.

— Яка? — спросила я по-украински.

— Як би я знав!

По тому, как в моем сознании определялись житейские интересы селянина, я начала называть советские губернские установы — учреждения.

— Губземвідділ?

— Ні.

— Губвиконком?

— Ні.

— Губфінвідділ? Губернаросвіта? Губсобез?

Мой собеседник отрицательно качал головой, круг моих ассоциаций иссяк, я замолчала. Дядько подумал, снова обтер усы и с расстановкой сказал:

— Мені нужна така установа, у которой «губ» на конце.

— Опродкомгуб,— выпалила я.

— От, от она самая,— обрадованно заулыбался «запорожец», и мы разошлись своими путями.

Второй раз встретились мы через несколько месяцев на Херсонском уездном съезде Советов. Стало известно, что среди делегатов съезда ведет энергичную работу один селянин из села Киселевки, что уже организована «фракция беспартийных» и выявился ее единодушно признанный руководитель. Председатель уисполкома Николай Кононович Чайка послал меня для разведки дел в этой фракции и «духа» ее руководителя. В фойе херсонского театра я не без труда протиснулась к человеку, ведшему оживленную беседу с группой делегатов. Со спины мне показались очень знакомыми и свитка, и шапка, и посадка головы на широких плечах. То был он — «запорожец».

Мы узнали друг друга.

Председатель фракции беспартийных Михайло Каляка из села Киселевки на том же съезде оказался очень близким к фракции большевиков и в умелых руках Н. Чайки очень помог работе съезда.

При нашей третьей встрече осенью 1922 года в стенах Одесского губземотдела Михайло Каляка был уже членом большевистской партии, председателем колхоза и приехал регистрировать устав своей артели.

Авантажная фигура Михайла Каляки, его спокойная, речь привлекли всеобщее внимание сотрудников агрономического отдела. У председателя колхоза сразу образовалась большая аудитория. Он сел и, точно не замечая любопытных взоров, повел свой рассказ.

Регистрировать устав колхоза приехал Каляка спустя год после его фактического возникновения. Почему через целый год? А потому, что надо было ему, организатору

колхоза, узнать, чем люди дышат, до какой ступени они доросли. Без этого нельзя вести коллективное хозяйство.

Началось с того, что на общем собрании членов комитета незаможных селян села Киселевки в октябре 1921 года постановили организовать сельскохозяйственную артель под названием «Первая Киселевская». В артель решили вступить все двадцать девять членов этого комитета, головой которого в своем селе был Каляка — середняк, недавно вернувшийся с фронта. Но когда дело подошло к выполнению постановления собрания, то есть передаче в общее пользование коней, сельскохозяйственного инвентаря, индивидуальными произведенных озимых посевов, то большинство незаможников отказалось от вступления в колхоз. Только двенадцать семей обобществили живой и мертвый инвентарь, продовольственные и семенные запасы зерна. Свезли все добро на хутор бывшего кулака, землю и постройки которого уземотдел передал артели. Жить остались в своих прежних избах, разбросанных по большому селу.

Голод надвигался во всей своей беспощадности. Разумный, но очень жесткий режим, введенный советом артели в труде и использовании продовольственных запасов, ставил перед артельщиками вопрос о ликвидации артели или выходе из нее.

— Каждого по отдельности и всех вместе по десять раз на день уговаривал. Во рту слюны не хватало. Сам за скотом ходил, всем камыш на топливо рубил, развивал по дворам. Вставал раньше всех, ел позже всех. Самые трудные работы сам делал. Видите, что от меня осталось... — Оттянув обеими руками застегнутый на все пуговицы пиджак из когда-то черного люстрина, он показал, что в него может поместиться еще один человек. — Сейчас уже что, отъелись! — И лицо его озарилось улыбкой, из-под запорожских усов блеснули ровные белые зубы. — На кавунах отъелись, у нас их пропасть, не знаем, куда девать. Приезжайте, нагодуюмо, — он провел рукой по шее, — по горло. — И опять перешел к делу: — Ни один незаможник за зиму из артели не ушел. Я смотрел на них целый год и могу сказать, что артельный устав им больше всего подходит... А какие нужно поправки, мы сами сделаем.

Ранней весной 1923 года я побывала в Киселевской артели, тогда уже сельскохозяйственной артели имени Г. И. Петровского. И на месте убедилась в том, что честь сохранения колхоза как организации, всего его скота и имущества принадлежала дядьке Михайле, его особой энергии, организационным способностям, инициативе и личному авторитету. Его любили и уважали за исключительную справедливость, честность, прямоту и замечательно внимательное, прямо-таки любовное отношение к людям, ко всем без исключения. При всей твердости характера, непреклонной воле в нем проглядывала подлинно братская любовь к человеку. Он говорил о людях почему-то в среднем роде.

— Що воно понимае, що воно бачило на своем веку, хто ёму добро робив?

А «воно» было то старым человеком, то деблою молодой, то рослым парубком.

Все мысли Каляки только и были направлены на то, как людям сделать хорошую, счастливую жизнь. Он стоял обеими ногами на земле и человеческое счастье видел в труде земледельца. Землю он любил всей силой своей цельной натуры, поклонялся ей, как идолопоклонник своему божеству.

Шли мы с Михайлом по степной стежке у самой границы артельного поля. Земля парила в лучах раннего солнца, большой массив колхозной озимой пшеницы легко волновался под дуновением по-утреннему ласкового степного ветра.

— Кабы то все люди поняли, — говорил мне Михайло, — что им может дать земля, они б ей душу и тело отдали. Еще не поняли, потому и бедствуют. И будут бедствовать, пока не поймут. Земля теперь наша, крестьянская, а разве мы с ней, как со своей, обращаемся? Вот хочу сделать, чтобы не мне одному, а всем хорошо было. Только трудно это.

Дядько остановился, надвинул козырек картуза до самых глаз и показал рукой в даль.

— Вот, смотрите!

Нам открылся весь земельный массив артели. Артель имени Петровского по социалистическому землеустройству получила двести десять гектаров. Весной 1923 года взяла в долгосрочную аренду из государственного земельного фонда еще триста гектаров многолетних переделов. На всей этой площади установили шестипольный сево-



оборот. Под озимый посев полностью подготовили черный пар, заложили семенной участок.

— Думаем с хлебом быть,— говорил мне Каляка.

И на самом деле, в 1923 году артель собрала пятнадцать тысяч пудов зерна, в шесть раз больше, чем в предыдущем.

— Цены на хлеб низковатые,— рассуждал председатель колхоза,— потому заводим общественное свиноводство и помогаем членам артели разводить свиней. Беремся и за молочное хозяйство, иначе не будет дохода.

Дядько Михайло уже тогда отлично понимал, что, выражаясь современным языком, без сочетания полеводства и животноводства в артельном хозяйстве толка не добьешься.

Артель имени Петровского своими силами отремонтировала паровую мельницу и кузницу. Оба предприятия обслуживали все село на выгодных и для артели и для населения условиях. Число желающих стать колхозниками росло с каждым днем. Но в колхоз, по «установке» Каляки, принимали не столько с выбором, сколько с выдержкой.

— Хай, походить и подвытаться. Хай подумае, чтобы не было, как с теми первыми комнезамами, которые за колхоз голосовали руками, а как дошло до дела, так они заголосовали ногами.

Каляка был убежден в том, что самого ледящего, как он говорил,— самого лодыря — он все равно рано или поздно научит и заставит работать.

— Нельзя только допустить такого человека до думки, что в нем колхоз нуждается. Пусть поймет, что он в колхозе нуждается. Тогда мы с любого лодыря человека сделаем. А от этого честь нашей артели будет, авторитет!

В авторитетности артели для окружающих единоличников Михайло Каляка видел главное средство убеждения, единственно верный способ вовлечения в колхозы бедняцких и середняцких слоев крестьянства.

Каляка не допускал мысли, что артель может обособиться от своего села. Он всеми силами крепил с ним хозяйственные и культурные связи. Артель с селом была связана самым тесным образом, влияние ее на все стороны сельской жизни очень велико. Артель на свои средства оборудовала школу для детей всего села. Газеты и литературу, приобретаемая артелью, тоже предоставлялись в распоряжение всех селян.

Еще важнее то, что на общественных и административных должностях в селе работали члены артели. Каляка следил за общественной деятельностью каждого колхозника так же зорко, как и за его повседневной работой в поле. Он учил селян честности, боролся с пьянством. Рассказывая мне об этой стороне жизни артели, подчеркивал, что руководить артельным хозяйством, а особенно людьми в артели, может только тот человек, который имеет всеобщее доверие и уважение. Сам дядько пользовался непрекаемым авторитетом в артели и во всем селе. Его слово — закон. Ни одного своего указания ему повторять не приходилось: трудовая дисциплина в артели — замечательная. Корни своего авторитета сам Каляка видел в личном примере. Он продолжал выполнять самые трудные организационные задания и самые трудные физические работы. От него никто не хотел и не мог отставать.

### 3. ТОВАРИЩИ ПО РАБОТЕ

Но вернусь несколько назад. Постоянные посещения, а иными днями просто «нашествие» представителей колхозов приковало внимание к колхозным делам всего агрономического персонала губземагдела. Коллеги по работе начали мне помогать. Из соседней комнаты стал все чаще заходить Василий Алексеевич Бертенсон. Из уст Цуркана я узнала, что этот кругленький, небольшого роста человек с пушистой бахромкой седеньких волос вокруг розовой лысины, в очках с большими выпуклыми стеклами был крупным лицом в департаменте земледелия царской России. Из личного же общения с ним убедилась, что это ходячая агрономическая энциклопедия. Когда попозже, спорта ради, мы обращались к В. А. Бертенсону с самыми заковыристыми вопросами, ни один из них не оставался без досконального ответа.

Из других товарищей по работе наиболее близко я подружилась с Василием Семеновичем Березовиковым и еще с одним из самых культурных и по-советски грамотных специалистов Одесского губземотдела — Петром Михайловичем Коганом. Здесь я нашла людей с большим кругозором и знаниями, до уровня которых мне нужно было еще тянуться и тянуться. Решила для себя этот вопрос практически: надо учиться, стать агрономом.

Осенью 1922 года я была принята на первый курс Одесского сельскохозяйственного института.

В то время в селах Одесской губернии уже шло землеустройство. Реализация ленинского декрета и последующих советских законов о земле достигла самого главного и самого сложного этапа. За каждым селением закреплен массив земли, его размеры установлены в соответствии с количеством жителей — отбита красная черта, как тогда говорили. А теперь предстояло наделить землей каждый крестьянский двор по сумме душевых наделов, на каждого едока в семье.

Форму землепользования свободно выбирало общее собрание всех землепользователей, сельский сход, по тогдашней терминологии. Наиболее прогрессивной — из рекомендованных в законодательном порядке — являлась участково-чересполосная с общественным севооборотом. Мой «просветитель» в области землеустройства В. С. Березовиков очень убедительно растолковал мне ее преимущества. Чтение ночами напролет литературы на эти темы создало у меня некоторый запас знаний для того, чтобы не только уверовать в правоту идеи, но и «исповедовать» ее, то есть убеждать в ней и других.

Самые же горячие мои интересы лежали в той области, в которой работал тогда в Одесском земельном отделе Петр Михайлович Коган. В степной зоне Украины усиленно реализовались ленинские указания о том, чтобы пролетарии и полупролетарии деревни добивались создания из каждого достаточно крупного помещичьего имения образцового хозяйства, которое велось бы на общественный счет Советами депутатов от сельскохозяйственных рабочих под руководством агрономов и с применением наилучших технических средств.

В степных помещичьих латифундиях, исчисляемых тысячами гектаров, организовывались совхозы. По предложению одесских агрономов, при поддержке губкома партии, основная группа совхозов создавалась в степной левобережной части Украины; более мелкие помещичьи имения на правобережье предоставлялись в основном в распоряжение крестьянства, объединяющегося в колхозы.

По пути из Одессы в Николаев лежало имение помещика Сухомлинова. Более двенадцати тысяч десятин земли тянулось вдоль степной дороги десятками километров. О необходимости владений этого царского сатрапа картинно рассказал мне старичок, которого мы подвезли до ближайшего села во время одной из поездок по колхозам. Сидел старик на тряской земотделовской брнке, крутил «козью ножку» и монотонно рассказывал мне о недавнем прошлом.

— Годов с пятью тому иду я этой дорогой. Один день иду та спрашиваю: чья это земля? Говорят: это земля Сухомлина. Другой день иду, спрашиваю: чья это земля? Говорят: земля Сухомлина. Третий день иду: чья земля? Говорят: земля Сухомлина. Четвертый день: чья земля? Говорят: земля Сухомлина...

Сколько дней он шел бы еще, если б «операция» по изготовлению «козьей ножки» не закончилась, трудно сказать. Но вот старик взял цигарку в рот, ловко облизнул мундштучную часть, переложил кончиком языка в уголок рта и вдруг широко развел освободившимися руками.

— Стал я та пытаю: а где же крестьянская земля?..

При реализации советских законов о социалистическом землеустройстве земли хватало и для наделения местных крестьян, и для переселенцев с аграрно перенаселенной правобережной Украины, и для создания совхозов.

В своих стремлениях посеять побольше хлебов на лучших землях наши агрономы дошли до того, что прихватили около десяти тысяч целинных земель заповедника Аскания-Нова и засеяли пшеницей. Академик Михаил Федорович Иванов — в те времена научный работник заповедника — в официальной телеграмме назвал за это

Петра Михайловича Когана варваром. Но не очень убедительной показалась тогда нам такая грозная квалификация этого «преступления»: ведь единственное, что мы хотели, это накормить истерзанную страну хлебом.

— Если погода не подкачает, получим много хлеба. Сможем кое-что продать за границу в обмен на машины,— говорил Петр Михайлович.— Хлеб товарный дадут совхозы. Не крестьянские хозяйства, а государственные крупные предприятия,— подчеркивал он.

Разговоры о продаже хлеба за границу меня очень волновали. Во всей остроте вставала в памяти осень 1919 года на деникинском фронте, и у меня по-цинготному, как тогда, начинали ныть десны, вспоминались и все ужасы голодной зимы 1921/22 года в Херсоне и Николаеве. Но вот не прошло и двух лет, а уже хлеб для продажи за границу имелся!

Вскоре я встретила еще с одним крупным одесским агрономом, Исаем Михайловичем Орловым. Он тоже оказался убежденнейшим сторонником крупного сельскохозяйственного производства и также говорил о необходимости экспортировать хлеб, хотя бы отрывая от своих ртов, потому что нужны машины — без машин не может быть крупного рентабельного производства.

Таковы были твердые убеждения лучших агрономов старой школы. Они владели не только техническими знаниями, они знали и экономику сельскохозяйственного производства и понимали экономическую политику Советского государства.

Присматриваясь и прислушиваясь, я убеждалась в ясности путей развития совхозов. Но хорошо было П. М. Когану потирать от удовольствия руки, а что делать мне, еще недоучившемуся агроному, на ниве колхозного строительства, где что ни шаг, то уравнение высших степеней со многими неизвестными! Создавать колхозы и постепенно пополнять их состав за счет единоличников или объединять мелкие, начинать с товариществ по общественной обработке или с машинных товариществ? Как помирить добрые намерения группы крестьян объединиться в колхозы с разбросанностью их наделов?

#### 4. КОЛХОЗЫ В НАТУРЕ

Пришла весна 1923 года, ранняя и жаркая. Полевые работы развернулись сразу.

Выехала я в первую командировку на земотделовской пароконной бричке, с сонным возницей на козлах. Солнце палило немилосердно. Долго тряслись по улицам Пересыпи и по берегу Одесской бухты. Потянулись совсем неказистые строения. Вот и конец города.

На выезде — войсковой караул. Караульная будка в белых и черных широких полосах с красными прожилками между ними изрядно облиняла. Ошибиться в ее назначении — невозможно. Но будка не стояла, а лежала у самой наезженной, пыльной колеи.

Когда наша бричка поравнялась с будкой, из ее нутра раздался хриплый от долгого, безмятежного сна голос:

— Кто едет?

А вслед за этим из будки выглянула всклокоченная голова в старой буденовке. Часовой посмотрел на нашу бричку, почесал грудь собранной в кулак старой гимнастеркой и деловито сказал:

— Земотделовские? Проезжайте!

Возвращаясь в прежнее положение, в скупую тень опрокинутой набок будки, часовой scomандовал нам более мягким голосом:

— Проезжайте, проезжайте свободно.

Миновав караульный пост, мы поднялись по желтой глиняной горе, и сразу открылась гладь тихого голубого моря.

Коммуна «Любовь к труду», куда я держала путь, считалась одной из самых лучших на Одессине. От уездного земельного отдела она получила четыреста пятьдесят десятин земли и нетрудовые владения немецких колонистов-полупомещиков. Все жилые и хозяйственные постройки поселка составляли резкий контраст с окружающими

глиняными мазанками степных селений. Электрическое освещение, культурные земли, большие урожаи — все это привлекало к коммуне внимание окружающего крестьянства.

В члены коммуны принимали людей по рекомендациям сельской партийной ячейки или комитета незаможных селян. Каждый вновь вступающий в коммуну знакомился с ее уставом, порядками, внутренним укладом жизни. Некоторых принимали на испытание, другим предлагали сперва пожить, самим посмотреть, что и как. Формально прием новых членов в коммуну производился первого октября и первого апреля каждого года. Отступление от этих правил допускалось только для демобилизованных красноармейцев.

Хозяйство коммуны, руководимой товарищем Редченко, быстро шло в гору, несмотря на то, что с первых шагов существования на ее долю выпали тяжкие испытания. В 1921 году яровые посевы пропали полностью, на следующий год эпидемия сапа унесла два десятка лошадей. Коммунары быстро преодолели эти невзгоды. В 1923 году коммуна собрала десять тысяч пудов зерна вместо двух с половиной тысяч в предыдущем.

Наряду с расширением посевов в коммуне поднималась культура производства. Твердо проводился в жизнь принятый шестипольный севооборот, в 1923 году появились первые тракторы. Хорошо поставили коммунары молочное хозяйство, свиноводство и птицеводство. Живогные содержались в образцовейшем порядке, под наблюдением ветеринарного врача. В коммуне отлично работали кожевенная, сапожная, шорная, плотницкая мастерские, кузница. На полном ходу была паровая мельница и кирпичный завод.

Производственной деятельностью, всей жизнью коммуны руководил совет в составе четырех человек. Члены совета обязательно выполняли физические работы и являли пример аккуратности, дисциплины и мастерства. От непосредственного участия в производстве освобождались только два человека: фельдшерница и учительница — воспитательница детского дома.

Женщины в порядке трудовых обязанностей обслуживали бытовые нужды коммунаров. Они по очереди несли недельные дежурства на кухне, в прачечной, в пекарне. Одну неделю в месяц каждая женщина освобождалась от каких бы то ни было общественных работ для наведения порядка по дому.

В коммуне полно и разумно использовался труд всех работоспособных. Затраты труда учитывались в рабочих часах и точно относились на счет определенной отрасли хозяйства.

В коммуне был заведен строгий распорядок дня. О начале и конце работы, о завтраке, обеде, ужине извещали звонком. В первую очередь кормили в общественной столовой детей. Для них готовили улучшенную пищу, хотя и для взрослых питание было отличное.

В отношении жилья положение было тоже довольно благополучное. Каждая семья имела отдельную, уютно обставленную, очень чистую комнату. Молодежи предоставлялась возможность жить самостоятельно, отдельно от родителей, — в общежитиях для девушек или юношей. Дети жили вместе с родителями и только на день уходили в детский дом. Но к тому времени, то есть к 1923 году, общее собрание коммунаров решило оборудовать детский дом так, чтобы его воспитанники могли находиться там на протяжении всей недели. У коммунаров была своя школа, клуб, библиотека, театр.

Коммуна «Любовь к труду» пользовалась большой популярностью в своей округе, к ее руководителям крестьяне из окрестных сел обращались по всяким делам, вплоть до разбора семейных конфликтов, улаживания бытовых неурядиц.

Чем больше колхозов я видела в натуре, тем глубже приходилось задумываться над выбором наиболее коротких путей перестройки крестьянского хозяйства.

Одни колхозы держались на непререкаемом авторитете председателя, как в артели имени Петровского; другие — на строгом внутреннем распорядке; третьи — на более высоком по сравнению с окружающим материальном уровне жизни колхозников. Но во всех случаях успехи наших первых колхозов дорого стоили их руководителям, активу, в первую очередь коммунистам. И где найти на каждый колхоз или хотя бы на каждое

село по одному Редченко или по одному Каляке, где взять людей, так бесповоротно уверовавших в правильность колхозного пути для трудового крестьянства? Откуда позаимствовать, причем во множестве, таких блестящих организаторов, массовиков, таких сподвижников, какими являлись первые председатели первых наших колхозов?

Эти вчерашние крестьяне-единоличники сумели отречься от своей мужицкой сути, с корнями вырвать из своей души собственника. Они выбрали надежные тропы к организации общественного хозяйства. Собственными силами они одели в плоть и кровь великую ленинскую идею о перестройке мелкого единоличного крестьянского хозяйства в крупное общественное.

Вывод напрашивался один: надо искать более простые, более доступные всей массе трудового крестьянства формы общественного ведения хозяйства, надо искать и умело использовать рычаги экономического воздействия на крестьянское хозяйство на путях его социалистической реконструкции.

Анализ материалов показывал, что в селах на Одессине разбухает середняцкая прослойка, что эта группа год от году увеличивается. Но процесс этот идет очень медленно. Пока безлошадных сорок пять процентов, без малого половина хозяйств.

Среди бедняцких хозяйств обозначились две группы. Первая — это беспосевные или почти беспосевные хозяйства. Они сдавали весь свой надел в аренду на очень невыгодных, часто кабальных условиях, а сами искали место для продажи своей рабочей силы. Вторая группа вела собственное хозяйство, но с наймом лошадей у односельчан, располагающих излишками конной тяги. Трудно сказать, чье положение было лучше, чье хуже.

Спрос на аренду земли увеличивался. Аренда — полностью или частично — земельного надела у бедняка стала присуща не только кулацкому хозяйству. Арендовать землю у сельской бедноты начали и середняки.

В наших степных деревнях создавалось парадоксальное положение: крестьянин-бедняк, союзник и опора рабочего класса в борьбе за победу и становление Советской власти, бедняк, который получил землю из рук победившего пролетариата, ею не пользуется. Долгожданная земля не стала его кормилицей. Она в его руках только разменная монета. За нее он покупает у середняка или кулака немного хлеба и то на очень невыгодных условиях. Значит, раньше всего надо добиться, чтобы бедняк — а это ведь добрая половина крестьянства — овладел полученной землей.

## 5. ЧТО НИ ШАГ — ПРОБЛЕМА

В феврале 1923 года из США через Одесский порт прибыла первая партия тракторов. Их было всего шестьдесят штук, шестьдесят легких колесных тракторов — «фордзонов».

Тракторы продавались через губземотдел. В те времена это была довольно дорогая машина. Продавать ее крестьянам по тогдашнему финансовому положению нашего молодого государства приходилось за наличный расчет, а это было не так уж просто. В одиночку купить трактор мог только кулак. Но не о нем же пеклась Советская власть. Пришлось искать организационные формы для продвижения трактора в крестьянское хозяйство. Такой формой в масштабе всей Украины оказались машинные товарищества, получившие довольно большое распространение и в Одесской области.

Моему знакомству с машинными товариществами предшествовали такие обстоятельства. Летом 1923 года я взялась за выяснение одного давно мучившего меня вопроса: что на деле представляют собой товарищества по общественной обработке земли? Я задалась целью убедиться воочию, что это такое. Пришлось здорово исколесить степные колонии.

Однообразен ландшафт причерноморской степи, однообразны селения немецких колонистов, на один образец оказались и их кооперативные объединения. Это — большая семья, в которой женатые сыновья и замужние дочери жили и раньше на положении полубатраков, во всяком случае в полной экономической и всякой другой зависимости от родителей. Всем и всеми управлял старший в роде, называли его каким-то немецким

словом, близким русскому слову «патриарх». В его подчинении было шестнадцать—восемнадцать взрослых трудоспособных и несколько подростков. Вот такая-то кулацкая семья, привыкшая к ряду привилегий при царском режиме и многое потерявшая с приходом Советской власти, «преобразилась» в признанную советским строем первичную кооперативную организацию. Под прикрытием кооперативного устава она обретала возможность удержать под видом образцового хозяйства побольше земли или сохранить излишки скота под видом племенного рассадника.

Собрала я убедительные сведения об истинном лице колониетских товариществ по общественной обработке земли, показала его в Одесском губкоме. Обсудили этот вопрос всесторонне, а затем распоряжением губзема все лже товарищества были ликвидированы. Удобно устроившиеся под сенью советских законов кулаки стали вновь единоличными хозяевами.

Поднялась буря. Кулаки из «Якоря», «Надежды», «Рукопожатия», «Добродетели» возопили о справедливости и стали требовать, чтобы сверх уз семейных связей их узам устава... со всеми присущими колхозам льготами и преимуществами.

Не добившись ничего в Одессе, обиженные «колхозники» поехали жаловаться в Харьков, в Наркомзем Украины.

Жалобы шли прямо на меня как на человека, который якобы неправильно оценил кооперативный «порыв культурных хозяев» и не понял существа их коллективной организации. Меня вызвали в Наркомзем, в отдел колхозов. Здесь я впервые встретилась с Марией Николаевной Скрыпник, с которой у нас с первого же свидания завязалась долготелая деловая дружба.

Мария Николаевна тщательно и придирчиво по отношению ко мне разобралась в «обиде», будто бы нанесенной немецким колониетам, в причиненном им и, как они писали, всей Советской власти хозяйственному уроне. А убедившись в моей правоте, позвала меня к себе домой и оставила обедать.

Разговор за обедом крепко засел в моем сознании. Уже и тракторы и машины идут в деревню, но все равно они попадают в руки самой небольшой кучки крестьянских хозяйств, совсем не тех хозяйств, которым какими-то большими экономическими и организационными мерами надо помочь овладеть землей, долгожданной землей, не принесшей пока им радости.

Возвратилась я из Харькова и снова поехала по селам в поисках ответа на вставшие в порядок дня новые, не менее волнующие вопросы.

В чьих же фактически руках оказались через один только производственный сезон тракторы, приобретенные весной машинными товариществами?

Все говорило о том, что вновь появившимися в советской деревне тракторами владеют всё те же лжеколлективные «Якори», «Надежды» и «Добродетели», какие владеют излишками земли и племенным скотом, протягивают руки к продаваемым локомотивам, сельскохозяйственным машинам, к аренде мельниц, крупорушек, маслобоек, к другим лакомым кусочкам.

Такие тенденции довольно просто улавливались на глаз. Но и мои экономические наблюдения говорили о том же. В 1923 году на Украине крестьянские хозяйства без посева и с посевом до одной десятой составляли более восьми процентов, а с посевом от одной до трех десятых — двадцать пять процентов. Другими словами, треть крестьянских хозяйств степной зоны Украины имела менее трех десятых посева. Количество хозяйств с одной головой продуктивного скота составляло тридцать шесть процентов, а без всякого продуктивного скота — более сорока процентов. Из-за недостатка рабочего скота и собственного инвентаря эта группа крестьянских хозяйств обрабатывала свою землю очень плохо, в лучшем случае одно хозяйство производило сто двадцать — сто пятьдесят пудов хлеба в год.

Что же делать?

Партия поручила думать об этом нам, то есть коммунистам, которым доверила заниматься перестройкой крестьянского хозяйства — коллективизацией.

Вскоре меня вызвали в губком, и здесь пошел разговор о переходе на другую работу — во вновь организуемый Одесский сельскохозяйственный банк в качестве заведующей инспекцией. Предстояло палатить финансовую помощь крестьянскому хозяй-

ству, а через нее воздействовать на колхозы как в организационном, так и агрикультурном отношениях. Общие контуры предстоящей работы показались мне очень заманчивыми, и я согласилась. Хотя, по правде сказать, мало тогда нас спрашивали о вкусах, склонностях, желаниях. Надо выполнять новое задание партии, нужны для этого люди, губком нашел подходящей мою кандидатуру — вот и все, а мне оставалось одно: думать о том, как получше там приложить свои силы.

## 6. НАДЕЖНЫЕ ТОЧКИ ОПОРЫ

В Одесском губсельбанке образовался крепкий коллектив. Собрание акционеров — учредителей банка — избрало председателем правления Николая Михайловича Демьяненко, члена партии с 1917 года, человека с солидным боевым опытом гражданской войны, убежденного сторонника колхозов, причем не только теоретически.

Н. М. Демьяненко был одним из инициаторов создания в Запорожской области известной в те времена коммуны «Незаможник». Он обладал замечательным качеством руководителя: с особым вниманием, уважением и полным соблюдением «авторских прав» относился к инициативе и деловым предложениям любого работника и никому не мешал действовать за свой страх и риск, лишь бы все шло на пользу делу.

Инспекторский состав, которым мне предстояло руководить, сложился из двух взаимно дополняющих друг друга групп — агрономов и кредитников. Бывшие инспекторы Общества мелкого кредита, привыкшие считать каждую копейку, не раз по-деловому поливали холодной водой наши горячие агрономические головы, когда мы переходили рамки реальных возможностей преобразования крестьянского хозяйства.

Душой губсельбанка и особенно его агрономической части был заместитель председателя правления, руководитель операционного отдела банка Исая Михайлович Орлов. Сын сельского учителя, он получил среднее образование в Самарском сельскохозяйственном училище, работал в Поволжье, потом агрономом; уже умудренный опытом, переехал на юг и обосновался в Одессе. Орлов в равной мере знал крестьянское хозяйство и крупное помещичье производство, кустарные промыслы и промышленные предприятия в сельском хозяйстве, торговое дело. «Обновленная земля» Гарвуда в переводе К. А. Тимирязева была любимой книгой Исая Михайловича. Еще до первой мировой войны он побывал в Америке и являлся горячим сторонником широкого возделывания кукурузы, всестороннего ее использования, особенно на корм скоту в степной полосе Украины. По инициативе и под постоянным присмотром агронома Орлова на крестьянских землях Одесской области в 1926 году впервые появились массовые посевы кукурузы на зеленый корм.

Исай Михайлович держался собственной, глубоко продуманной системы финансового воздействия на крестьянское хозяйство. Он считал, что кредитование индивидуальных бедняцких и даже середняцких хозяйств ведет к полной изоляции мелкого производителя от машинной обработки земли и тем более от пользования машинами в других отраслях хозяйства. По его глубокому убеждению, крестьянину без машин на ноги не стать, покупать же машины дорого, их мало, к тому же машина в мелком хозяйстве — тяжелое бремя. А ждать, когда эти экономически слабые крестьянские хозяйства станут на ноги, безнадежно или очень долго. Значительно раньше их «слопают» богатеи. «Доки солнце зійде — роса очі виїсть», — говорил Орлов.

Вскоре весь наш коллектив сошелся единодушно на том, что основной нашей клиентурой будут колхозы всех форм и степеней обобществления и что кредитование колхозов надо построить так, чтобы каждая ссуда, особенно долгосрочная, прочно связывалась с агрономическим воздействием на экономику кредитуемого хозяйства. Предел наших стремлений тогда состоял в том, чтобы возврат ссуд не приводил хозяйства к исходному положению, не тормозил бы его укрепления. Было немало печальных фактов, когда для возврата кредита бедняк, а нередко и середняк, вынужден был продать лошадь, купленную за счет ссуды. Но добиться экономической эффективности кредита можно было при условии полной ясности ресурсов хозяйства ко времени возврата ссуды и тех мер, которые надо предпринять, чтобы погасить ссуду, не касаясь основных

средств производства колхоза. Так возникла мысль о необходимости финансового планирования кредитруемых колхозов.

Коллективными усилиями нас, агрономов, под непосредственным присмотром Исае Михайловича, собственноручно исправившего стилистические и грамматические огрехи авторов и машинисток и заодно расставившего по должествующим местам все знаки препинания, родился производственно-финансовый план колхоза. Бланк для его составления был напечатан типографским способом и выдержал несколько изданий<sup>1</sup>.

По поводу этого документа наслушались мы немало всяких «комплиментов». Обвиняли нас в бюрократизме, в ненужных выдумках, недопустимом вмешательстве во внутренние дела крестьянского хозяйства. Наш коллектив оставался непоколебимым в убеждении полезности такого начинания. Время принесло признание. Приоритет составления документа, глубоко вошедшего в практику колхозной жизни, остался за агрономическим коллективом Одесского сельскохозяйственного банка.

Первая же попытка планировать деятельность колхозов принесла несомненную пользу. Появилась возможность наблюдать и анализировать тенденции развития колхозов. Многие из нас быстро уяснили для себя одно важное обстоятельство: кредитная помощь мелким колхозам так же нерентабельна, как и мелким единоличным крестьянским хозяйствам. А из шестисот кредитруемых Одесским губсельбанком колхозов подавляющее большинство мелкие — десять, двенадцать, пятнадцать дворов. Все же они, вместе взятые, объединяют лишь около одного процента крестьянских хозяйств губерний. Это капля в море. Обольщать себя надеждой на то, что колхозы будут возникать быстро и сами собой, было по меньшей мере наивно.

Как я уже говорила, на Одессине шло довольно быстро внутриселенное землеустройство. Организацию колхозов надо было связывать с этой важной политической и народнохозяйственной мерой, вовлечь бедняцкие и середняцкие слои деревни в простейшие объединения и отвести им землю в одном массиве. В процессе проведения землеустройства сельским коммунистам, комитетам незаможников, агрономам и землеустроителям без особого труда удавалось на сельских сходах добиваться решения в пользу участково-чересполосной с общественным севооборотом. Эта форма землепользования становилась господствующей в степной зоне Украины.

Нам, агрономам, работникам кредитной системы, земельное общество с общественным севооборотом представлялось наиболее удобной формой. Она позволяла ввести в массовом масштабе ряд организационных и агротехнических мер, так как государственная кредитная помощь, дифференцированная по размерам, срокам и условиям, могла бы уравнивать в известной мере бедняцкие хозяйства с середняцкими; нельзя забывать, что центральной фигурой земледелия в то время был середняк. Далее, такое производственное объединение строилось по принципу совместного пользования землей и таким образом связывало каждого крестьянина со всем коллективом, пусть даже самым примитивным образом, и, наконец, имело ряд неоспоримых данных для того, чтобы со временем перерасти в крупное хозяйство путем постепенного обобществления средств производства и производственных процессов.

Доводы в пользу этой простейшей формы массовой организации крестьянских хозяйств, прямо вытекающей из советских законов, были очень вески. На этом мы сошлись единодушно. Теперь предстояло подобрать объект для первого эксперимента.

После долгих суждений выбор пал на Сычавку — село в тридцати пяти верстах от Одессы, у берега Черного моря.

Всю практическую работу добровольно взяли на себя два агронома: недавно перешедший в губсельбанк Александр Игнагьевич Новицкий и я. Мы детально изучили все материалы о Сычавке по литературным и отчетно-статистическим источникам; по личным свидетельствам одесских агрономов. Вот о чем они говорили. В состав Сычавского земельного общества входило четыреста сорок хозяйств. За обществом закреплено около шести тысяч десятин земли. Внутриселенное землеустройство в Сычавке после

<sup>1</sup> Сохранившийся у меня чистый бланк такого плана второго или третьего издания передан в Музей революции СССР.



принятия участково-чересполосной формы землепользования с общественным шести-польным севооборотом закончилось ранней весной 1925 года.

Приехали мы с Новицким в Сычавку к вечеру. Председателя земельного общества не застали ни дома, ни в сельсовете. В лицо мы его не знали, решили поискать по селу. Кто-нибудь поможет же найти голову земгромады — Белоуса.

От первого встречного узнали, что Белоус как раз сейчас читает лекцию в Доме крестьянина. Мы пошли туда. Помещение бывшей лавки, из которого убрали полки и прилавки, превратилось в лекционный зал. Стояли самодельные скамейки. На торцовой стене висел красный флаг, по бокам плакаты, в том числе плакат, неизгладимо запечатлевшийся в памяти всего поколения участников гражданской войны, с лаконичным текстом: «Ты записался добровольцем?» Впереди возвышалось некоторое подобие кафедры, сколоченной из каких-то элементов лавочного оборудования.

В аудитории не очень густо, на лавках сидело человек двадцать мужчин разных возрастов. Я принялась внимательно слушать лектора, ведь это лицо, от которого очень многое зависело в успехе нашего эксперимента.

— Все предметы делятся на одушевленные и на неодушевленные, — говорил лектор. — До одушевленных предметов относятся: человек, конь, корова, извините, свинья... Теперь скажем про неодушевленные. До них надлежит: стол. — И лектор указал на него пальцем. — И эта штука. — И лектор хлопнул рукой по кафедре. Потом перевел взгляд на ведро с водой, стоявшее на перевернутом вверх дном ящике. — Ведро. От, эти лавки. — Больше ничего не попало ему на глаза. Лектор помолчал немножко и скороговоркой добавил: — Ну и прочее.

В это время кто-то меня дернул за рукав. Оглянулась — Новицкий. Он шепнул: «Нашел Белоуса». За его спиной я увидела молодого коренастого человека, из-под фуражки выбивался вихор русых волос, а в вырезе пиджака виднелась сильно поношенная тельняшка. Мы вышли в коридор. Белоус посмотрел на меня светлыми голубыми глазами, полными ума и энергии.

— Батьку моего слухали? — спросил он.

— А я думала, что слушаю лекцию Белоуса — головы земгромады.

— Та ні. То батько. Их на все курсы посылают. Они поедут в Одессу, побудут с месяц, а потом все по лекциям ходят. А знаете, как их люди слушают! Только, я думаю, не за лекции, а за их доброту та честность. Батько из-за тех лекций все хозяйство запустил. Маты говорят, как бы я с флота не вернулся, не знают, шобь есть стали.

Так мы дошли до Белоусовой хаты. Сели на завалинку и повели первый разговор с Иваном Васильевичем Белоусом о том, что нужно делать, чтобы бедняцкие крестьянские хозяйства села Сычавки поставить на ноги, приохотить заниматься землей, вылезти из беды, из голодухи.

Уже и солнце закатилось, от моря повеяло более чем приятной прохладой, а мы еще и с той доли вопросов не обговорили.

На заре выехали в поле смотреть земли. Нашим взорам открылся громадный степной массив с совершенно выравненным рельефом.

— На таком плацу какие хочешь узоры рисуй, — сказал председатель кредитного общества Гжибовский, продолжая вчерашнюю тему о том, что земельные владения Сычавки позволяют хорошо решить все вопросы, связанные с введением правильного севооборота.

— Пока узоры плохие, — заметил Новицкий, так и впившись глазами в полевую даль. — Пока узоры очень плохие, — повторил он, медленно поворачиваясь вокруг своей оси и прикрывая ладонью глаза от ярких лучей солнца. — Вы смотрите, что здесь делается: там клочок, здесь клочок, пшеница, кукуруза, яровые, озимые, пар... Это даже не шахматы — мозаика какая-то на стенах древнего храма! Какого — не могу сказать, но что мозаика — это факт. Вот попробуйте здесь правильный севооборот вводить, — недовольно бурчал Александр Игнатьевич. — Давайте планы, Иван Васильевич!

Ваня Белоус достал запрятанную под сиденьем брички потертую папку и вынул из нее новенькие, хрустящие свежим крахмалом листы синеватой кальки. Разложили планы бережно на земле, ориентируясь по странам света, и Новицкий взял инициативу в свои руки.

— Вот смотрите, как идут поля севооборота. Вот их границы, а теперь найдите мне в натуре такое поле, которое сейчас, накануне взмета пара, и уже не раннего, оказалось бы свободным от озимых посевов. Давайте обойдем поля севооборотов, постараемся установить, на каком из них меньше всего озимых...

Далеко за полдень общими усилиями установили наконец, с какого из полей севооборота лучше всего начать претворение в жизнь идеи культурного земледелия. Другими словами, выбрали в натуре одно из шести полей принятого и нарезанного шестипольного севооборота. Выбор был обусловлен одним признаком: наименьшее количество озимых посевов, и все же оно не было совсем свободно от «шматочков» озимины.

— А что будем делать с посевами озими при сплошном подъеме пара? — спросил Белоус.

Вопрос этот заставил вновь сосредоточить наше внимание на задаче, имеющей много способов решения. Новицкий был беспощаден в своих агрономических устремлениях.

— Надо запахать и оплатить за счет общества все расходы хозяину, — безапелляционно заявил он. — При таком жестком требовании к соблюдению правил севооборота сразу упадет охота нарушать его в будущем.

Новицкого поддерживал и Гжибовский. У меня, по совести говоря, не хватало духу на такую крутую меру. Ведь, что называется, вчера ломоть хлеба был недостижимой роскошью для многих, для каждого из нас, а тут взять да и запахать уже идущую в трубку отличную пшеницу. Ваня Белоус подошел к этому вопросу наиболее мудро. Он предложил в каждом отдельном случае исходить из социального признака.

— Ведь сейчас мы не знаем, кому принадлежит посев. Бедняка, может быть, и уважим.

Поле отобрано; теперь за малым остановка — надо поднять пар на «шматках», на мелких полосках в одну шестую часть крестьянского надела, размер которого определялся пятью—десятью гектарами.

Собрали общее собрание комитета незаможных селян, затем общее собрание всех безлошадных, потом отдельно всех лошадных хозяев, далее — членов кредитного товарищества и, наконец, законодательный для тех дел, которыми мы занимались, сход земельной громады. Всюду говорили, уговаривали, объясняли, убеждали.

— Вот тут без моего батька не обойтись, — сказал как-то Ваня Белоус. — Надо его на подмогу зазвать.

Старому Белоусу наши затеи сразу легли на душу. Назавтра, тщательно проинструктированный Новицким, он читал в Сычавском сельбудинке лекцию о сухом земледелии, о преодолении пагубного действия засух в причерноморских степях, а через несколько дней превзошел своего агрономического консультанта в искусстве чтения лекций на эти темы. Старый Белоус вооружился наглядными пособиями. На его лекторской «кафедре» стояла широкогорлая молочная бутылка, на одну треть наполненная водой и заткнутая обернутой в тряпочку пробкой. В соответствующем месте своей лекции он брал бутылку в руки, заверял своих слушателей в том, что вода из бутылки уже выходить собралась, «аж росой на стенки легла», но она никуда не денется, потому что горлышко бутылки закрыто.

— Так и в пару, когда вы сверху землю бороной заворушите, той крошкой все дырочки позатыкаете в ка-пил-ля-рах...

Слово «капилляры» он произносил по слогам, с расстановкой, подчеркивая не столько важность явления, сколько уважение к непонятному слову.

— Не забороните пары, не зничтожите корку, не закроете дырочки в ка-пил-ля-рах вся вода — фур-р... и пойдет на самое небо. Не верите, вот посмотрите...

Лектор вынимал из брючного кармана другую бутылку, назначение которой ни у кого не вызывало двух мнений, картинно переворачивал пустой шкалик горлышком вниз и продолжал:

— Влага, не прикрытая рыхлым слоем земли, препятствующим испарению ее по капиллярам, из почвы испаряется без остатка. Видите, пустая, зовсим пустая... — И бережно опускал «наглядное пособие» на привычное место, в карман.

Хотя между процессами испарения жидкости из шкалика и испарением влаги из почвы трудно было установить аналогию, тем более научную, но лекторский прием хорошо воспринимался аудиторией.

После изложения «теории» вопроса Василий Дионисович Белоус переходил к практике и давал дельные советы о том, кому у кого лошадей нанять, кому с кем супругу составить, с какого «кутка» вспашку начинать. Затем следовала серия рекомендаций — технических и агротехнических, простых, толковых, доходчивых.

И по сей день убеждена глубоко, что в успехе первых опытов массового внедрения культурных приемов земледелия в селе Сычавке большая заслуга принадлежит этому страстному поборнику просвещения.

В Сычавке тогда ежедневно читались лекции — на организационно-агрономические темы, о кредитовании, об уставе земельного общества. И все-таки центр тяжести нашей работы и вместе с ним и залог успеха коренился не в них. Мы стремились поговорить по душам с каждым встречным-поперечным человеком, где бы ни столкнули нас с ним обстоятельства. Если бы существовал способ выразить в лошадиных силах энергию, затраченную нашей четверкой, то взмет паров по меньшей мере уже подходил бы к концу. На деле же только через дней пять—семь мы стали ощущать реальный толк от своих усилий.

Вскоре встал вопрос о том, как быть с межами. Опять много-много говорили и все же решили меж не оставлять, но на границах каждого надела посеять такую культуру, которая могла бы служить вроде как маяком.

— Кукурузу надо сеять,— решительно предложил Новицкий,— пусть привыкают к этой культуре.

Воспитанник Херсонского земледельческого училища, Александр Игнатьевич знал толк в кулисных парах и считал посевы кукурузы по границам наделов азбукой следующего шага в агрономической культуре села Сычавки.

Хорошо ли, плохо ли, но в течение мая взмет пара был закончен. Как известно, майский пар, да еще в мае по новому стилю, можно считать ранним паром.

Теперь сычавским экспериментом жил уже весь сельскохозяйственный банк. Кто выражал свое полное согласие, кто сомневался кое в чем, кого неумоимо еще точил червь сомнения. В конце концов на позициях безоговорочного признания этой меры оказались все агрономы во главе с внушительной фигурой Исаия Михайловича Орлова.

Прорыв фронта «банковских воротил» совершенно неожиданно совершил инспектор Манишевский. Флегматик в стиле персонажей из украинских побутовых пьес, скептик от затяжной язвы желудка, он со смешной по тем временам пунктуальностью ел через каждые два часа, независимо от обстановки. Свои выступления, продолжая «принимать» пищу, он начинал всегда одной и той же фразой: «Не знаю как, но знаю что...», — а дальше следовали такие саркастически остроумные оценки людей и дел, что его языка оберегались и оппоненты и старые друзья.

— Не знаю как,— начал он и в тот раз,— но знаю, что кредитовать бедняцкие хозяйства надо только через земельные общества, а машины продавать не отдельным хозяйствам, а кредитным товариществам и зачислять в их основные капиталы.

В середине лета 1925 года стало известно, что в Одессу прибудет большая партия тракторов из Америки, что часть их будет предоставлена нашей зоне и продана на условиях долгосрочного кредита через Одесский губсельбанк. Кстати сказать, эти тракторы были куплены нашим правительством за счет средств, вырученных от продажи за границу в 1923 году первой при Советской власти партии хлеба.

Одесским совхозам принадлежало весьма почетное место в числе первых советских экспортеров зерна, и в Одессе осело немало тракторов для снабжения не только степных, наиболее крупных по размерам совхозов, но и для других хозяйств.

Узнав об этом, я пошла в операционный отдел к Орлову.

— А что если...— начала я с порога.

— Дать Сычавке кредит на приобретение тракторов,— договорил за меня Орлов, и тут же началось «коллективное мышление» о том, как это сделать.

Разговор продолжался и после конца рабочего дня.

Так в украинском селе Сычавке с осени 1925 года начал работать первый в Совет-

ском Союзе тракторный отряд, организованный местным сельскохозяйственным кредитным товариществом для обслуживания земельного общества.

Мы с волнением следили за биением пульса в этой созданной нами же новой организации. Вот о чем свидетельствовали некоторые цифры.

Посевная площадь в Сычавке возросла за год на две с лишним тысячи. В пределах землепользования Сычавского земельного общества весной 1926 года не осталось ни одной десятины перелогов, в то время как весной предшествующего года их было около двух тысяч десятины. Энерговооруженность увеличилась за год на сорок шесть процентов. Сосредоточение всех тракторов на обслуживании преимущественно безлошадных хозяйств и совершенный отказ в пользовании тракторами тем хозяйствам, которые имеют более двух лошадей, в течение первого же года экономически подравнили различные группы крестьянских хозяйств. Тридцать семь хозяйств вовсе перестали сдавать землю в аренду, сократилась до минимума и частичная сдача земли в аренду. Хозяйства, не имеющие озимых посевов, стали исключением вместо правила.

Наш коллектив не мог нарадоваться своим успехам. Мы были убеждены, что нашли ключ к решению очень сложной проблемы социалистического строительства.

## 7. НОВЫЕ ЗАБОТЫ

Когда был решен вопрос о создании тракторного отряда при Сычавском кредитном товариществе и сплошной тракторной обработке полей севооборота, сразу встал вопрос о том, как быть с кулацкими хозяйствами. Решение было единодушное и среди всех инициаторов сычавского эксперимента и на общем собрании земельного общества: кулацкие хозяйства тракторами не обслуживать. Ну, а если так, то самое правильное — свести земельные наделы кулацких хозяйств «к одному месту», в каждом поле севооборота. Выработали, обсудили и приняли тоже единогласно объективные признаки этой категории хозяйств — к кулацким отнесли хозяйства, имеющие более двух лошадей и более двух коров. К этой объективной оценке добавлялась в некоторых случаях субъективная, чаще всего по совету старого Белоуса.

— Семен Горовой,— говорил он,— кулак известный. Сейчас все распродал и сыновей послал на Донбасс работать, хай пока пролетарское звание заработают, а там посмотрим. Так Семен думает, но молчит. За него жинка по соседкам высказывается. Горовой пританялся и ждет, так за что его труд облегчат трактором? Пусть в поте лица добывает хлеб свой.

Старый Белоус далеко видел. Лучшим доказательством его правоты служило то, что все хозяйства, отнесенные к категории кулацких, «заможных» и «дуже заможных», как мы их для вежливости называли по-украински, без всяких возражений согласились на обмен земельных наделов.

Сортовые семена пшеницы и кукурузы сорта «Стерлинг» предоставлены были всем хозяевам через кредитное товарищество в ссуду. Кулацкие хозяйства обязывались купить сортовые семена в кредитном товариществе за наличный расчет с солидной йаценкой. Они и это требование безоговорочно выполнили.

Самым важным делом была организация посева кукурузы на зеленый корм в одном поле севооборота и по возможности в одном массиве. Мы посоветовали «коровным» хозяйствам обменяться с односельчанами на один год участками в пропашном поле севооборота. Так и поступили.

Весной 1926 года в Сычавке имелся сплошной массив кукурузы на зеленый корм в сто с лишним гектаров. К лету молочное товарищество уже крепко стояло на ногах и, по нашему внутреннему убеждению, не было необходимости особенно заботиться об этой материально более крепкой части крестьянских хозяйств — уберут сами. А пшеницу и кукурузу на зерно имеют все без исключения хозяйства, в том числе и бедняки, у которых нет ничего, кроме собственных рук. Вот куда надо направить все наше внимание, организационные меры, материальные средства.

И снова вдобавок к зимним пошли в Сычавке горячие споры, примерки, прикидки, подсчеты. В конце концов созрел твердый план.

По решению правительства в основные капиталы системы сельскохозяйственного кредита были переданы национализированные локомобили. При этом предусматривалось, что реализация или эксплуатация локомобильного парка должна послужить источником накопления собственных средств кредитными сельскохозяйственными товариществами, которые являлись низовым звеном системы сельскохозяйственного кредита, построенной тогда в нашей стране по государственно-кооперативному принципу.

Таким образом, Сычавское кредитное товарищество получило несколько локомобилей, хозяйственным способом привело в порядок три молотилки, арендовало в крестьянских хозяйствах лобогрейки и жатки. Вместе с вновь приобретенными машинами тракторного отряда техники хватало для быстрой уборки всего хлеба.

А как с рабочей силой?

Трактористы, подобранные из лучших людей Сычавки, обученные на тракторных курсах при губземотделе, не вызывали сомнений по их знаниям, умению и преданности делу. Но в уборке урожая должно участвовать все село. Поэтому постановлением правления земельного общества и распоряжением сельского Совета объявили всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте от шестнадцати и до шестидесяти лет. Руководство всеми уборочными работами возлагалось на председателя земельного общества Белоуса, а технику при нем был назначен агроном Новицкий.

Из-за каких-то неотложных дел попала я в Сычавку к четвертому дню уборки. На массиве озимой пшеницы примерно в семьсот пятнадцать гектаров работала дюжина тракторов с жатками, несколько самоскидок и лобогреек на конной тяге, конные упряжки полностью приведены в действие.

Все селяне были в поле. Это трудились те, ради которых, как говорится, весь огород городился. Поверили они или не поверили, что и вся затея — для них, и тракторы для них, и семена для них, и хлеб для них?.. Поверили! Иначе откуда такое рвение, такая слаженная работа?

Срезанный хлеб чьи-то быстрые руки вязали в снопы. Размеренно, деловито тянулись высоко груженные арбы. На двух противоположных концах поля тархтели паровые молотилки, отползала выброшенная из их пасти жеваная солома. Отвозили и относили к золотым буртам крупное, полновесное зерно. На каждом току стояли весы, у каждых весов — полномочная комиссия, избранная общим собранием земельной громады.

Люди работали без остановок, без усталости. Здесь смешались воедино и гипноз богатого урожая, и властвование «механических коней», и навыки от старой супруги, и что-то совершенно новое, твердо диктуемое вновь складывающимися чертами свободного советского крестьянства.

Повстречав в разных точках этой грандиозной арены действий трех неразлучных теперь друзей — Белоуса, Новицкого и Гжибовского, — я поняла, чего стоила эта слаженная работа ее организаторам. Русые волосы Вани Белоуса совсем выцвели и стояли торчком от набившейся пыли, вокруг губ в радиальных направлениях расходились глубокие трещины, воспаленные веки не прикрывали усталых от вынужденной бессонницы глаз. На почерневшем лице Новицкого ничего не осталось, кроме пенсне с помутневшими стеклами и сверкающих зубов, а у Гжибовского черты лица заострились, точно после сыпного тифа. Вот чем покупалась эта организованная работа! Но все трое были безмерно веселы и довольны.

На токах уже выдавали зерно, и счастливые обладатели хлеба насущного разными способами доставляли его домой. Мир, лад, сговорчивость, желание помочь друг другу царили в горячем воздухе над полями Сычавки. Не обошлось, конечно, без мелких инцидентов, но не они делали погоду.

## 8. ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ

Уборка всех культур успешно завершена. Мы подвели первые итоги 1926 сельскохозяйственного года.

Сычавское земельное общество почти полностью освоило принятый шестипольный севооборот, несмотря на то, что для подготовки пара пришлось ломать старые перелог.

Массив сплошного посева чистосортной озимой пшеницы достиг семисот пятидесяти гектаров. В пропашном поле на такой же площади возделана кукуруза — первый масовый посев кукурузы на зерно на крестьянских землях. А на зеленый корм здесь посеяли сто пять гектаров. Начало травосеянию в крестьянских хозяйствах причерноморской степи было положено посевом суданки на ста гектарах в одном массиве.

Урожай зерна на сычавских полях оказался выше, чем в окружающих селах. Средний урожай озимой пшеницы составил восемьдесят пудов с десятины, при среднем по округу пятьдесят пять — шестьдесят пудов; качество зерна тоже лучше.

Вместе с укреплением полеводства в Сычавке начало улучшаться и животноводство. Было запланировано в течение двух лет заменить беспородный молочный скот однотипным красно-немецким (теперь красно-степным) у всех крестьянских хозяйств. Наладилась и работа кооперативной молочной, которую тогда называли молочной фермой. Для нее отстроили новое помещение, приобрели оборудование. За год ферма продала в Одессе свыше шестидесяти тысяч ведер молока.

Культура винограда представляла для Сычавки совершенно новую отрасль хозяйства. До того времени виноградники имелись только у четырех весьма зажиточных хозяев на общей площади в две с половиной десятины. Теперь же, в 1926 году, виноградарством занялись пятьдесят четыре хозяйства на площади в семнадцать гектаров. Виноградники, таким образом, перестали быть достоянием только «дуже заможных». Для закладки общественных виноградников в Сычавке были получены французские лозы, завезенные в Советский Союз из Франции стараниями выдающегося ученого, профессора виноградарства и виноделия Одесского сельскохозяйственного института, художника и поэта Александра Абрамовича Кипена.

Но моя душа не обрела покоя.

Сущность «терзаний» состояла вот в чем. Почему сычавские кулаки, с которыми явно не церемонимся, исключаем из объектов обслуживания тракторами, заставляем делать посевы по нашему усмотрению, продаем им семена за наличный расчет, с наценками, не продали им виноградных саженцев из Франции, переместили, наконец, с места на место их земельные наделы,— почему эти самые кулаки даже глазом не моргнули? Наоборот, все вместе и каждый порознь продолжают одобрять действия земельного общества и кредитного товарищества, славословят культурные начинания, приветливо здороваются с нами, работниками банка, даже приглашают обедать. В чем дело? Где та щель, через которую блага Советской власти, предназначенные для бедняцко-средняцкой части деревни, просачиваются в руки богатеев? Найти ответ на эти вопросы помогли такие обстоятельства.

Зимой 1926/27 года проходили выборы в сельские Советы. Губком партии послал меня уполномоченным в ту округу, куда входили Сычавка и прилегающие к ней села. Не помню сейчас, по каким соображениям ~~начала~~ я подготовку к выборам с соседнего с Сычавкой большого, довольно зажиточного по сравнению с ней села Визирки.

С самого момента приезда туда на каждом шагу и во всех мелочах я встретила давно не испытываемую неприязнь. Председатель сельсовета бегал от меня, как черт от ладана. Правленцы Визирского кредитного товарищества, всегда вежливые и любезные при встречах по разным делам в банке, изображали страшную занятость. Комитет незаможных селян тоже никакой активности не проявлял. Председатель земельного общества, к тому времени принявшего участково-чересполосную форму землепользования с общественным севооборотом,— крепкий середнячок — и совсем нос воротит. В селе ни одного коммуниста, ни одного комсомольца. Я оказалась в полной изоляции.

Поселилась на квартире, пробую с хозяйкой разговориться.

— Не знаю, не чула, не бачила,— вот и все, что я слыхала из ее уст. Не больше и от хозяина.

С величайшим трудом вместо собрания комнезамов собрала я несколько человек — и те все молчат.

Решила административно «поднажать» на председателя сельсовета: как, мол, хотите, а созывайте народ, начнем подготовку с собрания, расскажу, как будем выборы проводить, о международном положении и так далее.

Собралось вечером в сельсовете довольно много народу, все мужчины. Стала я докладывать, а мне и говорить не дают. Кое-как перекричала шум. Кончила. Все молчат. Председательствующий объявил, что собрание закончено, а люди все сидят и упорно молчат.

...Сонная хозяйка ворча открыла мне дверь. Вскоре пришел хозяин. Они о чем-то пошептались и, не зажигая огня, улеглись спать.

Утром не без удовольствия обнаружила, что за мной из района пришли кони. Холодно попрощавшись с хозяевами, я почувствовала себя очень уютно в райисполкомовской таратайке, а улыбающееся лицо возницы — первое приветливое человеческое лицо за дни, проведенные в Визирке.

Сели, поехали. На последнем повороте из-за белого глиняного забора в нашу бричку полетело два солидных камня. Один камень стукнулся о ступицы колеса, а другой на излете лег на дно брички, миновав мои ноги. Возница обернулся. На мое замечание — «дети балуются» — он мне ответил:

— Це не діти!— И предусмотрительно хлестнул лошадей.

Через час мы уже были в Кремидовке.

Очень хорошо потолковали с головой сельсовета и с головой комнезама сперва порознь, потом с обоими головами вместе. А уже через час-два в сельраде было полно народу и шла самая непринужденная беседа на разные темы.

Хозяйка, куда меня поставили на квартиру, сама пришла в сельсовет напомнить мне, что обед застынет.

Вечером — полные сборы комнезамов, миллион вопросов, горячий интерес к разным крестьянским делам и, в частности, к тому, что делается в Сычавке, как работают тракторы, как сеяли, как убирали, как делили, как продавали, почем платили за хлеб.

Продержали меня до позднего вечера, проводили «до дому». Ужинали вместе с хозяевами, а на лавке просидели еще трое самых ненасытных в жажде знаний селян, и лишь поздней ночью улеглись спать, все в одной комнате.

Разговор с хозяевами потянулся и дальше уже при задумом фитильке лампы.

Взяла да и рассказала моим хозяевам, как несладко мне пришлось в Визирке, и о вчерашнем собрании, и о камнях, летевших вдогонку.

— Чого вони такі лихі? — закончила я вопросом свой рассказ.

И хозяин очень коротко и ясно под легкое предсонное пошаривание своей жинки рассказал мне о том, до чего я не могла додуматься на протяжении нескольких месяцев.

Визирка издавна была, как он выразился, селом «кулаковатым», а сейчас тамошние лошадные хозяева злятся на сычавских бедняков, люто злятся и на нас, агрономов из банка.

— А что им до Сычавки, визировским селянам? — удивилась я.

— Што им? А вот што,— сказал хозяин и начал рассказ, сущность которого состояла вот в чем.

Аренда земли до апрельского Пленума ЦК партии (1925 год) была ограничена, почти запрещена, поэтому велась она скрытно. Зажиточные лошадные хозяева не арендовали землю у односельчан, они переключали свои аппетиты на земли бедняков из соседних сел. В Сычавке благодаря организационной и финансовой помощи государства бедняк, безлошадный крестьянин практически был «посажен» на землю, овладел своим наделом и перестал сдавать землю в аренду. А так как постоянными арендаторами земли у сычавских бедняков являлись визирские лошадные хозяйства, то они в первую очередь оказались «пострадавшими» от нашего сычавского эксперимента. Для сычавских же богатеев ничего не изменилось. «Во имя Советской власти» они покорно несли любые жертвы, а у визирских бедняков продолжали на выгодных условиях арендовать землю.

— Вот потому все визирские злы на всех сычавских, а также и на всех вас,— резюмировал свой рассказ хозяин.

Так вот оно в чем дело! Ларчик открывался не так-то просто, но и замок не так уж мудр. Ясно, совершенно ясно: сычавский эксперимент не льет воду на кулацкую мель-

ницу. Сычавских кулаков ограничили в возможностях, а визирских обкорнали как следует. Как хорошо, когда, хотя и с чужой помощью, докопаешься до корня явлений!..

Опыт, проведенный в 1925—1926 годах группой агрономов Одесского губсельбанка, не прошел бесследно в развитии колхозного строительства нашей страны.

Через два года после сообщения в центральной печати об организации тракторного отряда при Сычавском кредитном товариществе для обслуживания крестьянских хозяйств села Сычавки, принявших устав земельного общества с общественным севооборотом, вышла в свет и приобрела широкую известность книга агронома А. М. Маркевича «Межселенные машинно-тракторные станции» с предисловием Г. М. Кржижановского. В этой книге пропагандировался опыт совхоза имени Шевченко, ставшего местом рождения первой машинно-тракторной станции.

В совхозе имени Шевченко, расположенном километрах в пятидесяти от Сычавки, созрела мысль об обслуживании крестьянских хозяйств тракторами и машинами, принадлежащими совхозу. Это был новый шаг вперед по сравнению с нашим сычавским экспериментом.

Так крупными инициативы рядовых тружеников одевалась в плоть и кровь великая ленинская идея создания крупного механизированного сельскохозяйственного производства в стране социализма.





---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К. РУДНИЦКИЙ

★

## ДВИЖЕНИЕ СКВОЗЬ ГОДЫ

**С**реди многих привлекательных свойств писательского и театрального таланта Погодина наиболее явственно ощутимо чувство нового, которое почти всегда гарантирует погодинским творениям живой и острый контакт с аудиторией.

Его современность не относительна, она насыщена «злостью дня», она жадно впитывает только что родившиеся слова, смело затрагивает только что возникшие проблемы, пусть не всегда претендуя их решить, но никогда их не обтекая. Погодин превосходно знает цену реплике, которая была невозможна вчера, но сегодня, именно сегодня, вызовет взрыв смеха или аплодисменты в зрительном зале. Его слух чутко отбирает характерные слова времени, его взгляд радостно, как находку, улавливает и фиксирует те явления, которые только сегодня вошли в обиход, в жизнь и в моду. Быт в его пьесах не фон, не пассивная «атмосфера» бытия, а всегда радостное и активное вторжение новизны, быт для него — движение времени.

Именно поэтому писательский опыт Погодина заслуживает пристального внимания и анализа.

### 1

Как только появились на сцене первые пьесы Погодина, тотчас был введен в критический обиход и покатился из статьи в статью ловкий и легкий термин: «сценический очерк». С помощью этого удобного термина «беззаконная комета» новорожденной погодинской драмы сразу — так просто! — ставилась на свое место «в кругу расчисленного светил». Место было не самым почетным и не самым солидным. Всякий понимал: «сценический очерк» — это не героическая трагедия и не социальная дра-

ма, а нечто менее веское, менее значительное. Но, с другой стороны, почти никто не отказывался признать и за сценическим очерком право на существование. Распространено было мнение, что очерки театру «тоже нужны» — как некое новое дополнение к обычному жанровому «меню». Сам автор отнюдь не возражал против зачисления его в разряд «театральных очеркистов». Напротив, Погодин только на это и претендовал. Слово «очерк» он повторял как девиз.

Далеко не все в первых пьесах Погодина выглядело и было на самом деле обязательным, прочным. Бросалась в глаза их фрагментарность, отрывочность, эскизность. Но стоило только напомнить, что перед вами «сценический очерк», — и недостатки сразу приобретали вполне благопристойный вид «особенностей жанра». Все тот же удобный термин, который прятал недостатки, замазывал, однако, и достоинства. Необычное представлялось обыкновенным, дерзкое — само собой разумеющимся.

До сих пор статьи о Погодине часто начинаются напоминанием о том, что Погодин пришел в театр из газеты. Но этот путь и до него и после него проделали многие. Дело в том, что Погодин дал театру актуальность и оперативность газеты. Погодин не просто свел к минимуму, а начисто уничтожил пресловутую «дистанцию», будто бы обязательную для театра. Год 1929-й, год «великого перелома», был запечатлен на страницах «Темпа» в 1929 году.

Когда репетировалась эта пьеса, посвященная строительству Сталинградского тракторного завода, завод еще не был пущен. Такие темпы отражения жизни, да еще жизни не устоявшейся, меняющейся на гла-

зах, до Погодина были театру недоступны. Позднее Погодин признавался, что, когда он писал свои первые пьесы, он знал театр «меньше, чем географию Луны». Но ведь то, что он преподнес театру, театр в свою очередь знал «меньше, чем географию Луны». Погодин еще не знал театра, зато он знал жизнь в самых актуальных, самых боевых ее аспектах.

Все это говорится, конечно, не для того, чтобы задним числом амнистировать явные недостатки ранних пьес Погодина. Перечитывая их сейчас, отчетливо видишь свойственную им незрелость, но видишь также историческую обусловленность этого, вызванную вторжением в искусство новой, еще не известной искусству жизни.

В драматургии Погодина сразу же дала себя знать формообразующая сила нового содержания. Как ни расплывчаты были пьесы «Темп» и «Поэма о топоре», в них явственно обнаружились средства выразительности, предвещавшие возникновение новой драматической формы.

Эти пьесы не делились на стройные и строгие акты — они рассыпались на эпизоды. Почти в каждом из эпизодов было зафиксировано нечто новое, родившееся в жизни. Но и самая эта дробность была продиктована жизнью — ее участвующим пульсом, ее напряженным ритмом, ее ускорившимся темпом.

В первых пьесах Погодина — и в «Темпе», и в «Поэме о топоре», и в «Моем друге», и в «Аристократах» — созидательный труд впервые в истории театра становится поэтической основой драмы, ее плотью и ее почвой, ее главной, вдохновенной темой. Именно в этом — в раскрытии поэзии труда — новость погодинской драмы, именно тут ключ к постижению всех ее художественных особенностей. Здесь работа впервые в истории дает драме решительно все ее качества: и самый конфликт, и характеры, и их развитие, и строй речи.

Работают по-разному. Илья Эренбург писал когда-то о строителях Кузнецка: «Люди строили этот завод не с песнями и не со знаменами. Строя, они не улыбались. Их подгонял голод и колонки цифр. Они валились без сил. Но они продолжали строить, и революция снова жгла сердца людей, как в годы Чапаева, сибирских партизан и Кон-армии: теперь она жгла их так, как жжет пальцы металл при пятидесятиградусном

морозе». Чувствовал ли Погодин это предельное напряжение сил строителей? Да, конечно: и в его пьесах люди валяются от усталости, и в его пьесах их сердца жжет огонь революции, и в его пьесах люди «горят», но горят они веселым пламенем энтузиазма.

Труд в «Цементе» Гладкова и в «Голосе недр» Билля-Белоцерковского воспринимался как трудный, хотя и оправданный высокой целью подвиг. У Погодина трудовой подвиг лишается всякого налета подвижничества. В его восприятии труд весел, азартен, приправлен соленой шуткой, крепким словом или озорной песней.

Темпы невероятны, работа ожесточенная, но в этой работе нет надрыва. Всякое дело посилено людям, а потому всякое дело полнится радостью. «Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша!» Когда эту фразу произнес горьковский Сатин, она была всего лишь мечтой. В пьесах Погодина «удовольствие» труда превращает в праздник трудности жизни, взбудораженной стройкой.

Погодин адресовался прямо к жизни, и новый ее облик получил в его театре, так сказать, первичное отражение.

В этом театре не признают красивых книжных слов. Когда Анка в «Поэме о топоре» пыталась «агитировать» баб с помощью таких слов, как «ситуация», ее просто избили, а когда она заплакала и сказала: «Сволочи вы!» — бабы тотчас прислушались, и одна из них «совершенно серьезно» заметила: «Это другой разговор».

Огромные потенции смеха извлекает Погодин из характернейшего для строек первой пятилетки «смешения языков». В его ранних пьесах — настоящее словесное пиршество. Тут вы услышите и старое костромское «повек», «повсегда», и новое, в дни пятилеток родившееся «ой, затирается буза!», и французское «абсурд» — сперва в устах работницы, которая изломает слово по-своему: «Это не работа, а абсурд... абсурд», потом в устах американца, который скажет «абсур русски». Вы встретите людей, которые не очень грамотно говорят на родном языке, но по ночам учат английский и немецкий.

В «Темпе» и в «Поэме о топоре» старый комедийный прием взаимного непонимания людей, говорящих на разных языках, был внезапно вывернут наизнанку. Радостный, счастливый смех полного взаимного пони-

мания обнаруживал общность и единство людей, говоривших по-разному, но думавших об одном.

Объектив погодинской драмы запечатлел переполох всеобщего пробуждения. Все проснулись, и всё проснулось. Жизнь России, еще недавно медлительная, набрала темп, какого не знали нигде в мире. Этот темп вступает в резкое противоречие с вековой отсталостью — наследием царской Руси, — с темнотой, невежеством, дикостью. Но весь секрет и «фокус» в том, что темп не задается извне, не навязывается, темп — внутренняя потребность, необходимость, мечта всех погодинских героев: и строителей-костромичей и уральских металлургов.

Собственный их энтузиазм до того велик, до того необычен, до того жжет их сердца, что им самим представляется чем-то вроде болезни. «Народ теперь нервнобольной...» Когда они успевают заметить, что с ними происходит, они сами поражаются. Их энтузиазм вступает в бой с их собственным невежеством, бескультурьем, темнотой, даже их таланты обретают в этом темпе новые стимулы творчества. Степан раньше, до революции, варил свою «зеркальную сталь» за «пару пива». Теперь он выбивается из сил ради гораздо менее «конкретной», но неизмеримо более важной для него награды: он хочет избавить свою страну от необходимости кланяться за границей и покупать у американцев кислотоупорный металл. Человек, который мечтал о «паре пива», мечтает о трудовой победе над капитализмом в мировом масштабе. Вот дистанция, которую прошел Степан, которую все они прошли.

В отличие от раннего Вишневского, Погодин не ставил перед собой специальной цели создать «драму без героев». Скорее наоборот: он видел перед собой людей, а не толпу, делал ставку на актеров, а не на статистов. И все же слово «герой» только условно может быть применено к персонажам первых погодинских пьес. Ибо каждый из них, в том числе и самые заметные лица — например, Ермолай Лаптев в «Темпе», Степан и Анка в «Поэме о топоре», — каждый из них привлекался «к сценической ответственности» прежде всего как живое доказательство происходящих в жизни всеохватывающих перемен. Эти люди самым фактом своего существования доказывали факт преобразования народа.

Выводя на сцену своих строителей и металлургов, Погодин хотел, чтобы они предстали перед зрителями, так сказать, от лица времени, чтобы они продемонстрировали новь и дух эпохи. Но погодинская тема не оформилась еще в отчетливости противостоящих сил. И «плюс» и «минус» были еще почти в каждом, этого Погодин не скрывал, напротив, именно это его интересовало и радовало — ведь раньше-то какой-нибудь Ермолай Лаптев мог пройти только со знаком «минус», только со знаком сожаления или отвращения. Его персонажи не претендовали на роли героев, монументальных или хотя бы цельных. Но зато они приносили с собой самое свежее, еще не известное искусству дыхание сегодняшней жизни.

В принципе обобщение в драме обычно предстает в отчетливо персонафицированной форме. Философская драма может раскрыться только через емкие, внушительные образы героев, чьи характеры прямо — или по контрасту — соответствуют их ведущим идеям, их мировоззрению. Конфликт идей выступает в форме конфликта людей, «героев». Такого рода драма возникает обычно уже после того, как новый материал, предложенный жизнью, разведан и изведен, просеян сквозь сито первых наблюдений, подвергнут первичному анализу.

Погодин же придал образное значение той самой неустоявшейся, не прошедшей лабораторного анализа пестроте, в которой главное неуловимо мешается с второстепенным, случайное притворяется закономерным. Погодин доказал, что новое прекрасно и тогда, когда оно еще не до конца понято, когда оно еще только родилось. Он не стремился пока постичь философию времени, с него довольно было аромата, духа, ритма и ощущения новизны.

## 2

Рано или поздно Погодин, однако, должен был всерьез задуматься о природе «нового человека», о новых, прежде не бывших, только сейчас родившихся свойствах современника. Где-то в этих размышлениях возникла простейшая догадка: а что, если взять да и поставить этого самого «нового человека» в центре очередной пьесы и, так сказать, подвергнуть его испытанию всеми теми трудностями и бедами, которые в самой жизни выпадают на долю нового человека?

Едва только Григорий Гай в пьесе «Мой друг» уверенной и легкой поступью вошел в пеструю, брызжущую весельем погодинскую толпу, как толпа эта радостным, ликующим хороводом понеслась вокруг него. Карусель завертелась. Но ее вращение теперь уже неумовимо подчинялось определенной мысли, и буквально каждый участник этого хоровода был виден нам уже с точки зрения Гая, а Гай в свою очередь предстал перед нами таким, каким видели его поочередно все участники пьесы.

Появление героя организовало и, так сказать, персонифицировало конфликт пьесы. На поединок с Гасм один за другим выходили американец Генри, карьерист Белковский, «партийный работник из молодых» Елкин, супруга Гая Элла Пеппер. Каждый из этих людей представлял собой нечто особое, отдельное, каждый боролся против Гая и противопоставлял себя Гаю с какой-то собственной, принципиальной позиции. Но движение Гая сквозь пьесу с поразительной наглядностью соединяло раздельные позиции его противников, превращало их маленькие платформы в одну общую и довольно мощную цитадель консерватизма. Принципиальная новизна фигуры Гая доказывала и показывала принципиальную общность его врагов.

По всей видимости, первое место среди врагов Гая принадлежит Белковскому, который «затял грязные интриги». Белковский — карьерист, лицемер, подлец нескрываемый. Интересно, однако, что и Гай и Погодин оба относятся к Белковскому со снисходительным презрением. Гай сразу же замечает: «Здесь что-то поважнее, чем Белковский, а вы не умеете подняться выше мышинной возни». Погодин же дает Белковскому удивительно открытую, заведомо саморазоблачительную форму подлости и карьеризма.

Конечно, Погодин шаржирует Белковского, шаржирует намеренно и грубо. Но в этом развеселом шарже есть своя трезвая и предостерегающая мысль. Мы и поныне еще нередко с излишней настойчивостью добиваемся публичного признания ошибок, заблуждений, проступков, видя в этом чуть ли не главную гарантию возвращения грешника на праведный путь. В полном соответствии с этим наивным верованием многие наши драматурги, за шиворот притащив своего отрицательного героя к финальному покаянию, спокойно опускают за-

навес. Злодей покаялся, «перековался», теперь все будет в порядке. Погодин, преподнося нам фигуру Белковского, предупреждает, что покаяния такого героя никакого эффекта не дают. Чем беспринципнее человек, тем легче ему каяться. Он тысячу раз назовет себя «подлецом» и «пресмыкающейся тварью», но это нисколько не мешает ему остаться подлецом и пресмыкающейся тварью.

А Елкин? Елкина Погодин явно расценивает как опасность более серьезную хотя бы потому, что опасность эта — молодая. Елкин, как и Гай, личность необычайно деятельная. У него, как и у Гая, множество функций.

Елкин может:

- составлять характеристику работников
- категорически приветствовать
- давать должный отпор
- раскрывать оппортунизм
- согласовывать
- не поддаваться настроениям
- развенчать и передать прокурору
- выбрать почетным человеком
- проработать вопрос со всей серьезностью
- всех зажигать
- бить в набат
- вести массовую работу...

И еще тысячу разных обязанностей охотно возьмет на себя молодой, энергичный, полный сил Елкин. Единственное, чего он всегда избегает, что ему совершенно противопоказано и недоступно, — это делать дело, работать, заниматься сутью, а не поверхностью явлений.

Именно Елкину дается в «Моем друге» генеральное сражение, именно Елкин все время сует палки в колеса движущегося дела и именно Елкина наиболее решительно опровергает и низвергает Гай. Ибо Елкин — это тень Гая, подобно тому как фраза — это только тень и отражение дела.

Гай дает Елкину более чем исчерпывающую характеристику, когда говорит ему: «Я не позволю делать из строительства обман и из пятилетки мираж». Но сам Елкин эту убийственную характеристику медленно подтверждает и дополняет. Он тотчас спрашивает Гая:

«— Когда же мы тогда в таком случае отпразднуем пуск?»

Вот он, Елкин, весь как на ладони: язык вязнет в словесах («когда же мы тогда в таком случае...»), а душа жаждет одного:

праздника, почета, славы, портретов, статей, душа тоскует по тому самому политическому капиталу, который для Елкина дороже денег.

Присмотримся наконец к Элле Пеппер, к этому «непримиримому и принципиальному противнику» Григория Гая. Элла действительно себя не жалеет. Мы узнаем, что в момент, когда ее муж возвращается из Америки, она его не встречает, она с бригадой по топливу едет добывать дрова. Она гордо говорит, что «топливо для жены важнее, чем поцелуй мужа». Она вдохновенно помогает Елкину разоблачать выдуманый «оппортунизм» Гая и «принципиально» разводится с Гаем. Она подымается даже на высоту искреннего сожаления: «А ведь жаль Гая. Очень жаль! Он мог быть неплохим членом партии». Почему же Элла Пеппер во всем своем вдохновенном и самоотверженном рвении кажется и уродливой и смешной? Потому, что ее самоотверженности грош цена, ее энергия бьет впустую, ибо Элла высоко парит над той прозой жизни, в которой надо копаться, чтобы извлечь из нее поэзию. Ибо Элла упивается словами, не замечая дел, ибо оторванный от практики энтузиазм Эллы незамедлительно превращается во вздорную экзальтацию и в этом качестве, само собой разумеется, попадает в услужение Елкину. В глазах Елкина Элла «поднялась на невиданную высоту». В глазах Гая «она стала ханжой». Элла то воодушевлена идеей вызвать на соревнование Академию наук, то рвется «разоблачать... даже в прессе». Но в конечном счете, как и Елкин, озабочена только тем, что «о нас ничего в газетах не пишут».

Главное и решающее свойство Гая, которое наиболее резко выступает именно в конфликте с Елкиным и Эллой Пеппер, может быть сформулировано просто: Гай относится к делу как к реальному делу. Гай отдал свою жизнь идеалу коммунизма и не профанирует этот идеал, не превращает его в прикрытые для карьеризма, как Белковский, не делает из идеала ни системы громких фраз, подобно Элле Пеппер, ни скучной инструкции, подобно Елкину.

Гай действительно «новый человек», ибо воспринимает коммунистический идеал как вполне конкретную цель своей жизни. Именно потому Гай всегда, минуя и отбрасывая форму, идет прямо к сути дела. Именно потому Гай постоянно и без колебаний ри-

скует собой. Он думает не о себе, не о славе, не о почете — он думает о деле.

Много писали о «бескорыстии» Гая, много спорили о том, какое оно, его бескорыстие,— старое, буржуазное, или новое, социалистическое. Эти споры, хотя в них принял посильное участие и сам Погодин, выглядят, скажем прямо, смешно. Ситуация, в которой находится Гай, очень четко определена словами Руководящего лица: «Если товарищ Гай, очень уважаемый товарищ, хороший товарищ, нам не пустит завод по плану,— отнимем партийный билет, выгоним из партии». Для Гая партия — жизнь. Следовательно, в этой ситуации он, говоря без высоких фраз, рискует жизнью. Он мог бы не рисковать? Да, конечно! Белковский с помощью Елкина все сделал, чтобы Гая сняли. Гай с боем отвоевал себе право быть в этой ситуации, причем он врывается в эту ситуацию и обороняет свое право в ней находиться именно тогда, когда ситуация стремительно движется к неизбежному, кажется, плачевному финалу. Гай сам кратко и просто резюмирует положение: «Станков нет. Завода нет. Германских рам нет. Завода нет».

Зачем же он лезет в эту мышеловку, в этот гроб? Затем, что хочет, чтобы завод был. Затем, что он лично, кровно, если хотите, даже азартно заинтересован в успехе общественного дела.

Ошибки, которые сделали ситуацию столь печальной, не Гаем совершены. Гай вправе указать виновных, уйти от всякой ответственности. Но, странное дело, его этот вариант совершенно не привлекает. «У-у, какая механика! Ехать, доказывать обратное — затевать целый процесс. Я должен раскрыть корысть, ничтожество, и должен доказать беспринципность, холуйство... А что, если ничего не доказывать, не греметь?.. Давай работать».

Образ Гая поныне остается не только правдивым, но и в высшей степени актуальным образом хотя бы потому, что Елкины еще не перевелись и сплошь да рядом они создают такие формы, такие формальности, которые неизбежно приходится либо обходить, либо ломать людям, думающим о существе дела.

### 3

Новаторство редко всем угождает. Оно всегда стоит перед необходимостью разрушить привычные представления, которым

инерция присваивает силу законов. Оно должно прошибить стену тех самых убеждений, которые еще вчера пробивали стены предыдущих предрассудков и которые, одержав свою победу, стоят ныне в гордой позе безграничной самоуверенности. Вчерашние новаторы всегда склонны бывают думать, что победили навсегда. Так думают обычно и критики, поддерживавшие этих вчерашних новаторов и потому не допускающие и мысли о том, что вчерашнее новаторство могло уже устареть. Так думают теоретики, которые извлекли из практики вчерашних новаторов их эстетику, их законы и пришли к убеждению, что это «верная» эстетика и «верные» законы. Надолго ли? Навсегда!

Примеры бесчисленны. Авторитет Гоголя обращали против Островского, авторитет Островского — против Чехова, авторитет Чехова — против Горького.

В этих столкновениях новаторства с устоявшимися взглядами, или, если хотите, новаторства сегодняшнего с новаторством вчерашним, есть своя логика и даже своя неизбежность. Но помимо этих, так сказать, внешних сложностей, художественное новаторство всегда влечет за собой еще и сложности внутренние, оно несет в себе, внутри себя, борьбу между тем новым содержанием, от имени которого выходит на сцену, и той формой, в которой содержание себя выявляет. Новаторство потому и зовется новаторством, что до поры до времени никто не может предсказать, каково оно будет, в какие формы выльется. Очертания новой формы поначалу неизвестны даже тем, кто ее создает.

Вот почему голоса новаторов звучат очень резко и раздраженно, когда они говорят о «готовом» искусстве и порой становятся робкими, неуверенными, даже жалобными, когда речь идет об их собственных творениях, о новом искусстве, создаваемом ими.

«В делах сюжетных мне почти нечем поделится,— говорил Погодин в 1936 году.— Сюжет у меня «слабый»... Бывают случаи, когда я во время работы над пьесой теряю своих героев... Но существенное здесь заключается в том, что я не постиг еще каких-то сюжетных «законов», которые бы наиболее интересно и напряженно вли contemporaneous героев по пьесе. Знаю твердо, что общеизвестные сюжетные формы к делу, какое мы делаем, никак не идут, но

новые сюжетные формы не приходят сами к нам на стол со своими узорами».

Иногда, впрочем, он пробовал «общеизвестные сюжетные формы». Комедия «После бала» — именно такая проба. С точки зрения общеизвестной концепции сюжета тут все в порядке. Борьба между чувством и долгом идет по всем правилам: любовь движет интригу, любовь сталкивается с долгом, не может себя превозмочь и гибнет. Одно только непонятно: почему это комедия? Почему трагедийный сюжет с самоубийством в финале становится для Погодина поводом или хотя бы возможностью посмеяться? Да потому, несомненно, что Погодин не доверяет «общеизвестному» сюжету и хотя и строит пьесу, терпеливо разрабатывая одну за другой коллизии этого сюжета, а все же вокруг него, вокруг «общеизвестного» и точного, вокруг «надежного и прочного» сюжетного хода затевает свой обычный, неорганизованный, неуравновешенный «зеленый шум» молодой жизни. И это окольное, шумное, никак не упорядоченное движение поныне сохраняет свою свежесть и прелесть. А основная коллизия — «герой наших дней» Кременской, его возлюбленная Людмила, ее отец, враг колхозного строя Адам Петрович,— коллизия эта пахнет нафталином. Она сильно понзносилась в дороге от Корнеля к Погодину.

Так получается всякий раз, когда Погодин себя насилует, так получается всякий раз, когда он спорит с самим собой. Между тем в его драматургии давно уже возникла и утвердилась та самая «новая сюжетная форма», о которой он тосковал в 1936 году и много лет спустя. Она впервые восторжествовала еще в «Моем друге».

Новая природа драматического конфликта в пьесах Погодина принесла с собой и соответственно новую концепцию сюжета. Погодинская драма в принципе — прямая противоположность «хорошо сделанной пьесе», где два героя-антагониста олицетворяют собой два тезиса, где действие идет с правильным нарастанием конфликта, с его умело подготовленными внезапными поворотами, спадами и подъемами напряжения, плавными раздумьями и динамичными рывками. Кажется, никто, не исключая и самого Погодина, не заметил, что он, в сущности, отказался от того, что в переводе на язык режиссуры называется «сквозным действием».

Погодинская пьеса — это вереница маленьких (не по значению, а по временной протяженности), быстрых драм. Художественная ткань погодинской пьесы, если приглядеться, состоит из нескольких или многих таких «маленьких драм», взаимосвязанных между собой и образующих пьесу. Микроконфликты (опять-таки «микродрамы») — по протяженности, а не по силе разряда), переливаясь один в другой, создают характернейшее для Погодина сочетание естественного течения жизни в пьесе с театральной выигранностью едва ли не каждого диалога, едва ли не каждой фразы. По той же причине в пьесах Погодина сколько угодно «концертных» эпизодов — почти всякий эпизод может быть сыгран отдельно, почти всякая сценка живет своей собственной жизнью, сама себе драма или сама себе комедия.

Цепляясь одна за другую, проникая одна в другую, другая в третью и так далее, погодинские «короткометражные» драмы и комедии составляют непринужденно движущуюся «полнометражную» ленту сюжета. Ее общее движение возбуждается не изнутри, не по классическому принципу саморазвития верно угаданной драматической ситуации, — оно, это движение, подталкивается и направляется извне, оно ускоряется или замедляется в зависимости от погодинского, авторского, понимания темы, оценки темы: что в ней важно, что актуально, что составляет злобу дня, то и будет пушено в ход, в игру.

Именно поэтому, кстати сказать, для Погодина так естественно деление пьесы не на крупные акты, а на сравнительно мелкие эпизоды или сцены (иногда они зовутся «картинами», суть от этого не меняется). По той же причине цельность погодинской пьесы создается не «единством действия» в традиционном смысле этих слов, а единством заданной и рассматриваемой темы, причем всегда вероятны и «вовлечение» в действие совершенно неожиданных обстоятельств, и внезапное изменение аспекта, и поворот всего действия в никак не предвиденном направлении.

Погодинская концепция сюжета вообще чрезвычайно сближает понятие «сюжет» с понятием «тема». Всякая пьеса Погодина — это драматические вариации на определенную тему. Принцип, по которому строится его пьеса, — принцип, в сущности,

музыкальный. Он пишет драматические сюиты.

Из такого ощущения драматизма, конфликта и сюжета неумолимо вытекает обязательность высокого мастерства в диалоге. И действительно, если Погодин совсем «не мастер» постройки, если расчетливое мастерство организации действия ему явно не дается, то в диалоге, в реплике, в фразе — Погодин виртуоз несравненный. Слово у него всегда на виду, оно обладает почти предметной ощутимостью. А главное, сквозь каждое слово проходит электрический ток драматизма, каждое слово несет в себе импульс борьбы, которой оно вызвано.

Такая своеобразная динамика погодинской драмы нередко создает чисто композиционные сложности. Композиция ранних пьес Погодина — «Темпа», «Поэмы о топоре» — или таких поздних его пьес, как «Рыцари мыльных пузырей», «Маленькая студентка», прочностью отнюдь не отличается. Сам автор признавал, что некоторые эпизоды «Темпа» и «Поэмы о топоре» можно и не играть. Критики же с усмешкой замечали, что иные эпизоды можно переносить с места на место, а иные даже из пьесы в пьесу, и ничего от этого не изменится.

Что-то новое рождалось в театре. Рождалось, вызывая порой оторопь и недоумение критиков, возмущая драматургов, честно и старательно направлявших свои корабли по старым, непогрешимым лотциям. Нередко Погодин озадачивал и самого себя. То так, то сяк крестил он своих детей, называя их «очерками», «поэмами», «представлениями». Все эти имена были взяты не из драматургических святцев, все эти имена говорили о том, что дети — незаконнорожденные. Погодин добросовестно пытался их если не узаконить, то хотя бы оправдать перед лицом законодателей эстетической мысли и с достоинством «вести в общество». Это была хлопотливая задача. Одушевляемой ею, Погодин либо эксплуатировал сюжеты, которые сам называл «общеизвестными» и о которых знал, что они «к делу не идут» («После бала»), либо вдруг покушался на символику, которая его подводила («Снег»).

Успех «Моего друга», хотя и не общепризнанный, но чрезвычайно веский, избавил Погодина разом и от сомнений и от скучной необходимости «теоретически доказывать» законность своего пути.

Им самим созданный, в его пьесах родинский и окрепший метод вольных драматических вариаций на избранную тему, прием «сценической сюиты», был в «Аристократах» разработан с уверенной последовательностью. В этой последовательности и, если хотите, даже методичности по-прежнему не было строгого расчета. В комедии всякий мог при желании обнаружить то поступки, мотивированные не вполне убедительно, то мотивы, не выявленные в поступках. Прихотливое своеволие таланта здесь возводилось в принцип, а мастерство регламентации и сюжетостроения небрежно отбрасывалось. И тем не менее «Аристократы» обладали уже непринужденной грациозностью художественной формы.

Изыщество этой вещи особенно хорошо чувствуется именно теперь, когда фактический фундамент ее уже не выглядит особенно прочным, когда сам Погодин признает: «Быт и атмосфера пьесы «Аристократы» несколько сомнительны». Он прав, конечно, но прав и тогда, когда замечает без ложной скромности, что пьесу эту «можно смотреть с интересом и через двадцать лет после ее написания».

Не потому, однако, что круг наблюдений, поглощенных этой пьесой, шире той «зоны» Беломорстроя, где побывал Погодин. А потому, что Погодин уловил тогда очертания несомненной драматической проблемы времени, поныне актуальной и значительной.

## 4

В первых же сценах «Аристократов» если не декларируется, то уж без всякого сомнения вибрирует и ощущается тема свободы человеческой личности, тема, которую Погодин развивает и анализирует в обстановке, казалось бы, совершенно неуместной и не подходящей: за ключей проволокой лагеря.

Посмотрите, как бы говорят нам все эти Береги и Лимоны, Цыганы и Капитаны, мы здесь, за решеткой, свободные люди. Мы сами по себе. Что хотим, то и делаем. Нас арестовали, а мы продолжаем воровать. Мы в руках закона, но мы устанавливаем свои законы. Вот мы, заключенные, играем в карты на любовь секретарши Маргариты Ивановны, и проигравший «обязан доставить ее живую по месту партнера».

— Реально? — спрашивает Костя-Капитан, затеявший эту игру.

— Реально, — отвечает Лимон.

— Игра честная? — спрашивает Капитан.

— Вполне.

Итак, вот что единственно «реально»: реальна их свобода, их вольность, их умение по-хозяйски входить «в тюрьму и банк».

Очень скоро, однако, Погодин докажет нам, зрителям, что романтика блатного мира в затаенном существе своем вовсе не возвышает и не освобождает человека, а, напротив, вводит его в систему унижительной и беспощадной иерархии, где «низшие» пресмыкаются перед «высшими», скорыми на суд и расправу, где комично современный девиз «жулики должны объединяться» означает на деле безропотное подчинение «хозяину», где извращаются и изнуряются человеческие таланты, где личность, с виду такая вольная и самостоятельная, уничтожается и растлевается.

Погодин ведет свою войну «на территории противника». И чем дальше мы вслед за ним углубляемся в уголовное царство, тем более жестко звучат те самые разбитые, экзотические, шаловливые мелодии, которыми началась пьеса.

После «Моего друга» Погодин уже чувствует, что всякая тема в драме выражается личностью и развивается личностью. В его драматической сюите обозначаются главные, лейтмотивные партии, им предстоит в финале слиться и дать один мощный аккорд завершающей мысли, их слиянием исчерпывается тема и завершается пьеса.

Одну из этих партий ведет Соня. К лишению свободы она всегда была готова, на это шла, и это для нее не впервой. Самое страшное для Сони — предоставленная ей возможность продумать и оценить свою жизнь. Тут, в бараке, где нет ни кокаина, ни водки, ни грязи, ни крови, ни угара, — тут ей не по себе. «Гигиена» приводит ее в бешенство — в этой чистоте и в этом холодном порядке она вдруг становится видна самой себе с ужасающей ясностью. Выясняется нечто в высшей степени несообразное, невозможное: в ее рискованной, вольной жизни ничего не было такого, о чем хотелось бы вспомнить.

Итак, страшно не «лишение свободы», обозначенное в приговоре суда. Страшно иное: сознание, что свобода, которой она, Соня, пользовалась и за которую она так дорого платила, ничего ей не дала.



Костя-Капитан входит в пьесу уверенной, свободной, хозяйской походкой — и сразу всех себе подчиняет. Одесский шик, остроумие, холодная и страшноватая порой вежливость, дерзость, самоуверенность, находчивость — все это превращает Костю-Капитана в живое олицетворение блатного идеала.

Кажется, этот блестящий, завидно самоуверенный человек приносит с собой маяющее дыхание вольности. Суровый режим лагеря он просто игнорирует, не подчиняется ни правилам, ни законам, ни дежурным, ни комендартам. Одних легко запугивает, других еще легче обманывает. Его жестокая, капризная власть держится, разумеется, силой, но не одной только силой. Власть Капитана — прежде всего власть его человеческого таланта, его своеобразного обаяния, шеголеватой эlegantности. Но именно талант, тот самый талант, который обеспечил Косте привилегированное положение в «блатном мире», оказывается его ахиллесовой пятой. Талант восприимчив, талант впечатлителен.

Перевоспитание Капитана начинается с того, что у него отнимают ближайших, вернейших сподвижников. Груд, который внушает Косте глубочайшее отвращение, становится чем-то привлекательным для Сони, например. Чем же? Эта загадка начинает занимать Капитана, хотя позиции свои он сдавать не намерен. В изоляторе он бьется в истерику, отчасти наигранной, отчасти вызванной подлинным испуганием. Но Сою он не обманет.

— Ты меня знаешь? — спрашивает Соня.

— Тебя знаю.

— Мне веришь?

— Тебе верю.

— Ты сейчас — дурак.

— Неужели? — удивленно и растерянно говорит Костя. Чего-чего, а такого эффекта он не ожидал. Соня с тачкой, Соня его — Капитана! — считает дураком... Вот уж действительно «распалась связь времен»!.. Позиция прекрасного «аристократизма» раскололась. Костя остался «хозяином» только в глазах Лимона и Берета, он Капитан только для тех, чье признание и подчинение его не радует и не обманывает: он знает, «лучшие люди» ушли. Ушли и не вернутся.

В этот кризисный момент Громов предлагает Капитану сразу и власть и риск —

то, что Костя больше всего ценит в жизни. Одной фразой — «Ты назначен начальником экспедиции на большие подрывные работы» — Громов возвращает Косте утраченное чувство собственного достоинства. Правда, в этой фразе прячется и нечто новое, нечто не знакомое еще Косте, — в ней скрыто доверие, груз которого Капитан скоро почувствует и ни превозмочь, ни сбросить не сможет.

Но уже сейчас Капитан чувствует себя как полководец, которому вернули войска. Ибо главный талант Кости, его призвание — как это ни странно звучит применительно к вору, бандиту, к «босяку, пародии» — талант руководителя, организатора, вожака. Призвание это впервые в бурной жизни Кости получает настоящее применение и настоящую цель именно тогда, когда Капитан со всей своей «ватагой» оказывается в лесу, с оружием, когда «нет охраны, нет команды, нет начальника».

Казалось бы, это все, здесь тема исчерпывается, и автор может поставить точку. Но именно тут Погодин находит самый интересный оттенок: он догадывается, что Костя стыдится своего счастья. Стыдится не только перед Соней («А что я Софье отвечу, когда скажет она: работаешь, Костя?») — стыдится перед самим собой. Он снова и снова уговаривает себя: «Все равно мы с Сонькой убежим». Бежать, когда срок наказания сокращен? Бежать, когда в газете пишут, что Костя — герой труда? Бежать, когда жизнь впервые стала осмысленной? Все это уже не для Кости, смущенного своим небывалым счастьем. А теперь Костя действительно «счастлив, как поэт», счастлив настолько, что счастье даже изменяет его лексикон, и та самая Маргарита Ивановна, которую он предлагал доставить «живую по месту партнера», представляется ему любимой, прекрасной.

Но Маргарита Ивановна — корыстное, расчетливое существо, «мелкая стерва». Для нее Костя только вор, который нагло назвался летчиком. Маргарита Ивановна пошлым, дешевым гонором своим едва не отбрасывает Костю обратно, на исходные рубежи его биографии.

Оскорбленный Костя «срывается», бежит. Он уже был почти на пороге «жизни, воли, какой-нибудь Ялты...». Но теперь для него возжеленная, почти символическая «Ялта» больше не равнозначна ни жизни, ни воле. И он вернулся к людям, которые нашли

«смычок» для его сердца, подобного скрипке, сумели извлечь из этого сердца новую счастливую мелодию.

Этой мелодией и завершается погодинская сюита, проникнутая безоглядной верой в человека, даже в человека, обремененного самыми явными и самыми, казалось бы, трудно излечимыми, застарелыми болезнями.

Вообще Погодин в принципе твердо уверен, что неизлечимых социальных болезней нет. Именно это убеждение в конечном счете придает всей погодинской драматургии радостное, просветленное звучание.

Но и Погодин помнит, что «куда не достягает меч законов, туда достягает бич сатиры». И он умеет пользоваться этим бичом, и он бывает гневен, резок, беспощаден, но его сатирическую реакцию чаще всего вызывает одно весьма специфическое явление. Именно — ханжество.

Можно сказать, что осмеяние и ожесточенное изобличение ханжества — «узкая специальность» Погодина-сатирика. Белковский в «Моем друге» написан с юмором. В «Аристократах» сочувственный юмор следует по пятам за отъявленными хулиганами, за саботажниками, как бы ни были плохи эти люди; Погодин верит, эти «отщепенцы, отверженные и даже прямые враги» рано или поздно пройдут «трудную консерваторию» жизни, станут рядом с такими, как Громов, как Гай.

Другое дело — Элла Пеплер в «Моем друге», другое дело — Маргарита Ивановна в «Аристократах». Их декларативная, спесивая чистота, их чванная добропорядочность, их неизменная готовность «петь советские серенады по дешевке» подозрительны Погодину. Они всегда рвутся разоблачать и обличать тех, кто участвует в трудной борьбе, в настоящем бою, кто далеко не всегда оказывается «чистеньким» с точки зрения этих чистюль, этих ортодоксальных святош.

Во многих довоенных и послевоенных пьесах Погодина его брезгливое и гневное отвращение к ханжеству прорывалось внезапной сатирической нотой, иногда одной только репликой, подобной удару бича. В комедии «Рыцари мыльных пузырей» задача сатирического осмеяния ханжества стала для Погодина специальной и центральной задачей. К сожалению, проблема была поставлена с излишней декларативностью, комедия писалась как «проблем-

ная», писалась «по тезисам». Хотелось даже напомнить Погодину его собственное восклицание: «Спрячь свои тезисы, или я милицию позову!» — до того отчетливо и резко выступила тут противопоказанная Погодину черно-белая схема. Но сама по себе тема комедии была для Погодина в высшей степени органичной, естественной — это была его, кровная, погодинская тема.

Именно оттого, что по самой природе своего таланта Погодин необходимо связан с современностью, со злобой дня, всякое расторжение этой связи, всякое растяжение ее — во времени или в пространстве — всегда болезненно отзывалось в его творчестве. Его неудачи (они довольно многочисленны, но не будем забывать, что Погодин самый плодовитый наш драматург и что все успехи его тоже трудно было бы перечислить), его срывы всегда связаны с временной или территориальной, даже чисто географической отдаленностью от места или времени действия. Ему не удалось ни «Вихри враждебные», ни «Багровые облака», ни «Минувшие годы» просто потому, что минувшее не стало погодинским. Ему не удалось ни военная «Лодочница», ни антивоенный «Миссурийский вальс» просто потому, что, когда писались эти пьесы, Погодин был далек в 1943-м — от Волги, а в 1949-м — от Миссури. Примеры можно было бы умножить. Можно было бы сказать также, что злоба дня не всегда бывает правой этого дня, и напомнить о том, что эффективная «научная победа», которая дала Погодину повод написать талантливую, блестящую во многих эпизодах комедию «Когда ломаются копыта» — победа сия довольно скоро оказалась блефом и скомпрометировала всю концепцию пьесы... И все же гораздо важнее помнить о том, что злободневный по природе своей талант Погодина очень часто создает творения, которые обладают неоспоримой долговечностью, которые несут сквозь годы неостывающий жар тех дней, когда писались эти пьесы, — будь то «Поэма о топоре» или «Мой друг», «Аристократы» или несправедливо, на мой взгляд, занесенная в реестр погодинских неудач пьеса «Мы втроем поехали на целину».

Недавно, накануне своего шестидесятилетия, Погодин дебютировал в новой для него сфере художественной прозы и опубликовал роман «Янтарное ожерелье». В этом романе привлекательна погодинская

звонкость сегодняшней, далеко не книжной речи, осязаемая и в диалогах, и в самом авторском повествовании, в высшей степени интересна скрытая под покровом прозы энергичная «драматургия» выразительных подчас человеческих столкновений... Да и почти весь «человеческий материал» отобран Погодиным с характерным для него пристрастием к новизне, отвращением к штампу. Любопытно, кстати, что молодежь в романе выглядит гораздо более естественно, чем персонажи, которые были молоды тогда, когда был молод автор. Пенсионер Иван Егорович, выступающий от имени старшего поколения, умилителен, но, без сомнения, пресен. Кроме того, мы с ним заведомо уже неоднократно встречались во многих других романах, повестях и пьесах, и даже Погодин не заставит нас его полюбить. Лишний раз подумаешь только о том, как сложны и затруднены взаимоотношения Погодина с прошлым, пусть даже сравнительно недавним.

Тем интереснее, однако, что именно прошлое дало Погодину стимул для главного творческого свершения его жизни — создания трилогии о Ленине.

## 5

Первые подходы Погодина к ленинской теме были робки, осторожны. По его собственным словам, он испытывал «некоторое творческое смятение» перед задачей создания сценического образа Ленина. Он думал, что в лучшем случае получится «эскиз», первый набросок ленинского портрета, что поначалу будут уловлены и переданы в драматическом действии хотя бы отдельные характерные, существенные черты человека, чье имя стало символом свободы для трудящихся всей земли.

Однако при всей скромности своих намерений, «при всем высоком трепете перед личностью Ленина» Погодин с самого начала понимал, что «должен обращаться с образом Ильича, как с любым другим литературным образом, — иначе ничего не получится: образ утратит свою жизненную непосредственность, на первый план вылезут цитаты, которые неизбежно будут выпадать из художественной ткани пьесы». Следовательно, вполне понятная робость перед темой, к которой он прикасался впервые, сочеталась у Погодина с твердым намерением сохранить необходимую свободу

и непринужденность построения пьесы, избежать «цитатности», искусственности введения фигуры Ленина в художественный строй драмы. И если в первой ленинской пьесе, в «Человеке с ружьем», эта цель достигалась не всегда, то, во всяком случае, позиция, занятая писателем, была уже вполне отчетливо выявлена. Скромность художника, не претендующего на создание большого, монументального полотна и ограничившего себя задачей изображения более точных, непосредственных зарисовок, согласного удовлетвориться эскизом, но не желающего ни на шаг отступить от правды — жизненной и художественной, — такая скромность, по элементарной логике, должна была сделать Погодина противником холодно-величавого изображения вождя.

Эстетическое оформление ленинской темы с самого начала обрело у Погодина характер доверительно-человечный, и в образе Ленина, каким он виделся писателю, сильнее всего звучала тема ленинского демократизма, ленинской простоты.

Впрочем, такой подход к теме был неизбежен для Погодина. Весь его предшествующий опыт, весь тонус и характер его творчества предопределяли возникновение в погодинской «лениниане» этого доминирующего, пронизывающего всю трилогию радостного мотива органичного слияния Ленина и революционного народа.

Хотя Погодин, разумеется, тщательнейшим образом изучал ленинские произведения и воспоминания о Ленине, старался возможно более полно исследовать эпоху, на фоне которой развивается действие трилогии, тем не менее его труд не был, строго говоря, трудом драматурга-историка. Погодин до сих пор не соглашается с критиками, которые относят его ленинскую трилогию к разряду так называемых «историко-революционных произведений». «Это неверно, — решительно возражает Погодин. — Здесь нет исторических драм, как в «Царе Федоре» или «Борисе Годунове». Нет и истории в чистом виде. Есть дух ее, дух времени».

С Погодиным нельзя не согласиться хотя бы потому, что каждая из трех его ленинских пьес как бы умышленно обходит стороной главнейшие исторические события. Действие «Человека с ружьем» протекает в дни Великой Октябрьской революции, в дни взятия Зимнего дворца, разгона и ареста Временного правительства, Второго

съезда Советов. Все эти и многие другие события косвенно отражаются в пьесе и активнейшим образом воздействуют на мысли и поступки ее героев. Более того, действие ведется все время в самой непосредственной близости от совершающихся событий. История делает свое великое дело совсем рядом, в двух шагах от героев пьесы, в тот момент, когда Иван Шадрин взволнованно читает в одной из комнат Смольного Декрет о земле, в другой комнате Ленин, вероятно, пишет текст знаменитой радиogramмы «Всем, всем»: «Правительство Керенского низвергнуто и арестовано. Керенский сбежал. Все учреждения в руках Советского правительства». Но Погодин не пытается запечатлеть этот исторический момент, у него цель другая, с него довольно случайной встречи Ленина с Иваном Шадриним в коридоре Смольного...

Этому принципу, так сказать принципу «смежности», самой непосредственной близости к историческим событиям и свершениям, Погодин остается верен на протяжении всей трилогии, никогда не посягая на прямое воспроизведение тех фактов, которые вошли в учебники, вдохновили многих живописцев, драматургов, сценаристов и режиссеров кино. Великий план электрификации России принимается во время действия «Кремлевских курантов», но и это событие свершается за сценой. Провозглашение нэпа предшествует началу «Третьей, патетической», трагическая весть о смерти Ленина суровым аккордом врывается в течение драмы, но и это событие происходит за пределами пьесы.

Легко заметить также, что Погодин почти всегда старается избежать воспроизведения образов реальных лиц из окружения Ленина, неохотно и только в случае безусловной необходимости называет конкретные, известные из истории имена. Гораздо чаще, гораздо активнее Ленин в его пьесах общается с персонажами, созданными воображением писателя. Иван Шадрин и Александр Рыбаков, инженеры Забелин и Сестрорецкий, Федор Дятлов и старик часовщик становятся в пьесах Погодина собеседниками Ильича, и встречи с этими как будто случайными людьми оказываются главными идейными и художественными моментами всех пьес трилогии.

Эти особенности погодинской «ленинианы», действительно придающие ее историзму

весьма своеобразный и — на первый взгляд — даже «относительный» характер, диктуются прежде всего задачей возможно более полного постижения внутреннего мира Ленина. Когда Погодин пишет мимо-летный, экспромтом возникший разговор Ленина с солдатом в кулуарах Смольного дворца («Человек с ружьем»), или Ленина, непринужденно беседующего с деревенскими детишками, или Ленина, терпеливо уговаривающего старого часовщика исправить башенные часы Кремля («Кремлевские куранты»), или Ленина, сурово отказывающегося помиловать взяточника («Третья, патетическая»), то этот постоянный для Погодина умышленно скромный аспект дает драматургу, а вслед за ним и зрителям радостную возможность проникновения в мысли и чувства Ленина и с неожиданной силой как бы вплотную приближает к нам фигуру, окруженную ореолом величия и народной любви.

Основная тема каждой из ленинских пьес возникает, как обычно у Погодина, из прихотливо сплетающейся вязи различных тем и мотивов, различных судеб и ситуаций. Драматург упорно и успешно добивается проникновения в самые помыслы, заботы, волнения и тревоги человека гениального. Он подходит к решению этой сложнейшей задачи новыми, еще не проторенными путями, смело устремляясь навстречу правде жизни и истории, не избегая суровых, подчас трагедийных красок. Текст Погодина с удивительной ясностью передает биние ленинской мысли, речь Ленина звучит во всех трех пьесах по-ленински быстро и отрывисто, то энергично и властно, то гневно, то радостно.

Задача воссоздания образа Ленина решается Погодиным всякий раз в полном соответствии с принципами сложившейся ранее в его творчестве новой драматической формы — той формы, которую мы решили назвать «драматической сюитой». Причем главная, ведущая, лейтмотивная тема произведения не Лениным начинается, но неизменно в сцене с участием Ленина — или в нескольких таких сценах — доводится до кульминации, до высшей степени кризиса и до своей идейной и художественной развязки. Погодин всякий раз словно бы приближается к Ленину об руку со своими героями: то с Иваном Шадриним, то с инженером Забелиным, то с Ипполитом Сестрорецким и Федором Дятловым. Каждый

из этих погодинских героев приносит к Ильичу свою драму, свою проблему, свою судьбу, более того — самую жизнь.

Однако каждая из этих личных, индивидуальных, отдельных судеб глубочайше типична, каждый из этих героев несет с собой не только «дух времени», но и одну из кардинальных проблем времени. Вот почему «относительный», «условный» на первый взгляд историзм Погодина, историзм, не подкрепленный прямым изображением многих важнейших фактов и событий эпохи, а только косвенно учитывающий эти факты и события, в конечном счете оказывается все же подлинным историзмом, выражающим и дух времени и его наиконкретнейшую проблематику.

Но тут необходима одна весьма существенная для понимания Погодина оговорка. И в самом отборе ведущих, лейтмотивных тем каждой из трех ленинских пьес и, главное, в конкретной их трактовке и развитии чувствуется, что интерес к истории у Погодина всегда возбуждаем и разжигаем самыми современными, нанактуальнейшими стимулами «злобы дня». Характерная для него острота восприятия нынешней, сегодня бурлящей жизни обычно не оставляет Погодина и тогда, когда он вступает на территорию прошлого. Он не может быть «только историком», а когда пытается ограничить свои цели воспроизведением «страниц истории», тогда из-под его пера выходят сравнительно вялые и аморфные пьесы.

Впрочем, как это ни странно прозвучит, в данном случае следует говорить не столько о взаимоотношениях писателя с темой, сколько о воздействии темы на писателя. Ленинская тема обладает для Погодина особой тонизирующей силой, ленинская тема сама всегда ведет его от истории к современности. Ибо ленинская тема естественно созрела в драматургии Погодина еще до того, как он к этой теме обратился, ибо к образу Ленина сама собой вела Погодина жизнь, порождавшая и наполнявшая его пьесы, жизнь, властно требовавшая осмысления, выделения ее образной сути, постижения того идеала, которым было одушевлено ее стремительное, всегда радостно волновавшее писателя движение.

Другими словами, новая жизнь, создавшая новаторскую драму Погодина, несла

в себе ленинскую идею, наиболее рельефное воплощение которой было достижимо в момент постижения образа Ленина.

Идея эта, однако, остро сталкивалась с некоторыми тенденциями, уже обозначившимися в жизни нашей партии и страны тогда, когда писалась первая пьеса трилогии — «Человек с ружьем».

С культом личности И. В. Сталина было связано в искусстве торжественное монументальное изображение образа руководителя партии и государства. В ленинской же трилогии несомненно существует — пусть даже неосознанная, но от этого не менее убедительная — полемика против парадной монументальности, против величавой «дистанции» между народом и руководителем.

Во всех трех пьесах Погодина Ленин неизменно оказывается в гуще жизни, среди народа: то он окружен солдатами во «взбудораженном Смольном», то он среди крестьян в деревне, то он гуляет по ночной Москве, беседуя с Рыбаковым, с рабочими-трамвайщиками, с озлобленной нищенкой, то он на заводе, с рабочими.

Восторг, обаявший деревенского звонаря Казанка, который, завидев Ленина, кинулся к церкви и звонит так, что, кажется, «всю колокольню разнесет», изумление крестьянских детей, долго не желающих признать, что Ильич — «настоящий», — все это вполне правдивые и характерные «реакции на Ленина», на самый факт встречи с ним, неизменно подаются Погодиным с юмором. Юмор тут всегда отчасти ослабляет торжественность момента, но юмор же и придает всем этим моментам особый сердечный тон, лиризм звучания. Юмор снимает холодок величавости и, сближая нас с Лениным, усиливает ощущение подлинного величия.

Образ Ленина силой погодинского таланта как бы приближается к нам настолько, что мы неожиданно для себя оказываемся как бы с ним наравне, но именно в этом-то равенстве, уже чувствуя себя с Лениным просто и накоротке, как бы узнаем его заново и как бы впервые, вдруг, внезапно подпадаем под мощное воздействие его восхитительно острого, ослепительно яркого интеллекта. Погодин дает нам заново испытать радость прикосновения к жизнедеятельности гения, о котором каждый много думал, с которым каждый не один раз в жизни мысленно советовался. И то, что Погодину удастся достигнуть именно такого ре-

зультата, именно такого эффекта, выводит его трилогию из разряда обычных, пусть даже очень значительных явлений искусства.

Погодин неоднократно отстаивал свое право «сочетания в одном произведении разных планов». Он писал совсем недавно: «Через театр можно донести громадные идеи, если они прозвучат на всех инструментах: в оркестр должны входить и трубы, и арфы, и колокольчик, а порой и балалайка». Честно сказать, звуки арфы или колокольчика в погодинском «оркестре» не слышны, и особых сожалений по этому поводу зрители не испытывают. Что же касается «разных планов», то, взглядываясь в самого себя, вслушиваясь в звучание своего собственного оркестра, Погодин должен бы признать, что под любыми жанровыми напластованиями в его пьесах всегда прощупывается непреходящий «план» юмора. Юмор пронизывает даже «Третью, патетическую», хотя она вполне справедливо зовется «трагедийным представлением».

Улыбка — то нежная, то снисходительная, то сердечная, то презрительная, то отчужденная, то любовная — сопутствует героям Погодина, и они всегда предстают перед нами, так сказать, в сиянии его улыбки. И характерно: в юмористическом, комичном освещении нам предъясняется не какая-нибудь забавная побочная деталь, не любопытная подробность, не колоритный случайный эпизод, а главная, кардинальная проблема произведения — вот ведь в чем соль!

Пойдет ли вчерашний крестьянин, сегодняшний солдат, «человек с ружьем», защищать революцию? Поймет ли русский патриот, инженер Забелин, что революция — спасение и надежда России? Устоит ли пролетарий-коммунист, герой Октября Федор Дятлов перед «упитанными буржуями», выдержит ли он тяжелое испытание нэпа? Все эти вопросы последовательно, один за другим, создают в каждой из пьес трилогии сголь высокое, столь кризисное напряжение драматизма, что решать их неизбежно и неминуемо приходится самому

Ленину. Эти вопросы рождаются в гуще народной жизни и силой заключенного в них драматического потенциала возносятся на ту высоту, где возможно их осмысление и решение, — к Ленину. И тем не менее, раскрывая и в «Человеке с ружьем», и в «Кремлевских курантах», и в «Третьей, патетической» всю историческую значительность, весомость, всю идейную и эмоциональную серьезность этих проблем, Погодин не боится заранее показать нам их комедийную изнанку. В этой смелости юмора, все время как бы весело играющего и с драмой и с трагедией, дает себя знать современность устремленного в прошлое взгляда Погодина. Он ни на мгновение не забывает о том, что драмы Шадрина, Забелина, Дятлова выносятся на сцену тогда, когда драмы эти историей уже разрешены, он не пытается делать вид, будто их исход еще не предугадан. Радость уже одержанной победы проникает из современности в изображаемое писателем прошлое и отзывается смехом. Юмор согревает трилогию Погодина ясным светом будущего, которое стало для нас, ее зрителей, настоящим.

Проникая в драматические конфликты суровой эпохи, вибрирующие под большим напряжением классово-политической борьбы, погодинский юмор, однако, несколько не ослабляет это напряжение. Напротив, по закону контраста юмор рельефно выделяет его кризисность, его предельную резкость. Время, когда погодинский оптимизм вдруг превращался в развеселое благодушие, давно отошло. Его оптимизм стал и основательнее и мужественнее. Мироощущение легло на прочный фундамент мировоззрения.

Соответственно и сюитный принцип построения погодинских пьес, ничуть не изменившись, напротив, даже утвердившись в основных своих очертаниях, стал охватывать неизмеримо более глубокие темы, вбирать в себя самые существенные аспекты строительства нового, коммунистического общества. С образом Ленина драма Погодина поднялась на высоту философских обобщений.



---

И. РАДВОЛИНА

★

## О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ

*(Заметки о современной югославской литературе)*

**Н**е так давно, уже после того, как на страницах «Нового мира» была опубликована статья «Прямой разговор»<sup>1</sup>, в которой речь шла о том, что во многих нынешних книгах югославских писателей проявляется непонятное стремление принизить героя народно-освободительной борьбы, я ознакомилась еще с одним романом. С новым романом одного из самых известных и более всего прославляемых литераторов этой страны — поэта, романиста, эссеиста Оскара Давичо. Нет почти ни одной его книги, которая избежала бы награждения или щедрых похвал прессы. Он уже избран в академию. Ему подражают те из литературной молодежи, для которых высшей похвалой служит эпитет: «Вот это европейский писатель!» Не сербский, не хорватский, а «европейский»!

Роман Оскара Давичо называется «Рабочее заглавие — бесконечность...». Чтобы обнаружить основной смысл его и разобраться в содержании, упрямому читателю (в данном случае я считаю себя именно таким упрямым читателем) пришлось преодолеть глухие завалы внутренних монологов, мысленных споров, описаний того, что было в действительности, и того, что возникало только в воображении героев, продираться сквозь переплетения сна и яви, переваливать через нагромождения эротики, вернее, физиологии.

Ради чего же был проделан этот поистине титанический труд? Что заставило так терпеливо раздвигать вставшие торчком острые обломки фраз, метафор? Что заставило прочесть и снова перечитать почти

пятьсот страниц этой книги, набранных убогим петитом?

Судьба того же героя.

Роман этот — предельно откровенный, взволнованный рассказ о судьбе еще одного участника освободительной борьбы. Исповедь героя, который, оглянувшись на то, ради чего была пролита кровь в сражениях, на то, что завоевано этой кровью, размышляет, анализирует, мечется, пытается найти свое место в сегодняшней действительности.

Оскар Давичо — писатель большого темперамента. Он претендует и на большую смелость, на новаторство. В разные годы смелость его проявлялась по-разному. Третье десятилетие работает Давичо в литературе. И эти три десятилетия отличались попеременно то бесшабашным разгулом королевской реакции в стране, то подъемом революционного самосознания масс, то всенародной борьбой во имя национального освобождения, то расслоением и взаимоотталкиванием весьма разных по социальным признакам сил после победы. И в каждый из этих периодов Давичо удивлял своих читателей то неожиданными сюрреалистскими ребусами, то чеканными строфами, которым сила и определенность чувства и убеждения диктовали ясность содержания и благородство формы, то снова запутаннейшими лабиринтами слов.

Очевидно, такова уж природа его лирического героя: внешне он самоуверен, полон как будто чувства собственного превосходства. А внутренне он подчинен, зависим. Его метания — это скорее метания стрелки барометра, только определяющей затишье или грозовую погоду, чем, скажем, бес-

<sup>1</sup> См. «Новый мир» № 2 за 1959 год.





говоря, и начинается основной конфликт романа.

Битва шла, как считал герой Давичо, во имя больших идеалов — народного освобождения, во имя совершенствования человека и человеческого общества, во имя чистоты и правды жизни, носителем которых в представлении героя романа был его двойник, были его соратники. В горячке военных лет разглядеть этот идеал не удалось. По следам его вела только вера. Теперь завоевана победа. Но она же и унесла идеал, то есть Косту. И началось как будто бы то, за что боролся и погиб Коста. И вокруг себя Вук видит тех, кто выжил в этой борьбе. Какими же они стали? А может быть, и были? Как же выглядит то, за что они боролись? И как себя чувствует герой Давичо после того, как он лишился вдохновляющего стимула, после гибели Косты?

Начнем с последнего.

«...Умирнен? Опустошен? Поражен... — говорит о себе Вук. — Я лишен чувств, мыслей, надежды... Обокраден начисто...»

Внешне этот герой своими словами, поступками являет собой образ воина, понимающего, что сражается он за права народа, за его счастье. Но по сути дела он живет лишь отраженными чувствами, отраженными представлениями о долге. Его собственные убеждения не успели тогда окончательно сложиться. Им не хватало, быть может, настоящего, не книгами, а личным опытом вызванного возмущения социальным гнетом. Им не хватало настоящего, самой жизнью подсказанного представления о мире, свободном от этого гнета. А тут еще и воображаемый идеал — Коста — погиб. Перестал существовать как раз в дни победы. И Вук, как метко сказано на одной из страниц книги, потерял пароль в сегодняшнюю действительность.

Он, конечно, живет. Но теперь он уже не желает быть ни воином, ни борцом. Он предпочитает остаться свидетелем и только свидетелем событий, происходящих вокруг. Он становится писателем, журналистом. В его представлении писатель, журналист — это только свидетель. Он хочет писать правду о жизни, за которую боролся Коста и он сам.

По заданиям редакции он ездит на заводы, на стройки, в села. Вук видит, как ра-

бочий, получивший премию, пьянствует или торопится поскорее обзавестись собственностью, движимым и недвижимым имуществом. Он вовсе не думает о тех высших идеалах, которые журналист должен ему приписать в своих «свидетельствах». Вук видит, как все вольготнее<sup>2</sup> живет и даже задает тон один из тех, кто сотрудничал с фашистами или по меньшей мере трусливо прятался в годы оккупации. Он видит все усложняющуюся жизнь. Он хотел бы писать о ней правду. Но редактор внешний и еще больше редактор, сидящий в нем самом, то есть человек, который как будто именно за этот строй боролся и именно этот строй должен во всем сейчас защищать, сдерживают его. Вук продолжает размышлять. Сомнения не находят выхода в его работе. Но ведь от этого не легче. Со многим он все-таки не может примириться. Противоречия разрывают его изнутри.

Как уже говорилось, в книге Давичо не легко разобраться, где автор рисует события, которые действительно имели место, где герой говорит с людьми живыми, а где идет воображаемая беседа или спор с друзьями-соратниками, которых уже давно нет в живых. Но и с живыми и с мертвыми разговор в этой книге идет серьезный. Вот небольшой мысленный разговор с теми, кто погиб в день победы. Герой слышит и отвечает:

«— ...Брось, а если мы потеряли веру в обещания?»

— В чьи?

Я знаю, он намекает на то, что послужило поводом, из-за чего меня так стремительно отозвали с работы в провинции... Да, я агитировал там среди крестьян за совхозы, коммуны. И уже уговорил было нескольких скоевцев<sup>1</sup> отдать земли в коммуну. И что же? Мою работу не осудили? Нет. Но меня вернули в часть. «Лезешь поперек батьки в пекло», — сказал мне Филипп. «Нет у тебя чувства времени!» — уточнил его слова Андрей. «Ты слишком буквально, всерьез принимаешь мечты!» — добавил Янко. «Я выполняю обещание...» — сказал герой Давичо.

И дальше, продолжая этот невеселый разговор с собой, со своими друзьями, которые уже давно погибли, он еще поясняет:

«...Я мог бы обещать себе счистить «чисто-

<sup>1</sup> СКОИ — Савез комунистичке омладине Југославије (серб.) — Союз коммунистической молодежи Югославии.

лем» пятна с солнца. А о том, чтоб очистить душу, и говорить нечего... Но невозможное остается невозможным! Я рассердился на невозможное, на эту деляческую потерю перспективы... ведь человек вообще существует не для того, чтобы скрываться в мышиной норе...»

Вот эта горечь, вызванная «деляческой потерей перспективы», это понимание, что человек не создан для того чтобы отсиживаться в «мышиной норе», эта взволнованность, тревога о прошлом, о настоящем, о будущем и останавливает внимание на романе Давичо, хотя автор приложил немало усилий, чтобы затруднить читателю доступ к своей мысли, к своему чувству.

Вук Васич непрерывно ведет диалог со своим двойником. Он рассказывает:

«Я слышу мертвого Косту: мертвец — он мучится и, спрашивая, вздыхает: «Разве за это я погиб, разве за это? Чтоб ты был так сломлен? Вместо того чтобы ты продолжал борьбу...»

Васич «испуган предчувствием того, что будущее, осуществленное сегодня, не совпадает с тем, что он себе представлял». Он говорит:

«...Вопреки всему, я старался смотреть вокруг себя глазами мечты Косты. В первый момент я даже не знал, что делаю так и что именно это является источником лихорадочного беспокойства, которое гонит меня по дорогам и заставляет напряженно ожидать осуществления хоть чего-нибудь из того прекрасного — товарищества, внимательной нежности в отношениях между людьми,— одним словом, хоть чего-нибудь из всего, что надеялся, вероятно, увидеть Коста сразу же после завоевания свободы».

Вук всматривается в окружающее, он хотел бы увидеть, но не обнаруживает «товарищества», не видит «той красоты». Не видит осуществления мечты. Он заглядывает внутрь себя и устанавливает: «С этим я примирился». Но тут же задает себе вопрос: «А Коста? Примирился ли Коста с этим?» И, судя по книге Давичо, видно, что Коста не примирился бы. И, конечно, возникает вопрос: а примирился ли сам автор? Или, может быть, он, как и его герой, уговаривает себя, спорит с собой, хочет быть свидетелем, только свидетелем, и еще не сумел до конца освоиться с этой ролью? А может быть, и он ищет возможности «мирного сосуществования» в себе духа

Косты и духа холодного наблюдателя или склонен все больше считать, что разговоры об идеалах людей героического прошлого — это только красивая легенда, «нас утешающий обман», и что в настоящем этих идеалов искать, пожалуй, не к чему?

До самой последней страницы книги герой ищет себя. И чем ближе к концу, тем больше становится горечь разочарования.

Теперь Вук признается: «Я старался сохранить то, что под давлением фактов — то тут, то там — начинало называться иллюзиями: бывшее телячье воодушевление, не носящее на себе следов волчьих челюстей действительности, той самой перевоспитательницы, судьи, палача и жюри, раздающей награды и пощечины...» Но такое его признание вовсе не мешает примирению. Он говорит «старался», а вовсе не «стараюсь».

Некий Драгич, человек с нечистой совестью, видимо сотрудничавший, хотя и не слишком открыто, с оккупантами или струсивший в какой-то момент, после победы всплывает на поверхность. Он заправляет в кинопромышленности. Но это еще не все. Ему нужно укрепить связь с бывшими партизанами, стать необходимым им. И он устраивает у себя на квартире нечто вроде дома свиданий. Он поставляет бывшим воинам народного освобождения и партийным работникам, тем, что торопятся сейчас восполнить все, в чем они себе отказывали в годы войны, «живой товар», девчонок, «артисточек». Это попросту притон, в котором царят разврат, грязь, цинизм.

Примитивнейшую грязь, разврат, цинизм в неестественном сочетании со словами о борьбе, о социализме, о коммунизме автор видит повсюду вокруг героя. Даже младшую сестру Кесты, девушку, которую Вук любит (она, очевидно, должна олицетворять в книге тех, ради которых шла борьба), даже ее он видит погрязшей в этом разврате. Он не верит ей, не верит себе. Он сомневается во всем.

Он все больше начинает сомневаться, был ли Коста таким, каким он себе представлял его. То есть был ли когда-нибудь идеал, была ли вообще высшая цель.

Его мучит неверие в человека вообще, в его способность стать лучше. Его мучит расхождение между тем, что виделось в годы борьбы как будущее — то есть тем, что сегодня он иронически называет «меню ангелов», — и действительностью, такой, ка-

кой она сложилась на самом деле. Его поражает, как он сам говорит, «разница между меню ангелов и фактами». Воспоминания о погибших соратниках зовут его к борьбе. А те из соратников, что остались в живых и усердно посещают вертеп Драгича, толкают его на примирение с действительностью. Драгичи, люди политически и просто человечески нечистоплотные, льстят, угодничают, подлаживаются, искусно пользуются той же социальной терминологией, обволакивают, стараются стать необходимыми и пробираются при этом поближе к пультам управления. Они раздражают героя Давичо, возмущают его. Однако это не мешает ему пользоваться их услугами, не мешает, быть может, помимо воли способствовать их процветанию. Вуку слышны строгие голоса старых друзей. Они осуждают его. Но ему уже ближе и слышнее разгульные голоса сегодняшних друзей, тех, что настаивают на «деляческом примирении». И это они подсовывают ему доводы для самооправдания: жизнь, мол, сложна, условия не позволяют. Надо уметь приспособливаться, диалектика...

Кончается роман тем, что герой в какую-то минуту сдается. Он больше не желает мучить себя. Он решает наслаждаться тем, что дано. Он уезжает со своей девушкой на курорт. Итак, взял верх вроде «личное счастье». То самое «личное счастье», которое, как сказано в программе Союза коммунистов Югославии, не рекомендуется теперь подчинять «каким-то высшим целям». В этом документе так прямо и говорится. И слова «высшие цели» взяты в презрительные кавычки. В былые годы, когда на бессмертный подвиг свой шли Сава Ковачевич и Аугуст Цесарец, Иво Лола Рибар и Раде Кончар, ставились, очевидно, такие «высшие цели», которым стоило «подчинять личное счастье», и слова эти тогда не заключались в кавычки. И тогда подчинение всей своей жизни высшим целям приносило этим людям еще большее «личное счастье».

А теперь, очевидно, настала пора, когда всем тем, кто послужил прототипом героя Давичо, да и многих других литературных героев, всем тем, кто сомневается и угрызается, понадобилась срочная помощь. Понадобилось помочь их самооправданию, их самоутешению и примирению.

Теперь, как уверяет программа СКЮ, «социализм не может подчинять личное

счастье человека каким-то «высшим целям», потому что самой высшей целью социализма является личное счастье человека».

Итак, да здравствует «личное счастье человека» в этом сегодняшнем понимании: то есть солнце, море и красивая девушка! И о большем не думай. И о прошлом не вспоминай. Оно — легенда. И будь доволен тем, что имеешь.

Не этим ли объясняется «перебор» эротики, не любви, а именно эротики, и даже обнаженной физиологии в последних стихах Давичо? И усталость, обреченность в тех немногих строфах, в которых автор от нее, от этой эротики, отвлекается.

А ведь лирический герой его не так давно еще мечтал о времени, «когда жизнь будет для всех как возлюбленная...» Он утверждал:

Нет, ни веревка, что горло душит,  
Ни стены тюрем, ни мука тела,  
Ни боль, что сердце живое сушит,  
Не отсекут нам руку от дела...<sup>1</sup>

Как он изменился, этот лирический герой! Как сильно сказались на нем «волчи челюсти действительности». И он не один. Он одинок, но не один.

И вам, наверно, случалось спустя много лет встретить и с волнением всматриваться в лицо человека, который юным еще запечатлелся в памяти своей отвагой, серьезностью намерений, уверенностью в своих силах (быть может, слегка преувеличенной), верой в друзей, в соратников, своей энергией, способной, казалось, преодолеть любую преграду.

И вы, наверно, при встрече с этим человеком спустя годы сравнивали бы, пылливо выискивали бы в его лице те знакомые черты, что так полюбились вам.

С поэзией народов Югославии, с ее лирическим героем я познакомилась еще до войны и впервые зримо представила его себе по стихам поэта-черногорца Петра Негоша, ло его поэме «Горный венец», полной мудрых раздумий и страсти, непримиримой воинственности и истинной человечности.

Этот правитель Черногории, ее владыка возвеличил свой край в начале прошлого века не ратными делами, а силой слова.

<sup>1</sup> Сборник «Поэты Югославии».



В ней слышалась печаль отцов, мужей, сыновей, вынужденных уходить на заработки в чужие края. Добывать уголь в Миннесоте. Тайком перевозить спиртное из одного штата Америки в другой. Перетаскивать на широких плечах грузы в портах Сан-Франциско и Нью-Йорка. На десятилетия, быть может навсегда, разлучаться с родными местами, с родными людьми.

Тесно на палубе. Море вздыхает.  
...Братья, кружить вам по свету доколе?  
«Долго... Мы прокляты черной неделей,  
Каменной тучей пригнуло нас небо».  
Что ж и не жалко вам дома родного?  
«Жалко... Дай бог тебе счастья большого...  
Хлеба-то нету... Нету, брат, хлеба!».

(А. Шантич. «Хлеб») <sup>1</sup>.

В ней слышалась снова и снова горесть подавленного нуждой и жестоким режимом человека:

Хотелось бы обнять простор широкий...  
А здесь — решетки, тление, оковы.

(Г. Крклец. «Тление») <sup>2</sup>.

Можно было бы привести еще сотни стихов, в которых, как пишет Десанка Максимович, лирический герой живет

...В становленье страстей многоликих,  
Клокочущих в гуще людской,  
И в беседе с друзьями, и над книгой  
в тиши кабинета,  
И в предутреннем спящем лесу в ожиданье  
рассвета,  
И с подругой вдвоем над рекой...

(Д. Максимович. «Поэт и весна») <sup>3</sup>.

Можно было бы еще многое привести. И, конечно, никакого подозрения в монотонности этой поэзии у читателя не возникло бы. Однако ведущей мелодией во всем этом богатстве звуков, ведущей песней была бы все же песнь о борьбе за освобождение человека, песнь, что звала и подымала, «львиные сердца» будила.

Та же Десанка Максимович лет сорок назад, в начале творческого пути, стремилась «в жизнь погрузиться» и «каждому руку протянуть». Она готова была «сердце подарить всем», дом свой открыть для любого, «человека и зверя». Однако с годами чувство поэтессы, ее мировосприятие прояснялось, отстаивалось, кристаллизовалось.

С каждым годом она не без гордости все больше ощущала и выражала свое единородство именно с «пассажирами третьего класса». С теми, «кто уважает бедность». С теми, кто «видит ум» и «не замечает стоптанных каблуков». И не случайно именно Десанка Максимович, которая с такой нежностью писала обо всем живом, что окружает ее на родной земле, с такой чуткостью откликнулась на погожий день и ненастье в своем отечестве, продолжила благородную традицию его литературы.

В ее поэме «Отечество, я здесь!» женщина-ученый, женщина-коммунистка, которая ждет казни в фашистском застенке, глубоко убеждена, что «нет смерти для того, кто умереть идет, чтоб дни счастливые настали...» Ей трудно покинуть живой мир. Она человек большой внутренней жизни и еще многое хотела бы узнать и сделать. Она — мать. Она еще нужна ребенку. И она убеждена в том, что ее ребенку, что детям всего мира еще нужнее будущее, в котором «для каждого человека найдется и место и дело», в котором «людей не будут больше гнать на гибель ради благ чужих», в котором «не будет человек бояться человека». Как высоко поднимает ее вот эта высшая цель! Как человечно ее горе от разлуки с любимым существом, ее упрямая вера в правильность избранного пути, ее горькое счастье самоотвержения ради того, чтобы людям стало легче жить на земле!

Жизнеутверждение, человечность уже свыше сорока лет держат в центре внимания читающей публики Югославии лирическую героиню поэзии Десанки Максимович и открывают ей, а вместе с ней и ее народу, дверь в большую литературу мира.

Лирический герой стихов Владимира Назора — патриарха хорватской поэзии — начинал свою жизнь на подступах к нашему веку. Он тоже был воодушевлен надеждой на освобождение человека. Он радостно воспринимал жизнь во всех ее проявлениях:

...Я солнечный пью зной,  
И чувствую — во мне  
Рокочут реки грозно,  
Шумят леса в сияньи дня листвою,  
Клокочет ключ, и плещет, пенясь, море,  
Синеет виноград, и хмелем брызжут  
гроздьи...

...Земля, я пьян, я пьян...

(В. Назор. «Цикада») <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Сборник «Поэты Югославии».

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Д. Максимович. Запах земли. Гослитиздат. М. 1960.

<sup>1</sup> Сборник «Поэты Югославии»,

Совесть поэта возмущена была жалкой долей крестьянина. Он говорил о родной земле: «Вся она по́том пропитана, слезами орошена...» Он не мог стерпеть, когда эту землю в который уже раз топтал сапог оккупанта. Поэт ощутил вторую молодость, когда увидел, как поднимается народ. И на исходе седьмого десятка лет он пошел на великий подвиг, на подвиг личный и поэтический. В 1942 году, когда многие из тех, кто не прочь бы сейчас прослыть революционером, укрылись в тиши своих квартир или южных курортов, Владимир Назор перенесся на территорию, занятую партизанами. С огромным риском для жизни. С юношеской безоглядностью и верой в будущее. Он стал поэтом воюющего народа. Он поддерживал его веру в себя и веру в воюющий народ тех, кто еще не пришел к бойцам партизанского войска. Он писал:

Честь тебе, кустарник! Леса-великаны  
Пали пред врагами,  
Ты один покрыл в стране родимой нашей  
Землю всю и камень.  
Всюду тернии, шипы свои раскинул  
Ты оградой колючей.  
Ветка каждая твоя — винжал сокрытый,  
Каждый лист — иголкой.  
...Так покрой все горы! Пусть везде кустится  
Наш терновник волчий!  
Наше достоянье, нет, мы не уступим  
Под напором полчищ!

(В. Назор. «Кустарник»).

В стихах его не было ни одиночества, ни усталости, ни «старости, ни смерти». Очевидно потому, что поэт, как и его лирический герой, был уверен в силе своего народа, в оправданности, в благородстве целей его борьбы, высших целей, не взятых в кавычки.

Мужественно сдерживал свою боль при виде страданий человека в годы оккупации, старался все запомнить, все запечатлеть, даже самое страшное, и наконец словом и жизнью подтвердил свою безграничную преданность родному краю еще один хорватский поэт-воин — Иван Горан Ковачич. Он погиб в борьбе. Но сколько навсегда живой страсти, сколько силы в его стихах:

...Снаряд рассек простор,  
И первым взрывом тишину стегнуло.  
Явился мститель. Наступает он.  
И счастлив я, как будто исцелен.  
И в сердце зажигаются огни

<sup>1</sup> Сборник «Поэты Югославии».

Погасших очагов, и пламя мщенья  
В моей крови, и, как в былые дни,  
Лучи свободы разгоняют тени.  
И я уже сдержаться не могу —  
Навстречу дыму и стрельбе бегу

(Иван Горан Ковачич. Из поэмы «Яма»)<sup>1</sup>.

Еще в тридцатые годы лирический герой стихов черногорца Радована Зоговича рассказывал о соратниках-коммунистах, сражавшихся в подполье, о «товарище в тюрьме», на чьи «запястья надели оковы», но чей суровый путь и «цели — нам остались». Лирический герой его стихов ощущал себя в одном ряду с республиканцами Испании. Он ратовал за человеческие права для албанца Али-Бинака. С горькой иронией говорил он о родной закованной в кандалы Черногории:

Черногорцы виноваты в том, что думали,  
Вудто Черногория им принадлежит...

(Р. Зогович. Из книги «Пркосне строфе». Белград. 1947).

В прекрасном стихотворении «Хотя они и не придут» поэт с благодарностью и сочувствием обращался к матерям, вдовам, сестрам красноармейцев, что погибли в Югославии, отдав жизнь за ее освобождение. Ясная мысль человека, понимающего свое немаловажное место в мире борющихся труженников, подсказывала смелые образы, неожиданные сравнения, заставляла каждое его слово звучать по-новому. Чем дальше, тем больше творчество его было пронизано самосознанием победившего народа, его чувством собственного достоинства, его ответственностью за судьбу страны.

Для лирического героя стихов Зоговича жизнь также была борьбой за освобождение человека, за большую цель — за социализм.

Можно было бы еще многое рассказать о поэтах, в которых человечность, глубокая потребность в национальной и социальной справедливости, стремление обращаться к лучшим чувствам человека и поднимать эти чувства не иссякали и в самые трудные минуты жизни страны. Можно было бы рассказать о том, как традиции, характерные черты той или иной национальности проступали в красках, в образном строе стихов каждого поэта. И вместе с тем национальное не давало заглушить ведущую мелодию общенародной борьбы.

<sup>1</sup> Сборник «Поэты Югославии».

Можно было бы еще рассказать о том, что, невзирая на различия литературных направлений, убеждений и возрастов, самый закон сообщающихся сосудов в жизни народов Югославии вызывал одновременно приливы и отливы, подъем и спад в настроениях, синхронность пульса жизни и мироощущения лирических героев поэзии Сербии и Македонии, Хорватии и Словении, Черногории и Боснии с Герцеговиной.

И как бы тяжело ни складывалась судьба страны, большая и лучшая часть поэтов, озабоченная великими задачами своего народа, не опускалась до ноющего самооплакивания, до мелочного копания в себе, до искусственных усложненностей, до самолюбленно-манерного «смотрите, каков я!». И именно это заставляет сейчас, спустя годы, внимательно взглянуться в его сегодняшние черты. В то, чем он живет сегодня.

О лирическом герое поэзии и прозы Оскара Давичо мы уже рассказали. Но не будем спешить с выводами. Попробуем предположить, что в герое Давичо разочарование вызвано, скажем, именно тем, что собственные убеждения его не успели еще до конца сложиться, что, скажем, только он не смог вовремя разглядеть свой идеал.

Посмотрим, о чем говорят сейчас другие. Те, что еще совсем недавно с полной уверенностью утверждали: «...Дни велики. В наших глазах — обсерватории, а в наших сердцах — цветники», «Мы — душа этого города» (Слободан Маркович)<sup>1</sup>.

«...Не могу успокоиться, — говорит этот же Слободан Маркович сегодня. — Разболелся от одиночества...»

...Одиночество да не сломит меня,  
Проклинаю тьму, что меня окружает... —

вторит ему другой поэт, Душан Костиц (сб. «Мреже». Белград. 1955).

А в первые годы после победы этот поэт убежден был, что

...Горе старое изжито,  
Всюду радость колосится!

От пожара и от крови  
Не краснеть волнам тяжелым,  
Вспашут плуги пустошь нови, —  
Пусть по городам и селам  
Льется жизнь трудом веселым!

(Д. Костиц. «Приход»)<sup>2</sup>.

В первые годы после победы именем своего народа он предлагал осушить заздравную чашу в Москве:

За все, что мы пронесли под сердцем,  
Чрез все застенки, сквозь все терзанья,  
Сквозь горькие дни и полные ночи,  
Чрез все засады, костры партизанья...  
...За славное братство, за верность друг  
другу  
От сопок Камчатки до скал Дурмитора,  
За вечную братскую дружбу нашу...

(Д. Костиц. «Здравца в Москве»)<sup>1</sup>.

А теперь? Теперь и он — «...Пепел. Я — пепел. Путь — дорога бессмысленно лишняя», «одинок», «хватит с меня свар в этой птичьей игре и неверия...» (сб. «Мреже»). «Я устал от всего. Мир праху моих мечтаний» (сб. «Говор земли»).

Он глубоко несчастен, герой стихов Костица, он лишен друзей. Он лишен тепла человеческого общения. Былая увлеченность борьбой кажется ему сейчас «птичьей игрой». Пройденный путь — бесстрашный путь юноши, взявшего оружие, чтобы спасти свою родину от унижения, от голода, от смерти, — кажется ему «бессмысленно лишним». Но ведь он человек. Живой человек. У него есть память. И когда тоска по товариществу подступает к горлу, поэт пишет:

Не нужно теперь нам ни лавров,  
Ни неба, ни блеска фейерверков,  
Ни восторгов здравец, ни речей...  
...Пусть только вернется  
То, о чем мы позабыли,  
То, что мы затоптали и отравили,  
То, без чего мы долго болели,  
Пусть только вернется.  
...Дружба!

(Д. Костиц. Сб. «Мреже»).

И когда в нем, в этом герое, вскипают остатки былых страстей, когда в нем выпрямляется бывший воин народного освобождения, который привык верить товарищу по оружию, товарищу по убеждениям, которому жизненно необходимо ощущать себя человеком, то есть существом общественным, тогда он закликает на все лады: «Верить — и когда ненависть из рта брызжет...», «Верить — и когда мрак тебя захлестывает», «Верить — и когда тебя возносят... и когда сбивают на колени...», «Верить, когда превращаешься в хвостину, а

<sup>1</sup> Сборник «Поэты Югославии».

<sup>2</sup> Там же.

<sup>1</sup> Сборник «Поэты Югославии».

не высишься могучим дубом...»<sup>1</sup>, «...Верить в слово, в объятие, в приветствие друга... Верить, все-таки верить...» (журнал «Стваранье», 1955).

Он, герой Костица, заклинает, но, очевидно, вера не возвращается. И он замыкается в себе: «Я одинок, я остров». Почему? Не потому ли, что и ему не светят больше «фары надежды», как сказано в одном из стихотворений поэта? Не потому ли, что и он больше не видит той «высшей цели», которая направила бы его силы и придала смысл его существованию?

Лирический герой стихов еще одного известного сербского поэта Танасия Младеновича тоже получил боевое и поэтическое крещение в партизанском лесу. Он тоже вошел пятнадцать-шестнадцать лет назад в Белград или Загреб, в Люблян или Цетинье в потрепанной шинели, с ружьем наперевес. Победитель, он был жаден до знаний, до жизни, до дружбы, до власти. Он утверждал:

Наша любовь, как смерть, сильна.  
Она иссушила бы снежные лавины...

Он говорил тогда «наша», а не только «моя». А теперь он

...одинок, никого своего на свете: ни брата, ни друга, ни любимой жены.  
И нигде души человеческой, чтоб подошла,  
И нигде человеческого возгласа, голоса.  
Как изгнанник на пустынном острове  
Своей вселенной...

Теперь и он сетует: «...Умерли все миры...», «...Мир мой разорен...», «Надежды почти совсем потерялись, обманчивые и пустые...» Теперь и он спрашивает: «Где мои былые верования?..», «Товарищи мои, кто знает, где они сейчас?..» (Из книги «Камен и акорди». Белград. 1955).

И Танасий Младенович тоже не видит вокруг себя товарищей. Он тоже ощущает себя теперь одиноким.

Французский писатель летчик Антуан де Сент-Экзюпери в своей книге «Земля людей» с необыкновенной точностью определил когда-то, что настоящими товарищами становятся лишь те, кто, держась за один канат, общими усилиями взбираются на вер-

<sup>1</sup> Должно быть, именно тем, что «могучий дуб» стал «хворостинной» в чьих-то руках, следует объяснить и грубую антисоветскую статью Д. Костица, напечатанную в газете «Политика» в середине 1958 года.

шину горы, к большой цели и именно в этом обретают свою близость. Мы могли бы еще добавить, что товарищество растет и крепнет в зависимости от высоты «вершины», от высоты цели, от ее общечеловечности, от силы желания достигнуть ее, от убежденности в том, что она должна быть и будет достигнута. Нам-то хорошо известно, что товарищество зарождается в этой общности устремлений, что оно крепнет, когда друг подает другу руку, чтоб легче и быстрее было взбираться. Единство цели, именно высшей цели, делает человека отзывчивей, развивает в нем чувство локтя, чувство долга, делает его человечней. Нам это хорошо известно. Со школьной скамьи вошли в нашу плоть и кровь не только слова, но и глубочайший смысл, глубочайшее чувство, наполнившие знакомое каждому высказывание Ленина, которое стало широко известно еще в начале нашего века:

«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не отступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения».

Нам помнится, что подобные мысли и чувства жили подспудно и в ранних стихах Младеновича, что они не чужды были деятелям коммунистического подполья Югославии и командирам партизанского войска, их поэтам, их писателям. Быть может, оттого нас особенно удивляет новое состояние духа лирического героя одного, другого, третьего поэта: то он теряет почему-то представление о том, «где запад, где восток...», то он в одиночку размышляет, «где стежки открыты», то цели ему не видно, то «надежды потерялись», то он считает эти надежды «обманчивыми и пустыми». Ему не видно больше вершины, восхождение на которую он считал бы жизненно необходимым, ему не видно больше цели, которая заставила бы «взяться за руки». Не потому ли выветриваются, высыпаются в нем, как оголенная скала на ветру, человечнейшие из чувств — товарищество, любовь, дружба?

Не потому ли человек становится одиноким, бесконечно одиноким, хотя где-то совсем рядом, в домах, на улицах, в селениях



живут, трудятся его бывшие соратники, его бывшие друзья, должно быть теперь такие же одинокие «человеческие души», как и он сам?

Я приведу в подтверждение этой мысли строфы, в которых звучат размышления о своей судьбе еще одного поэта, еще одного участника освободительной войны, которую в Югославии принято сейчас называть революцией. Его лирический герой тоже оглядывается на прошлое и тоже сетует:

...Я убил собственную нежность ради новой  
нежности мира,  
Но к ужасу своему увидел, что убил ее  
понапрасну...

(Славко Вукославлевич. Сб. «Моя единая  
младость». Белград. 1955).

«Понапрасну...» А ведь речь здесь идет о молодости, отданной вызволению народа из-под железной пяты фашизма. Уже в предыдущем очерке говорилось о романах, о многих романах, герои которых участвовали в освободительной борьбе и теперь считают свои усилия напрасными, а жизнь бесплодной. Но еще больше безутешного горя в признаниях бывшего героя народно-освободительной — лирического героя югославской поэзии. Он вспоминает цель, которая вдохновила его:

...И хотел-то я немногого: чтоб человечность  
стала  
Перед окном ума, незарешеченным ложью,  
...чтоб и для малых светило  
Благоденствие солнца над белой чертой  
дорог...

И он вынужден признаться:

...Но увидел я смутно, и ощутил я ясно  
Клетку этого неба и ужас этой эпохи.  
Последним отчаяньем силы, которую  
сохранил,  
Я бросился сам в себя...

Сколько этих погружений в себя, этих утопающих в себе! Почти в каждой из полутора сотен книг, прочитанных за последние годы, — одиночество, «напрасно загубленная молодость», «ужас этой эпохи» и бегство в себя.

Но хочется снова и снова проверить правильность наблюдений. А вдруг волна разочарования захлестнула лишь ненадолго и немногих? А вдруг в ней захлебнулись лишь слабые?

Перелистаем еще книги тех, кто избрал в 1941 году путь партизанской борьбы. Ведь

большая и лучшая часть писателей, художников, композиторов Югославии избрала именно этот благородный путь. Присмотримся еще, почему их лирического героя охватила преждевременная усталость. Почему он оглядывается с угрюмой недоверчивостью на «прах мечтаний», куда он зовет, если еще имеет силы звать?

Мы уже мимоходом в первом очерке упоминали имя Ристо Тошевича — поэта и публициста. Вслушаемся сейчас в исповедь лирического героя его стихов. Вдумаемся: к чему призывает Тошевич-публицист? Его лирический герой тоже участник народно-освободительной войны с самого ее начала и как будто по собственной глубокой убежденности. Он был рядом с теми, «кто знает Пияву и Сутьеску, Дюнкерк и Сталинград», с теми, «кто мертвых детей выносил из разрушенных школ». Он обращался «ко всем молодым созидателям...». Он был среди тех, кто «с петухами встает поутру и посылает улыбки своих зорь всему миру». Что же заставило и его в последние годы с такой безнадежностью говорить о сегодняшнем дне, о себе?

...Внутри меня пепелище,  
Горькое пепелище  
Внутри меня.  
Сломанный человек  
В пепле копается  
Внутри меня...—

жалуется он («Неспокойни прозори». Белград. 1952).

Здесь у Тошевича тоже надлом, как и в романе Давичо, здесь тоже униженность, когда воображение лирического героя приводит его на встречу с теми, кто вместе с ним боролся и погиб в партизанском войске. Точно и его совесть не чиста. Точно он уже не чувствует себя продолжателем их дела. Иначе откуда это горькое смятение, когда

...сквозь разбитые окна мыслей  
входят воспоминания,  
как насмешки прошлого.  
Входят друзья мои — мертвецы...

Он глубоко недоволен собой, этот герой. Он сам, как бы оглянувшись на себя бывшего и на себя настоящего, озадачен:

Сломленный и униженный,  
Я вижу свой образ,  
Покрытый сетью неизбежных теней,  
Вижу свой облик  
И вижу эти тени  
Каждую ночь,

Когда мертвецы садятся  
 На мою постель  
 И каждую ночь протягивают ко мне  
 Свои руки...  
 Каждый протягивает свои руки каждую  
 ночь,  
 Как два сомненья на затуманенном зеркале  
 будущего...  
 (Ристо Тошевич. Сб. «Неспокойни  
 прозори»).

Почему теперь для этого героя вся природа, все, что окружает его, пронизано безнадежностью? Почему теперь этот герой видит «море — безутешным и одиноким», а «ночные птицы» прилетают, как ему кажется, «с далеких потонувших кораблей», а ели видятся ему «опустившими головы», а заливы — «забытыми», «утомленными». Почему? Не потому ли, что и для него «затуманено зеркало будущего...»?

И после стольких скорбных слов об «этой печали», об «этом отрицании», об «этом отчаянии», об «этом утомительном одиночестве» в самочувствии героя вдруг появляется едва заметный просвет, мелькает лучик веры. Вернее, желание поверить. Во что — еще не ясно. Но тут же сомнение заставляет героя задать себе один, второй, третий вопрос:

Значит ли это, что я себя победил?  
 Значит ли это, что я себя предал?  
 Значит ли это, что я в конце концов понял  
 смысл жизни?  
 Значит ли это, что я непостоянен и даю  
 себя увлечь моменту?  
 Значит ли это, что я двуличен?  
 Значит ли это, что я бессилен?

Что же поставило лирического героя Ристо Тошевича в такое положение, когда он не знает уже, гордиться ли ему собой или презирать себя? Что заставляет его усомниться в себе самом?

Он сохранил в своих стихотворных исповедях правдивость. Он, может быть, больше чувствует, чем думает. И эти чувства не дают ему покоя. Как они не дают покоя героям Давичо и Костича, Младеновича и других.

Приведем еще одно стихотворение из того же сборника, где на прямо заданный вопрос звучит не менее прямой ответ:

Если меня спросят,  
 ...почему я так одряхлел?  
 Я скажу.  
 Я хотел подняться на цыпочках так высоко,  
 Как грива волны, что к небу с пучины  
 морской поднимается.

Чтоб хоть раз поцеловать влажные стопы  
 моих звезд!

Я хотел — но нежданно упал  
 На острые камни берега.  
 И вот я плачу кровавыми слезами  
 На этом неутихающем берегу.  
 ...И вот я плачу, и плачу, и плачу...  
 А звезды смеются надо мной с холодных  
 высот...

И здесь, оказывается, причина разочарования — в том, что герой поднялся было, направился было к «высшей цели», не боясь, очевидно, «подчинить ей свое личное счастье». Возможно, цель эта рисовалась ему еще не слишком отчетливо. «Поцеловать влажные стопы звезд» — это звучит туманно. Возможно, неясность представления о цели предопределила и дальнейшее поведение героя. Но подняться он попробовал на большой волне освободительной борьбы. А волна? Как он сам говорит, она бросила его на острые камни берега. Очевидно, на острые камни действительности. Она изранила его. И, видно, нет у него ни желанья, ни веры в свои силы, чтоб вновь подниматься и направляться куда-то. Он, этот воин Сутьески, признается сейчас: «Я ощущаю ненужность всего, что я делаю...» Он опускает руки. В стихах он способен только на жалобы: «Я плачу, и плачу, и плачу...»

На этом, пожалуй, можно было бы закончить печальный рассказ о том, каким был еще один герой и каким сделало его время, каким сделало его то, что он называет «волной», а Оскар Давичо — «волчьими челюстями действительности».

Поэту можно было бы, пожалуй, и посоветовать. Но получилось так, что об авторе этих строк вспоминаешь сейчас без сочувствия и даже без жалости. Он вызывает примерно ту самую брезгливость, что и обитатели «соседнего болота», упомянутые в ленинском «Что делать?», у тех, кто выбрал «путь борьбы, а не путь примирения».

В 1958 — 1959 годах Ристо Тошевич со страниц газеты «Политика» обрушился на советских писателей целым циклом статей. Мы уже упоминали об одной из них в первом нашем выступлении. Эти статьи печатались каждое воскресенье в качестве передовой в приложении «Культура и искусство». Трудно представить себе, с каким раздражением писатель силится доказать, что «Поднятая целина» Шолохова или «Повесть о настоящем человеке» Полевого, как и другие произведения писателей нашей страны, создавались не иначе, как по велению

свыше. Вызывают, мол, Федина, Леонова, Асеева в директивные организации и приказывают: написать роман о коллективизации, роман о сохранении леса, поэму о патриотизме!.. А писателям, бедным, ничего, мол, другого не остается, как сказать «слушаюсь» и сесть за стол.

Когда я читала эти статьи, у меня все время возникал вопрос: откуда такое представление о советской литературе у поэта, который раньше находил в ней много созвучного своей мечте? Почему этот бывший добровольный участник борьбы уже не помнит, уже не понимает, уже не верит, что собственный ум, и собственная совесть, и собственное чувство гражданского долга могут подсказать писателю необходимость посвятить свою жизнь великой цели, что устремленность к этой высшей цели может оберегать его от надлома, от всеобщего неприятия, от неверия? Для Тошевича теперь не существует «высшей цели», которая казалась бы ему достойной того, чтобы подчинить ей личное счастье. Для него не существует человека одной, но пламенной мечты. Он больше не представляет себе, что может быть такая высокая цель, трудный подъем к которой сам по себе олицетворяет это счастье. Не представляет себе или не хочет и думать об этом.

Читая статьи Ристо Тошевича и тут же перечитывая горькую исповедь его лирического героя, исполненную неверия и бессилия, перечитывая его стихотворение-призыв «Вернемся к малому...», я, как уже говорилось, вспомнила обитателей «соседнего болота» из ленинского «Что делать?» И они были не прочь затащить всех в топь своего бессилия. Я вспомнила горьковского Ужа, который летать не мог, а неумело попытавшись, тоже «пал на камни» и тоже обвинял потом Сокола в том, что он «живет обманом».

Да, это все тот же уж. Порядочно раскормленный. Прекрасно усвоивший, что в наше время не всюду удержишься, не всегда проползешь к спокойному местечку под солнцем без защитной окраски фраз о партизанском братстве, о социализме. Но он, этот уж, никак не может забыть ушибов от своего неудавшегося полета. Он никак не может простить соколу той минуты восторга или просто любопытства, которая заставляла его, ужа, рисковать подняться и упасть. Теперь ему не хотелось бы даже видеть рядом с собой взлетающих соколов.

Ведь сравнение не в его пользу. Да и покаю — конец. Поэтому он все настойчивее пытается внушить каждому встречному и поперечному, что даже разговор о полете — это вымысел, что даже попытка взлететь означает для каждого упасть на камни, разбиться насмерть.

Да, это он, все тот же уж, в газетных статьях в течение целого года, усердно склоня на все лады слова о социализме и коммунизме, настойчиво чернил перед людьми своей страны мир больших чувств Мересьевых и Нагульновых, героический мир большой цели, ставил под сомнение искренность их борьбы за счастье трудового человека, предлагая им, очевидно, взамен свою заражающую ползучую опустошенность.

Мы, пожалуй, слишком долго испытывали здесь терпение нашего читателя, потчuya его выдержками и пересказами стихотворных и публицистических опусов Ристо Тошевича. Слишком долго, потому что далеко не блеск таланта, не новизна образов, мыслей, чувств послужили причиной столь внимательного разбора. Если говорить о статьях его, то весь запас стрел, направленных им в советскую литературу, уже за сорок с лишним лет порядочно поистрепался от употребления буржуазной и еще чаще — мелкобуржуазной, мещанской печатью Запада. А ход мыслей мещанина-Ужа раскрыт был Горьким более шести десятков лет назад.

И в данном случае некоторый интерес может вызвать у нас только форма его словесной мимикрии в сегодняшнем социальном климате Югославии, только своеобразии формы приспособления и перерастания в этом климате особи мещанина ноющего в мещанина воинствующего. Но таких раз-два и обчелся. Если же говорить о стихах Тошевича, то лирический герой, который сегодня монотонно твердит об «острых камнях заблуждений...», об «обещаниях иллюзий, которые разбило время...», о «лживых фатаморганнах», об «иссушенном русле привидевшегося потока...», о «береге одиночества...», о «птицах мечтаний, что умерли на усталых ладонях...», о «жизни, которая пронеслась бесплодно...» (Ристо Тошевич. «Неспокойни прозори»), — этот лирический герой обращает на себя внимание, конечно, тоже не оригинальностью. Нет. Он типичен. Во всей несложности своих проявлений он наиболее



В Риме в двадцатых — сороковых годах большой поэт Сальваторе Квазимодо предпочел замкнуться в себе. Герметически замкнуться. Он писал:

На мертвом острове,  
Оставлен всеми,  
Что голос мой слушали,  
Я замурован...

Еще раньше, в Париже, когда уже давно разобраны были баррикады Коммуны, большие и малые французские поэты с горечью сетовали над «трупам своих дней», над «растраченной силой былого». И они желчно посмеивались над свими «бедными добрыми помыслами...», над тем, что очи «ночь застлала», и они говорили: «Пастырь не я, я не вижу пути...» И они торопились сделать вывод: «.. Все луны так свирепы, все зори горестны, все солнца жестоки».

А у нас в России? Разве не характерны были в годы реакции для многих писателей уход в себя, уход в эротику, мотивы смерти, бессилия, одиночества?

И Саша Черный еще жаловался:

Я, как филин, на обломках  
Переломанных богов...

И Федор Сологуб призывал:

Оставь селеня, иди далеко,  
Или создай пустынный край,  
И там безмолвно и одиноко  
Живи, мечтай и умирай...

И Зинаида Гиппиус плакала:

...Камню к камню нет путей,  
Мы в одной земле — погребенные  
И собой в себе — разделенные...  
Нам друг к другу нет путей.

Нет, это совсем не ново: лирический герой, ощущающий себя одиноком, плачущий, обреченный, ни во что не верящий или изверившийся, ожесточившийся на жизнь. Нет, это не ново.

В порядке самоутешения можно, конечно, попытаться объяснить все это подражанием каким-то западным или своим образцам, воздействием каких-то течений в мировой литературе. Ведь пытались уже объяснить появление романов, развенчивающих героинку освободительной войны, влиянием писателей «потерянного поколения» Однако ни для кого не секрет, что и влияния и подражания тоже приходят не случайно. Писатель поддается воздействию чьих-либо настроений, очевидно, потому, что его собст-

венным настроениям не чуждо то, что на него влияет. Ведь в середине сороковых годов хорватский поэт Марьян Франичевич, как и многие другие, особенно молодые поэты, не только писал «лесенкой» Маяковского, но и стремился, чтобы мысль, образы были энергичны, ясны, нацелены. Сейчас вы этого здесь почти не встретите, не встретите и в стихах Франичевича. Если бы, скажем, в сороковых годах издавали в Югославии книгу стихов итальянца Квазимодо, то были бы, наверное, отобраны стихи, в которых поэт выражал ненависть к фашизму, стихи жизнеутверждающие, а среди них, конечно, и стихи, опубликованные поэтом после освобождения. Но ведь почему-то, готовя сейчас произведения Квазимодо для издания в Югославии, составители предпочли отобрать самые «герметические», самые печальные, безнадежные, те, что написаны были в годы безвременья, в минуты отчаяния. Случайно ли это?

Нет, дело здесь, как мне кажется, не во влияниях и не в подражании. В поэме «Атомный век» известный словенский поэт Матей Бор пытается объяснить истоки безверия и усталости своего современника Матея Бора у нас не раз переводили. В свое время стихи его были даже взяты на вооружение борющимся народом. Сейчас со спокойствием обреченного, у которого уже все позади, Бор повествует о том, как

.. Шел путник сквозь атомный век  
И на ярмарках, где все продается...  
..Он сердце свое продавал.

Сейчас Бор рассказывает о том, как путник этот «смывал с улиц грязь, оставленную атомным веком», как «нашел он на улице красную розу, поднял ее, украсил себя ею...», как просил он эту красную розу: «Не рассыпай свои лепестки, пока в сердце моем будет хоть немного радости, и как роза эта, красная роза (!) «тут же рассыпалась...». Я думаю, что расшифровывать здесь несложную символику «красной розы» нет нужды. Тем более, что дальше все становится совсем понятно, совсем ясно. Дальше герой Матея Бора рассказывает, как «путник сквозь атомный век» «встретил другого путника» и что за диалог происходит между ними. Кстати, весьма симптоматичный диалог:

...Тот спросил: — Куда?  
— Не знаю.  
— И я тоже.

А ты со мной иди. Куда-нибудь да придем  
И пошли.

В пути к ним присоединился третий.

И не спрашивал, куда они идут.

Счастливый, что наконец нашел настоящую  
дорогу.

Так же было с четвертым, с шестым,  
с десятым.

С тысячным и стотысячным.

Тогда первый путник спросил второго:

— Куда идут все эти люди?

— За нами.

— А им не известно, что мы сами не знаем,  
куда идем?

— Нет

— Тогда мы должны сказать им.

— Ни за что,— говорит второй — Это бы  
стоило нам головы.

— Лучше расстаться нам, и каждый пусть  
идет своей дорогой

И расстались...

...И такой за ними поделлся шум и гам,

Что затрясся от него весь атомный век.

Все спорили,

Какой из двух путей настоящий...

(«Современник», № 1, 1958. Белград).

Пожалуй, не стоило бы приводить здесь и этот отрывок лишь в доказательство того, что еще один лирический герой еще одного югославского поэта совсем изверился. Меня и так могли бы обвинить в излишестве доказательств, в излишестве поэтических имен и цитат. И возможно, в таком обвинении была бы доля истины. Но обычно, чем серьезней может прозвучать диагноз предполагаемого заболевания, тем больше приходится делать рентгеновских снимков, просвечиваний, анализов, проверок. И мне хотелось для себя самой, для каждого, кто будет читать этот очерк и кому не безразлична судьба югославской поэзии, с предельной тщательностью выверить любое предположение. Выверить с одной стороны, с другой, с третьей... А в данном случае поэма Матеея Бора сказала нам значительно больше, чем остальные, повторив при этом и обобщив многое из того, что проступало в споре с самим собой героя романа Давичо. Путник сквозь атомный век Матеея Бора не только усомнился в правильности пути, которым он шел. Он еще, как многие из тех, кто на протяжении веков склонен был из-за дерева леса не видеть, решил, что нет больше и не было вообще правильного пути, что нет вообще цели, к которой следовало бы стремиться. И поэтому ничто не связывает его теперь с людьми. Он «спотыкается о порог», за которым «одиночество». «А в одиночестве,—

как он утверждает,— истина...» И, переступая этот порог, он всгает перед дилеммой «быть или не быть». И, подавленный тем, что собственное сердце «распродал», что вокруг него мир обезображен, он «берет чемодан, в котором носил свою жизнь, и уходит...». То есть добровольно отказывается от жизни. Больше ничего ему не остается. Ему — бывшему партизану, бывшему борцу за социальную справедливость, ранее убежденному в том, что

Будет миром владеть человек,

А не зло, не убийство, не сталь ножа<sup>1</sup>.

Герой Давичо глушит свое разочарование эротикой, «путник сквозь атомный век» Бора предпочитает небытие. Почему? Потому что они, должно быть, не видят больше возможности осуществления большой цели и предполагают, что никто к этой цели вообще больше не стремится. Потому что они перестают верить в высокое назначение человека, перестают верить в искренность благородных побуждений человечества достигнуть высшей цели. А ведь целью, очевидно, было и для них построение справедливого строя, который мы называем социализмом. Матей Бор утверждает, будто все «путники сквозь атомный век» шли куда глаза глядят и только обманом вели за собой людей. (Я думаю, что и эта недалеко упрятанная символика, как и символика романа Давичо, каждому ясна.) Герой Давичо усомнился в том, был ли вообще идеал.

Почему?

Должно быть, разгадку всех этих «почему» следует снова искать в умонастроениях и во всем, что вызывает эти умонастроения. Должно быть, именно они вытесняют и оттесняют даже представления о том, чем живет большой мир. Мир социалистических стран, мир стран освобождающегося Востока и Азии. Да и люди высшей цели во всех странах на земле.

Мне вовсе не хотелось бы, чтоб строки, раскрывающие всю глубину разочарования, полную потерю веры, прозвучали в этой статье обвинением в адрес поэтов, названных и не названных в ней. Нет, кого может соблазнить в подобном случае роль обвинителя или судьи? Нам трудно судить о всей совокупности причин, вызывающих такие настроения югославских поэтов. Яс-

<sup>1</sup> Сборник «Поэты Югославии».

но, что эти причины коренятся не только в них самих. И далеко не каждый способен на отвагу и стойкое бесстрашие Сокола. Одно лишь вызывает недоумение: дружный хор, где каждый упрямо вторит: «Я одинок», «Я несчастен», «Я погружаюсь в себя», «Для меня нет стежки». И никто не оглянется на соседа справа, на соседа слева. И редко кто вспомнит того пахаря, того кузнеца, того учителя, того ребенка, которого раньше умела видеть и любить эта поэзия.

Меня, конечно, могли бы спросить: неужели на страницах десятков книг, неужели среди сотен стихов в журналах, в газетах все в этой поэзии так темно, одиноко и печально? Неужели все здесь считают, будто то прекрасное, что породила в народе освободительная борьба, было только «телячьим воодушевлением»? Неужели ни одного слова о том, что после ночи во что бы то ни стало наступит день? Что при усилии сбываются надежды? Что одиночество не истина? Неужели не встретишь здесь светлых чувств, светлого мировосприятия?

Ответить на этот вопрос не так просто. Печатаются в Белграде и в Загребе, в Цетинье и в Лисбляне, в Сараеве и в Новом Саде поэты, много поэтов, которые, каждый по-своему, любят красоту гор и лесов, рек, сбегающих прямо от снежных вершин к розово-синей глади Адриатики. Печатаются, скажем, хорватская поэтесса Весна Парун, чьи стихи говорят о глубоком чувстве любви, счастливой и несчастливой. Как и много лет назад, звучат здесь строфы Густава Крклеца, рассказывающего:

Вышел я утром в свой маленький сад  
И сказал первой, ранней розе:  
«Цвети!  
Потому что жизнь означает цвести и  
давать!..»  
(Г. Крклец. «Жубор живота». Белград.  
1955).

Все та же открытая сердечность, а теперь и терпкая печаль осени наполняет стихи Десанки Максимович.

Пишет стихи и Радован Зогович. Пишет о маслине, которая должна пускать свои корни поглубже в расщелины скал, чтобы противостоять бурям, ветрам, обрушивающимся на ее измученные ветви. Противостоять и выстоять. Пишет об умолкшем колоколе, у которого отрезали язык. Пишет о

поколении, которое в тюрьмах, в партизанских походах, в голод, в холод сохранило и пронесло большую любовь к женщине-товарищу, к женщине-другу. Но, к сожалению, стихи его вот уже одиннадцать лет не могут прочитать те, для кого он пишет. Одиннадцать лет их не издают!

Вместе с тем много стихов и романов издает теперь поэт и прозаик Александр Вучо<sup>1</sup>. Его лирический герой чувствует себя в эти годы все бодрее и увереннее. Он полон оптимизма.

Во всяком случае, говорит он о себе с явным чувством превосходства над окружающими.

Я — буржуйского происхождения,  
Едва ли когда-нибудь  
За весь мой век  
Я крепко натягивал лук своего тела.  
И едва ли когда-нибудь с моего бледного  
лба  
Горсть горячего, честного пота натекла...  
(А. Вучо. «Песме». Белград. 1957).

Во всяком случае, с удивительной поспешностью торопится он в поэме «Мастодонты» кого-то заверить:

Я не тот красный,  
...Что кроит изголовья  
Колыбелям рек  
И, голорукий, меняет допотопную карту  
Своей отчизны...

Он гордится «буржуйским происхождением» и тем, что за весь его век честный трудовой пот не стекал с его «бледного лба», и еще тем, что он не тот красный (в сербском оригинале — «руды»), что собирается перекраивать «допотопную карту своей отчизны...» Слово «красный» прозвучало бы по-сербски «црвени». А эпитет «руды», очевидно, должен выразить собой всю силу презрения, которое ощущает человек, гордящийся «буржуйским происхождением», к каким-то красным. И Вучо почему-то уверен, что именно такое признание дает ему сейчас право на процветание. И он-то уж, наверное, убежден, что социализм (этим словом он любит пользоваться), — что социализм не потребует от него подчинить свое личное счастье «каким-то высшим целям...» Он и в романах «Каникулы» и «Мертвая явка» со старательностью, достойной лучшего применения, превозносил

<sup>1</sup> Александр Вучо — генеральный секретарь Союза писателей Югославии.

и воспевал особую сложную «красоту» человека «буржуйского» происхождения. «Красоту», которую у нас и в Югославии в былые годы называли бы попросту самодовольной осознанной гражданской трусостью.

Но это еще не все. Лирический герой стихов Александра Вучо, представителя югославской литературы, которая из века прекрасна была именно великим уважением к родному краю, решается с удивительной откровенностью принижающе, пренебрежительно относиться к своей отчизне.

Петр Негош в поэме «Горный венец» воссоздал образы тех, кто поднимал народ против турецкого насилия. И в «Горном венце» слова о том, что народ Черногории мал, Негош вложил только в уста представителя турок, покорителей. Почему? Потому что покоритель народа заинтересован в ослаблении моральной силы тех, кто может посягнуть на его владычество. Он заинтересован подсесть под корень веру народа в себя, погасить его надежду, дух его сопротивления. Он заинтересован вызвать в побежденном народе чувство собственной неполноценности. Только потурченец (так здесь называли тех, кто принимал религию покорителя и служил ему верой и правдой), только потурченец Мустай кадий в поэме Негоша, как, наверное, бывало и в жизни, решался утверждать:

...Чем ты ослеплен, народец малый?  
Не познавши истинного рая,  
Борешься ты и с людьми и с богом,  
Без надежд живешь и умираешь!<sup>1</sup>

Негош был убежден, что именно чуждый своим согражданам человек может уговаривать народ в том, что он, мол, мал, что борьба для него — самоубийство, что он зависит от сильных мира сего, что нет у него надежд на себя самого. Так думал Негош, говоря о судьбе Черногории в начале прошлого века. А вот лирический герой сегодняшнего поэта Александра Вучо и дело закликает: «Страна моя малая...», «страна моя малая...» А страна эта вобрала сейчас Черногорию, лишь как меньшую из своих республик. И страна эта во время освободительной борьбы против фашизма явила воистину неодолимую силу народа. Но ведь лирический герой стихов Александра Вучо считает участников этой борьбы всего лишь «самосмертниками», самоубийцами, «чье тело стало гнилой пилой между

безнадежной жизнью и босоногой смертью» (А. Вучо. «Песме»). Ведь лирический герой поэмы Вучо «Мастодонты», оглядываясь на богатства родного края, настойчиво твердит: «К чему эти прелести без сегодня и без завтра?»

Ведь лирический герой этой поэмы не без умысла внушает гражданину своей страны, будто народу его предуготована судьба зерна, попавшего между двумя жерновами, будто есть на свеге два совершенно одинаковых гигантских диких зверя, два мастодонта, которые ожесточенно грызутся за «сферы влияния». Каждому из нас, я думаю, понятно, кого лирический герой, гордящийся своим «буржуйским происхождением» и тем, что ни одна капля честного трудового пота не стекла с его «бледного лба», — кого он заинтересован выдать за одного из таких хищных зверей. И каждому ясно, почему именно он заинтересован так запугивать свой народ.

...Нет такого дома, чьи мирные заборы  
Не разрушат лапы мастодоньи...

(А. Вучо. «Песме»).

Он, этот лирический герой стихов А. Вучо, подобно Мустаю кадию из поэмы Негоша, в своих запугиваниях неутомим и, я бы сказала, последователен. Последователен и в своем настойчивом самоутверждении, в своем оптимизме.

Итак, подытожим немного то, о чем рассказали нам десятки книг югославских поэтов. Полторы сотни книг. Я надеюсь, читатель простит эту дотошность, которая, быть может, иногда утомляла его. О чем же рассказали нам книги?

Лирический герой — народный воин, который в первые годы после победы начал ощущать свою ответственность за будущее страны, который возмущенно отвечал некоему иностранцу, назвавшему Югославию «малой страной»:

...Малая?  
...Вы своим довольны королевством,  
нам же родиной дышать не тесно...

Лирический герой, который заявлял:

...Не позволим  
        право нашей чести  
Мерить  
        человека недостойной  
Мерой метра,  
        звонкою монетой...

<sup>1</sup> Петр Негош. Горный венец.





# ОТКЛЫКИ И КОММЕНТАРИИ

## КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Считается обычно, что отсутствие мужества — самый очевидный недостаток интеллигента-католика. Но это лишь частица правды. Подлинная правда заключается в том, что мужественных людей принуждают молчать... Говорить об отсутствии мужества равносильно тому, что говорить о страхе. Но страх перед кем? Перед политическим аппаратом, перед церковной иерархией (оба эти страха, в сущности, сливаются), страх перед риском, страх, что придется расплачиваться самим собой. Могут возразить, что никто не пользуется большей свободой, чем писатель, который не несет прямой политической ответственности. Но в таком утверждении содержится достойная сожаления ложь. Писатель не пишет на стенах домов и не питается воздухом. Он испытывает на себе воздействие особых инстанций, которые оказывают на него самое отчаянное давление. Наряду со свободой, которой он пользуется, существует огромное число всяческих ограничений. Так создается страх».

Можно подумать, что мы цитируем выступление какого-нибудь отъявленного антиклерикала. Ничуть не бывало! Автор этих горьких слов — Джованни Кристини — один из шестидесяти двух представителей итальянской католической интеллигенции, ответивших на вопрос редактора римского журнала «Леджере» о том, каковы самые серьезные недостатки деятелей католической культуры. Редактор «Леджере» Джинно Монтесанто — убежденный католик, и журнал его трудно заподозрить в ереси. Шестнадцать два выступления, опубликованные на страницах июньского номера «Леджере», — чрезвычайно любопытный документ. Это своеобразная переключка, и все в ней говорят о конформизме, о нажиме со стороны бюрократической и религиозной иерархии, о компромиссах, об использовании литературы и искусства как прямого орудия политики церковников, о сделках с совестью во имя спокойной и благополучной жизни, о разочарованиях, о страхе.

Ныне все очевиднее становится разрыв между официальной доктриной католицизма и взглядами наиболее чутких представителей католической интеллигенции, ищущих новых путей. Среди них есть люди, которые сумели стать выше страха, сумели взглянуть непредубежденными глазами на сегодняшний мир и поступать, следуя велениям совести. Эта группа прогрессивно настроенных писателей играет сейчас особенно большую роль в культурной жизни страны. Мы имеем в виду председателя Итальянского национального синдиката писателей Г. Б. Анджелиети, Джанкарло Вигорелли — редактора журнала «Эуропа letterариа» (этому журналу мы, собственно, и посвящаем наш комментарий), крупного писателя Гвидо Пьовене и некоторых других. Они глубоко верят, что подлинные деятели культуры не могут считать непреодолимыми барьеры и преграды, воздвигаемые между «марксистской Европой» и «христианской Европой»; вопреки ледяным ветрам «холодной войны» они отстаивают необходимость развития дружественных связей, обмена мнениями и творческим опытом со странами социалистического лагеря. Придавая огромное значение роли писателя, они стремятся во что бы то ни стало найти общий язык с культурой, вызванной к жизни Октябрьской революцией и основанной на принципах народности и гуманизма.

Кто-то из итальянских критиков писал недавно о том, что еще до первой мировой войны, со времен дела Дрейфуса, существовал «интернационал честных писателей»,

## Италия

«Эуропа letterариа»  
(«Литературная Европа»),  
двухмесячный журнал.  
№№ 1, 2, 3. 1960. Рим.  
Год издания 1-й. Изда-  
тельство: «Эдициони Рап-  
порти Эуропей». Глав-  
ный редактор Джанкар-  
ло Вигорелли.

★

хотя он и не был организационно оформлен. Потом мир разделился на две части. Фашизм, пришедший к власти в ряде западноевропейских стран, знаменовал отрицание высоких духовных ценностей, которые в XIX веке и в первые десятилетия нашего века отстаивали лучшие представители литературы критического реализма. Моральный престиж писателей в этих странах упал, культура в высоком ее значении стала, по меткому выражению итальянцев, «соттокультурой», то есть третьесортной, эрзацем. Крах фашизма и движение Сопротивления помогли возрождению демократических и гуманистических идей. Притягательная сила новой, социалистической культуры очень велика. Но велика еще и сила «отталкивания», непонимания, инерции. Разобщенность, недостаточное взаимопонимание, преграды, созданные атмосферой «холодной войны», глубоко тревожат тех, для кого правдивое слово сохранило свою непреходящую ценность. И вот в Италии возникла идея создания Европейского сообщества писателей. В основе ее лежит глубокое уважение к благородной роли художников слова, стремление во что бы то ни стало искать и найти общий язык между деятелями культуры Востока и Запада вопреки различию взглядов, верований, вкусов, творческих методов.

Два года назад по инициативе Итальянского национального синдиката писателей в Неаполе состоялся первый конгресс, на котором встретились представители литератур многих европейских стран. Конгрессу предшествовали встречи итальянских и советских поэтов, установление первых личных контактов, первые попытки сближения. Все это было совсем не просто; немало скептиков пронизировало над самой идеей создания новой международной организации, им казалось невозможным найти принципы Сообщества, которые могли стать приемлемыми для литераторов, сформировавшихся в совершенно различных социальных и политических условиях, исповедующих очень разные, порой как будто взаимно исключаящие друг друга кредо. Но вопреки этому Европейское сообщество писателей стало фактом. В соответствии с уставом Сообщества за всеми его членами сохраняется право придерживаться своих политических убеждений, своих воззрений в области эстетики и культуры, никому не навязываются какие-либо взгляды, но в то же время ясно и недвусмысленно подчеркнуты моральные обязательства Сообщества в деле «укрепления дружбы и мира между народами».

Формально Сообщество не имеет своего печатного органа, но фактически эту роль выполняет журнал «Эуропа леттерариа». Он начал выходить в нынешнем году. Основная задача журнала, по замыслу его редактора Джанкарло Вигорелли, крупного деятеля итальянской культуры, избранного на проходившем летом этого года конгрессе писателей Европы генеральным секретарем Сообщества,— способствовать сближению литератур Запада и Востока. Программная статья Вигорелли, напечатанная в первом номере журнала, представляет большой и принципиальный интерес. Подчеркивая ответственность, лежащую на деятелях культуры в наше время, Вигорелли заявляет, что до сих пор для сближения людей больше делали ученые и политики, нежели писатели и поэты. Между тем «подлинный поэт непременно демократичен», нуждается в общении с другими людьми и способствует этому общению, а не замыкается в аристократическом одиночестве. Без обиняков пишет Вигорелли о том, что «Западная Европа или по крайней мере некоторые страны Западной Европы нуждаются в обновлении всей своей социальной структуры». Переводя эту мысль в плоскость искусства, Вигорелли образно говорит, что, быть может, в наши дни зарождаются литература и искусство, в которых понятие «я» будет уже таить в себе понятие «другой»,— в этом видит итальянский писатель перспективы гуманистической литературы нашего времени. Он напоминает, что в свое время Томас Манн в «Предупреждении Европе» призывал к простоте как единственному спасению от посредственности. «Простота» — это не наивность, не примитив, но нечто «самое существенное»,— пишет Вигорелли, делающий при этом очень явный выпад против «близорукых и слепых» людей, продолжающих отстаивать превосходство «американизма», который «обрушил на Европу коварную посредственность «фюметти»<sup>1</sup>, а это влечет за собой как безответственность, так и фанатизм».

<sup>1</sup> От «fimo» — дым, чад; так образно называют в Италии бульварную литературу.

С этими мыслями перекликается статья Анджолетти, избранного президентом Сообщества писателей. Мы ощущаем в ней горечь и тревогу, которые испытывают многие представители западноевропейской интеллигенции. В «голом техницизме», в «антилитературных и антифилософских» тенденциях современной капиталистической цивилизации видит Анджолетти угрозу подлинным духовным и культурным ценностям. Эту мысль об оскудении западноевропейской цивилизации Анджолетти проводит давно. Еще на первом конгрессе писателей сетовал он на то, что «подавляющая масса людей предпочитает читать описания сенсационных преступлений, а не настоящие книги», что писатели, жаждущие успеха, идут на поводу подобных вкусов, те же, кто «строит себе иллюзии насчет влияния искусства, пишут для одиночек». Между тем на протяжении шести столетий европейская литература выполняла огромную культурную роль, и нельзя мириться с таким положением, когда под угрозой оказывается самая сокровенная сущность искусства. Следовательно, надо искать контактов с новой культурой, с людьми новой формации. И в своей практической деятельности Анджолетти, будучи секретарем Итальянского национального синдиката писателей, не раз давал доказательства доброй воли в отношении культурного сотрудничества с Советским Союзом, причем делал это и в те времена, когда многие предавались самой разнузданной антисоветской пропаганде. Выступив однажды с большой статьей в газете «Стампа», Анджолетти писал о гуманизме советского общества, противопоставляя его духовному бесплодию Запада: «В России и во всех социалистических странах читают массы, читают серьезные книги воспитательного значения, большой художественной и поэтической ценности, не только произведения Пушкина или Толстого, но и книги современных писателей из всевозможных стран». Вообще же Анджолетти убежден, что при всем богатстве и разнообразии форм, при всех различиях и особенностях «Леопарди, Бодлер, Пушкин, Шелли, Петсфи пили из общего источника вдохновения, да и в нашем веке закономерно говорить о том, что многие блестящие писатели разными путями «идут к достижению общей цели всей европейской цивилизации — к общечеловеческой правде».

Остановимся на термине «европейская цивилизация». Вокруг этого понятия было немало споров на первом конгрессе, и журнал «Эуропа леттерариа» занял ту же позицию, что и Сообщество писателей; решительно осуждена (это специально зафиксировано в уставе Сообщества) «любая тенденция к европейской исключительности». В перспективе это открывает широкие возможности для плодотворного сотрудничества со всеми писателями мира. А пока что Джанкарло Вигорелли рассматривает редактируемый им журнал как своего рода «круглый стол» для писателей Европы.

«Эуропа леттерариа» публикует произведения писателей всех стран, входящих в Сообщество, и стремится запечатлеть литературный процесс во всем его многообразии. Правда, не очень большой объем журнала и его периодичность — шесть номеров в год — делают нелегким осуществление этой цели. Каждый номер содержит раздел «Тексты», в котором (на наш взгляд, это пока получается несколько пестро) публикуются статьи, стихотворения, рассказы, одноактные пьесы, либретто киносценариев и проч. Крупных произведений с продолжением журнал не печатает. Может показаться не вполне ясным принцип отбора материалов и их размещения, поскольку в «Текстах» чисто беллетристические произведения и стихи соседствуют со статьями, в то время как статьи, не менее серьезные по своему значению, встречаются и в следующем разделе журнала — «Факты и идеи». Может быть, впечатление дробности создается еще и потому, что журнал стремится представить творчество писателей почти тридцати стран, причем, занимая бесспорно прогрессивные и демократические позиции, он не отождествляет себя с каким-либо определенным течением в современной литературе. С одинаковым гостеприимством предоставляет он свои страницы писателям, отстаивающим принципы социалистического реализма, писателям-католикам, писателям-декадентам. Впрочем, такая широта взглядов ни в какой мере не приводит к беспринципности. Так, например, журнал при всем своем «либерализме» не постеснялся закатыть основательную оплеуху редакторам «Темпо презенте» — неизвестному Иньяцио Силоне и Никола Кьяромонте, специализировавшимся на беспардонной антикоммунистической пропаганде. Вот как это произошло.

«Темпо презенте», журнал, редактируемый Иньяцио Силоне и Никола Кьяромонте, — пишет Вигорелли, — посвятил номер, вышедший в конце 1959 года, «обществу и литературе в России»... Если мы решили упомянуть об этом номере «Темпо презенте», то отнюдь не для того, чтобы опаривать его идеи. Любые идеи имеют право на существование, если только намерения — пусть уж не конечные результаты — были честными. Нам уже много лет известно, каковы идеи Силоне, и если ему нельзя отказать в последовательности, то позволительно все же задать вопрос, почему его «идеи» никогда не считаются с «фактами», во всяком случае если факты их опрокидывают. Но оставим Силоне, на этот раз мы не желаем полемизировать с ним. Раз навсегда надо хорошенько взглянуть в лицо Никола Кьяромонте: не спорить, не осуждать, но покачать головой и расхохотаться стоит, прочитав, как он в этом номере «Темпо презенте», говоря о советских научных открытиях, разводит политическую спекуляцию вокруг «лунника» и пишет буквально следующее: «Мы вступили в эру космического приспособленчества». Надо безжалостно расхохотаться, как бы нам ни было стыдно за него».

Но вернемся к содержанию трех книжек «Эуропа letteraria», лежащих перед нами. После раздела «Факты и идеи» идут рецензии, а потом короткие заметки, хроника культурной жизни. Журнал оформлен очень скромно, первые два номера не иллюстрированы вовсе. В третьем — нововведение: вслед за литературными материалами, как бы совершенно самостоятельно, с отдельной обложкой (хотя все сброшюровано вместе и порядок страниц сохранен, как в едином журнале), мы читаем: «Эуропа артистика» — «Художественная Европа». На тридцати пяти страничках помещены статьи искусствоведов, отличные репродукции. Мы не знаем, как будут выглядеть следующие номера журнала, но сама по себе идея такого дополнения кажется удачной. Вообще же впечатление такое, что «Эуропа letteraria» ведет поиски формы и, вероятно, ею будут сделаны интересные и ценные находки.

В журнале можно увидеть немало произведений, принадлежащих перу авторов, которых уже нет в живых. Это рассказы, стихи, мемуары, статьи Коррадо Альваро, Бертольта Брехта, Ильи Ильфа, Ольги Книппер-Чеховой, Умберто Саба... В трех первых номерах журналу удалось представить произведения многих прогрессивных писателей нашего времени; это либо их стихи и проза, либо критические статьи и рецензии на их книги. Из итальянских писателей мы встречаем Карло Леви, Гвидо Пьевене, Элио Витторини, Васко Пратолини, Карло Бернари, Пьер-Паоло Пазолини, Рипеллино, много сделавшего для ознакомления итальянских читателей с русской и советской литературой, лауреата Нобелевской премии 1959 года Сальваторе Квазимодо. Видимо, не случайно в первом номере журнала непосредственно после программной статьи Вигорелли помещено широко известное у нас стихотворение Квазимодо «Варвара Александровна», посвященное медсестре из Боткинской больницы, ухаживавшей за больным поэтом во время его пребывания в Москве. Разумеется, здесь перечислены далеко не все итальянские писатели, имена которых встречаются в «Эуропа letteraria». Надо хотя бы упомянуть о крупном поэте Унгаретти, одном из известнейших литературоведов-католиков Карло Бо, о популярном литературном критике Фердинанде Вирдиа; список можно продолжить, но не все имена знакомы нашему читателю — и мы ставим точку.

А как представлены в журнале советские авторы? Уже один перечень их имен говорит сам за себя: Книппер-Чехова («Последние годы Чехова»), Микола Бажан, А. Сурков, Л. Мартынов, Анна Ахматова, Илья Ильф (отрывки из «Записных книжек»), Юрий Олеша («Дневники»), А. Чаковский (воспоминания о встречах с Мориакем и Леже), К. Зелинский (высказывания о Квазимодо), И. Эренбург и С. Маршак (статьи о работе над словом), А. Твардовский (отрывок из книги «Родина и чужбина»), М. Шолохов (интервью), В. Некрасов («Римские впечатления»). Но это не все. В журнале публикуются статьи и рецензии на книги советских писателей, переведенные и даже пока не переведенные на итальянский язык. Они дают возможность итальянским читателям хотя бы отчасти почувствовать пульс литературной жизни СССР. Вот статьи о романе К. Симонова «Живые и мертвые», о творчестве К. Паустовского, о книге Р. Юренева «Александр Довженко», о переиздании произведений Ларисы Рейснер, о переводах на итальянский язык книг Михаила Шолохова и Вик-

тора Некрасова, даже о том, что журнал «Вопросы литературы» опубликовал несколько не издававшихся до сих пор стихотворений Есенина... Разумеется, «Эуропа letteraria» не претендует на обобщения, на полноту информации, но уже одно то, что журнал так широко предоставляет свои страницы нашим писателям, говорит о многом. Но в журнале, кроме того, широко представлены и писатели других европейских стран — мы читаем в нем Арагона, Я. Ивашкевича, Я. Отченашека, Валерия Петрова и многих, многих других.

Небезынтересно, что, несмотря на название журнала и независимо от субъективных намерений его редакторов, разговор на страницах «Эуропа letteraria» выходит за рамки литературы. В третьем номере Карло Бо поместил статью «Какая свобода?» Он специально подчеркивает, что не хочет затрагивать политические вопросы, хочет забыть о том, что «с одной стороны есть убежденные коммунисты, с другой — скорее смирившиеся, чем убежденные христианские демократы». И все-таки Карло Бо не может, видимо, не произнести гневных, саркастических слов о несвободе католической интеллигенции, об упорной глухоте церковной иерархии, не желающей прислушаться к тому новому, что стучится в дверь, отталкивающей тех, кто жаждет духовной зрелости, превращающей в мертвую букву само евангелие. «Мы присутствуем при невероятном падении духовного руководства», — пишет Бо, не смущаясь тем, что его однажды уже оговаривали лжехристианином.

Статья Карло Бо в «Эуропа letteraria» непосредственно перекликается с горькими словами интеллигентов-католиков, которые мы цитировали вначале; это — лишнее доказательство остроты и глубины процесса духовного брожения, захватившего многих представителей «христианской Европы». Нельзя забывать, что силой вещей такие люди оказываются в оппозиции к политике Ватикана и находящейся у власти демохристианской партии. Самый выход в свет такого журнала, как «Эуропа letteraria», стремящегося стать «круглым столом» для писателей Запада и Востока, не мог не вызвать резких нападок, скептических комментариев, некоторой растерянности и явного озлобления. Полным голосом высказавшись за дружбу и взаимопонимание между культурами Востока и Запада, «Эуропа letteraria», разумеется, попала под удар. Ведь «Темпо презенте», который из номера в номер ведет антисоветскую и антикоммунистическую кампанию, не брезгая ни подтасовкой фактов, ни прямой и бесстыдной клеветой, имеет немало партнеров. Для многих органов печати антикоммунистическая тема — хлеб насущный. Есть такой журнальчик «Горизонты»; недавно он опубликовал статью, озаглавленную «Враг, в которой говорилось буквально следующее: «Сегодня в Италии между двумя противостоящими друг другу тенденциями, между христианством и марксизмом, существует так называемая свободная печать, которая... хочет выступать как воплощение демократического гуманизма, свободного от какой бы то ни было пристрастности... Она является врагом Христа не только потому, что он сказал: «Кто не со мной, тот против меня», но и потому, что эту «свободную» печать породил тот же светский дух, незаконнорожденным сыном которого мы считаем коммунизм».

Легко представить себе, как относятся к «Эуропа letteraria» рептилии подобного типа. Недавно официальный орган демохристиан журнал «Дискуссион», брызгая слюной, обрушился на Вигорелли, обвиняя его в том, что он сотрудничает с писателями социалистических стран, вместо того чтобы иметь дело с ренегатами и эмигрантами. Примерно в этом же, хотя и в более вежливой форме, обвинила католическая газета «Пополо» Гвидо Пьовене, который публично заклеймил политическое падение христианских демократов, унизившихся до открытого союза с неонацистами.

В связи с этим «Пополо» писала о «новом фронтизме». Значение этого термина станет понятным, если вспомнить, что единый фронт между коммунистами и социалистами, между коммунистами и другими левыми группировками в Западной Европе враги называли «фронтизмом». Грозный призрак «фронтизма» все время маячит перед реакционерами, которые ничего так не боятся, как единства действий левых сил. Это в равной мере относится к рабочему движению и к объединению прогрессивной интеллигенции. А как раз в Италии тяга к такому объединению исключительно велика. Не так давно в Риме состоялась конференция, обсуждавшая вопрос: «Культу-

ра в итальянском обществе». В этой конференции, на которой присутствовал весь цвет итальянской демократической интеллигенции, принимала участие, разумеется, и «Эуропа леттерариа». Собственно говоря, начинать надо не с римской, а с флорентийской конференции, организованной в прошлом году группой прогрессивных журналов и посвященной вопросу «Об ответственности писателя». Тогда были заложены основы для сотрудничества различных групп интеллигенции, встревоженных наступлением реакции во всех отраслях культуры и общественной жизни. В 1956—1957 годах многие деятели итальянской культуры отошли от активной политической жизни; как и почему это случилось — разговор особый. Сейчас достаточно упомянуть о том, что крах антифашистского единства, сложившегося в годы Соппротивления, вызвал значительную перегруппировку сил, и многие представители творческой интеллигенции ушли с позиций активной политической борьбы на так называемые «традиционные позиции независимости». Однако уже в 1958—1959 годах, в период разрядки международной напряженности, настроения интеллигенции изменились, вновь возникла глубокая потребность в общении, в обмене мнениями, в выработке платформы для совместной работы. И флорентийская конференция, созданная семью прогрессивными журналами («Эуропа леттерариа» тогда еще не существовала), была событием первостепенного значения, потому что она знаменовала отказ от «антикоммунизма». Тогда же возникла та морально-политическая атмосфера, которая позволила Джанкарло Вигорелли создать этот журнал.

А недавно в Риме были произнесены еще более многозначительные слова, были приняты обязывающие решения. Разумеется, неправильно было бы говорить о полном единстве мнений — были и скептики и пессимисты, — но бесспорно то, что подавляющее большинство деятелей культуры, принявших участие в римской встрече, подтвердило свое твердое намерение бороться против неофашизма, против опасности войны, за разрядку международной напряженности. А вскоре после конференции представился случай на деле доказать искренность своего антифашизма — во время недавних драматических событий, приведших к падению правительства Тамброни, представители итальянской культуры единодушно сказали фашизму «нет».

Очень многие деятели итальянской культуры за последнее время осознали весь вред, который принес итальянской общественной жизни «антикоммунизм», — ведь под его флагом протаскивались самые реакционные идейки и мероприятия, направленные на удушение демократического начала в жизни страны. В наши дни, очевидно, нельзя отделять вопросы «культурной политики», проводимой демохристианскими правительствами, от всего комплекса сложных проблем итальянского общества. Интеллигенция не может уже ограничиваться отдельными эпизодическими протестами против того или иного правительственного акта, того или иного скандального вмешательства клерикалов в область культуры, а таких фактов масса. Отказ деятелей культуры от «антикоммунизма», являющегося современной формой обскурантизма и нетерпимости, — это единственно возможная платформа, на которой могут объединиться представители прогрессивной интеллигенции. В этой обстановке роль журнала «Эуропа леттерариа» представляется еще более значительной. Характерно, какую позицию занял журнал после срыва совещания в верхах. В его третьем номере опубликована статья Вигорелли. Он был в Париже в те памятные дни и пишет, что теперь еще больше, чем прежде, надо бороться за взаимопонимание между народами, еще больше возросла ответственность деятелей культуры. Разрядка напряженности — это не чудо, которое происходит само собой, утверждает Вигорелли, это процесс, это позиция и стремления миллионов людей, это борьба и вера в необходимость глубоких перемен, без которых, по выражению Вигорелли, «культура станет антикультурой».

Нам остается пожелать успеха журналу «Эуропа леттерариа», который вносит достойный вклад в общее дело народов.

Цецилия КИН.



# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

## О Л. Н. ТОЛСТОМ

Существует огромная, почти необозримая мемуарная литература о Толстом. Едва ли не каждый день из жизни писателя, особенно последних десяти—пятнадцати лет, отмечен и описан близко знавшими его людьми, литературными сотрудниками, друзьями, родственниками и просто случайными гостями, каких немало перевидали Ясная Поляна и дом в Хамовническом переулке в Москве. С каждым годом все меньше и меньше пятен в биографии Толстого, все реже попадают новые, не известные до сих пор свидетельства, еще в чем-то приоткрывающие нам личность писателя. А надо ли говорить, что, когда речь идет о таком великом художнике и человеке, каким был Толстой, нам интересна любая мелочь, любой новый штрих.

Л. Д. Любимов разыскал и подготовил к печати публикуемые ниже воспоминания о Толстом, затерявшиеся в русских белоэмигрантских газетах и доселе не известные у нас, на родине писателя. Кто же авторы этих воспоминаний?

Дмитрий Николаевич Любимов (1863—1944), до революции сенатор, занимавший ряд крупных административных должностей, был сыном профессора Н. А. Любимова, редактора журнала «Русский вестник», где печатались «Война и мир» и «Анна Каренина». В конце девяностых годов прошлого века ему посчастливилось побывать в доме Толстых. Воспоминания о Толстом входят в цикл статей о деятелях русской культуры, напечатанных Дм. Любимовым за рубежом.

Александр Васильевич Цингер (1870—1934) — ученый-физик, бывший профессор Московского университета, в молодые годы не раз встречался и беседовал с Толстым. Семья Цингера была знакома Толстому издавна. Еще в молодости он встречался с отцом А. В. Цингера, известным математиком, а позднее дружил с его дядей — И. Н. Раевским, ближайшим сподвижником Толстого по помощи голодающим в 1891 году.

А. В. Цингер оставил о Толстом интересные воспоминания («У Толстых». В кн. «Международный толстовский альманах», сост. П. Сергеевко, изд. «Книга», 1909), ценным дополнением к которым является публикуемая статья.

Владимир Иванович Поля — пианист, композитор, музыкальный критик. Умер в сороковых годах в Париже. Познакомился с Толстым в 1898 году, о чем в дневнике Софьи Андреевны Толстой сохранилось такое упоминание: «Вечером... слушала музыку неизвестного юноши Поля из Киева, который играл Льву Николаевичу и нам свои сочинения, и очень талантливо».

Вне зависимости от позднейших политических убеждений авторов их рассказы о Толстом, насколько можно судить, достаточно точны и достоверны. Читателям, несомненно, будет интересно ознакомиться и с «ненаписанным рассказом Толстого» в передаче Цингера, и с любопытными суждениями писателя о музыке, запомнившимися В. Полю, и с живой оценкой Дм. Любимова, рисующей Толстого в кругу танцующей молодежи. Публикуемые воспоминания помогают нам представить в живой конкретности грандиозную и противоречивую фигуру Толстого — писателя и человека.

Воспоминания Дм. Любимова, А. Цингера и В. Поля печатаются по тексту газет «Возрождение» (№ 2039 от 1 января 1931 года и № 3822 от 20 ноября 1935 года) и «Последние новости» (№ 5355 от 21 ноября 1935 года) с некоторыми сокращениями.



## ДМ. ЛЮБИМОВ

★

*На вечере у Толстого*

**В** те, ныне далекие, времена именитые люди московские жили в извилистых переулках между Никитской и Пречистенкой, в больших белокаменных домах с дорическими колоннами, между садом и большим двором с геральдическими львами на воротах, а не столь именитые — в длинных, в большинстве случаев деревянных, с белой штукатуркой, домах, неизменно с мезонинами.

В этих домах — больших и малых — сосредоточивалась главным образом тогдашняя общественная жизнь Первопрестольной. Сюда московское общество — высшее и среднее — съезжалось по вечерам на «журфиксы». Сперва пили чай в столовой, обменивались новостями, слухами, политики касались лишь в самых общих чертах, в меру злословили про отсутствующих. Затем люди положительные садились в гостиной за ломберные столы в преферанс — предтечу винта. Несколько лиц, преимущественно пожилых дам, оставались в столовой поговорить «по душе». Души распоясывались — это уже были сплошные сплетни и злословие без меры. В это время молодежь плясала в зале «под рояль».

После двенадцати начинался разъезд. Кучера долго возились, зажигая фонари, и переругивались с выездными лакеями в самых разнообразных, часто совершенно фантастических livreeх. В передних, обыкновенно обширных, со стульями с высокими резными спинками, с «ларями», покрытыми персидскими коврами, с большим подносом на маленьком столике с грудой визитных карточек, накопленных за целый год, маменьки терпеливо ждали, пока девочки «остынут». Девочки (как назывались в Москве все выезжавшие, даже восемнадцатилетние и более, девицы) шушукались, обменивались впечатлениями. Маменьки прислушивались и, придавая своим расплывчатым, добродушным лицам несвойственное им строгое выражение, замечали: «De pouveau vous parlez le gusse». По традиции, чуть ли не с времен матушки Екатерины, в московском обществе, в дамской его половине, на вечерах принято было говорить только по-французски.

Журфиксы, более или менее одинаковые, вошли в обычай и бывали у всех — «даже у Толстых», говорили в Москве. Граф Лев Николаевич Толстой в это время, по московским сведениям, уже «опростился», но все-таки несколько лет подряд проводил зиму в Москве, в типичной московской обстановке, в одном из переулков за Пречистенкой, около Хамовников.

Припоминаю как очевидец, как на святках, в морозный вечер, кружок очень юной московской молодежи, состоявший из лицеистов Московского (Катковского) лицея и из поливановцев (гимназии Поливанова, где обучались, насколько помню, двое сыновей графа Толстого), их сестер и родственников, приехал к Толстым на нескольких тройках — одни ряжеными, другие в домино; все в масках. Приехали мы будто бы внезапно, но, конечно, в действительности предупредив заранее хозяев. Ясно помню, хотя это было полвека тому назад, как было оживленно и весело и как гостеприимно встретили нас хозяева — графиня Софья Андреевна с детьми; причем каждый из нас, подходя здороваться с графиней, снимал маску. Помню, у Толстых была приезжая из Петербурга, сестра графини — Т. А. Кузминская, которая, по слухам, служила для Толстого прототипом Наташи Ростовской. Это придавало ей особый ореол. Но самого Льва Николаевича не было видно. Лица, часто бывавшие у Толстых, предупреждали нас, что он ни за что не выйдет к гостям со своей половины, так как танцев совершенно не переносит, причем повторяли не вполне ясное, но столь распространенное тогда в Москве объяснение — потому что «опростился».

Но эти предположения, к общему удовольствию, не оправдались. Толстой внезапно появился в дверях внутренних комнат в самый разгар танцев, когда сидевший за роялем Н. А. Кислинский, один из инициаторов поездки, сосед по имени Толстых (впоследствии, к сожалению всех его знавших, так рано скончавшийся), с такой силой барабанил по клавишам офенбаховский мотив, что казалось, вот-вот они разлетятся

вдребезги к ужасу толстовской гувернантки — видимо, и учительницы музыки, — со страхом, стоя у рояля, следившей за игрой.

Ясно помню, что Толстой был в поношенной темной блузе и в грубых больших сапогах собственного изделия, которыми в то время, по слухам, он особенно гордился — более, чем всеми другими своими произведениями, острили в Москве. Уверяли даже, что Толстой на ночь бережно сгавил оба сапога рядом на книжную полку, где стояло последнее издание его сочинений в двенадцати томах, и считал, что их четырнадцать.

Появление Толстого произвело сенсацию. Типичная московская барышня, с которой я танцевал, громко ахнула и не хотела верить, что это «сам Толстой». «Это вы нарочно», — говорила она. Дирижировавший танцами Всеволод Азанчевский, мой одноклассник по Московскому лицее, увидев Толстого, прервал кадрили на третьей фигуре, объявил *grand rond* и повел нас, державшихся за руки цепью, на Толстого, обогнул его, и живая цепь молодых, веселых лиц — так как к этому времени маски были сняты, — постепенно суживаясь, стала кружиться вокруг Толстого. Вспоминаются веселые личики девочек Оболенских, которых звали «кривоникольскими» — по переулку, в котором они жили, в отличие от других четырех семей московских Оболенских.

Между тем живая цепь все суживалась, и посредине ее «великий писатель земли русской», как тогда уже называли Толстого, стоял, видимо не зная, что ему предпринять. Уйти некуда. Всюду сплошная стена улыбающихся лиц, от души его приветствовавших, так как не было между ними полужительно никого, кто не любил бы «Войну и мир», «Детство и отрочество», «Казак», «Анну Каренину» и др. и не восторгался бы ими со всем пылом юной души. Неизвестно, чем кончился бы *grand rond*, может быть вихрь юности окрутил бы самого Льва Николаевича и увлек его в пучину танцев, но Азанчевский закричал: «*Remerciez vos dames*», а Кислинский отчаянным аккордом оборвал музыку. Цепь порвалась. Все остановилось и обступило Толстого. Многие из нас, в том числе и я, видели его вблизи первый раз в жизни и хотя, быть может, ожидали не того, что видели, но все мы, столько раз воображавшие себя толстовскими героями и героинями: Наташами, Петями, Долоховыми, Вронскими, пережившие их радости и горе, плакавшие при чтении описания смерти Анны Карениной, как-то вдруг притихли, почувствовали себя маленькими... Тоненький женский голосок робко, как-то неуверенно сказал:

— Можно у вас, граф, спросить, как танцевали у Ростовых в «Войне и мире»?

А сзади раздались более смелые голоса:

— Так ли, как мы?

— Нет, не так, совершенно не так, — нахмутив густые брови, ответил Толстой, придавая своему голосу оттенок суровости, даже неудовольствия. Но это вышло у него тоже как-то не так. Сквозь толстовскую суровость чувствовался добродушный, сочувственный оттенок к обступившей его молодежи. Мы инстинктивно понимали, что он должен, хотя бы для видимости, говорить с нами сурово, потому что «опростился», но что это значит, что он «опростился», никто из нас не понимал. Лично я, откровенно говоря, думал, что все это знаменитое опрощение, о котором все говорили, и есть, в сущности, мрачная блуза и неуклюжие сапоги.

Увидя наше смущение, Толстой более мягким голосом стал разъяснять, что, ежели (я ясно запомнил тогда, что он сказал ежели, а не если) судить по времени, у Ростовых могли танцевать под именем контрдансов то, что теперь называется «*Lapstep*», где много грациозной степенности и изящества, а нынешние (Толстой сказал нынешние) модные кадрили с *grands ronds* — это все оффенбаховщина, тот же французский канкан, немного облагороженный для порядочного общества. Причем слово «оффенбаховщина» Толстой произнес с несомненно искренним раздражением и даже махнул рукой.

Мы молчали, не зная, что сказать. В это время к Толстому подошла важная московская дама, видимо молодящаяся, только что прибывшая, по ее словам, «на огонек», узнав, проезжая мимо, от «своего выездного», что «у Толстых ряженые», и, перейдя на французский язык, она заговорила о каком-то больном общем знакомом, которого только что посетила. Толстой отвечал ей также по-французски. Разговор завязался чисто светский. Подошли графиня с сестрой. Со стороны получалось впечатление, что

Толстой не хозяин дома, что он вовсе не «опростился», а также ряженный, приехавший с маркизами, испанками и капуцинами, толпившимися в зале в ожидании новых танцев, — в таком противоречии была его блуза и сапоги со всей окружающей обстановкой дома.

Между тем Азанчевский захлопал в ладоши и закричал: «Мазурка, invitez vos dames!» Кислинский бросился к роялю, к ужасу толстовской гувернантки, продолжавшей стоять на страже у рояля, не без оснований опасаясь за клавиши. Все оживилось опять. Пара за парой понеслись по залу. Многие грациозно, большинство — шумно. Молодая дама уселась с графиней и смотрела в лорнет. Толстой воспользовался этим и, стараясь быть незамеченным, держась вдоль стенки, стал пробираться к дверям и исчез в коридоре. Более мы его не видели.

Кругом стоял шум невообразимый. Звуки музыки заглушал топот ног. Было, как мы выражались тогда, головокружительно весело.

## А. ЦИНГЕР



### *Ненаписанный рассказ Толстого*

Когда это было — точно не помню; думаю, что зимой 1900/01 года, так как Лев Николаевич тогда как о свежей литературной новинке говорил о вышедшей в 1900 году драме Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Встретил я как-то, тогда еще совсем молодого, близкого к Толстому Х. Н. Абрикосова. Заговорили о Толстом, и Абрикосов рассказал мне, что у Льва Николаевича появился новый, довольно оригинальный поклонник — какой-то канцелярский чиновник духовной консистории, что посещает Льва Николаевича этот чиновник потайным образом и передает копии секретных консисторских деловых бумаг и что некоторые из этих бумаг Льва Николаевича очень интересовали.

Через несколько дней я попал на субботний вечер к Толстым. После чая Л. Н. уселся в уголке у рояля в окружении нескольких из самых обычных гостей. Помнится, были П. И. Бирюков, Ив. Ив. Горбунев, А. Б. Гольденвейзер и еще человека два-три, столь же близких Толстому. Когда я решил присоединиться к этой группе и сел рядом с Бирюковым, Л. Н., постепенно одушевляясь, говорил: «Это ужасно! И почему это вздумалось старику написать такую ерунду?» — «Это о новой драме Ибсена», — шепнул мне Бирюков.

Л. Н. вкратце рассказал содержание драмы, которая в его изложении выходила какой-то бессмыслицей, еще более смешной, чем пересказ «Кольца Нибелунгов» в трактате об искусстве. Финал драмы Л. Н. изложил приблизительно так: «...а потом они зачем-то бросаются в какую-то пропасть, и на них почему-то обрушивается снежный обвал, а какая-то монахиня, неизвестно зачем, их благословляет. И все это почему-то называется «Когда мы, мертвые, пробуждаемся».

Слушатели смеялись, а Л. Н. продолжал: «И зачем это нужно было умному старику брать такую неестественную, выдуманную тему? Точно мало самых интересных, самых глубоких сюжетов можно найти где угодно кругом, в настоящей жизни! Да взять хотя бы этот случай с иеромонахом, о котором я читал консисторское дело. Я вам рассказывал? Вы знаете?» Оказалось, что некоторые из присутствовавших уже слышали этот рассказ, но стали просить, чтобы Л. Н. еще раз рассказал для тех, кто не слышал. У меня мелькнула мысль, что речь идет о том, что рассказывал мне Абрикосов, и я недоумевал, неужели такая тема представляется Льву Николаевичу подходящей для художественной обработки. Оказалось, что речь шла совсем о другом эпизоде.

Как я теперь жалею, что в свое время не записал по свежей памяти этот рассказик, в котором Л. Н. самыми мелкими штришками лишь намекал на художественные

детали, которых я теперь уже не могу восстановить в памяти. Вынужден ограничиться лишь приблизительной краткой схемой.

«В московском Кремле помещаются казармы какой-то караульной воинской части. При этих казармах есть квартиры и для офицеров. Так вот, в одной из таких квартир жил молодой офицер с молодой, очень им любимой женой. В их счастливой супружеской жизни наступил важный, тревожный момент: должен был появиться на свет первый ребенок.

Офицер, как водится, очень беспокоился и волновался. Действительно, роды оказались очень тяжелыми и с какими-то там осложнениями. Позвали доктора-специалиста. Тот исследовал роженицу, нашел, что положение очень серьезное, испробовал разные, какие полагаются, меры; но все безуспешно. В конце концов доктор говорит несчастному офицеру: «К несчастью, наука тут бессильна. Вашей жене нужен теперь уже не врач, а священник». Офицер, хоть и совсем не верующий, все же, чтобы соблюсти обряд, посылает денщика за священником. Тот идет по соседству в Чудов монастырь и приводит оттуда пожилого иеромонаха. Офицер встречает его в полном отчаянии, в слезах: для него черная ряса представляется уже началом похорон. Иеромонах наскоро исповедует умирающую, дает ей причастие; а потом идет к мужу и начинает расспрашивать о том, что нашел и что сказал доктор. Оказывается, этот иеромонах в миру сам был когда-то врачом-хирургом, да и в монастыре продолжает излечивать братию и прихожан: так что в келье у него имелся даже набор хирургических инструментов. Расспросив все подробно, иеромонах спросил разрешения и сам обследовал роженицу. Обследовал и говорит: «Знаете? По-моему, дело еще не так плохо. Если бы успеть сделать такую-то операцию, или наложить щипцы, или еще что-то такое, то, я думаю,— говорит,— можно бы еще спасти и больную и ребенка. Только надо действовать как можно скорей!» У офицера вдруг является надежда. Иеромонах посылает служку к себе за инструментами, снимает свою рясу, засучивает рукава и производит операцию совершенно благополучно. Больная, которую ученый врач уже приговорил к смерти, как это часто бывает, оказывается вне опасности, ребенок остался жив; офицер в восторге, чувствует себя на седьмом небе, не знает, как благодарить иеромонаха... Одним словом, все кончается благополучно. Однако иеромонах, прощаясь, говорит офицеру: «Только вы, пожалуйста, никому ни слова об этом не рассказывайте, а то мне очень за это может достаться. Я, как монах, такой операции делать не имел права». Офицер обещал никому не говорить, но как же не рассказать такой необыкновенный случай? Он под секретом рассказывает обо всем и товарищам и другим знакомым, так что через несколько времени все в Кремле об этом знают, и слух доходит до духовного начальства. И вот иеромонах попадает под суд митрополита. Оказывается, он, как монах, никак не мог делать операции женщине (это — страшное преступление!), никак не смел проливать человеческую кровь, имея при себе причастие (это преступление еще страшней!). и так далее. В конце концов митрополит приговорил его к очень суровому наказанию — сослал на заточение в какой-то дальний монастырь. Но я думаю, что такой добрый человек, как этот иеромонах, может быть радуется, сознавая, что страдает не то что без вины, а только за то, что сделал самое доброе, хорошее дело».

Голос Л. Н. дрогнул. Он немного помолчал и заговорил уже бодрым голосом:

— Не правда ли, хорошо? Эх, если бы Мопассан жив был, я непременно написал бы ему. Он из этого сюжета сделал бы *chef-d'œuvre*. И я, когда молодым был, тоже бы хорошо написал.— Л. Н. поднялся, пошел к другой группе гостей и, обернувшись к нам на ходу, еще бодрее прибавил: — Да я еще и теперь напишу!

Кто-то из присутствующих толстовских друзей радостно говорил: «Наверное, напишет. Я уже слышал этот рассказ два дня тому назад, а нынче сколько он уже вставил новых подробностей! Стало быть, захватила его эта тема». Эта надежда не оправдалась. Толстой не использовал этого сюжета, действительно подходящего и для него и для Мопассана.

А что получилось бы, если бы оба художника слова написали на эту тему рассказы! Какими совершенно несходными, но, может быть, одинаково драгоценными перлами обогатилась бы литература!

## ВЛАДИМИР ПОЛЬ

*Встречи с Толстым*

И мне привелось встречаться и говорить несколько раз со Львом Николаевичем Толстым. Большой русский художник Николай Николаевич Ге, которого я имел счастье знать в юности, собирался, проездом в Москве, представить меня Л. Н. Толстому, но случай сделал так, что я попал в дом Льва Николаевича до приезда Ге, почитателя и единомышленника Толстого. Я видел Л. Н. в разнообразной обстановке — у него в рабочем кабинете, в доме в Хамовниках в Москве, у общих знакомых, ходил с ним несколько раз по улицам Москвы и даже однажды попал с ним в «общие бани», на Девичьем Поле, отправляясь в которые Л. Н. забрал с собой «для компании» бывших у него под вечер Сулержицкого, Е. И. П-ва, Д-ва и меня.

В Ружейном переулке, в Москве, у Смоленского бульвара, на недурном рояле моих знакомых В. было легко и приятно играть. В этот зимний вечер 1898 года, перед чаепитием, меня усадили за рояль, и я уже грохотал последнюю часть концертного этюда Рубинштейна, когда кто-то ринулся из гостиной на звонок, раздавшийся в передней. Не прекращая игры, я услышал чей-то возглас: «Пусть продолжает, у него это хорошо выходит!» — и вслед за этими словами в комнату вошел Лев Николаевич Толстой, которого я, конечно, сразу узнал, хотя видел впервые. Наскоро закончив пьесу, я вскочил и очутился перед острым взглядом Толстого.

— Что это вы играли? — спросил он.

Я ответил:

— Этюд Рубинштейна.

— Этюд? — вдруг строго сказал он. — Значит, упражнение, пустота, не душевное, это не нужно играть.

— Но, Лев Николаевич, ведь это так только названо этюдом, а на самом деле это пьеса, ну как этюды Шопена, — смущенно оправдывался я.

И так же неожиданно, как он меня отчитал, Л. Н. вдруг смягчился и, улыбнувшись, сказал:

— Тогда это другое дело, сыграйте-ка его еще раз, я начала не слышал, а пока я слушал из передней, мне нравилось.

В тот вечер Л. Н. приходил к В., чтобы повидаться с казачьим офицером Х., как мне показалось, весьма революционно настроенным. Пока Толстой говорил о чем-то с офицером в соседней с гостиной комнате, пришел Сулержицкий, недавно вернувшийся из ссылки на персидскую границу за отказ от военной службы. Сулержицкий сообщил, что под окнами квартиры ходят сыщики. Узнав об этом, казачий офицер снял с себя кавказский пояс и передал его хозяйке дома, прося временно спрятать.

Когда Лев Николаевич вышел, мы все пошли его провожать.

По дороге Л. Н. спросил меня, чем я теперь занят. Я объяснил, что сейчас, по совету С. И. Танеева, изучаю контрапункт по немецким книгам Беллермана, и снова получил отповедь:

— Контрапункт — это гадость, а Бетховен — злодей. Это он завел в музыке ненужную сложность, которая извратила самую сущность музыки, подменив простое, песенное содержание контрапунктическими измышлениями, сочиняемыми по заказу.

По молодости лет я подумал, что Лев Николаевич говорил так, паря высоко над всеми музыкальными науками, потому что уже изучил и осудил их.

И я пытался оправдаться тем, что я-то ведь контрапункта еще не знаю, а когда его изучу, то, может быть, тоже увижу, что это гадость, и тогда откажусь от него, между тем как, не изучив его, могу оказаться неграмотным музыкантом.

И снова Лев Николаевич вдруг быстро смягчился и приветливо сказал:

— Вы правы, пожалуй, продолжайте изучать ваш контрапункт, да и Танеев будет доволен.

Прощаясь со мною, Толстой предложил мне зайти к нему через несколько дней

и взять для прочтения корректурный оттиск его статьи об искусстве, которая должна была появиться в журнале «Вопросы философии и психологии». Я, разумеется, был очень счастлив и в назначенный день был в доме Толстых в Хамовниках, у Девичьего Поля.

Лев Николаевич встретил меня в своем простом рабочем кабинете, куда меня проводил лакей по путаным ходам большого помещичьего дома в Хамовниках.

— У меня только что был Репин,— сказал Л. Н.— Какой это талантливый человек! А главное, у него правильное отношение к живописи как средству выражения, а не самоцели. Вот и Ге, Николай Николаевич, такой же. Да, кстати, посвятил ли вас Ге в секреты Распайля? Да? Ну, тогда все в порядке.

Секреты Распайля — это «домашний лечебник» Ф. Распайля, французского химика и политического деятеля прошлого века. Художник Ге был сторонником и пропагандистом этой системы лечения, и в этом уже Л. Н. Толстой был его последователем, в чем нетрудно убедиться при чтении дневников гр. Софии Андреевны, постоянно прибегавшей к лечению «по Распайлю» недомоганий Льва Николаевича. Очень возможно, что Распайль и был тайной причиной известного недоверия Л. Н. к медицине и врачам.

Вспользовавшись упоминанием имени Н. Н. Ге, я спросил, каково мнение Л. Н. о последней, большой картине Ге «Распятие». Эта картина была снята с Передвижной выставки по распоряжению высшей власти, но я ее видел в мастерской художника, в его имении «Плиски». Вот ответ Л. Н.

— Когда Ге объяснил мне картину, то все было хорошо. Но в самой картине мысль художника выражена неясно. Простой зритель без разъяснений не поймет многого. Как, например, он догадается, что череп у подножия креста Распятого символизирует предшественников Христа и что третье лицо драмы — второй, нераскаявшийся, разбойник, отсутствующий на картине,— это вы сами, смотрящий на картину зритель. И как понять без объяснений, что первый, раскаявшийся, разбойник, изображенный рядом с Христом, не кричит от страха перед собственной смертью, а содрогнулся от ужаса, видя, что Тот, Кто только что открыл ему новый мир, уже умер. Гораздо лучше рисунки-иллюстрации Ге к моему рассказу «Чем люди живы». Там все трогательно и убедительно.

Засунув руки за пояс своей длинной рабочей блузы, Л. Н. ходил по комнате и говорил:

— Вот вы сочиняете музыку, стараетесь писать так, чтобы то, что вы пишете, доставляло людям утешение и радость. А за поучительными примерами и хорошими образцами не надо непременно к знаменитостям обращаться. Знаменитости слишком много по заказам пишут, холодным, надуманным способом, пользуясь лишь одной техникой. Посмотрите картины Орлова. Он совсем не знаменитый художник, а как у него все хорошо выходит, когда он зарисовывает жизнь простых мужиков, как это у него все продумано.

Признаюсь, теперь мне кажется, что в этом и других указанных Л. Н. случаях я охотно заменил бы слово «продумано» словом «надумано», но тогда я трепетал, со всей полнотой испытывая чувство предстояния перед живым пророком-обличителем. Да, кажется, и все соприкасавшиеся с ним, не исключая его домашних, чувствовали себя как бы рассматриваемыми насквозь, когда на них глядели спрятавшиеся под густыми бровями глаза Л. Н.

Лев Николаевич вдруг спросил меня, сколько мне лет, и, узнав, что «больше двадцати, но я, к сожалению, еще ничего не сделал», рассмеялся и утешил:

— Не все ли равно, двадцать три или тринадцать! Успокойтесь, вы еще успеете поработать. А прогресс всегда делали старики, а не молодежь. Чем больше живешь, тем больше ответственности перед Хозяином, пославшим нас на работу. Вот я уже в восьмой десяток переваливаю, дела еще лет на триста, а жить осталось каких-нибудь тридцать лет. И как это странно, что упорно работающие люди всегда умирают раньше, чем им следовало. Точно они нужны Хозяину «там». И во всем так — в любой квартире не хватает одной комнаты и всякий чемодан на один вершок меньше, чем надо.

Лакей вошел в кабинет и доложил, что графиня просит в столовую к чаю.

— Прочтите и дня через три верните мне,— сказал Л. Н., вручая мне обещанный оттиск его статьи об искусстве.

Мы перешли в большую комнату, где за чайным столом уже собралась семья Л. Н. и несколько гостей. Разговор вращался вокруг последней работы Л. Н., и граф Х., обращаясь к Толстому, рассказал, что его друг, профессор В., тоже тридцать лет думал об искусстве и пришел к заключению, что красота — это порядок в разнообразии. Сказано это было по-французски, на что Л. Н. возразил по-русски: «Ну и дурак, не стоило тридцать лет об этом думать, можно было гораздо раньше прочесть это определение у философа Мендельсона да заодно узнать у него, чем отличается красота от совершенства».

Гость, не обратив внимания на резкий отзыв о его друге, стал просить Л. Н. об экземпляре статьи об искусстве с автографом автора. Л. Н., поморщившись, пробормотал: «После, после».

Позже я узнал, что Л. Н. постоянно надоедали просьбами об автографах и фотографиях с подписями. Многие сразу приносили с собой его портреты, чтобы тут же получить просимое. Вспоминаю, как один московский музыкант, играя у Л. Н. вечером в числе других участников ансамбля, попросил Л. Н. об автографе, предъявив привезенную им огромную, аршинной величины, фотографию, купленную на Кузнецком мосту.

Л. Н. молча взял перо и на полях начертил огромными буквами: Лев Толстой — Льву (такому-то). Музыканта тоже звали Львом.

Очень приветлива и любезна с вечно новыми посетителями была Софья Андреевна.

— Это ужасно,— сказала она как-то, указывая на английскую газету.— У нас в доме ничего нельзя сказать, не обдумав вперед. Все выносится чужими людьми наружу в искаженном виде и создает ложное представление о нашей семье. Вот был у нас англичанин, провел вечер и присылает свою статью, думая сделать любезность, а сам бог знает что написал. Просто хоть запись и никого не принимай.

Кажется, и Лев Николаевич иногда не выдерживал и терял терпение, несмотря на то, что он считал «самым важным человеком в мире того, с кем в данную минуту говоришь». Представителю фирмы зубного эликсира «Одоль», добившемуся свидания с Толстым и просившему его принять в дар пять флаконов «Одоля» и разрешить писать в объявлениях, что «гр. Толстой употребляет «Одоль», Л. Н. ответил, скрестив руки на груди: «Скажу вам от души, что, во-первых, у меня зубов нет, а во-вторых, ваше посещение мне... (пауза) крайне неприятно».

О более занятом случае мне рассказал Сулержицкий. К Л. Н. явился щеголеватый молодой человек, просто желавший посмотреть на Толстого под предлогом получить наставление о том, «как надо жить».

Л. Н. улыбнулся и направил молодого человека к Чехову. А. П. Чехов сообразил, в чем дело, и послал к знающему истину о жизни Горькому. Горький тоже сообразил и направил к Сулержицкому. Сулержицкий же послал любопытного просто... к черту.

Я принес Л. Н. прочитанную мной корректуру статьи об искусстве и застал у него пришедших раньше меня Сулержицкого, Е. И. Попова и еще двоих.

Л. Н. в разговоре вспомнил, что сегодня суббота, и неожиданно предложил идти с ним в баню на Девичьем Поле.

— Там и поговорим,— сказал он.— Древние греки любили ведь беседовать на высокие темы в бане. Должно быть, этому способствовало улучшенное кровообращение вследствие теплоты и очищения организма.

Когда в бане мы начали раздеваться, все подтрунивали над Е. И. П. по поводу того, что он, приготавливая к печати вегетарианскую поваренную книгу и извлекая рецепты кушаний из обычных книг, перепутал номера, предназначенные для копирования. Переписчик внес в вегетарианскую книгу «горошек с ветчиной».

— Как жаль, это так, так вкусно — и не вегетарианское! — улыбнулся Л. Н. и, заглаживая к затылку волосы, добавил: — Очень удобны длинные волосы в холод, на улице. Напустишь их на уши — теплее станет.

В горячей комнате Л. Н. намылил свою мочалу и, обратившись ко мне, сказал:

— Потрите мне спину, а потом и я вам потру.

Я с готовностью начал водить намыленной мочалой по спине Л. Н. и тут обратил внимание на то, какое у него было крепкое, молодое тело и седая старая голова. Пока я исполнял свое задание, в горячую комнату вошел новый, толстый человек, который ткнул меня в плечо и повелительно изрек: «Эй, банщик, когда кончишь старичка, займись мной». Это услышал другой, «настоящий» банщик, мыливший рядом кого-то. Он обиженно заметил толстому человеку: «Банщики — это мы. А это граф со своим банщиком пришли, с ихним. Они всегда так».

После мытья все направились к бассейну, и Л. Н. первый прыгнул в довольно прохладную воду. Он нырял, как водяной, и, когда опускался в воду, его волосы и борода расплывались по воде, делая его похожим на гауптмановского «брекекекса».

Вдруг он усталился на меня, заметив, что я один из всех нас не решаюсь прыгнуть в воду, находя ее холодной. Осмотрел меня и строго сказал:

— Экой вы худой декадент! Прыгайте!

С отчаянием, не смея послушаться, я прыгнул.

Наконец мы вытираемся и одеваемся. Желая сказать приятное Л. Н.-чу, я начал было восхищаться «Анной Карениной» и «Войной и миром», но Л. Н. оборвал мои излияния:

— Все это не нужно и не хорошо. Там я только страсти описывал:

— Но что же тогда вы считаете лучшим? — смутился я.

— Лучшие — это народные рассказы, ну вот «Два старика» и другие, там не страсти, а добрые чувства. Они нужнее человеку, чем страсти.

По выходе из бани я пошел один с Л. Н., другие почему-то не могли. Оставшись со мной, Л. Н. вспомнил о музыке, снова подчеркнул важность мелодии и, между прочим, сказал буквально следующее:

— Даже в романсе мелодия есть самое главное, а текст не важен, можно петь хоть на «тру-ля-ля».

Говоря затем о важности работы над собой и в искусстве, Л. Н. сказал мне то, что я слышал и от Н. Н. Ге:

— Когда работаете, захватывайте поменьше, но держите крепко, что достанете, и так идите шаг за шагом. Самое главное — приучиться искать истину там, где ее верней всего можно найти, — это в своей душе, в ней есть и два оберегателя правды: Разум и Совесть. Вообще нужно жить так, как человек плывет. Плыть нужно не переставая и каждый момент брать с боем, усилием, как царство небесное. Мы ведь здесь временно, и нужно спешить.

Л. Н. остановился и сказал:

— Мне стало холодно, побежим немного, чтобы согреться.

Он сошел с тротуара на улицу и по снегу быстро побежал вперед. Одетый в новую, неудобную еще шубу, я едва поспевал за Толстым в коротком потертom тулупе. Когда наконец Л. Н. перешел на обычный шаг, я уже совсем задыхался.

— Вот теперь я согрелся, опять кровь пошла, — сказал Л. Н.

Я тоже согрелся, но на другой день от купания в бассейне и бега в шубе у меня уже был жар. Я простудился.

В последний раз в жизни я видел Л. Н. мертвым в Астапове, куда я выехал, получив в Москве телеграмму от Сергея Львовича Толстого с просьбой привезти скульптора, чтобы снять гипсовую маску с Л. Н.





# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Павловский.** Человек идет по земле.— **Ефим Дорош.** Неповторимые наблюдения — **И. Виноградов.** Об «уставных словах» и человечности.— **Игорь Поступальский.** Поэзия Элисаветы Багряны.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Л. Кюзадзян.** Ленин и Восток.— **Дм. Рудь.** На смену трудодню — **Юр. Павлов.** Вива Куба! — **В. Твардовская.** Научно-популярная литература о революционерах-народниках.

## Литература и искусство

### Человек идет по земле

**О**б И. Соколове-Микитове говорят мало и редко, в критических журнальных и газетных статьях имя его почти не упоминается. Это огорчительно.

Утешением, правда, может служить здесь то очевидное для всех, по-видимому, обстоятельство, что его много и с удовольствием читают. И все же художественный опыт Соколова-Микитова должен стать предметом серьезных размышлений — о мастерстве, о традициях, о позиции писателя и т. д.

Круг интересов И. Соколова-Микитова необычно широк. Уроженец калужской деревни и коренной житель Смоленщины, он побывал в жарком Коломбо и в Александрии, «ходил» в Японию и на Маточкин Шар, видел Гималаи, Среднюю Азию и Баренцево море. Нашу планету знает он не понаслышке и не как турист — он жил в ночлежках Лондона, зарабатывал себе на хлеб каторжным трудом бедняка, засыпал тяжелым сном на раскаленных камнях Стамбула, работал матросом на комфортабельных пароходах трансатлантических компаний и на грязных «грузчиках». Названия отдаленнейших портов мира он пере-

числяет с такой же обыденной простотой, как и скромные наименования смоленских или калужских деревень.

Когда читаешь его книги, обширная наша земля вдруг самым чудесным образом представляется обжитой и знакомой, а разноликие народы, населяющие ее, видятся добрыми и старыми знакомыми.

Талант Соколова-Микитова глубоко человечен и сердечен. Писатель видит живую и нерасторжимую связь между людьми. Печальная судьба бедного японского матроса Танаки близка и понятна его душе, жизнь азиатского бедняка вызывает у него ассоциации с жизнью трудящегося российского люда, а молодой араб, стройный, как ящерица, встает перед его восторженным взором первообразом общечеловеческой красоты.

Любовь к простому люду предохранила Соколова-Микитова от модной в двадцатые годы пряной экзотичности в описаниях заморских стран. У него почти нет того «музейного» налета, той псевдокрасивой старины, до которой так лакомы бывают иные «путешествующие в прекрасном». Писатель видит, как неутомимо, без отдыха работают черные рабы на погрузке угля, и взгляд его надолго приковывают к себе их худые, запорошенные углем лица и черный пот, застилающий их глаза,— какая уж тут

**И. Соколов-Микитов. Сочинения в двух томах. Том I. 656 стр. Том II. 552 стр. Предисловие А. Твардовского. Редактор П. Сидоров. Гослитиздат. М. 1959.**

экзотика! Ослепительно синее море, ажурные паймы и белое кружево прибрежной пены лишь подчеркивают в его рассказе безысходную нужду трудящегося человека («Морской ветер»).

Критика не всегда была справедлива к Соколову-Микитову. Его часто упрекали в расплывчатости гуманизма и в абстрактности изображения зарубежного человека. Однако достаточно лишь более внимательно прочитать «Морские рассказы», как сразу же становится ясной несостоятельность этих упреков. Нет, для Соколова-Микитова не существует человека вообще — все его симпатии на стороне человека труда. В «Морском ветре», помимо черных рабов, он показывает еще и путешествующих аристократов. Это сделано, конечно, не без умысла. В сущности, весь сюжет произведения держится на прогивопоставлении: вот рабы, а вот господа. То обстоятельство, что писатель, переходя от изображения одних к изображению других, не повышает своего голоса, не прибегает к обнаженной публицистике, разумеется, не говорит ни о равнодушии его, ни об объективизме, — такова художественная манера.

В рассказе «Тайфун», например, Соколов-Микитов нарисовал образ капитана Босса — одного из тех столпов «непоколебимого мира», которые считают нищетой одних и благополучие других извечным и непреходящим законом человеческого бытия. В первой части своего рассказа о жизни Босса Соколов-Микитов подробно и со знанием дела обрисовал «незыблемость» (с точки зрения капитана) существующего миропорядка. Тем более нелепой (но только на первый взгляд!) кажется гибель Босса во время тайфуна — гибель в зените благополучия, на самом подъеме к власти и могуществу. У Соколова-Микитова гибель Босса не просто каприз моря, не просто случайность, подстерегающая каждого моряка: уж слишком велик и кричаш контраст между самоуверенным благополучием «земного владыки» и его беспомощностью перед стихией жизни. Власть эксплуататоров ненадежна и преходяща — такова глубинная мысль рассказа. Еще более ясно эта мысль о неизбежности гибели всего старого общества, построенного на эксплуатации, раскрыта писателем в рассказе «Катастрофа».

«Морские рассказы» Соколова-Микитова драматичны по своим сюжетам и конфликтам; речь в них идет о трудных судь-

бах, нужде простого люда, сломанных, трагических жизнях. Но сумрак, временами окутывающий эти рассказы, не кладет на них мрачных, глубоких теней: печаль и скорбь, меланхолия и тоска — редкие гости на этих страницах, где так много солнца, простора и свежего ветра. При всей тяжести жизни человек видится Соколову-Микитову прекрасным и добрым, природа — рядной и лучезарной.

Эта особенность мировосприятия писателя ощутима и в его произведениях о жизни русской деревни.

В автобиографической повести «Детство» тоже немало тяжелых историй — ведь это была деревня конца прошлого и начала нынешнего столетия, деревня разоряющегося крестьянства, с нищетой, невежеством, диким бытом, вспышками голода. Правда, мальчик Микитов рос в сравнительно обеспеченной семье; отец его был управляющим лесными угодьями, родители жили дружно и счастливо. «В раннем детстве, — вспоминает писатель, — я не знал и не видел тяжелых обид, ожесточающих человеческие сердца. И я благодарю судьбу, наградившую меня светлыми днями детства — теми счастливыми днями, когда в нетронутых сердцах людей закладываются родники любви». Затейливые нянины сказки в долгие зимние деревенские вечера, усадебная тишина, незабываемые впечатления от традиционной русской охоты, милые и родные лица деревенских жителей — все это создает ясную и светлую атмосферу книги. Но перечитайте внимательно «Детство», а также «Елень», «Пыль», «Найденов Луг», «Медовое сено», рассказы из цикла «На речке Невестнице», и вы (возможно, не без удивления) убедитесь, как много метко схваченных социальных типов в этих небольших вещах, образующих в совокупности как бы своеобразную сельскую хронику, охватывающую около двух десятилетий.

Вот помещица Кужалиха в новой заграничной коляске, урядник, становой, молодой миллионер Хлудов... А как поучительны по своему историческому смыслу их судьбы! Миллионер Хлудов остался после смерти своего отца единственным наследником огромного дела. Но «дело» оказалось не по плечу молодому Хлудову, его судьба отчасти напоминает сюжет «Дела Артамоновых» Горького. В рассказе «Пыль» изображен один из отпрысков старинной дворянской фамилии. Обнищавший, всем и

всему чужой, он приходит в родные места, чтобы в последний раз взглянуть на родовую усадьбу и на фамильную кладбище. Видит поделенную между крестьянами землю, стершиеся надписи на могильных плитах. Вокруг шумит незнакомая, чужая жизнь. «Пыль»,— называет его один из мужиков.

Не менее выразительны у Соколова-Микитова и образы людей из народа. Каторжная крестьянская жизнь, с таким сердечным вниманием описанная писателем, рождает в душе читателя пронзительно-горестное чувство. Жалко видеть, как богатырь Оська «на потеху купцам» надорвался, как умерла чудесная русская девушка, как гибли в безвестности и нужде талантливые люди.

Критика, говоря о творчестве Соколова-Микитова, нередко отмечала известную близость его к Бунину. Бунинское мастерство в изображении деревни, русской природы, естественно, не могло не обратить на себя внимания Соколова-Микитова. Однако в самом подходе к крестьянине Соколов-Микитов во многом отличается от прославленного автора «Деревни» и «Антоновских яблок». У него нет того «взгляда сверху», что так присуще Бунину — бытописателю деревни, нет и бунинского пессимизма. Соколов-Микитов слишком верит в добрые жизненные начала, в выносливость русского человека, в его природную талантливость, в богатство его души, чтобы за жестокостью, дикостью и грязью старой деревни не видеть красоты и силы национального характера.

Вот почему, повторяем, несмотря на многочисленность драматических эпизодов, рассказанных им в сельской хронике, рассказывания о старой деревне, подобно «Морским рассказам», глубоко оптимистичны. Солнечный, врачующий простор родной природы, несказанная прелесть народной речевой стихии для Соколова-Микитова залог вечного обновления жизни. Характерно, что, нарисовав ту или иную сцену из тягостного деревенского бытия, он обычно дает вслед за нею «сцены из жизни природы», и вот уже снова «мир кажется ясным — пусть пропадут все барыни Кужалихи! — по-прежнему веселой кажется дорога, чудесными — кудрявые перелески, нарядными — бедные нивы, заросшие васильками!». Хорош, чудесен синий и зеленый мир земли — и временны, преходящи и бессильны черные, мрачные тени, спорящие со светом!

Соколов-Микитов — подлинный поэт природы. Именно ей посвящены лучшие, наиболее выразительные страницы его произведений. Прекрасный знаток природы, он раскрывает читателю очарование родных и далеких мест, учит видеть красоту и поэзию, разлитую вокруг нас, любить жизнь и людей.

К началу тридцатых годов критика все чаще упрекала Соколова-Микитова в отсутствии у него современной темы. Некоторые упреки, высказанные в адрес писателя, представляются сейчас преувеличенными. Ведь раскрыть поэзию родной природы, воспитывая на ней чувства любви к отчизне, — не значит ли это быть писателем современной темы? А вызывать недовольство к «свинцовым мерзостям прошлого» — не значит ли участвовать в наисовременнейшем и наинужнейшем деле формирования души нового поколения?

Но отчасти критика была все же права — ее упреки были продиктованы естественным желанием увидеть современность, непосредственно показанную таким талантливым мастером слова, как Соколов-Микитов. А тридцатые годы с их строительным размахом, с их молодой горячей энергией были благодарным объектом для художественного изображения.

И. Соколов-Микитов с его обостренным интересом к неизведанному в природе, естественно, не мог остаться в стороне от столь великих и героических дел. В эти годы он побывал в горах Тянь-Шаня и на Кавказе, в сибирской тайге и в Каменной степи, на Новой Земле и в фиордах Норвегии. В его рассказы и очерки вошел отныне современник — человек тридцатых годов.

В отличие от рассказов и очерков, посвященных дореволюционной России, Соколов-Микитов, пожалуй впервые в своем творчестве, стал изображать природу, передаваемую человеком. Он рассказывал, как добывают нефть, как выращивают леса, как возводят на прежде нежилых просторах новые поселки и города.

Тема созидания, вошедшая теперь в книгу писателя, сопряжена у него с прежней любовью к зеленому миру природы. Девственная тайга, блещущая сполохами северного сияния полярная ночь, высокогорные пейзажи Тянь-Шаня — все это описано у него не только влюбленно, но и с той точностью, какая отличает профессионалов-естествоиспытателей или ученых-этнографов.

Автор циклов «По горам и лесам», «У синего моря», «Белые берега» и других, написанных в тридцатые годы, внимательно отмечает новое, социалистическое, что появляется на советской земле. Описывая Туркмению, он знакомит нас со сложным и драматическим процессом раскрепощения женщины на Востоке, описывая Сибирь, создает запоминающийся образ агронома, выращивающего первый советский заповедник, с восторгом говорит о крестьянке, ставшей парашютисткой.

«Чудесные времена, чудесные люди,— замечает он в одном из очерков.— Радостно видеть и знать, сколько способностей, живой, крепкой сметки, бесстрашной отваги и несокрушимой настойчивости таит в себе простой русский человек!»

Вершиной очеркового творчества Соколова-Микитова в тридцатые годы следует по праву считать его обширный очерк «Спасание корабля», посвященный экспедиции по спасению ледокола «Малыгин», застрявшего у норвежских фиордов.

Не секрет, что многие очерковые произведения, появившиеся в тридцатые годы, нередко бывали бедны фактическим материалом. Этот грех встречается и сегодня. Очеркист зачастую описывает людей, события и природу, не будучи вооруженным ни доскональным знанием специфики материала, ни богатством конкретных наблюдений. Для Соколова-Микитова характерно не просто всматривание в предмет, не только наблюдение, но и предварительное изучение того или иного явления с помощью обширной специальной литературы. Недаром прибегает он то к экскурсам в историю полярных путешествий, то к сопоставлению различных фактов, подтверждающих его наблюдения, к выкладкам и расчетам. Поэтому, скажем, полярная ночь, бесконечное число раз изображавшаяся в литературе, видится в его очерке не похожей на традиционные описания — в ней обнаружены новые краски и переливы.

При всем этом в центре художественного внимания Соколова-Микитова находится человек — те водолазы, капитаны, штурманы, кочегары, радисты, которые и вершат великое дело преобразования сгранных.

В отличие от «Морских рассказов» в «Спасании корабля» писатель не только интересуется «психологическими типами» моряков, но и старается проникнуть в специфические особенности их профессий, на-

кладывающих, как известно, на человека свой особый отпечаток. В результате героическая эпопея спасения «Малыгина» оказывается у него достоверной и точной.

Особенностью очерков Соколова-Микитова является также и то, что писатель стремится показывать героическое через обыденное, внешне неприметное. Героическое спасение «Малыгина» в его изображении есть не более как работа, правда, на одном из труднейших участков, но все же именно работа, то есть процесс, складывающийся из многих усилий многих людей. И люди показываются им обыкновенные, что называется «рядовые», не думающие и не помышляющие ни о каком героизме.

Вот, например, старый водолаз Хандюк. Это человек пятидесяти лет, и ему, наверно, уже нелегко по несколько часов находиться в ледяной воде. Работа его героична, но ни тени похвальбы, ни малейшей кичливости нельзя заметить у этого старого морского волка. «Зоркие, с красными склеротическими жилками на белках (результат долголетней работы), глаза его глядят с веселой хитрецой. Газетным корреспондентам, одолевающим его настойчивыми просьбами, Хандюк рассказывает о своей работе с непостижимым спокойствием и простотой. О своих подвигах он не любит рассказывать очень подробно. «Что особенного,— отвечает он на вопросы,— был под водой, рисковал жизнью, случалось, товарищей от смерти спасал. Рассказывать больше нечего...»

И только из самого изложения, неторопливого, обстоятельного, спокойного, вырисовываются перед нами истинные причины героического поведения людей: преданность своей Родине, уверенность в поддержке Большой земли, вера в благородный смысл своей работы.

Творчеству Соколова-Микитова чужды пессимизм, мотивы тоски и уныния. Воспетая им природа — друг человека. Даже тогда, когда она грозит ему гибелью, он верит в добрые ее начала: недаром солнце — неизменный и постоянный образ, живущий во всех его книгах. Так же — добро, сердечно и открыто — относится писатель к человеку. Зеленъ лесов и далекая синь морского простора, неугомонный прибор человеческой жизни — вечная юность мира — вот источник его вдохновения, непрестанный двигатель его творчества начиная с двадцатых годов и до наших дней.

**А. ПАВЛОВСКИЙ.**

## Неповерхностные наблюдения

В сборнике А. Одинцова «Из дома в дом» пять очерков; под каждым из них автор проставил название города—административного центра области или республики, где он наблюдал события, послужившие ему материалом: Владимир, Рязань, Ленинабад, Ташкент, Сталинабад. Не знаю, обстоятельства ли биографии или же заранее возникший замысел побудили литератора ехать из мещерских лесов и болот в пустынное таджикское предгорье, оттуда в хлопковые поля Узбекистана и опять в пустыню, на этот раз в Голодную степь, а потом снова в Таджикистан... Скажу лишь, что огромность пространства не помешала Одинцову разглядеть те подробности жизни, которые составляют плоть художественной прозы, и что, отлично разбираясь в том общем, что роднит среднерусский колхоз с таджикским, он в то же время видит черты, определяющие их несхожесть.

Начинаешь читать книгу — и как бы войдешь в изображенный литератором мир, войдешь с той естественностью, с какой он сам — пристальный наблюдатель и острый собеседник — вошел поздним вечером на исходе зимы тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года в буфет маленькой железнодорожной станции, затерявшейся в мещерских лесах.

«Пахло кислым пивом. Все места за столиками были заняты. Я взял кружку пива и отошел в сторону от стойки, за которой весьма энергично действовала белокурая полная деваха в крохотном фартучке. Она наливала пиво, бойко щелкала костяшками на счетах и покрикивала на посетителей: дескать, поел — дай свободу, уходи, дома небось жена ждет, тут-де буфет для приезжих. Рядом со мной за столиком сидели на одном стуле двое парней и мирно пели протяжную заунывную песню. Пели, видно, они ее так долго, что уже никто не обращал на них внимания. В маленькой комнате устоялся негромкий общий шум, в котором сливались и голоса разговаривающих, и звон кружек, и песня, и щелканье костяшек. А этот шум, в свою очередь, сливался с темнотой, с запахами вокзала».

Я прочитал это и сразу же поверил ав-

тору, поверил всему, о чем он рассказывает. Я ведь и сам, сойдя с поезда, не раз входил в точно такой же станционный буфет... Да и кто из нас, жителей страны, пределы которой столь обширны, что поездка за несколько сот километров — по служебной ли надобности или просто в гости — сущий пустяк, кто не коротал времени в таком вот буфете, где и поющих парней встретишь, и острого на язык пьяноватого мужичка без шапки, и другого, тихого, черт-те откуда, за тысячу верст припершего в эти лесные места мешок каленых семечек, и агента по снабжению, и человека в синем кителе с отложным воротником, «какие носят по всей России районные работники». Я не только поверил автору, но испытал еще и ту радость узнавания, то чувство родственности своей со всем происходящим, в которых, по-моему, одна из сторон поэтичности реалистической прозы.

В повседневных подробностях жизни, изображаемой Одинцовым, сокрыт, я бы сказал, драматизм, побуждающий к деятельности мысль читателя. Уже в песне, которую поют парни, — поют «не потому, что охмелели, а видно, чтобы позоровать», — уже в том, что парни из колхоза, который считается передовым, вкладывают в эту песню какой-то свой смысл, уже в этом угадывается напряженность, некое укоренившееся здесь неблагополучие.

Мятелки вязали, в Москву отправляли...  
В Москву отправляли, а там продавали...  
А там продавали — в дярзну язжали...  
Е дярвню язжали, мятелки вязали...  
Мятелки вязали, в Москву отправляли...

Потом, следуя за автором («Хрустит под ногами ночной морозец. Небо ясное, еще холодное по-зимнему»), мы входим в дом бригадира Климентия Захаровича, и взгляд с любопытством отмечает следующее.

«На столе у окна два телефона».

— У нас это в каждом доме, — сказал Климентий Захарович. — Сначала ручной телефон провели, а потом, как покрепчили немного, Жигунов, наш председатель, ввел автоматизацию.

К ножке стола, на котором находились телефоны, привязан теленок».

И уже оказываешься как-то подготовленным к тому, что на вопрос заезжого

литератора о делах бригадир отвечает: «Урожай низкие. Летошний год был неудачный. С людьми тоже плохо. Кто на заводы, кто на учебу разъехались». Не зря ведь рассказал автор о встретившихся ему на вокзале парнях и бесконечной их песенке, как бы выразившей экономическую суть хозяйствования Жигунова: «Мятелки вязали, в Москву отправляли...» Некоторая горечь слышится и в слове «автоматизация», которое употребил бригадир применительно к телефону, — быть может, в простоте душевной, но возможно, что с умыслом. Впрочем, в колхозе, где в каждом доме по два телефона, а на грязном полу — телята, естественно и то, о чем с заученной гордостью и одновременно пренебрежительно рассказывает литератору секретарь правления: «Пахарь» — знаменитый колхоз по всей области. К нам всегда приезжают. А уж из этих газет, уж из этих журналов... Все к нам...»

Тем и отличается, мне кажется, художественный очерк от публицистического, что в первом случае автор ведет нас к постижению любой специальной проблемы, в том числе и сугубо экономической, через такое вот пластическое изображение действительности, тогда как во втором он отбирает и группирует ряд фактов и извлекает из этих фактов выводы.

Очерк «Среди болот», о котором идет сейчас речь, именно потому представляется мне лучшим в сборнике, — да он и вообще хорош, безотносительно к данной книге, — что я, читатель, как бы занял здесь место писателя, участвую во всем, что происходит вокруг, и когда писатель делится со мной мыслями об увиденном, то они кажутся мне моими мыслями.

«Давно я в Кучине, — говорит Одинцов. — Все ко мне привыкли».

Этим, кроме безусловной одаренности, можно объяснить правдивость и выразительность, я бы сказал, стереоскопичность нарисованных Одинцовым картин жизни. У С. Т. Аксакова я прочитал однажды: «Вот уже двенадцать лет, как я сам постоянно наблюдаю и каждый год вновь убеждаюсь, что грибы рождаются у меня на одних и тех же любимых своих местах». Занятия литературой требуют именно такой вот длительности наблюдения. С наезда, что называется с ходу, легче всего увидеть, что «в птичнике горят лампы дневного света и что в огромном, просторном и

светлом помещении для телят есть кабинеты для зоотехника и для ветеринарного фельдшера». Однако, если пожить в деревне, чтобы и к тебе привыкли и ты ко всем привык, если отнестись к окружающему с той пристальностью, которая позволяет не только охватить взглядом эффектное, броское, но и приметить повседневное, житейское, тогда поймешь, например, почему один из персонажей очерка говорит о своем колхозе: «Смешалось у нас хорошее с плохим...»

«В колхозном складе — громадном зале — на стеллажах лежат запасные части для автомобилей, для тракторов. Тут и жатки, и триеры, и прокат, и листовое железо, и десяток мотоциклов для бригадиров, и фаянсовые умывальники, и трактор «ХТЗ-7» для огородов, и сапоги, и постельные принадлежности, и кровати...» И в то же время колхозник Денис Кучин, что называется, шапку ломает перед бухгалтером, выпрашивая заработанные им сто рублей, которые нужны ему, чтобы провизит сына-студента — студента, заметьте!

Смирный и даже подобострастный, а потом вдруг настолько спокойный, что бухгалтер как будто начинает его бояться, он представляется мне любопытнейшей фигурой, этот так называемый рядовой колхозник Денис Кучин. Присмотришься к нему повнимательнее, прислушаешься к его рассуждениям, и начинаешь понимать не только то, почему здесь урожай плохой, — это уже известно: «давно колхоз сеет и сажит не по выгоде, а по плану сверху». Начинаешь понимать, откуда взялась эта противная здравому смыслу и хозяйскому расчету пагуба.

И колхозный бухгалтер, и секретарь, и сам председатель колхоза Жигунов — чрезвычайно сложный, противоречивый характер, — и всякого рода наезжие «представители» попросту забыли, что хозяин-то в колхозе — Денис Кучин. В те времена, о которых идет речь, да и сейчас еще, увы, в кое-каких районах и даже областях желание выслужиться перед начальством, покрасоваться, блеснуть приводило и приводит к тому, что рядом с таким вот обременительным богатством существует не замечаемая поверхностным наблюдателем бедность. Добытые коммерческими предприятиями деньги — «Мятелки вязали, в Москву отправляли...» — вопреки по-крестьянски дело-

витым соображениям таких вот Денисов нерасчетливо тратятся на всякого рода дорогое сбзаведение, до которого падох иной легковерный журналист или обуреваемый карьеризмом начальник, а земля, используемая хищнически, тошает.

Одинцов, разумеется, не искал в жизни подтверждения общеизвестных истин. И кроме проблем колхозной демократии, с которыми тесно связаны экономические проблемы, в очерке «Среди болот», как и во всем сборнике, можно найти многое другое. Однако, совершая вместе с автором неторопливое, внимательное к людям и к обстоятельствам, в которых они живут, странствие «из дома в дом», мы в другой части нашей страны, в предгорьях Таджикистана, где не избыток воды, а ее отсутствие мешает земле плодоносить, встретимся с положением, обратным тому, какое наблюдали в мешчерском колхозе.

В очерке «Чудеса в Апоне» рассказывает о многих людях, и среди прочих о Самиджане Маджидове, о котором автор сообщает, что «у него две профессии: философ и председатель колхоза». Возможно, литератора привлекло именно это выигрышное с профессиональной точки зрения обстоятельство, мне же представляется, что философам, как и людям других, столь же далеких от сельского хозяйства специальностей, вовсе не обязательно идти в председатели колхоза. Самиджан Маджидов интересен не тем, что ради земледелия оставил философию,— факт этот, к слову сказать, обогатил очерк лишь по-газетному броским названием одной из глав. И не забавный случай, когда Самиджан Маджидов, не сумев дозвониться в какое-то учреждение, схватил кетмень и сокрушил им телефон,— не это анекдотическое происшествие, вероятно характеризующее «восточный темперамент», делает интересной и общественно значимой фигуру председателя.

Автор деловито, с некоторой даже суховатостью пересказывает биографию Самиджана Маджидова, и эти как бы спрессованные, грубовато, будто наспех пригнанные друг к другу эпизоды любопытны именно тем, что нет в них ничего необыкновенного,— такая биография почти у любого ра-

ботника районного масштаба, почти у каждого из тех тысяч и тысяч людей, что в огромной нашей стране заседают в райкомах и райисполкомах, заведуют промкомбинатами или сберкассами, торгуют в райпотребсоюзах, а между этими занятиями, вызванными служебной надобностью, колесят по району, выполняя партийные поручения.

«Районный работник. На его плечах заботы о сельских жителях страны. Он ближе всех стоит к народу. В его работе сходятся пути: и партийные и государственные. И потому весь спрос с него...»

Легко догадаться, что здесь, в повседневном общении с народом, Маджидов приобрел те знания и развил в себе те черты характера, которые позволили ему, когда он оставил философию и стал председателем колхоза, сразу же взяться за главное, за землю, за ее устройство, и одновременно, не опасаясь власти в немилость, противостоять бюрократизму или же карьеристским соображениям иных начальников.

В этом самом близком к народу и постоянно рекрутируемом из народа звене нашего государственного и партийного аппарата встречаются, конечно же, и маленькие чинуши и крошечные самодуры, но куда больше здесь поистине незаметных героев, способных из года в год, не успевая прикладывать медяки к синякам, вести изнурительную борьбу за разумные сроки сева и уборки, за то, чтобы не остаться без семян или же не оставить колхозников без хлеба, когда руководителям неймется этой ценой перевыполнить план и рапортовать об успехах...

Очерки Одинцова не свободны от недостатков, и происходят они не от неумения или небрежности, но от того, что в некоторых случаях вместо изображения действительности в ее реальных подробностях автор прибегает, я бы сказал, к чисто внешнему описанию, когда за словом не ощущается предмет,— таковы, например, иные страницы очерка «Мещерстрой»; либо он переходит к информационной скороговорке, сообщающей очерку оттенок преходящей газетности,— этим последним особенно грешит очерк «Из дома в дом». По счастью, таких страниц не много.

**Ефим ДОРОШ.**

## Об «уставных словах» и человечности

Повести и рассказы И. Меттера уже более двадцати лет печатаются в журналах, выходят отдельными сборниками. Многие читатели, вероятно, уже достаточно хорошо знают автора «Обиды» — сборника, вышедшего совсем недавно. И все же именно эта последняя книга представляется нам действительно настоящим и полным знакомством с писателем. Она подводит как бы итог всему лучшему, что создано до сих пор И. Меттером, и в ней как-то особенно отчетливо и определенно выступает то, что и раньше привлекало в его повестях и рассказах.

И. Меттер принадлежит к тому типу писателей, взгляд которых особенно внимателен к так называемым «мелочам жизни», к повседневному быту, делам, заботам обыкновенных, простых людей. Но нет тут ничего похожего на бытовщину, «правдоподобием» которой приманивают читателя иные ремесленники от литературы. В умном, пытливом взгляде художника и насмешка, и едкость, и прежде всего большое человеческое внимание ко всему хорошему и доброму. Потому-то в его рассказах и повестях за цепью картин и деталей — иногда смешных, всегда обычных, будничных — встает серьезный общий смысл.

Писатель открыт в своей любви и в своем презрении, его последовательный гуманизм активен — воинствующий гуманизм художника, который хорошо сознает, как это необходимо и важно, чтобы люди нашего времени ясно видели гуманистическую природу коммунизма, чтобы они помнили и знали, какие именно нравственные и общественные отношения между людьми должны стать естественной нормой человеческого общежития, чтобы оно могло назвать себя коммунистическим. Для этого не нужно ничего «выдумывать» — ведь реальность нашего идеала в том и состоит, что он не противоречит нравственному складу того обычного человека, которого и в наши дни мы называем хорошим.

Вот этот-то простой и правильный, вполне «земной» взгляд на серьезные и очень важные проблемы нашей жизни и определяет то, что положительный герой в творчестве И. Меттера совсем не исклю-

чительная или какая-то случайная фигура. И понятно, что при всем индивидуальном различии этих героев И. Меттер находит в них и нечто общее — то главное, что составляет самую суть отношения их к жизни, к своему делу в ней. А эта общность мировосприятия сказывается, естественно, и в общности некоторых существенных психологических черт. Хотя бы в том, что все они скромные, не шумливые люди; все они не любят говорить громкие, высокие слова — быть может, потому, что в словах этих для них слишком много личного. «У нас любят, — говорит один из них, — вокруг нормального закономерного поступка юноши создавать ореол героизма. Приучили! На меньшее, чем на геройство, у молодого человека и рука не подымется! Мараться, видите ли, неохота. Один — Чапаев, другой — Нахимов, третий — академик Павлов. А не желаете ли, голубчик, быть просто Иваном Ивановичем Ивановым? Ежели Иван Иванович порядочный человек и честный работник, то это немало!»

Простые, обыкновенные люди, они не лишены человеческих слабостей, в них есть немало недостатков, им не всегда хватает жизненного опыта, знаний, просто культуры. Они бывают иногда даже смешны, как смешон Сережа Ломов, выпускник пединститута, в роли директора сельской школы, на посту которого он оказался волей случая (рассказ «Директор»). Но когда Сережа видит, что откровенного бездельника и лентяя всеми силами перетягивают из класса в класс потому только, что его папаша, директор местной МТС, может многим помочь школе, — его уже не остановят никакие соображения «тактического» порядка. «Романенко надо выгнать из школы! — говорит он своему начальнику из облоно, пытающемуся «образумить» молодого и «неопытного» директора. — И не только потому, что он бесполезен, а потому, что он вреден. Ложь складывается из тысячи мелочей. Если ребята каждый день видят, что рядом с ними сидит такой ученик, то они не верят ни мне, ни вам. Они понимают, что это не зря. За этим тоже ложь! Они видят, как его батя... присылает ей (завучу. — И. В.) сено, вертится вокруг директоров... Ну как вам не совестно? Ведь вы же все это знаете лучше меня!»



Алексей Иванович Городулин (повесть «Алексей Иванович»), старый подполковник, не один десяток лет проработавший в уголовном розыске, явно уступает своим коллегам в образованности. Но сколько «крестников» у этого старого подполковника, не блистающего особым красноречием, сколько уголовников он сделал людьми! Майору Лыткову, молодому, жизнерадостному преемнику Городулина, просто-таки непонятно, как это Алексей Иванович может товарищески разговаривать с бывшими бандитами. «Если со стороны послушать, как вы разговариваете с этим типом, то создается впечатление, что вы закадычные друзья, ей-богу.. А между тем ну что у вас может с ним быть общего?.. Ведь не можете же вы в самом деле его уважать?..» А Алексею Ивановичу «так скучно и тошно объяснять Лыткову, как он, Городулин, горд и рад, когда ему удастся хотя бы одного из сотни вора поставить на ноги, какое это нечеловечески трудное дело и как он в самом деле уважительно относится к людям, умеющим переломить себя, уйти навсегда, после стольких лет, из преступного мира», — так скучно и тошно, что он способен только буркнуть в ответ: «Сейчас некогда, Лытков. Другим разом поговорим...»

От Николая Васильевича Сазонова, начальника гражданского розыска, слова веселого не услышишь — педант, сухарь, строгий блюститель законности (рассказ «Сухарь»). Но когда капитан Серебровский радостно докладывает, что ему удалось задержать двух скрывающихся алиментщиков и теперь, слава богу, они получают все, что им положено по закону, Сазонов вдруг тихо говорит: «Их придется отпустить». И разъясняет удивленному Серебровскому («То есть как отпустить? Это же чистая сто пятьдесят восьмая!..»): «Находясь на работе, они получают зарплату. Один — семьсот всемьдесят рублей, второй — девятьсот двадцать. Следует взыскивать с них положенные по суду суммы...»

\* — Так ведь снова удержат же! — вскрикнул Серебровский...

— Могут и не скрыться. Во всяком случае, не сразу, — сказал Сазонов. — А покуда на детей будут поступать деньги... Законы и статьи призваны улучшать жизнь людей. Их надлежит применять только так, чтобы от этого честному человеку жилось легче».

И когда Серебровский все-таки не понимает («А в данном случае легче всего будет преступникам!»), Сазонов коротко бросает: «Имеются в виду дети».

Клава, комсорг сельскохозяйственного училища, еще совсем молоденькая, неопытная девушка, робеет и перед директором и перед своими комсомольцами (рассказ «Два дня»). Но когда она узнает, что в группе механизаторов трактороководение преподают «выпрыгядку», по плакатам, и что именно поэтому группа взбунтовалась и перестала ходить на занятия, Клава не боится испортить отношения с директором. Ее не убедят никакие объяснения и оправдания — что-де нынешний выпуск механизаторов первый и последний, что больше их в училище не будет, что возникли они, оказывается, случайно, три года назад, по недосмотру бывшего директора, и что не стоит поэтому беспокоиться о тракторе, а следует наказывать бунтовщиков. Клава выслушает и скажет: «Спасибо История мне совершенно понятна, только девочки здесь при чем?..» И сделает все от нее зависящее, чтобы трактор непременно был.

Ничего необычного в этом, конечно, нет. Но поступать так — это и значит быть «порядочным человеком и честным работником». Потому что поступать так может только тот, кто способен на чувство, которое испытывает однажды Сережа Ломов после своей первой победы на педсовете. Взволнованный, вспоминая, как поддержали его товарищи по работе, он долго бродит по опустевшей школе, открывает двери классов И вот здесь, в одном из этих безлюдных классов, «несмотря на то, что парты были пусты и начисто вытертые доски блестели, освещенные луной, он вдруг почувствовал, что стоит перед лицом народа, которому обязан всей своей жизнью и которому еще ничего не отдал взамен». В искренность этих чувств веришь именно потому, что и для Сережи Ломова и для других героев И. Меттера народ — это не какое-то далекое и отвлеченное понятие. Конкретным, живым людям, с которыми сталкивает их судьба, отдают они свою жизнь, перед ними они чувствуют свою ответственность и мерой своей нужности им выверяют свои поступки. Оттого-то и не забывают они никогда, что «огромные масштабы любой работы составляются из судеб отдельных людей».

Да, ничего необычного в этом, конечно,

нет. Но недаром все же и Клавье, и Сереже Ломову, и Алексею Ивановичу Городулину, и другим героям И. Меттера приходится порой нелегко. Потому что, если высокие слова, которые так дороги им, стали всеобщим достоянием, то это еще не значит, что ими не может иногда прикрыться ложь...

Конфликт, который определяет внутреннее содержание лучших произведений И. Меттера и в котором выявляют себя его герои, можно, наверное, назвать столкновением с мещанством. Во всяком случае, именно так обозначаются обычно подобного рода ситуации в нашей литературе и критике. Нужно, однако, иметь в виду, что если мы и имеем здесь дело со знакомым конфликтом, то по крайней мере раскрывается он И. Меттером в несколько ином плане. Там, где другого писателя заинтересуют, может быть, различного рода бытовые аксессуары или даже сама житейская философия мещанина, И. Меттер обращает внимание прежде всего на общественную опасность лицемерия. В его повестях и рассказах проходят перед нами разношерстные представители этого «ремесла». Здесь и профессор Мелентьев, которому изменило счастье, потому что он — глупец! — на этот раз не сумел «угадать» веяния времени (рассказ «Встреча»), и ревизор Галин, который в ночном поезде, по дороге на рыбалку, видит, как люди спят на работу, и с ужасом думает: «Господи, и так они каждое утро!» (рассказ «Лещ»), и завуч сельской школы Нина Николаевна, которая проповедует высокие нравственные нормы, но не видит ничего предосудительного в том, чтобы спекулировать молоком на базаре (рассказ «Директор»), и многие другие. Всех их роднит одно — они умеют и любят говорить высокие слова и часто даже искренне не верят, что не имеют на них права. Но не в этом ли пустословии, не в этом ли беззащитном жонглировании высокими словами подлинная общественная опасность? Не потому ли иной юнец, подышавший подобным воздухом, превращается в циника? Вот о чем не могут не думать и герои и сам автор. И мы, читатели.

Эти особенности авторского художнического видения мира, пожалуй, наиболее отчетливо выявлены в «Мухтаре» — лучшей, на мой взгляд, повести сборника, представляющей собой как бы сплав всех его основных мотивов. Героев этой повести

как-то особенно хорошо видишь, веришь каждому их жесту и слову, как-то особенно явственно ощущаешь, что это живые, настоящие люди — и инструктор Дуговец, твердо уверенный в том, что у собак «любви не бывает», а есть только «рефлексы» и потому разговаривать с ними (а заодно и с людьми) следует исключительно «уставными» словами, а отношения строить исключительно «на научной» основе; и проводник Глазычев, скромный, незаметный младший лейтенант милиции, по-настоящему человеческий, самоотверженно и честно делающий свое трудное дело; и начальник питомника майор Билибин, и комиссар управления... Вполне «реален», наконец, и даже сам главный «герой» повести — служебно-розыскная собака Мухтар, преданный, смелый пес, такой забавный и трогательный в искренней непосредственности своего гордого и доброго собачьего сердца. Недаром он «воспитанник» Глазычева, недаром на его счету столько славных дел, недаром он не выносит, когда кто-нибудь повышает на него или его проводника голос, и любит, чтобы с ним разговаривали уважительно...

Читая эту повесть, как-то особенно хорошо понимаешь, что ведь уже самый факт существования того нравственного мира, того отношения к жизни, к своему делу в ней, которое мы видим у Глазычева и его товарищей; и есть, в сущности, самый верный признак того, что вся эта демагогия «уставных слов» и «рефлексов» лицемерия, которая так мила сердцу Дуговца и ему подобных, в конечном счете обречена. Обречена именно в силу своей полной общественной, человеческой несостоятельности, именно потому, что не имеет ничего общего ни с социализмом, ни с коммунизмом. В этом, в сущности, состоит и вообще главный итог меттеровского обращения к этой теме. И надо сказать, что в безжалостном и точном разоблачении темной, развращающей силы подобного лицемерия и пустословия, в раскрытии полной несовместимости его с духовным обликом честного, хорошего советского человека, в утверждении идеалов коммунистического гуманизма — самая большая удача его книги, нравственная и познавательная ее ценность.

Не все равноценно в этом сборнике — есть в нем вещи слабые (судя по всему, более ранние). У И. Меттера нет особо яр-

кого «живописного», пластического дара — привлекательность его лучших вещей, дающих реалистически достоверное и художественно выпуклое изображение действительности, состоит прежде всего в той верной авторской мысли, которая сквозит в каждой детали, в каждом эпизоде и придает стройность, единство, гармоническую завершенность всему произведению. И это естественно и закономерно, потому что такова природа творческого дара писателя. Но при таком рода художественной манере особенно важно уметь чувствовать ту грань, за которой ведущая и направляющая повествование авторская мысль может настолько «подчинить» себе образную ткань, что это будет уже в ущерб художественности и жизненной правдивости.

В лучших своих произведениях И. Меттер умеет чувствовать эту грань — детали его достаточно емки, убедительны и не оставляют впечатления какой-то авторской преднамеренности. Но часто бывает и наоборот — появляется некоторая навязчивость, некоторый «дидактизм» деталей, за которыми слишком явно чувствуется авторское желание четко расставить все акценты, «договорить» свою мысль. И порой это разрушает образ, придает ему обидную однолинейность. Именно так получается, например, с характером профессора Мелентьева в рассказе «Встреча» — отнюдь не самым слабым из рассказов сборника. Мелентьев слишком явно — а для ситуации встречи двух друзей, давно не видавшихся и как бы вновь знакомящихся друг с другом,

прямо-таки психологически недостоверно — «выговаривает» свою «отрицательность», настолько, что иногда перестаешь верить в правдивость изображения. Есть это и в других рассказах, и автору следует, видимо, об этом подумать. Ведь не случайно же, когда И. Меттер пытается перейти к неорганичному для него языку эмоциональной, «лирической» живописи деталями, это выходит у него значительно слабее. Не случайно в «Накануне», в «Первом уроке» и даже в «Обиде» он часто несамостоятелен — порой слишком явно слышатся здесь традиционные интонации, нечто давно уже знакомое, привычное. А иногда автор впадает и в совсем уже не свойственный ему умилительно-благостный тон (главным образом в рассказах о детях и особенно в повести «Товарищи»). Об этом стоило бы поговорить и подробнее, потому что очень хочется, чтобы у писателя, радующего нас в лучших своих вещах таким умным, хорошим взглядом на жизнь, такой подлинной реалистической достоверностью, все и всегда было хорошо. Но здесь, в этой рецензии, мне хотелось прежде всего сказать о том, какое важное дело сделал писатель, познаколив нас с молодым директором Сережей Ломовым, охваченным вдруг неизведанным волнением в пустом, темном классе, с Алексеем Ивановичем Городулиным, чьи «крестники» стали настоящими людьми, и с собакой, которая любила, чтобы с ней разговаривали уважительно...

**И. ВИНОГРАДОВ.**

★

## Поэзия Элисаветы Багряны

**В**ышла книга избранных стихотворений видной болгарской поэтессы Элисаветы Багряны в русских переводах. До сих пор у нас публиковались лишь отдельные ее произведения, совсем редко появлялись статьи и заметки о ней. Между тем поэзия Багряны несомненно заслуживает того, чтобы о ней знали и за пределами ее родной страны.

Яннис Рипос, коммунист, крупнейший представитель современной революционной

поэзии Греции, не так давно говорил: «Когда я прочел стихи Багряны во французском переводе, то почувствовал нечто вроде личной обиды: разве это допустимо, настолько близко к нам живет и творит такая большая поэтесса, а мы ничего о ней не знаем!»

Если не ошибаюсь, первое русское известие о Багряне — приблизительно тридцатилетней давности: «...поэтесса, в ранних произведениях которой заметно сильное влияние Анны Ахматовой» (К. Пушкиревич. «Современная болгарская и сербохорватская литература». Издательство «Красная газета». Л. 1929). Это старое, но вполне правильное замечание находит

**Элисавета Багряна. Сердце человеческое. Перевод с болгарского. Составление и предисловие В. Злыднева. Редакция переводов С. Шервинского. 264 стр. Гослитиздат. М. 1959.**



скими» циклами, включающими произведения о Париже, о вечно пленительных образах Венеции, о югославской Словении, о черноморском побережье и развалинах античных селений на нем. И все это чередуется со стихами о родном народе, с его тяжелым шагом, закрубелыми руками и озабоченным лицом, стихами о пятидесятилетии со дня смерти Христо Ботева (Багряна убеждена, что не погибнет народ, породивший такого поэта и сына). Как видим, переживания поэтессы переменчивы, но главным из них является все же оптимистическая вера в смысл человеческой жизни и человеческого творчества:

В ком-то другом мой огонь оживет, пламенся,  
в чьих-то сердцах забурлит моей крови

струя,  
юные души зажгутся любовью моею —  
это и будет грядущая вечность моя!

(«Пролог». Перевод Н. Стефановича).

В сборнике Багряны, названном «Мост» (стихи 1937—1943 годов), впервые появившемся в виде раздела в томе избранных стихов поэтессы в 1955 году, много нового, хотя, как и прежде, она могла бы сказать о себе словами нашего поэта: «я лирик по складу своей души, по самой строчечной сути». С давней камерной поэзией, очень трепетной, но зачастую скудной идеями, Багряна в период написания «Моста» распростилась окончательно. Она теперь вся в тревожных чувствах и мыслях о времени, о человеке двадцатого века, о том, кто держит на себе безмерную тяжесть.

Напружившись, о каменную землю  
оперся он обеими ступнями,  
и мускулы его, как змей клубок,  
дрожат, напряжены до синевы,  
и жилы каждый миг готовы лопнуть,  
мир — глыбой на его плечах...

Мир — с войнами, отчаяньем и горем,  
с минированными морями,  
в дымящихся развалинах селений,  
с людьми, вмурованными в подземелья,  
поднятыми под гусеницы танков,  
и с детским плачем, с тонким детским  
плачем  
за стенами глухих, ослепших зданий...

(«Геркулес XX века». Перевод А. Янова).

Правда, Багряна еще не может разглядеть подлинно человеческого лица этого гиганта, она говорит о «бесстрастии» стоящего перед ней изваяния («бесстрастный современный Геркулес, как человек

без своего лица. Как петь ему, вздыхать и улыбаться, шептать о счастье или о любви — с противогазной маской на лице?») и тем самым вносит в этот сильный образ неточную, неверную деталь. Весь «Мост» это не столько стихи-ответы, сколько стихи-вопросы, поэтесса обращает их как бы к совести всего человечества. Это вопросы о том, как же покончить с безумием войны, как бороться с дикой аморальностью фашизма, как добиться народам права на самозащиту и мирный труд поколений.

В одном из последних по времени стихотворений этого периода Багряна с большой силой говорила о своих надеждах на будущее, о том, что после военной бури возврата к старому не будет, что

...нет в минувшее пути,  
все рухнуло, и не о чем жалеть,  
и новым людям в новый день идти  
на новый берег и о новом петь.

(«Мост». Перевод М. Алигер).

Вместе со всем освобожденным болгарским народом, сбросившим иго царизма и фашизма, поэтесса вышла на этот новый берег и уже на нем сложила новые песни в честь нового. Речь теперь идет о книге «Пять звезд», напечатанной в 1953 году. Через патриотические произведения, возникшие еще в дни войны, Багряна приходит к стихам об утверждении народно-демократического строя в стране.

В произведениях Багряны первых послевоенных лет заметны следы борений автора с прежними языковыми и стилистическими навыками, подчас виден и схематический подход к новой болгарской действительности, но в конечном счете все это было болезнями роста, издержками на пути к тому, чтобы сделать свою поэзию более доходчивой, свой стих более емким и ясным. Переболев корью схематизма, Багряна очень скоро своей творческой практикой доказала, что и мнимо «узкое», лирическое творчество обретает подлинную мощь, законно адресуется не к одиночным ценителям, а к значительным людским массам, если лирик не отделяет себя от своего народа, воспринимает его воодушевление, участвует в его борьбе за устройство действительно человеческой жизни и вместе с передовыми людьми смотрит далеко вперед.

Четыре главные темы можно различить в поэзии нынешней Багряны — индустриальное преобразование Болгарии, вечное

братство социалистического болгарского народа с Советским Союзом, дружба народов и борьба за мир. Понятное дело, все эти темы в той или иной мере свойственны и другим поэтам многоязычного социалистического лагеря. Но конкретная разработка их у Багряны бывает и вполне своеобразной. «Ее большим достоинством является умение великолепно находить детали», — заметил однажды Михаил Светлов. Это-то умение видеть и схватывать мир и в большом плане и в деталях, отбирать для построения поэтического образа предметные, живописные, эмоционально действующие подробности, показывая, а не разъясняя, собственно, и делает артистической позднюю лирику Багряны. Будь то стихи о стройках Димитровграда или строфы о конгрессе в защиту мира, лирическая поэма о советской женщине или очередная песня все о той же любимой болгарской природе — почти везде мы узнаем руку Багряны и слышим ее задушевный голос.

По-новому на эту землю глядя,  
иду я вдоль межи.  
На пол-ладони выше стало за день  
густое поле ржи.

Мне думается: с силой небывалой  
встает сегодня новый человек.  
В такое время в год один, пожалуй,  
растешь на целый век.

(«Солнце». Перевод М. Алигер).

Известный болгарский критик и историк литературы Петр Динев в своей работе о Багряне пишет: «Творчество Багряны — один из крупных фактов в новейшей истории болгарской литературы, один из крупных успехов болгарской литературы». Не останутся теперь равнодушными к этому факту, к этому успеху и советские читатели.

Сборник Багряны — объемистый, коллектив переводчиков большой (слишком большой, на наш взгляд, — двадцать три человека!), поэтому здесь нет возможности подробно и доказательно разбирать работу отдельных переводчиков, но одно придется сказать со всей определенностью: качество переводов здесь очень различно, рядом с хорошими, даже очень хорошими, встречаются явно посредственные, и на пользу книге это, разумеется, не пошло.

**Игорь ПОСТУПАЛЬСКИЙ.**

★

## Политика и наука

### Ленин и Восток

Две книги недавно выпущены в свет Издательством восточной литературы — «Ленин и Восток» и «Ленин — великий друг народов Востока». Обе они раскрывают роль Ленина в исторических судьбах народов Востока, влияние ленинских идей на конкретные события политической жизни, происходящие в странах Азии и Африки.

Советские ученые-востоковеды уже давно стремились осветить эти проблемы. Еще в двадцатых годах появились первые работы подобного рода (например, сборник «Ленин и Восток», 1925 год). С тех пор

не раз публиковались статьи о значении ленинизма для отдельных стран Востока.

Все же можно с уверенностью сказать, что советский читатель впервые получил книги, которые трактуют тему «Ленин и Восток» хотя и не во всем ее многообразии, но разносторонне и широко. И это не только показатель растущей зрелости наших ученых.

Мы современники эпохи, когда каждый день приносит новые блестящие подтверждения прозорливости великого Ленина, теоретически обосновавшего необходимость и неизбежность освобождения народов от позорной системы колониализма, полного осуществления самоопределения наций.

Достоинство рецензируемых работ состоит именно в том, что авторы попытались показать глубокое воздействие ленинских идей на страны Востока в наши дни.

Через все статьи книги «Ленин и Восток» проходит мысль, что Ленин — глаша-

**Ленин и Восток. Сборник статей. Ответственный редактор Б. Г. Гафуров. 307 стр. Издательство восточной литературы. М. 1960.**

**А. Н. Хейфец. Ленин — великий друг народов Востока. Ответственный редактор А. А. Губер. 248 стр. Издательство восточной литературы. М. 1960.**

тай мира во всем мире, впервые сформулировавший идею о мирном сосуществовании государств с различным общественным и политическим строем, идею, которая завоевывает все больше приверженцев во всех странах и стала уже материальной силой, коренным образом воздействующей на характер международных отношений.

Вся книга служит превосходной иллюстрацией ленинской мысли об исключительной важности создания национальных государств, даже если народам и предстоит еще добиваться экономической самостоятельности и решать важные социальные проблемы.

В статьях сборника, в частности в работе «Монгольская Народная Республика на ленинском пути», убедительно обоснована ленинская идея о том, что страны Востока с помощью социалистических государств смогут перейти к строительству социализма, минуя мучительный этап капиталистического развития. Этот путь обладает огромной притягательной силой для народов слаборазвитых стран, завоевавших независимость.

Материалы сборника еще раз свидетельствуют о громадном влиянии идей ленинизма, идей социализма и на часть буржуазных политических и общественных деятелей стран Азии и Африки.

Есть глубокий смысл в том, что наиболее дальновидные буржуазные лидеры пишут о своих симпатиях к социализму, а ряд проводимых ими общедемократических преобразований называют социалистическими. Это ли не свидетельство неодолимой силы, безусловного превосходства марксизма-ленинизма над буржуазной идеологией, социализма над капитализмом! Не идеализируя существа подобных высказываний и мероприятий, мы приветствуем их прогрессивное значение.

Сборник «Ленин и Восток» служит еще одной цели — решительному разоблачению и осуждению реакционной «теории» о возможности «экспорта» революции в другие страны. В статьях показано, как в той или иной стране вызревали условия, создавались предпосылки для восприятия марксизма-ленинизма, возникали коммунистические партии. Не было и не могло быть случая, чтобы национально-освободительное движение явилось не результатом внутреннего развития общества, а чем-то привнесенным извне.

В обеих книгах, дополняющих друг друга, нарисован образ Ленина — мыслителя и революционера, великого преобразователя общества. При этом в первой книге перед нами предстает Ленин-теоретик, во второй мы знакомимся больше с практической деятельностью гениального вождя, направленной на поддержку борьбы угнетенных народов Востока, на установление равноправных дружественных отношений с государствами Азии.

Работу А. Хейфеца «Ленин — великий друг народов Востока» отличает умелое использование архивных материалов, партийной печати дооктябрьских лет, воспоминаний о Владимире Ильиче деятелей зарубежного Востока.

В начале книги автор рассказывает о разработке В. И. Лениным вопросов национально-освободительной борьбы поработанных народов, о том, как еще до победы Октября Ленин и руководимая им партия неуклонно и последовательно выступали за решительную поддержку рабочим классом европейских стран, в первую очередь русским пролетариатом, антимпериалистических движений в странах Востока.

Ленин не мог, конечно, ограничиться теоретическим определением природы колониализма; он создал стройную программу освобождения народов колоний и полуколоний. Владимир Ильич выдвинул важнейший тезис о том, что борьба пролетариата Европы и Америки должна слиться с национально-освободительным движением в угнетенных странах, ибо лишь объединенные усилия трудящихся всего мира во главе с революционным пролетариатом могут положить конец господству империализма и открыть перед народами Востока путь к национальному возрождению и прогрессу.

В докладе, посвященном 87-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, Е. А. Фурцева рассказала об интереснейшем факте, иллюстрирующем эту ленинскую мысль. В 1920 году в Москве вышел первый номер журнала «Народы Востока». На его обложке были напечатаны слова: «Пролетарии всех стран и угнетенные народы, соединяйтесь!» Когда некоторые товарищи усомнились в правильности этого лозунга, В. И. Ленин сказал: «Конечно, с точки зрения «Коммунистического Манифеста» это неверно, но «Коммунистический Манифест» писался при совершенно других условиях, но с точки зрения теперешней политики

это верно... Мы, действительно, выступаем теперь не только как представители пролетариев всех стран, но и как представители угнетенных народов».

Значительная часть книги посвящена раскрытию темы «Ленин и Восток после 1917 года».

Великая Октябрьская социалистическая революция нанесла сокрушительный удар по империализму и положила начало эпохе национально-освободительных революций, эпохе распада колониальной системы, вызвала могучий подъем освободительного движения народов.

Уже первые внешнеполитические выступления руководимого В. И. Лениным Советского правительства — «Декрет о мире» и обращение СНК «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» — были зосторженно встречены во многих странах Азии. Общественный деятель Индии Боракатулла писал в 1919 году: «На горизонте России занимается утро освобождения человечества, и светлым солнцем этого счастливого для человечества дня является Ульянов-Ленин».

Колоритен и другой пример. В том же 1919 году в Москву вместе с послом Афганистана прибыл видный представитель афганского духовенства. Когда его спросили, зачем он хочет видеть Ленина, мулла ответил: «Его проповедь, его отношение к угнетенным ярко его выделяют из среды современных политиков и вождей всего мира. В нем я вижу пророка».

В. И. Ленин внимательно следил за деятельностью Наркоминдела, лично участвуя в решении всех мало-мальски важных вопросов, связанных с взаимоотношениями Советской страны с народами Востока. «Нечего и говорить», — писал в своих воспоминаниях Г. В. Чичерин, — о том огромном интересе, с которым Владимир Ильич относился к каждому шагу нашей восточной политики».

Характерна приведенная в книге беседа Владимира Ильича с С. И. Араловым — полпредом РСФСР в Турции. Ленин дал яркую характеристику Мустафе Кемалю: «Конечно, Мустафа Кемаль паша не социалист. Но, по-видимому, он великодушный организатор, умница, возглавил буржуазно-демократическую революцию и даст по зубам империалистическим захватчикам... Говорят, ему народ сильно верит. Надо ему помочь. А это значит помочь турецким

рабочим и крестьянам. Вот смысл Вашей работы. Уважайте турецкое правительство, народ, не кичитесь, не вмешивайтесь в их внутренние дела». И еще раз Ленин повторил: «Главное — уважение к народу... Учитесь языку, общайтесь с простыми людьми, общественными деятелями, не отгораживайтесь заборами, крепостными стенами, как это делали послы самодержавного царя... Мы должны дружить с народом».

По инициативе Ленина наша страна, еще не оправившись от разрухи и гражданской войны, оказала прямую материальную помощь Турции в ее борьбе против империализма. «...Пока я жив, Турция не забудет того, что для нее сделал и продолжает делать Ленин», — говорил Кемаль Ататюрк.

Н. С. Хрущев в послании Джемалю Гюрселю 28 июня 1960 года писал: «Мы помним слова Ататюрка о том, что советско-турецкая дружба до сих пор несла международному миру только благо и пользу и что эта дружба и в дальнейшем будет благотворной и полезной».

Если следование политике Ататюрка со стороны нового турецкого правительства будет претворяться на деле, все мы увидим советско-турецкие отношения возвращенными на тот высокий уровень подлинного добрососедства и настоящей дружбы, на котором они находились во времена великого основателя Советского государства и друга восточных народов В. И. Ленина и вождя новой Турции Ататюрка».

В Центральном партархиве сохранился волнующий документ о том, что 7 марта 1921 года руководимый В. И. Лениным пленум ЦК РКП(б) обсуждал вопрос о финансовой помощи Афганистану. А ведь то было время, когда наша страна отбивалась от внутренних и внешних врагов, терпела лишения и голод. Нужны были ленинская прозорливость, неспясаемая воля и уверенность в победе, чтобы не только выстоять, но и помочь другим народам. «Я очень хорошо помню, что Ленин тогда высказался о необходимости улучшения положения народов Востока», — вспоминает о своей тогдашней встрече с Владимиром Ильичем Мирза Мухамед Яфтали, посол Афганистана в РСФСР. — Он говорил, что нужно оказать помощь и поддержку угнетенным народам Востока. Высказывания г-на Ленина ясно свидетельствовали о его желании, чтобы народы Востока освободи-



лись от колониального ига и обрели свою независимость...»

В. И. Ленин непосредственно руководил работой советских дипломатов по заключению договоров с Ираном, Турцией, Китаем, Афганистаном, Монголией; преодолевая временные трудности и злобные происки империалистических держав, Владимир Ильич добился подписания документов, закрепивших качественно новый характер взаимоотношений между Советским государством и странами Востока (лишь советско-китайский договор был подписан в мае 1924 года, после смерти Ленина). Отличительной чертой всех этих договоров и соглашений, справедливо подчеркивает автор, был их последовательно равноправный характер, отказ от какого бы то ни было вмешательства во внутренние дела других стран. Эти ленинские принципы стали «святая святых» советской внешней политики, ее краеугольным камнем. Как свидетельство того, что ленинская внешняя политика завоевала огромную популярность на Востоке, автор приводит, например, такой факт. В марте 1921 года Г. В. Чичерин получил письмо двух русских офицеров, долгие годы проживших в Эфиопии. Через их посредство влиятельные политические деятели страны обратились к Советскому правительству с просьбой назначить советское представительство в Эфиопию. Другой пример. Созданное английскими властями в 1920 году «временное правительство» Ирака тайно от англичан послало своего представителя в Советскую Россию.

Большой и убедительный материал привлекает автор и для того, чтобы показать, как глубоко интересовался Ленин малейшими деталями освободительного движения народов Китая, Индии и других стран. С большим интересом читаются те страницы книги А. Хейфеца, где рассказано об

огромном воздействии идей ленинизма на таких руководителей освободительного движения, как Сунь Ят-сен, Дж. Неру, Сукарно.

В заключительной главе «Имя Ленина в сердцах сынов Азии и Африки» собраны высказывания самых различных людей — свидетельство любви и признательности народов Востока к вождю мирового пролетариата.

Выход обеих книг — удача советского востоковедения, хотя они и не свободны от недостатков. Остановимся на некоторых из них. Жаль, что редколлегия не удалось включить в сборник статьи о значении идей ленинизма для Японии, Вьетнама и ряда других стран Азии. Заметно ощущается отсутствие статьи, посвященной проблеме национально-освободительного движения в Африке в свете ленинского учения о борьбе против колониализма.

А ведь в богатейшем ленинском наследии мы находим многочисленные высказывания и замечания, относящиеся к Африке, — о том, как происходил дележ континента европейскими державами, как расправлялись «цивилизованные» колонизаторы с угнетенными народами, как зарождались освободительные движения, многие из которых уже увенчались победой.

Досадно, что на протяжении всей книги не раз встречаются одни и те же положения и цитаты, повторенные в статьях различных авторов. Книга А. Н. Хейфеца выиграла бы при некотором сокращении материала первых двух глав, которые нам кажутся несколько растянутыми.

Актуальность и значимость рецензируемых работ несомненны. Обе книги — свидетельство углубленного изучения ленинского наследия советскими учеными-востоковедами.

Л. КЮЗАДЖЯН.

★

## На смену трудодню

**З**а последние несколько лет в жизни нашей деревни произошли крупные сдвиги. Одним из них нужно считать возросшую роль денег в экономике колхозов, в оплате

**К. А. О х а п к и н.** Экономическая эффективность денежной оплаты труда в колхозах. Редактор **Х. Е. Потапов.** 218 стр. Госпланиздат. М. 1960.

труда колхозников, во всей жизни колхозного крестьянства. Об этом обстоятельно рассказывается в книге **К. А. Охупкина** «Экономическая эффективность денежной оплаты труда в колхозах».

Среднегодовой денежный доход колхозов страны, в период с 1949 по 1953 год составлявший около сорока миллиардов, в про-

шлом году достиг почти ста тридцати семи миллиардов рублей. При этом доля его, распределенная между колхозниками, увеличилась более чем втрое, тогда как объем натуральных выдач в оплату их труда почти не изменился. Значительно поднялась покупательная способность сельского населения. Розничный оборот потребительской кооперации, торгующей главным образом в деревне, вырос с 1953 по 1959 год в два с лишним раза; покупки таких товаров, как часы, велосипеды, мотоциклы, радиоприемники, телевизоры, музыкальные инструменты и книги, увеличились за это же время почти вчетверо, а шелковых тканей — даже в семь раз.

Что же произошло? Какой была в деревне роль денег, какой она стала и в силу чего так выросла?

Чтобы ответить на эти вопросы, автор книги вынужден обратиться к истории колхозного строительства.

Возникшее в результате объединения крестьян-единоличников колхозное производство, естественно, не могло не сохранять на первых порах многое из того, что присуще мелкокрестьянскому укладу, из которого оно выросло. Это относится прежде всего к полунатуральному, полупотребительскому характеру единоличного хозяйства. Интересы прежнего крестьянина сводились в основном к тому, чтобы труд обеспечивал ему и его семье продукты питания. В годы, предшествовавшие социалистическому преобразованию деревни, да и в первое время коллективизации, немалая часть советских крестьян еще одевалась в домотканую посконь и обувалась в лапти. Наследие старого, отживавшего являл собой и полунатуральный характер колхозного производства в его первоначальной стадии с такими ее приметами, как узость товарно-денежного обращения и прямое распределение продуктов.

Советские крестьяне — пионеры обобществления в сельском хозяйстве. Им, когда они создавали свои первые объединения, не у кого было черпать опыт колхозного строительства, как делают ныне крестьяне других социалистических стран, тоже вставшие на путь коллективизации.

В недрах колхозной практики родилась идея трудовых. Обобщив опыт передовых хозяйств, VI Всесоюзный съезд Советов в 1931 году рекомендовал всем колхозам учи-

тывать труд в общественном производстве в трудоднях и только по ним распределять доходы.

Под трудоднем понималось количество и качество труда, затрачиваемого колхозником в общественном хозяйстве колхоза на выполнение дневной нормы выработки на средних по трудности и сложности полевых работах. Дневная норма простых и более легких работ оценивалась ниже, чем в трудодень, а более тяжелых и сложных — выше.

С помощью трудодня колхозы в период своего становления осуществляли и прямое распределение продуктов по труду. Прямая зависимость величины трудодня от конечных результатов общего хозяйствования служила делу воспитания в духе коллективизма вчерашних крестьян — мелких собственников.

Введение трудодня, правильно отмечает автор книги, имело большое положительное значение для укрепления колхозов. Но, как и во всяком новом деле, в дальнейшем не раз выявлялись недостатки этой системы и в нее неоднократно вводились разного рода усовершенствования.

Самым существенным недостатком трудодня было, пожалуй, то, что, являясь мерой учета колхозного труда, он не получал конкретного денежного и натурального выражения до тех пор, пока не становились известными окончательные результаты работы колхоза за минувший год. В конце года подсчитывались все доходы, затем уплачивались налоги, производились все положенные отчисления; остаток натуральных и денежных доходов делился на общее количество начисленных трудодней, и таким образом определялась стоимость трудодня. Лишь тогда колхоз и рассчитывался с каждым колхозником.

Одним из первых усовершенствований в системе распределения по трудодням было введение натурального авансирования. Товарность колхозного производства вначале была еще относительно невелика. Основой внедеревенского оборота служил хлеб, так как общественное животноводство, другие отрасли артельного производства были еще слабо развиты. А реализация зерна приносила относительно небольшие денежные доходы. При сравнительно низкой в те годы урожайности зерна в деревне после выполнения хлебопоставок, засыпки семян и фуража оставалось намного меньше, чем сей-

час. Хлеб, само собой, и ценился в то время дороже, был эквивалентом едва ли не всех ценностей. Плотник брался сделать что-нибудь колхознику не за деньги, а за хлеб. Свою телку колхозник продавал точно так же не за деньги, а за зерно. Да и колхозы контраковали скот за хлеб, и кооперация продавала особо дефицитные тогда товары — стройматериалы, автомашины — опять же под хлеб.

А хлеб — это ведь продукт, производимый не повседневно, как, скажем, молоко. Вот и приходилось колхознику целый год ждать окончательной оплаты своего труда натурой; денег же поступало в колхозную кассу так мало, что часто не хватало даже на самые срочные расходы. А если нужна была «живая копейка», везли хлеб на рынок.

С введением натурального авансирования колхозник стал в августе, с развертыванием уборки нового урожая, получать первую плату за свой труд. В конце года колхоз выдавал остальной хлеб на трудодни и обычно причитавшиеся колхозникам деньги.

За последние несколько лет положение коренным образом изменилось. С 80,9 миллиона тонн среднего урожая хлебов в период с 1949 по 1953 год валовой сбор зерна в 1959 году вырос в стране до 124,8 миллиона тонн. Товарная продукция хлеба соответственно увеличилась с 37,9 до 51,7 миллиона тонн. На внутридеревенские нужды стало, таким образом, оставаться гораздо больше зерна: вместо прежних 43 миллионов — 73,1 миллиона тонн. Расход хлеба на питание колхозников при этом не только не вырос, но даже несколько сократился, с одной стороны, за счет продолжавшейся миграции сельского населения в города и промышленные центры, с другой — в силу все большего обогащения крестьянского рациона мясом, молоком, сахаром, рыбой и другими высококалорийными продуктами, которые обычно снижают потребление хлеба. В то же время деревня стала расходовать значительно больше зерна на корм скоту, благодаря чему повысилась продуктивность и товарность животноводства. Когда государство резко повысило заготовительные и закупочные цены на сельскохозяйственные продукты, большие денежные доходы стало приносить колхозам и полеводства и в особенности продуктивное животноводство. Достаточно сказать, что только за пять лет — с 1953 по

1959 год — денежные доходы колхозов от этой отрасли производства увеличились на сорок миллиардов, то есть на сумму, почти равную всему их денежному доходу в 1952 году.

Организуя в 1953 году всенародное движение за крутой подъем сельского хозяйства, партия во весь рост поставила задачу всемерно усилить материальную заинтересованность колхозников в общественном производстве, в повышении производительности труда. В силу перемен, происшедших в деревенской экономике, во всем укладе сельской жизни, заинтересованность эта могла мыслиться только на денежной, но отнюдь не на натуральной основе. С тех пор в главной роли при оплате колхозного труда и стали постепенно, но властно с каждым годом все больше и больше утверждаться деньги.

В книге К. Охапкина этот процесс получил достаточно полное освещение. Началось с того, что, как это рекомендовал сентябрьский Пленум ЦК КПСС 1953 года, многие передовые колхозы ввели у себя регулярное — ежеквартальное, а местами и ежемесячное — денежное авансирование по трудодням. Вступил в действие новый стимул улучшения работы колхозников и дальнейшего подъема экономики колхозов. Однако размеры авансов ввиду нерегулярности денежных поступлений во многих местах резко колебались по месяцам. Тогда возникла мысль о гарантированных авансах, одинаковых на протяжении всего года. Впоследствии практика такого авансирования показала, что трудодень при твердых, гарантируемых размерах аванса перестает играть свою прежнюю роль, что можно с успехом обойтись и без него, заменив расценки работ в трудоднях на денежные. Так в конечном счете и сложился новый вид оплаты колхозного труда — денежный. Колхознику представляется возможным при такой системе каждодневно иметь ясное представление о своем заработке. По сравнению с прежним это гигантский шаг вперед.

Практике колхозов, перешедших на денежную оплату труда, посвящены из пяти разделов книги три.

Основным достоинством книги надо, пожалуй, считать то, что автор аргументированно разбивает в ней ошибочные взгляды тех экономистов и практиков, которые считают, будто денежная оплата труда применима лишь в экономической сильных колхоз-

зах. Он резонно ссылается на практику многих областей. Там наряду с колхозами, где оценка трудодня достигает двенадцати — пятнадцати и более рублей, денежная оплата с успехом осуществляется и в колхозах с более низкой оценкой трудодня.

Эффективность денежной оплаты труда в колхозах проявляется в различных аспектах. Недостаток работы К. Охапкина, на мой взгляд, заключается в том, что, касаясь каждого из них, автор иллюстрирует свои высказывания и утверждения примерами из опыта разных хозяйств. Это в какой-то мере мешает читателю составить цельное представление о преимуществах новой системы оплаты труда в одном, отдельно взятом хозяйстве.

В 1957 году осуществили у себя оплату труда по твердым денежным расценкам без трудодней первые четыре колхоза: «13 лет Октября» Московской области, «Большевик» — Сумской, «Комсомолец» — Киевской

и «Москва» — в Таджикистане. Несмотря на некоторые неизбежные вначале недочеты, опыт увенчался успехом, и в следующем году страна уже насчитывала десятки колхозов, последовавших примеру этих четырех. В прошлом году уже тысячи колхозов перешли на новую систему оплаты труда, а в нынешнем — еще большее число хозяйств.

Новое пробивает себе дорогу все шире и дальше, и роль трудодня в колхозной деревне явно идет к концу. Колхозы, перешедшие на денежную оплату труда, уже пожинают обильные плоды этого прогрессивного новшества — резко поднялась трудовая активность колхозников, выросла производительность их труда, увеличилась продукция хозяйств. Недалек час, когда все колхозы и все колхозники страны ощутят благотворное влияние денежной оплаты труда.

Дм. РУДЬ.

★

## Вива Куба!

В борьбе против колонизаторов США «страдающей Кубе — первое слово!», — говорил национальный герой кубинского народа Хосе Марти, поэт, публицист и общественный деятель.

Борцы за освобождение Кубы призывали своих соотечественников к отпору «грубой и жестокой державе Севера»:

Вставайте! Разбейте оковы, рабы!  
Вперед за отчизну свою!

И народ Кубы услышал этот призыв. Он поднялся на борьбу против поработителей. Немало лучших его сынов погибло, так и не увидев дня освобождения своей родины. Но этот долгожданный день настал. 31 декабря 1958 года кровавый диктатор и палач кубинского народа Фульхенсио Батиста трусливо бежал в США. Революция победила по всей стране.

О борьбе и победе кубинского народа уже написано и, без сомнения, еще будет

Enrique Gonzales Pedrero. *La Revolución cubana*. Mexico. 1959 (Энрике Гонзалес Педреро. Кубинская революция. Мехико. 1959).

Фидель Кастро. Речь на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября 1960 года. Перевод с испанского под редакцией Л. З. Поляковой. 64 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1960.

написано много книг. Перед нами две из них: книга мексиканского общественного и политического деятеля Энрике Г. Педреро «Кубинская революция» и «Речь на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября 1960 года» Фиделя Кастро.

Работа Педреро не только искренний, взволнованный рассказ о революции героического народа, но и удачная попытка обобщить и проанализировать события, происшедшие на Кубе.

Честный человек и горячий патриот Мексики — родины Идальго и Сапаты, Хуареса и Вилья, героев борьбы мексиканского народа против испанских колонизаторов и американских империалистов, героев первой буржуазно-демократической революции на американском континенте, — Педреро не мог не выступить в защиту братского кубинского народа. Он обрушился на тех, кто поет с чужого голоса, пытаясь поднять затасканное знамя антикоммунизма и изобразить события на Кубе как результат «вмешательства международного коммунизма», а Кубу — как «коммунистический плацдарм» в Латинской Америке.

«Кубинская революция», — пишет Педреро, — не является ни коммунистической, ни социалистической. Это национально-демократическая, антифеодалная и антиимпе-

риалистическая революция». Речь не может идти, продолжает автор, о каком-то «экспорте» революции или «насиленной» узурпации власти в стране против воли народа», как это пытаются представить продажные писаки в США и их подпевалы в Латинской Америке. Революция, возглавленная Фиделем Кастро, пишет автор, была совершена самим народом во имя народа и поэтому «пользуется решительной поддержкой всего, буквально всего населения Кубы».

Стремясь опорочить кубинскую революцию и изобразить ее как результат «вмешательства Советского Союза», американские империалисты пытаются, по сути дела, подготовить общественное мнение к якобы «неизбежному» хирургическому вмешательству во внутренние дела Кубы, то есть к подавлению кубинской революции путем вооруженной интервенции.

В связи с этим особенно злободневным является экскурс, который делает автор в историю американо-кубинских отношений. Основная мысль Педреро заключается в том, что борьба кубинского народа — это закономерный протест против политики угнетения и закабаления, настойчиво проводимой США. В книге показано, что с момента вступления США в войну с Испанией в 1898 году, когда стало ясным, что кубинский народ близок к освобождению от испанского ига, до включения в кубинскую конституцию 1901 года пресловутой «поправки Платта», предоставлявшей США «право» оккупации страны, вооруженного вмешательства и практически контроля над деятельностью кубинского правительства. Соединенные Штаты Америки под прикрытием фальшивых лозунгов «защиты независимости Кубы» преследовали прямо противоположные цели — закабаление страны и превращение ее в свою колонию.

«Родина или смерть» — лозунг, под которым кубинский народ борется сейчас против прощесков империализма США, родился в первые дни борьбы за национальное освобождение.

Интересна попытка автора дать анализ расстановки и движущих сил революции.

Антинациональная и антинародная политика правительства Батисты поставила страну на грань катастрофы. За период диктатуры государственный долг вырос почти в семь раз, достигнув фантастической для такой небольшой страны цифры

в миллиард двести миллионов долларов. За это же время золотой запас Кубы сократился с шестисот до семидесяти двух миллионов долларов.

В стране бушевала инфляция, катастрофически росли цены, снижался и без того нищенский уровень жизни трудящихся масс. Около шестисот тысяч человек не имели работы и никаких средств к жизни. С мая по декабрь каждого года к ним прибавлялась миллионная армия сезонных рабочих, остававшихся без работы после окончания уборки сахарного тростника. Не менее тяжелым было и положение крестьянских масс, которые, по замечанию Кастро, жили «в худших условиях, чем индейцы, которых встретил Колумб, открывший самую прекрасную из земель, которую когда-либо видел человек».

В то время как хозяева этой земли влачили жалкое существование, монополии США получали баснословные прибыли. Только с 1951 по 1956 год с Кубы было вывезено свыше шестисот миллионов долларов чистой прибыли, не считая процентов по займам, потерь от неэквивалентного обмена, составлявших для Кубы не менее ста миллионов долларов ежегодно, и так далее.

Автор пишет, что в противовес этой пагубной для страны политике «движение 26 июля» выступило с серьезно аргументированным и глубоко разработанным планом экономических преобразований. Стронники Кастро настаивали на необходимости развития собственной национальной промышленности, увеличения сельскохозяйственного производства, проведения аграрной реформы, повышения жизненного уровня трудящихся масс. Подчеркивая, что «нынешнее правительство по своей природе не способно осуществить этот план», «движение 26 июля» заявляло о необходимости его свержения и призывало народ объединиться вокруг требований о коренных реформах экономической и социальной структуры страны.

Большое значение, по словам автора, имел тот факт, что по мере освобождения отдельных территорий Кубы из-под власти Батисты эта радикальная программа начала претворяться в жизнь. Создавалась революционная администрация, вводилось новое законодательство. Все это обеспечило широкую поддержку движению со стороны всего кубинского народа. В результате отряд в двенадцать человек, с которыми Ка-

стро начал борьбу против диктатуры, быстро вырос в шестистычную армию. Ей не смогли противостоять всемеро превосходившие ее по численности правительственные войска, вооруженные новейшим американским оружием.

Педреро заканчивает свою книгу страстным призывом к поддержке кубинской революции. «Революция на Кубе,— пишет он,— это не только кубинская революция. Это и революция Мексики, революция всех стран Латинской Америки. Это революция Боливара, революция, о которой мечтал Марти и за которую сражался Салата. Это наша революция. Ее нужно уважать и защищать. Необходимо, чтобы она жила!»

И кубинская революция живет. Народ Кубы добивается все новых и новых успехов, несмотря на происки реакции.

Автор рецензируемой книги, закончив ее в феврале 1959 года, естественно, не мог рассказать в ней об этих успехах, которые с огромной силой подчеркнули жизненность и огромное значение кубинской революции для народов всей Латинской Америки.

Наши сведения о достижениях героического кубинского народа дополняют речи и выступления Фиделя Кастро — в частности, его блестящая речь на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября. Она выпущена отдельной брошюрой Издательством иностранной литературы.

После победы революции по всей стране правительство во главе с Кастро приступило к слому старой, насквозь прогнившей государственной машины, у руля которой стояли латифундисты, крупные сахарные магнаты и компрадорская буржуазия. Была распущена старая кастовая армия и полиция, конфискована собственность прислужников свергнутого режима.

Одновременно начали осуществляться меры экономического характера. Была снижена на пятьдесят процентов квартирная плата, плата за пользование телефоном, газом, электроэнергией, начала осуществляться аграрная реформа.

Наряду с мероприятиями по поднятию жизненного уровня трудящихся правительство предприняло меры, способствовавшие развитию промышленности и созданию основ индустриализации страны. Сокращение непроизводительных расходов, развитие торговли с Советским Союзом и другими странами социалистического лагеря, дружеская помощь этих стран кубинскому на-

роду позволили уже в настоящее время значительно увеличить ввоз в страну промышленного оборудования для модернизации существующих и создания новых предприятий в стране. Взят курс на развитие государственного сектора в экономике, что должно обеспечить наиболее быстрый технический прогресс, развитие промышленности и сельского хозяйства.

«Торопитесь, мы отстали на пятьдесят восемь лет» — этот лозунг стал самым популярным в стране. Его можно видеть на стенах домов, в кино и ресторанах. Он должен напоминать кубинцам, что необходимо мобилизовать все усилия и наверстать более чем полвека, прошедшие в бесхозяйственности и коррупции, обескровивших страну.

Революционное правительство начало наступление на частно-монополистический капитал, который десятилетиями расхищал национальные богатства Кубы, эксплуатировал ее народ. К настоящему времени национализировано уже около девяноста пяти процентов американской собственности на Кубе.

Всего через два года после свержения диктатуры удалось более чем вдвое сократить безработицу и значительно повысить жизненный уровень трудящихся. К 1962 году правительство намерено вообще ликвидировать безработицу. «Революция,— говорил Кастро,— преобразует Кубу, которая вчера еще была страной, лишенной всякой надежды, страной нищеты, страной, значительная часть населения которой была неграмотной. Она становится теперь государством, которое вскоре будет одним из самых передовых и развитых государств нашего континента».

Пламенные речи и выступления Кастро неизменно собирают многотысячные аудитории и превращаются в настоящую школу революции. Рассказывая народу о задачах и успехах в преодолении очередного рубежа на пути к новой жизни, Кастро не забывает обращать внимание народных масс на то, что «1 января 1959 года революция не закончилась, а лишь началась» и что «революции предостоят еще тяжелый путь».

В своей яркой речи на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН Кастро убедительно показал истинные причины агрессивной политики США. «Для многих,— говорил он,— Куба была лишь придатком Союзных Штатов». И попытка кубинского

правительства проводить самостоятельную политику, не консультируясь с США, вызвала бешеную злость «тех сил и интересов, которые ущемлены кубинской революцией».

С трибуны Генеральной Ассамблеи Кастро рассказал всему миру о злодеяниях американских империалистов. «Я пользуюсь случаем,— сказал Кастро, обращаясь к представителю США в ООН Уодсворту,— чтобы заявить его превосходительству делегату Соединенных Штатов, что на Кубе много матерей до сих пор еще ждут его телеграммы с выражением соболезнования по поводу смерти детей, убитых североамериканскими бомбами».

После провала попытки США добиться осуждения кубинской революции на совещании министров иностранных дел стран — членов Организации американских государств империалисты стремятся превратить Гватемалу в плацдарм агрессии против кубинского народа. Они снабжают оружием контрреволюционные группы на Кубе, засылают диверсантов, создают ракетные базы в зоне Панамского канала и в Бразилии, пытаясь, по заявлению одной газеты, взять Кубу в огневое кольцо.

Однако, говорил Кастро, кубинский народ не запугать. «Кто пережил землетря-

сение, тому пожар не страшен». Не страшны кубинскому народу и угрозы США. Второго сентября этого года на многомиллионном митинге в Гаване была принята «Гаванская декларация», в которой говорится, что Куба преисполнена решимости «подтвердить перед Латинской Америкой и всем миром свое историческое решение, свою неотложную дилемму: родина или смерть».

Можно не сомневаться, кубинский народ отстоит свои завоевания. Помощь ему обещали народы всех латиноамериканских стран, все прогрессивное человечество. Советский народ со своей стороны также заявил, что он не останется безучастным, если против Кубы будет развязана агрессия. «Мы поддержим кубинский народ», — сказал глава Советского правительства Н. С. Хрущев, ибо «наша политика направлена на поддержание всего честного, святого, что борется за независимость, за счастье народов».

Обе книги — замечательные документы о борьбе дружественного народа. Советские люди, следящие за этой борьбой с большой симпатией и сочувствием, прочтут их с большим интересом.

Юр. ПАВЛОВ.

★

## Научно-популярная литература о революционерах-народниках

За последние два-три года вышел ряд научно-популярных брошюр о русских революционерах семидесятых—восьмидеся-

**Б. С. Итенберг и А. Я. Черняк.** Александр Ульянов (1866—1887). Редактор Л. Лазаревич. 72 стр. Госполитиздат. М. 1957.

**Ю. З. Полевой.** Степан Халтурин (1857—1882). Редактор А. Качурина. 50 стр. Госполитиздат. М. 1957.

**А. В. Клеянкин.** Андрей Желябов — герой «Народной воли». Редактор П. Бычков. 74 стр. Соцэнгиз. М. 1959.

**Э. А. Павлюченко.** Софья Перовская. Редактор И. Савельев. 80 стр. Учпедгиз. М. 1959.

**В. Антонов.** И. Мышкин — один из блестящей плеяды революционеров 70-х годов. Редактор С. Моручнов. 84 стр. Соцэнгиз. М. 1959.

**Б. Итенберг.** Дмитрий Рогачев, революционер-народник. Редактор Э. Павлюченко. 80 стр. Соцэнгиз. М. 1960.

**А. Я. Черняк.** Николай Кибальчич — революционер и ученый. Редакторы Ю. Мочалова, Н. Пирумова. 94 стр. Соцэнгиз. М. 1960.

тых годов. Это биографии народников И. Н. Мышкина, Д. М. Рогачева, народо-вольцев А. И. Желябова, С. Л. Перовской, Н. И. Кибальчича, А. И. Ульянова и рабочего-революционера С. Н. Халтурина. Этими именами не исчерпывается блестящая плеяда революционеров — предшественников русской социал-демократии. Самому широкому читателю будет интересно и полезно познакомиться с жизнью и борьбой и таких деятелей разночинского этапа освободительного движения, как А. Д. Михайлов, С. М. Кравчинский, А. И. Баранников, М. Р. Попов, М. Ф. Фроленко, М. Н. Оловенникова, А. В. Якимова и другие. Наша задача — на примере брошюр о народниках поставить некоторые общие проблемы научной популяризации революционного прошлого.

Большинство изданных биографий революционеров написано на высоком научном уровне. Авторы биографий И. Н. Мышкина, Д. М. Рогачева, С. Н. Халтурина,

Н. И. Кибальчица для написания книжечек в пятьдесят—восемьдесят страниц изучили большой, в том числе и архивный, материал. Популяризация здесь стала итогом научного исследования — и в этом ее неоспоримое достоинство. Биографы стремятся охарактеризовать программные и тактические взгляды народников во всей их сложности, полнее представить ленинскую концепцию революционного народничества.

Одна из важных проблем научной биографии революционера — проблема его становления, формирования его мировоззрения. Этому, как правило, посвящены первые главы названных брошюр («Понски путей борьбы», «Начало пути», «Школа жизни» и т. п.). В них в основном верно очерчены условия, под влиянием которых формировались революционные убеждения, складывались характеры борцов за освобождение народа. Это прежде всего социально-экономическое положение пореформенной России с развивающимся в ту пору капитализмом и крепостническими пережитками, тормозящими это развитие; нищета и бесправие основных производителей — крестьянства, более всех других классов страдавшего от остатков крепостничества; крестьянские волнения, влияние революционных традиций шестидесятых годов, передовой русской общественной мысли, западноевропейского рабочего движения и т. д.

Все авторы с большей или меньшей обстоятельностью перечисляют эти факты. Однако общий для большинства брошюр недостаток — отсутствие конкретизации отдельных, исходных положений применительно к обстоятельствам жизни того или иного революционера. А такая конкретизация необходима в научно-популярном очерке. В. И. Ленин писал: «Популярный писатель подводит читателя к глубокой мысли, к глубокому учению, исходя из самых простых и общезвестных данных, указывая при помощи несложных рассуждений или удачно выбранных примеров главные выводы из этих данных, наталкивая думающего читателя на дальнейшие и дальнейшие вопросы». К сожалению, в большинстве брошюр читатель преподносится готовые выводы самого общего характера о причинах вступления данного революционера на путь борьбы, не под-

крепленные достоверными фактами его жизни. Это лишает читателя возможности самому сделать какие-нибудь наблюдения и заключения.

Вот, например, как решается эта проблема «становления революционера» в одной из лучших брошюр — биографии И. Н. Мышкина. В главе под таким же названием автор, обрисовав положение трудящихся масс в пореформенной России, заключает: «Бесправное положение крестьян, их протест против гнета не могли не оказать сильнейшего влияния на Ипполита». Автор сообщает, что Мышкин в детстве «слышал рассказы о горькой крестьянской жизни, о насилиях помещиков...», «видел страдания окружавших его простых людей, жестокость русской действительности...». Характеристика России пятидесятых — шестидесятых годов здесь лишена конкретных, специфических черт, отличающих эту эпоху, делавших ее неповторимой по сравнению с предшествующим и последующим временем. В детстве Мышкина — этого выходца из самых бесправных слоев населения, сына крепостной крестьянки и военного писаря, — думается, можно было бы найти примеры, которые показали бы, что он не только «видел» и «слышал», но и сам испытал гнет этого жестокого времени.

Тот же недостаток присущ и серьезной книжке Б. С. Итенберга. Рассказывая о юношеских годах революционера Д. М. Рогачева, биограф как будто предполагает его характер уже сложившимся, его стремления уже определившимися. Военная служба, отмечает он, не удовлетворяла Рогачева, «свободолюбивый юноша с пытливым умом не мог мириться с казарменными порядками в царской армии, слепым повиновением начальству...» Далее сообщается, что Рогачев попал под влияние революционно-демократического движения. Но читатель так и не сможет конкретно представить себе этого отрезка жизненного пути Рогачева. Г. В. Плеханов в статье об А. И. Герцене писал, что «задача всякой серьезной биографии» общественного деятеля, принадлежавшего по своему происхождению к угнетателям и перешедшего на сторону угнетенных, состоит в том, чтобы «обнаружить обстоятельства, вырвавшие его из-под влияния угнетателей и возбудившие в нем сочувствие к угнетенным».



К сожалению, биограф Рогачева не попытался выяснить те особые обстоятельства, которые привели этого дворянского сына и офицера в лагерь революции.

Авторы могут сослаться на зависимость от фактического материала, скудость которого подчас неизбежно ощущается в отношении раннего периода жизни революционера. Но ведь вовсе не обязательно ограничиваться фактами только данной биографии. Автор книжки о Софье Перовской — Э. А. Павлюченко — располагает также очень незначительными сведениями о детских и юношеских годах революционерки. Но биограф умело привлекает рассказы других современников, являющиеся пусть косвенными, но все же живыми свидетельствами влияния русской действительности, передовой русской общественной мысли на формирование их революционного мировоззрения.

Примером продуманного отбора фактического материала, помогающего читателю понять, как складывался характер русского революционера, как развивался его конфликт с социальной средой, может служить биография Николая Кибальчича, написанная А. Я. Черняком. Вот Кибальчич-гимназист смело вступает за своего одноклассника, несправедливо притесняемого учителем. Вот он, не думая о возможных для себя последствиях, бросается на помощь мужику, избиваемому городовым. Автор мог бы и не делать вывода о том, что уже в юношеские годы у Кибальчича проявляются «обостренное чувство справедливости, нетерпимость к произволу и угнетению». Читатель сам понял это.

Совсем примитивна проблема формирования революционера решена в книжке А. В. Клеянкина об Андрее Желябове. Рассказав — безотносительно к жизни своего героя — о нищете и голоде трудящихся слоев в Одессе семидесятых годов, автор делает вывод: «Вот почему в Одессе возникают политические кружки, а Желябов, еще совсем юношей, в стенах университета уже активно включается в общественную жизнь». Думается, что средний уровень нашего читателя научно-популярной литературы предполагает наличие у него общего представления о положении народных масс при царизме. Брошюра А. Клеянкина ничем не обогащает этого представления. Тем более она не поможет читателю уяснить путь Желябова в революцию. В отличие от

других брошюр, речь здесь идет не только о неудачном преподнесении материала, но и о слабом его знании, что уже совсем недопустимо для популяризатора.

Авторы научно-популярных брошюр для характеристики революционного народничества часто используют ленинские мысли, цитаты из ленинских произведений. Однако уже как бы определился готовый набор из пяти-шести ленинских цитат, переходящий из брошюры в брошюру. А ведь ленинское наследство по вопросу о народничестве огромно, и возможности популяризатора здесь неисчерпаемы. Некоторые мысли В. И. Ленина, кардинальные с точки зрения понимания исторической сущности революционного народничества, не нашли должного отражения в названной литературе. Мы имеем в виду, например, глубоко диалектическое положение В. И. Ленина об исторически-реальном содержании народничества, которое он видел в крестьянском демократизме. Он учил отделять это содержание от его словесной оболочки, от народнической «социалистической» фразеологии. Сошлемся хотя бы на письмо В. И. Ленина к И. И. Скворцову-Степанову, где народничество с точки зрения его прогрессивного смысла определено как «теория массовой мелкобуржуазной борьбы капитализма демократического против капитализма либерально-помещичьего, капитализма «американского» против капитализма «прусского». К сожалению, нигде эта мысль не проведена с должной теоретической четкостью. А думается, что жанр научно-популярной литературы не исключает, но, наоборот, предполагает постановку перед читателем теоретических проблем в доступной форме. В этом проявляется важнейшее назначение популяризации — не только знакомить с достижениями и выводами науки, но и учить читателя мыслить научно. Использование этой ленинской характеристики, конкретизация ее при анализе народнических взглядов позволили бы избежать неточностей и односторонностей в иных оценках.

В. Антонов, характеризуя революционное народничество, ограничивается утверждением, что «теория, под знаменем которой революционные народники 70-х годов вели борьбу, была глубоко ошибочной и вредной».

Э. Павлюченко определяет взгляды революционных народников как «теоретически

ошибочные, но практически революционные». Но задача популяризатора состояла и в том, чтобы показать прогрессивные и реакционные, сильные и слабые стороны народнической идеологии. Такой диалектической постановки вопроса не хватает многим брошюрам. Историческое значение народничества, его место в русском освободительном движении, определено в них главным образом со стороны высоких морально-этических качеств революционеров семидесятых — восьмидесятых годов. Авторы говорят о революционной энергии, преданности интересам революции, ненависти к самодержавию, мужестве и самоотверженности народников. Только такая, в сущности, характеристика революционного народничества дана в книжке об Александре Ульянове. В брошюре о Мышкине говорится, что Ленин называл семидесятников предшественниками русской социал-демократии за их «преданность революционному делу», «сурово отмечая теоретическую слабость и бессилие революционеров 70-х годов». Все это верно, но здесь стоит напомнить автору ленинскую мысль о том, что «русские социал-демократы всегда признавали необходимость выделить из доктрины и направления народничества его революционную сторону и воспринять ее».

Главная задача научно-популярной литературы, о которой идет речь, состояла, как уже отмечалось, в том, чтобы на примере отдельного представителя революционного народничества подвести читателя к пониманию общих закономерностей развития разночинского этапа русского освободительного движения в целом. В решении этой проблемы и проявляется прежде всего способность к популяризации.

Наиболее удачны с этой точки зрения биографии Н. И. Кибальчича и С. Л. Перовской. В них вопросы частные, конкретно-исторические служат более ясному и четкому пониманию общих вопросов, и наоборот. Но чаще общая характеристика эпохи семидесятых — восьмидесятых годов образует в брошюре как бы самостоятельный очерк. Серьезная, научная характеристика народничества в книжке Б. С. Итенберга проигрывает именно оттого, что она слабо связана с характеристикой Рогачева, а эта взаимосвязь не подчинена задаче выяснения сущности разночинского этапа освободительного движения. Сначала в книжке речь идет о революционном народ-

ничестве в общем плане — безотносительно к Рогачеву, имя которого в этом разделе главы даже не упоминается. Перейдя затем к анализу взглядов Рогачева — столь же серьезному и добросовестному, — автор вынужден повторять некоторые положения предыдущего раздела. А почему бы не слить краткий очерк «хождения в народ» с характеристикой Рогачева в этот период? Типичное и своеобразное во взглядах этого народника стало бы более ясным читателю.

К сожалению, многие авторы недостаточно обоснованно стремятся подчеркнуть именно своеобразие во взглядах своего героя, непременно убедить читателя, что он был умнее, дальновиднее остальных народников. Этот упрек отчасти можно отнести и к Б. С. Итенбергу, давшему в целом объективную характеристику Рогачева. Анализируя его «Исповедь» — программный документ, относящийся к 1877 году, — биограф видит здесь начало «разрыва революционера с народнической доктриной». Основанием к этому Итенберг считает признание Рогачевым капиталистического развития России. Но это признание, действительно не характерное для большинства народников, само по себе еще не свидетельствует об отходе от народничества. Как видно из той же «Исповеди» и писем того же периода, Рогачев верил в крестьянскую социалистическую революцию. Эта революция, по убеждению народников, должна была положить конец капиталистическому развитию, спасти от него общину и обеспечить самобытное развитие в России социализма. При всем своеобразии своих взглядов Рогачев оставался социалистом-утопистом.

Биограф Степана Халтурина — Ю. З. Полевой — правильно подчеркивает то новое в мировоззрении этого революционера, что отличало его от народников, делало представителем рабочей демократии. И все же автор несколько недооценивает влияние народнической идеологии на первых рабочих-революционеров, когда пишет, что «Халтурину и его товарищам были... одинаково чужды все направления этих (т. е. народнических — В. Т.) течений». Хотя автор и ссылается при этом на Г. В. Плеханова, с ним трудно согласиться. В этот период, когда, по словам В. И. Ленина, в «общем потоке народничества пролетарски-демократическая струя не могла выделиться», влияние народнической идеологии было очень сильно. Деятельность С. Халтурина как

члена организации «Народная воля» служить одним из доказательств этому.

По поводу большинства брошюр можно говорить об отдельных недостатках и неточностях. Однако брошюра А. Клеянкина отличается грубыми ошибками, суть которых в неисторическом подходе к революционному народничеству, в «модернизации» взглядов его представителя — Желябова. Так, например, автор говорит, что Желябов «задался целью и действительно осуществил создание нового, политического кружка, какие, по словам В. И. Ленина, «были необходимым этапом развития социализма и рабочего движения в России». Здесь механически используется для характеристики студенческого кружка семидесятых годов, вырванная из контекста ленинская мысль о рабочих кружках более позднего периода. Логика построения фразы такова, что получается, будто Желябов руководствовался именно ленинской постановкой вопроса.

Волнения в Новороссийском университете, вызванные инцидентом с профессором Божищичем, автор называет «первой политической стачкой» в Одессе, перенося, таким образом, на студенческое движение специфически рабочие формы борьбы. На каждом шагу автор обнаруживает слабое знание фактического материала и путаницу в теоретических вопросах. Он дает неверное представление о революционном народничестве семидесятых годов. По его словам, студенческая молодежь шла в народ, «наивно полагая, что путем настойчивой пропаганды утопического социализма, направленной против помещиков, ей удастся покончить с эксплуатацией человека человеком, искоренить остатки крепостничества, установить на земле всеобщее равенство — идеальный «крестьянский социализм». Здесь каждая часть фразы возбуждает недоумение. Разве народники понимали утопический характер своих идей? Разве их «социалистическая» пропаганда была направлена только против помещиков? Самые наивные мечтатели не могли бы додуматься до того, чтобы пытаться пропагандой «искоренить остатки крепостничества» и «покончить с эксплуатацией человека человеком». Как ни утопичны планы народников, они твердо верили, что осуществление этих планов возможно только насильственным, революционным путем.

Много неверного и в характеристике Желябова-народовольца. Автор уверяет чита-

теля, что Желябов «отказывался смотреть на круг деятельности революционера» так узко, как некоторые народовольцы, считавшие «кинжал и бомбу» единственным оружием революционера. Вместо того чтобы объяснить это положение (а материал для этого есть), автор через несколько страниц утверждает обратное. Он пишет, что политическая борьба в том виде, «как ее представлял Желябов и принял его единомышленники», таила «крововую ошибку: свести борьбу к личному наказанию царя, а самой революционную организацию превратить в организацию заговорщиков». Однако планы народовольцев никогда не сводились к наказанию царя, к мести ему, а были связаны с верой в террор как действительное средство политической борьбы.

Не известно, на основании каких данных А. Клеянкин пришел к выводу, что Желябов в результате работы в народе потерял веру в общину как зародыш социализма. «Если Желябов,— пишет он,— еще сохранил и на будущее веру в «особый путь России к социализму», то эта его вера основывалась не на жизненности крестьянской общины, которая уже давно разложилась (заметим, что речь идет о семидесятых годах.— В. Т.), а на возможности насаждения ее заново, «сверху», после осуществления политической революции». Абсурдная мысль о «насаждении» общины «сверху» приписана здесь народовольцу, верившему в жизненную силу общины. Даже те революционеры, которые видели начавшееся ее разрушение, верили, что крестьянская революция остановит его, создаст условия для беспрепятственного развития общинного принципа. Эта вера нашла отражение в важнейших программных документах, в том числе и в «Программе рабочих членов партии «Народной воли», одним из авторов которой был Желябов. Внимательный анализ ее позволил бы биографу правильно осветить взгляды великого русского революционера-разночинца.

Тщательная продуманность аргументации, строгая документальность сообщаемых сведений — необходимое условие всякой добросовестной научной работы, тем более работы научно-популярной, обращенной к широкому читателю. Недопустимо, как это делает А. Клеянкин, привлекать непроверенные факты. Думается, сам автор затруднится назвать источники таких сведений, как состав «Народной воли» в тысячу

шестьсот членов и наличие в этом составе шести процентов рабочих. Однако все это в категорической форме преподносится читателю, без каких бы то ни было ссылок на источники.

Несколько слов о форме рассматриваемых научно-популярных биографий. Здесь уместно вспомнить мысли Белинского о произведениях, которые, «принадлежа к сфере ученой... тем не менее составляют собой предмет живого общего интереса». По мнению великого критика, такие произведения «требуют для своего выражения более или менее художественной формы, а от людей, посвящающих себя такого рода деятельности,— более или менее художественного таланта».

В русской исторической литературе есть прекрасные образцы научно-популярного биографического жанра. В определенном смысле к ним можно отнести историко-биографический очерк о Карле Марксе, написанный Лениным для энциклопедического словаря «Гранат». Труднейшие социально-политические и философские вопросы изложены в нем просто и доходчиво, ничего не теряя в своей сложности от такой формы изложения. Назовем очерки биографического характера Плеханова о Герцене, Белинском, Чернышевском, рассчитанные на широкого читателя. В них ярко проявился не только публицистический, но и литературный талант Плеханова.

К сожалению, авторы брошюр не затрудняют себя поисками новых форм популяризации. Почти все брошюры написаны по одному плану и используют одни и те же приемы. Как правило, биография револю-

ционерера начинается с какого-нибудь яркого, «занимательного» эпизода из его жизни — побег из заключения, суд, казнь. Расчет авторов здесь прост — заинтересовать читателя. Но какого читателя при этом имеют в виду? «Популярный писатель,— утверждал В. И. Ленин,— не предполагает не думающего, не желающего или не умеющего думать читателя,— напротив, он предполагает в неразвитом читателе серьезное намерение работать головой и помогает ему делать эту серьезную и трудную работу...». Нужно ли такого читателя искусственно занимать, «увлекать» чем-то, не имеющим отношения к науке, да и, конечно, к художественной литературе? Такую «беллетризацию» нельзя объяснить иначе, как неверием автора в значительность и важность того, что он собирается сообщить читателю, и недоверием к самому читателю.

Хочется, между прочим, посоветовать авторам активнее использовать художественную литературу и особенно поэзию революционного подполья семидесятых — восьмидесятых годов, с которой наш читатель еще мало знаком. Стихи и песни поэтов «Земли и воли» и «Народной воли» не только помогли бы воссоздать мир чувств и настроений революционеров, но и глубже познать их мировоззрение.

Массовый выпуск научно-популярных биографий русских революционеров предполагает непрерывающиеся поиски новых форм, приемов и средств популяризации в этой области. Это поможет более глубоко и достоверно воссоздать образы героев русского освободительного движения.

**В. ТВАРДОВСКАЯ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ.** Москва, 15—16 февраля 1960 года. Госполитиздат. М. 1960. 175 стр. Цена 4 р. 50 к.

Среди восьмисот делегатов конференции советских сторонников мира, собравшихся в кремлевском зале, были представители широких кругов общественности нашей страны, посланцы всех народов СССР — рабочие, колхозники, ученые, литераторы, работники искусств. Их горячие, идущие от сердца выступления, полные одобрения настойчиво проводимой Советским государством политики всеобщего мира, вошли в выпущенную Госполитиздатом книгу.

Открывает книгу доклад председателя Советского комитета защиты мира Н. С. Тихонова.

Помимо выступлений восьмидесяти делегатов, в сборник включены полные тексты всех документов, принятых на конференции: обращение ко всем миролюбивым странам мира, резолюция о прекращении испытаний ядерного оружия и резолюция о новом сокращении Советских Вооруженных Сил.

**ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ. КНИГА ДРУЖБЫ.** Перевод с немецкого. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 256 стр. Цена 4 р.

Авторы этой книги (их свыше шестидесяти человек) — немецкие мужчины и женщины, люди самых различных профессий. Среди них труженики заводов и полей и работники умственного труда, ветераны революционного движения, студенты, домашние хозяйки.

Каждый из них рассказывает о каком-либо эпизоде, который помог ему больше и лучше узнать советский народ, характерные черты и моральные качества, свойственные человеку из Страны Советов.

Вот история рождения этого сборника. Национальный совет Национального фронта демократической Германии организовал конкурс под девизом «Мы пишем книгу о германо-советской дружбе». Результат превзошел ожидания: воспоминания прислали почти две тысячи авторов. Часть из них вошла в сборник «Дважды рожденный». Книга охватывает период времени с 1917 года до наших дней.

В предисловии к немецкому изданию Франц Фюман пишет, что книга «расска-

зывает о слезах радости и слезах мучительного прозрения, о героических подвигах духа и сердца. Она повествует о том, как зарождалась германо-советская дружба на полях сражений первой мировой войны, в зимнюю стужу, под ледяными ветрами. Она рассказывает нам о том, как лучшие сыны и дочери нашего народа отстаивали эту дружбу, как святыню, перед лицом варварской реакции, как пронесли они ее сквозь мрак фашистской ночи и ад гитлеровской войны; она рассказывает о том, как эта дружба, выдержав тяжелые испытания, прочно, как благо, вошла в нашу повседневную жизнь в свободном немецком отечестве».

**И. КОМЗИН. Записки советского энергетика.** Госполитиздат. М. 1960. 112 стр. Цена 1 р. 30 к.

Сейчас, когда советский народ отмечает сорокалетие ленинского плана ГОЭЛРО, читатели с интересом ознакомятся с книгой И. В. Комзина. Автор книги — видный советский энергетик — рассказывает об электростанциях, участником сооружения которых он был. В главе «Тридцать планов ГОЭЛРО» подробно описывается энергостроительство в нашей стране — от Каширской тепловой ГРЭС до первой в мире атомной электростанции. Эта глава, содержащая большой фактический материал, иллюстрирована схемами Волжско-Камского и Днепровского каскадов гидроэлектростанций.

Наиболее подробно автор останавливается на сооружении Волжского гидроузла, строительство которого он возглавлял. И. В. Комзин называет Волжский гидроузел «ключом к разрешению грандиозной водноэнергетической проблемы «Большой Волги».

После окончания строительства Волжской ГЭС И. В. Комзин во главе группы советских специалистов приступает к созданию высотной Асуанской плотины в Египте по проекту, разработанному в СССР.

Заглядывая в будущее, автор развертывает увлекательную картину работ, направленных на более полное овладение силами природы. Здесь проблемы орошения и обводнения сухих степей и полупустынь Центральной Азии, смычка восточного крыла ЕЭС с Центральной китайской энергосистемой и многое другое.

**В. ДУШЕНЬКИН.** *От солдата до маршала.* Госполитиздат. М. 1960. 136 стр. Цена 1 р. 60 к.

Всенародная слава Василия Константиновича Блюхера родилась на полях сражений гражданской войны, где решались судьбы Советской России. Книга о Блюхере — первом кавалере ордена Красного Знамени — воскрешает те легендарные дни, когда красные богатыри грудью отстаивали Урал, громилы Колчака и Врангеля, наносили смертельные удары по бело-гвардейским полчищам под Каховкой и Перекопом, Волочаевкой и Хасаном. Ни протяжении девяти лет Блюхер командовал Особой Краснознаменной Дальневосточной армией. Под его руководством, пишет автор, она росла, крепла и превратилась в мощный форпост социализма на берегах Тихого океана.

Трудный, но славный путь прошел Блюхер, путь от солдата до маршала. С основными этапами этого пути знакомит книга В. Душенькина. Отдельная глава посвящена военно-политической деятельности Блюхера в Китае, его помощи Национально-революционной армии.

**Н. И. ГАВРИЛОВ.** *Гвинейская Республика.* Издательство восточной литературы. М. 1960. 138 стр. Цена 3 р. 50 к.

Два года назад, в октябре 1958 года, было провозглашено создание Гвинейской Республики. Гвинея, бывшая бесправная французская колония, решительно порвала с колониальным рабством и вступила на путь самостоятельного развития.

Книга Н. Гаврилова, подготовленная Институтом Африки, знакомит нас с теми изменениями, которые произошли за последние годы в жизни страны.

Перед молодым государством сразу же встали сложные задачи; одной из самых важных являлось завоевание экономической независимости. Правительство Секу Туре при поддержке народа решительно приступило к проведению социальных реформ, к подъему народного хозяйства. В трехлетнем плане развития республики, вступившем в действие с начала нынешнего года, основное внимание уделяется развитию сельского хозяйства. За три года будет создано свыше пятисот крестьянских коллективных хозяйств. План намечает также строительство промышленных предприятий, например сооружение индустриального и энергетического комплекса на реке Конкуре. Большой размах получают геологоразведочные работы, которые помогут заложить основы будущей индустриализации страны.

Первые успехи гвинейского народа начисто опровергают «пророчества» империалистов, предвещавших крах «гвинейского эксперимента».

**Д. ДАР, А. ЕМЕЛЬЯНОВ.** *10 000 километров.* Лениздат. 1960. 176 стр. Цена 2 р. 60 к.

Авторы книги дают такой совет начинающему путешественнику:

«Как бы ни была скучна дорога, верь, что за поворотом тебя ждет что-то очень интересное, а если там не окажется ничего интересного, то не огорчайся и будь уверен, что это интересное ждет тебя за следующим поворотом».

С верой в то, что их ждет много интересного и поучительного, ленинградские литераторы Д. Дар и А. Емельянов сели на велосипеды с моторчиками и отправились в путешествие. Они проделали путь в десять тысяч километров, и дорога не обманула их ожиданий. О том, что они увидели во время своего путешествия, авторы рассказали в своем лирическом репортаже. Они рассказали и о древнем Новгороде, и о городе Дзержинске, возникшем всего лишь тридцать лет назад, о Торжке, в котором бережно сохраняется искусство мастериц, вышивающих канителью и мишурой узоры и рисунки, и о нефтяниках Татарни, которые первыми применили турбобур и достигли самой высокой в мире скорости бурения, о том, как «растут» на советской земле новые города, как зреет новый урожай, как трудятся люди самых различных профессий».

**ВИКТОР НЕКРАСОВ.** *Первое знакомство. Из зарубежных впечатлений.* «Советский писатель». М. 1960. 208 стр. Цена 4 р.

В апреле 1957 года Виктор Некрасов получил приглашение от общества «Италия—СССР» посетить Италию. По дороге в Рим он побывал в Париже.

О том, что он увидел во время этой поездки, о своей короткой встрече с Парижем и несколько более продолжительном знакомстве с Италией В. Некрасов рассказал в очерках, опубликованных два года назад в журнале «Новый мир». Сейчас эти очерки вышли отдельным изданием.

Виктор Некрасов много говорит в своей книге о проблемах современной архитектуры и живописи. Отчасти это объясняется тем, что автор, прежде чем стать литератором, профессионально занимался архитектурой и живописью и ему особенно близко изобразительное искусство. В отдельном издании своих очерков он выступает не только как писатель, но и как художник. Книга снабжена рисунками и фотографиями, сделанными им во время поездки. Эти рисунки и фотографии, на которых изображены Эйфелева башня и «Давид» Микеланджело, венецианские каналы и миланские соборы, римский Колизей и неаполитанский порт, жанровые сценки итальянского уличного быта, не только иллюстрируют, но и дополняют очерки Виктора Некрасова.

**БЕЙМБЕТ МАЙЛИН.** *Повести.* Перевод с казахского М. Юфит. «Советский писатель». М. 1960. 486 стр. Цена 8 р. 20 к.

Первые произведения Беймбета Майлина появились в печати в 1914 году. С тех пор и до конца своей жизни (умер в 1938 году) он написал много стихов, рассказов, повестей, пьес. Ненависть к эксплуататорам, доброе, сердечное отношение к честным труженикам, уважение к женщине —

черты, характерные для всего творчества писателя.

В повести «Памятник Шуги» (вошедшей в сборник), написанной еще до Великой Октябрьской революции, Беймбет Майлин показал бесправное положение женщины.

Повести «Азамат Азаматович», «Берень», «Пятнадцать дворов», «Коммунистка Раушан», «Рассказ Амиржана», также включенные в сборник, написаны Б. Майлиным в советское время. В них автор рассказал о жестокой классовой борьбе в аулах, борьбе за коллективизацию, за новый быт и нового человека. Любимые герои писателя — мужественные, трудолюбивые люди, выходящие на широкую дорогу светлой жизни. Таков тракторист Апен — первый ударник первой селхозартели («Пятнадцать дворов»), такова молодая Раушан («Коммунистка Раушан»), взбунтовавшаяся против порядков старого аула, таковы и многие другие герои, нарисованные талантливым пером Б. Майлина.

Предисловие к сборнику написано З. Кедриной.

**БАБКЕН КАРАПЕТАН. Лирика и сатира. Перевод с армянского. «Советский писатель». М. 1960. 86 стр. Цена 1 р. 10 к.**

Стихи армянского поэта Бабкена Карапетяна пока мало известны русскому читателю.

Сейчас выпущен третий сборник стихов Б. Карапетяна, переведенных на русский язык. В нем два раздела: «Лирика» и «Сатира».

В первом из них поэт воспевает природу родного края:

Друг, любимый Севан,  
Синих волн караван,  
Ты — источник и ключ  
Вечной жизни армян...

(«Песня о Севане»).

вспоминает погибших на войне товарищей («Винтовка», «Родник-памятник»), говорит о любви.

Я — глаз, ты — свет и жизнь моя,  
Нет света — и тускнеет глаз...  
Я — рыба, ты — вода. И я  
Погибну без тебя тотчас.

Во втором разделе — басни, сатирические стихотворения, эпиграммы, в которых поэт бичует бюрократизм, чванство, самодовольство и зазнайство.

В переводах с армянского приняли участие Я. Смеляков, В. Звягинцева, А. Аргэ, М. Замаховская, Т. Спендиарова, В. Сикорский, К. Арсенева, Н. Любарская, Н. Подгаричани, Н. Глазков, М. Мирова.

**ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ. В лаборатории писателя. «Советский писатель». Л. 1960. 320 стр. Цена 7 р. 85 к.**

С того времени, когда П. Н. Медведев, покойный ныне критик и литературовед,

впервые выступил в печати, многое изменилось и усовершенствовалось в нашей литературной науке, однако работы его в большей своей части сохранили научную ценность и по сей день.

Советское литературоведение заслуженно может гордиться многими серьезными трудами об Александре Блоке (В. Н. Орлова и других). Но не надо забывать, что у истоков литературы о Блоке находятся работы П. Н. Медведева. Он был едва ли не первым советским литературоведом, посвятившим себя изучению наследия великого поэта. Уже в 1922 году, через год после смерти Ал. Блока, появилась книжка П. Медведева «Памяти Блока». В 1928 году вышла в свет его книжка «Драмы и поэмы Ал. Блока (Из истории их создания)», ряд глав из которой теперь вновь напечатан в настоящем издании. Его усилиями были подготовлены к печати дневник и записные книжки поэта.

П. Медведев занимался также вопросами психологии художественного творчества. Этой теме он посвятил свою книгу «В лаборатории писателя», вышедшую в свет в 1933 году. Важно, что уже в те годы автор стремился найти подлинно научные, марксистские критерии к решению вопросов психологии творчества. Книга была положительно встречена литературной общественностью. Ряд глав из нее воспроизводится в настоящем издании.

**ЭД. ВАРТАНЬЯН. Из жизни слов. Детгиз. М. 1960. 240 стр. Цена 4 р. 45 к.**

Эта книга — своеобразный словарь. В ней собраны и расположены в алфавитном порядке наиболее употребимые в нашем языке крылатые слова и выражения, так называемые фразеологические «комплексы».

Почему мы говорим. «притча во языцех», «дамоклов меч», «пиррова победа», «гора родила мышь», «квасной патриотизм» и т. д. и т. п., откуда возникли эти слова и выражения и что они означают, — рассказывает книжка Эд. Вартаньяна «Из жизни слов».

Одни крылатые слова и выражения пришли в наш язык из далекой древности («прокрустово ложе», «мамаево побойщице»); другие принадлежат поэтам, ученым, государственным деятелям недавних эпох («квасной патриотизм», «демянова уха»); читатель узнает из книги и о том, что процесс превращения обычных точных слов в крылатые продолжается и сейчас. Так, заглавия статей В. И. Ленина «Шаг вперед, два шага назад», «Лучше меньше, да лучше» вошли в разговорную речь и стали крылатыми.

Книга Эд. Вартаньяна, вышедшая в Детгизе и рассчитанная на детей старших классов, несомненно заинтересует и взрослого читателя.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**Н. С. Хрущев.** Свободу и независимость всем колониальным народам, решить проблему всеобщего разоружения! Выступление главы делегации СССР, Председателя Совета Министров Союза ССР Н. С. Хрущева в общей дискуссии на XV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и документы, представленные Советским правительством на рассмотрение XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 1960 года. 96 стр. Цена 1 р.

**Г. Г. Аллахвердов, Н. Ф. Кузьмин, М. В. Рыбаков, Л. М. Спиринов, Н. И. Шатагин.** Краткая история гражданской войны в СССР. 432 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Из истории Коммунистической партии Финляндии.** 208 стр. Цена 4 р. 45 к.

**С. М. Киров.** Мы идем вперед, мы несем священный огонь пролетарской борьбы в своих руках Доклад на IV съезде Советов Астраханской губернии 22 ноября 1919 г. 120 стр. Цена 1 р. 40 к.

**А. К. Коровушкин.** Новый советский рубль. 32 стр. Цена 35 к.

**А. Новотный.** За победу мира и социализма. Отчетный доклад XI съезду Коммунистической партии Чехословакии о деятельности Центрального Комитета и главные задачи текущего момента. 144 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Первый Всесоюзный съезд журналистов 12—14 ноября 1959 года** (Стенографический отчет). 336 стр. Цена 8 р. 85 к.

**П. А. Прозоров** (дважды Герой Социалистического Труда). Колхоз и коммунизм. Литературная записка И. А. Цикото. 96 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Разбуженный Восток.** Записки советских журналистов о визите Н. С. Хрущева в Индию, Бирму, Индонезию, Афганистан. Книга первая. 320 стр. Цена 6 р. 50 к. Книга вторая. 360 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Я. Свердлов.** Что такое рабочая партия? 68 стр. Цена 80 к.

**Хо Ши Мин.** Ленинизм и освобождение угнетенных народов. 56 стр. Цена 60 к.

**Ю. Юров.** Твоя заводская газета. 120 стр. Цена 1 р. 40 к.

### СОЦЭКГИЗ

**В. Г. Афанасьев.** Основы марксистской философии. Популярный учебник 352 стр. Цена 5 р. 30 к.

**В. С. Афанасьев.** Возникновение классической буржуазной политической экономии. (Вильям Петти). 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

**С. Ковалев.** Коммунистическое воспитание трудящихся. 528 стр. Цена 8 р. 75 к.

**Г. А. Мартышева.** Юго-Восточная Азия после второй мировой войны. 404 стр. Цена 9 р. 40 к.

**М. Озеров.** Миллионы твоих друзей (Очерки о советско-германской дружбе). 208 стр. Цена 2 р. 45 к.

**В. П. Чураков.** Государственно монополистический капитализм в Италии 123 стр. Цена 1 р. 50 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**В. Белшевица.** Тепло земное. Стихи. Перевод с латышского 80 стр. Цена 1 р.

**А. Глебов.** Линия дружбы. Рассказы о Турции. 192 стр. Цена 2 р. 70 к.

**М. Голубинова, Н. Леонтьев.** Маришка Роман. 388 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Е. Горбунова.** Идеи, конфликты, характеры. 418 стр. Цена 9 р. 70 к.

**В. Инбер.** Апрель. Стихи о Ленине. 56 стр. Цена 1 р.

**А. Медчинов.** Крылья. Очерки. 221 стр. Цена 4 р. 30 к.

**Наби Хазри (Бабаев).** Весна и ты. Стихи. Перевод с азербайджанского. 110 стр. Цена 1 р. 80 к.

**А. Ойслендер.** Море и берег. Стихотворения 200 стр. Цена 3 р. 20 к.

**А. Прокофьев.** Приглашение к путешествию. Стихи. 292 стр. Цена 4 р. 15 к.

**Б. Эйзенбаум.** Лев Толстой Семидесятые годы. 296 стр. Цена 7 р. 15 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Б. Бялик.** М. Горький — литературный критик. 375 стр. Цена 9 р. 55 к.

**Сергей Васильев.** Избранное Стихотворения. Песни. Сатира. Поэмы. 407 стр. Цена 10 р. 65 к.

**С. Динамов.** Зарубежная литература. Сборник статей. 455 стр. Цена 11 р.

**Синклер Льюис.** Главная улица Роман Перевод с английского. 538 стр. Цена 14 р.

**Марийская поэзия.** Перевод с марийского. 343 стр. Цена 5 р. 30 к.

**М. Полянов.** Виссарион Белинский. Личность — идеи — эпоха 599 стр. Цена 14 р. 90 к.

**Илья Садофьев.** Избранное. 323 стр. Цена 5 р. 60 к.

**Юрий Смолич.** Избранное. В двух томах Перевод с украинского. Том 1. 775 стр. Цена 13 р. 85 к. Том 2. 639 стр. Цена 11 р. 70 к.

**Андрей Упит.** Под кованым сапогом. Роман. Перевод с латышского. 405 стр. Цена 8 р. 15 к.

**Фаиз Ахмад Фаиз.** Руки ветра Стихотворения. Перевод с урду. 163 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Леонид Хинкулов.** Тарас Шевченко. Биография. 543 стр. Цена 14 р. 40 к.

**Японские трехстишия.** Хонку. Перевод с японского 255 стр. Цена 2 р. 10 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Филис Альтман.** Закон стервятников. Роман. Перевод с английского. 255 стр. Цена 3 р. 75 к.

**И. Ганзелка, М. Зинмунд.** К охотникам за черепами. Перевод с чешского 288 стр. Цена 8 р. 50 к.



**Ольс Гончар.** Человек и оружие. Роман. Перевод с украинского. 344 стр. Цена 6 р. 65 к.

**Андрей Гуляшки.** Золотое руно. Роман. Перевод с болгарского. 407 стр. Цена 7 р. 60 к.  
**Сахиб Джамал.** Черные розы. Роман. Перевод с фарси. 256 стр. Цена 5 р. 40 к.

**П. Елисеев.** Привал на Эльбе. Роман. 344 стр. Цена 10 р. 80 к.

**Юрий Мушкетик.** Гайдамаки. Роман. Перевод с украинского. 448 стр. Цена 8 р. 15 к.

**А. Стругацкий, Б. Стругацкий.** Путь на Амальтею. Повесть и рассказы. 144 стр. Цена 2 р. 15 к.

**В. Тендряков.** За бегущим днем. Роман. 430 стр. Цена 8 р.

**Алексей Югов.** На большой реке. Роман. 576 стр. Цена 10 р. 5 к.

#### ДЕТГИЗ

**К. К. Васин.** У голубого озера. Рассказы. Перевод с марийского. 128 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Н. Вирта.** Тот, кого мы не знаем. Повесть. 192 стр. Цена 4 р. 10 к.

**А. М. Волков.** След за кормой. Повесть. 144 стр. Цена 3 р. 55 к.

**Л. И. Квин.** Город не спит. Повесть. 260 стр. Цена 5 р. 10 к.

**С. Маршак.** От одного до десяти. Веселый счет. 20 стр. Цена 2 р. 35 к.

**Маунг Тин.** Нга Ба из Бирмы. Роман. Перевод с бирманского. 168 стр. Цена 3 р. 15 к.

**Первое знакомство.** Сборник рассказов. 268 стр. Цена 5 р. 70 к.

**М. С. Петровский.** Корней Чуковский. Критико-биографический очерк. 112 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Томас Майн Рид.** Отважная охотница. Роман. Перевод с английского. 320 стр. Цена 7 р. 35 к.

**С. В. Слевич.** Через два океана. 208 стр. Цена 4 р. 85 к.

**В. И. Степаненко.** На золотых песках. Повесть. 160 стр. Цена 3 р. 40 к.

**П. Турсун.** Счастье сироты. Повесть. Перевод с узбекского. 192 стр. Цена 4 р. 15 к.

**Е. Л. Шварц.** Сказки. Повести. Пьесы. 358 стр. Цена 9 р. 25 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Н. А. Бобринский.** Животный мир и природы СССР. 416 стр. Цена 14 р.

**Вопросы теории познания и логики.** 344 стр. Цена 13 р.

**Н. А. Добролюбов.** О религии и церкви. Избранные произведения. 488 стр. Цена 16 р. 70 к.

**Империализм и борьба рабочего класса.** Сборник статей памяти академика Федора Ароновича Ротштейна. 508 стр. Цена 29 р. 50 к.

**Л. Леонтьев.** Проблема равенства в «Капитале» К. Маркса. 152 стр. Цена 4 р. 50 к.

**К. Л. Майданик.** Испанский пролетариат в национально-революционной войне. 1936—1937 гг. 384 стр. Цена 15 р.

**Л. С. Маянц.** Теория и расчет колебаний молекул. 527 стр. Цена 26 р.

**М. Б. Митин.** Философия и современность. Некоторые проблемы марксистско-ленинской теории. 284 стр. Цена 12 р.

**Нунизматика и эпиграфика.** Том I. 291 стр. Цена 17 р. 50 к.

**Очерк истории казахской советской литературы.** 688 стр. Цена 23 р.

**Применение логики в науке и технике.** 360 стр. Цена 18 р.

**100 лет со дня рождения А. С. Попова.** Юбилейная сессия. 312 стр. Цена 16 р. 50 к.

**О. Ю. Шмидт.** Избранные труды. Географические работы. 215 стр. Цена 14 р.

#### ГЕОГРАФИЗ

**В. А. Анучин.** Теоретические проблемы географии. 264 стр. Цена 10 р. 35 к.

**Д. Н. Анучин.** Люди зарубежной науки и культуры. 230 стр. Цена 9 р. 70 к.

**Тед Бенк II.** Колыбель ветров. 198 стр. Цена 3 р. 80 к.

**Н. А. Гвоздецкий.** В Индии. 184 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Б. А. Зенкович.** Путешествие в Южный океан и вокруг света. 328 стр. Цена 6 р. 20 к.

**Коллектив авторов.** Советская география. Сборник. 634 стр. Цена 21 р. 75 к.

**Дж. Колдуэлл.** Отчаянное путешествие. 214 стр. Цена 4 р. 25 к.

**В. Коротеев.** В стране оазисов и пустынь. 142 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Г. В. Кубанский.** Молодая земля. 102 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Ф. Н. Мильков.** Словарь-справочник по физической географии. 270 стр. Цена 5 р. 75 к.

**Я. М. Свет.** За кормой сто тысяч ли. 188 стр. Цена 2 р. 95 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Рудольф Арнхейм.** Кино как искусство. Перевод с английского. 204 стр. Цена 6 р. 80 к.

**Го Мо-жо.** Стихи о цветах. Перевод с китайского. 83 стр. Цена 3 р. 15 к.

**Стефания Гродзенская.** Розовый свитер. Юморески: правдоподобные, неправдоподобные, культурные, некультурные, личные и семейные. Перевод с польского. 149 стр. Цена 3 р. 30 к.

**Дневник Анны Франк.** 12 июня 1942—1 августа 1944. Перевод с голландского. 236 стр. Цена 6 р. 10 к.

**Фидель Кастро.** Речи и выступления. Перевод с испанского. 571 стр. Цена 12 р. 40 к.

**К. Керам.** Боги, гробницы, ученые. Роман археологии. Перевод с немецкого. 398 стр. Цена 19 р. 45 к.

**Мулуд Маммери.** Когда спит справедливость. Роман. Перевод с французского. 163 стр. Цена 4 р. 10 к.

**Марсель Паньоль.** Мариус. Фанни. Пьесы. Перевод с французского. 307 стр. Цена 6 р. 40 к.

**Бхисам Сахни.** Гнев всевышнего. Перевод с хинди. 98 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Жорж Сименон.** Желтый пес. Цена головы. Негритянский квартал. Президент. Перевод с французского. 460 стр. Цена 13 р. 85 к.

**Секу Туре.** Независимая Гвинея. Статьи и речи. Перевод с французского. 188 стр. Цена 6 р. 85 к.

**Филипп Франк.** Философия науки. Связь между наукой и философией. Перевод с английского. 542 стр. Цена 20 р. 70 к.

**Рольф Хонольд.** Эскадрилья «Летучая мышь». Пьеса. Перевод с немецкого. 134 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Ш. Чаухан.** Очерк истории литературы хинди. Перевод с хинди. 320 стр. Цена 11 р. 30 к.

## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1960 ГОД

★

### РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

**Сергей Антонов.** Аленка. Повесть. IV—60.  
**Мухтар Ауэзов.** Серый Лютый. Рассказ. Авторизованный перевод с казахского Алексея Пантиелева. IV—106.

**Александр Бек.** Несколько дней. Повесть. II—3; III—92.—Резерв генерала Панфилова. Повесть. XII—3.

**Константин Ваншенкин.** Армейская юность. Короткие заметки. II—140.

**Г. Горев.** На самых дальних улицах. Записки новосела. XI—42.

**А. М. Горький.** О единиче. XI—57.  
**Наталья Давыдова.** Любовь инженера Изотова. Роман. I—3; II—49; III—38.

**Ефим Дорош.** Четыре времени года. Киноповесть. VII—3.

**Е. Драбкина.** Золотая осень. IV—6.  
**Николай Дубов.** Жесткая проба. Повесть. IX—43; X—54.

**В. Дудинцев.** Новогодняя сказка. I—78.  
**Из переписки А. М. Горького и А. А. Семенова.** XI—65.

**В. Каверин.** Кусок стекла. Рассказ. VIII—3.—Рассказы (Из книги «Неизвестный друг»). X—110.

**Алексей Кожевников.** Видение. Повесть. VII—84.

**Александр Крон.** На ходу и на якоре (Впечатления). IX—155; X—125.

**В. Кукинова.** Исчезнувшие слова. IV—126.

**В. Липатов.** Глухая Мята. Повесть. V—69; VI—52.

**С. Маршак.** В начале жизни. Страницы воспоминаний. I—97; II—81.

**И. Метгер.** Мурат. Повесть. VI—12.

**Виктор Некрасов.** Вторая ночь. Рассказ. V—23.

**Валентин Овечкин.** Время пожинать плоды... Пьеса в трех действиях, восьми картинах. XI—9.

**Алексис Парнис.** Остров Афродиты. Пьеса в трех действиях. Авторизованный перевод с греческого Ю. Лукина и А. Столтидаса. IX—3.

**В. Познер.** Место казни. Перевел с французского К. Наумов. XI—87; XII—109.

**М. Поступальская.** За окнами свега. VIII—65.

**А. Семенов.** На Капри у М. Горького. XI—63.

**М. Симашко.** Искушение Фраги. Повесть. IX—137.

**Василий Субботин.** День тысяча четверта десятый. V—49.

**В. Тендряков.** Тройка, семерка, туз. Повесть. III—3.

**Вольфдитрих Шнурре.** Маневры. Рассказ. Перевела с немецкого В. Тиханова. VI—119.

**Илья Эренбург.** Люди, годы, жизнь. VIII—24; IX—87; X—7.

### ПОЭМЫ И СТИХИ

**Ираклий Абашидзе.** Хвала Востоку. Стихотворение. Перевел с грузинского Валерий Тур. XII—107.

**Луи Арагон.** Рождественские розы (Из стихов французских поэтов). Перевел М. Кудинов. III—143.

**Анна Ахматова.** Новые стихи: Подумаешь, тоже работа...; Не страшай меня грозной судьбой...; Летний сад (Из цикла «Белые ночи»); Отрывок; Воспоминание. I—151.

**Петрусь Бровка.** Далеко от дома. Стихи: Сызмальства помню...; Военный оркестр на Бродвее; Тропинка под Нью-Йорком; В час раздумья; Корабли на реке Гудзон; Зеленый клен шумел над нами...; Как мы разговаривали со скворцом. Авторизованный перевод с белорусского Я. Хелемского. VI—4. —Сиянье братства, свет улыбок... (Огни. Переключка друзей). Стихотворение. Перевел с белорусского Яков Хелемский. XI—7.

**Константин Ваншенкин.** Соловьиный коридор. Стихотворение. VI—51.—Четыре стихотворения: Мир отрочества угловатого...; Яблоки; Весенняя природа; Снег. IX—41.

**С. Галкин.** Из новых стихов: Сам себе наперекор...; После грозы; Спустишь я только на одну ступень...; А я не знал...; Привычки; Миру. Перевели с еврейского Вера Потапова, С. Маршак, А. Ахматова, Ю. Нейман, М. Петровых, И. Гуревич. II—77.

**Анатолий Гидаш.** Стихи разных лет: Легка слеза людская, невесома...; Видят ли ветки при звездах...; Москва; Вечер. Усталому солнцу вслед...; Вот и солнце светит не в глаза...; Будет весна, дорога!...; Испанские партизаны; Я в смутном беспокойстве лег...; Подхватил Припев Запевку... Перевели с венгерского Ал. Сурков и Л. Мартынов. Предисловие Ал. Суркова. XII—155.

**Николаас Гильен.** Ленин; Он, Ленин...; Земля на горах и на равнине; Ты можешь?... Стихи. Перевел с испанского О. Савич. I—73.

**Люк Дэкэн.** Ответы (Из стихов французских поэтов). Перевел М. Кудинов. III—144.

**Абель Жакэн.** Береги свою голову (Из стихов французских поэтов). Перевел М. Кудинов. III—146.

**Наири Зарьян.** Максиму Рыльскому (Огни. Переключка друзей). Стихотворение. Перевела с армянского Вера Звягинцева. XI—6.

**Римма Казакова.** Песня; Кто б нас ни заменил...; Мы станем скупее на чувства... Стихи. II—45.— В лесу. Стихотворение. VIII—21.

**Сильва Капутикян.** Раздумья на полпути. Поэма. Перевел с армянского Вл. Корнилов. XI—52.

**Тристан Клэнгсор.** Песенка про спящих кошек (Из стихов французских поэтов). Перевел М. Кудинов. III—145.

**С. Липкин.** Две легенды. Стихи: 1. Степная притча; 2. У развалин ливонского замка. VIII—61.

**Инна Лиснянская.** Летний Север. Стихи: Сказал мне кто-то...; Полярная станция; На концерт. VII—82.

**Мих. Луконин.** В поисках нежного человека. Стихотворение. VI—49.

**Десанка Максимович.** Стихи разных лет: Я—родина, Я—здесь; Песня о порабощенном хлебе; Религия опечаленных; Когда промчится ваша юность, птицы...; Детская косичка в Освешине; Снега детства. Перевели с сербохорватского Б. Слуцкий, М. Ваксмахер, М. Алигер. V—99.

**Андрей Малышко.** Начало сказки; Как горят вишневые рассветы!.. Стихи. Перевели с украинского Юнна Мориц и Николай Браун. X—52.— Максиму Рыльскому (Огни. Переключка друзей). Стихотворение. Перевел с украинского Николай Браун. XI—3.

**С. Маршак.** Из лирики: Чудо; Бессмертие; Полные жаркого чувства... Стихи. XII—105.

**Борис Муртазов.** В Дарьяльском ущелье. Стихотворение. Перевел с осетинского Лев Озеров. VIII—113.

**Витеслав Незвал.** Стихи разных лет: Прага с пальцами дождя; Неизвестная с Сены; Ах, жаль!. Перевели с чешского В. Николаев и М. Кудинов. VII—105.

**Леонид Первомайский.** Цвет лозы. Стихотворение. Перевел с украинского Николай Браун. X—124.

**Сергей Поликарпов.** Два стихотворения: Детство; Лето. VII—80

**А. Прокофьев.** Друг, твои слова мне как награда... (Огни. Переключка друзей). Стихотворение. XI—8.

**Хуан Рехано.** Песни мира: Мать; Крестьянин; Моряк; Пекарь; Оливки, оливки, оливки. Стихи. Перевел с испанского М. Саммаев. IX—188.

**Валентин Рошка.** Осенние дубравы... Стихи: Тоска по лесу испокон веков...; Звонят колокола...; Я пить просил... Перевел с молдавского Юрий Левитанский. VII—109.

**Н. Рыленков.** Два стихотворения: Еще много дорог нехоженых...; Много ль мне нужно... I—77.

**Максим Рыльский.** Голосевская осень. Стихи: Лес, повитый серебристой дымкой...; Есть такие строки; Как забыть...; Почернели заводы в озерах...; Мы сидели в Гдань-

ске...; Ночь, и ветер вербы нагибает...; Комната во мраке утопает...; Коль идешь ты...; Сердце верит иногда приметам...; Полстолетия—как мгновенье... Перевели с украинского Ал. Сурков и Мария Комиссарова. Предисловие Леонида Новиченко. V—63.— В тени жаворонка. Стихотворение. Перевела с украинского Мария Комиссарова X—5.— Андрею Малышко (Огни. Переключка друзей). Стихотворение. Перевела с украинского Мария Комиссарова. XI—4.

**Клод Сернэ.** Человек (Из стихов французских поэтов). Перевел М. Кудинов. III—144.

**Ярослав Смеляков.** Новые стихотворения: Постриженье; Ветка хлопка; Собака. III—33.

**Владимир Соколов.** Волнение. Стихи. IV—105.

**Владимир Сосюра.** Два стихотворения: Как море, дышит лес зеленый...; Я люблю, как листвою зеленой... Перевел с украинского Александр Прокофьев. X—3.

**Е. Стюарт.** Вы скажете, быть может... Стихотворение. V—48.— Доверие; Я читаю памятные даты... Стихи. IX—186.

**Жюль Сюпервьель.** Из цикла «Военные невзгоды» (Из стихов французских поэтов). Перевел М. Кудинов. III—142.

**Максим Танк.** Пять стихотворений: Когда-то внушали наставники мне...; Печь; Незабываемое; Над озером «Морское Око»; Я останавливаюсь у столов... Перевел с белорусского Я. Хелемский. IV—46.

**Иржи Тауфер.** О рождении великой радости. Стихи. Перевел с чешского Мих. Луконин. IV—3.

**А. Твардовский.** За далью—даль (Заключительные главы книги). V—3.

**Мирзо Турсун-заде.** Горная река. Стихотворение. Перевел с таджикского С. Липкин. VI—3.

**В. Тушнова.** В марге. Стихотворение. VII—111.

**Фаиз Ахмад Фаиз.** Стихи из тюрьмы: Боль неслышно войдет...; Немало способов на свете есть...; Утро свободы; Вечер в тюрьме; Мы умираем на темных дорогах; Август 1955 года. Перевод с урду и предисловие Ал. Суркова. IV—120.

**Сергей Фиксин.** Красные мячи; Зеленый базар. Стихи VI—117.

**И. Френкель.** Червоный кутюк. Стихотворение. IX—85.

**Роберт Фрост.** Березы; Наша певческая мощь; Перепись населения; Последний индеец; Весенние озера; О необходимости знать толк в деревенских делах; Указание. Стихи Перевел с английского Андрей Сергеев. VI—124.

**Яков Хелемский.** Белорусские реки. Стихотворение. VIII—22.

**Гуго Цагараев.** Горный родник. Стихотворение. Перевел с осетинского О. Зверев. VIII—114.

#### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

**Артем Анфиногенов.** Арктика минувшего года. VII—181.

**Иван Винниченко.** Русский инженер Гита-лов. V—105.

**Н. Мельников.** День на далекой стройке. I—167.

**Виктор Панов.** Поездка в родные места. XII—160.

#### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

**Борис Бабочкин.** Немножко Франции. III—147.

**Цецилия Кин.** Черная тень над Италией. Заметки о католической культуре. VI—164.

**Лев Любимов.** Двенадцать лет спустя. VII—123.

**И. Радволина.** К друзьям в Чехословакию! V—139.

**М. Стурва.** Весна 1960 года. V—130.

**Г. Хромушин,** кандидат экономических наук. «Экономический гуманизм» и его природа. VI—176.

**Алексей Эйсер.** Сестра моя Болгария. VII—142; VIII—141.

#### ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

*По страницам иностранных литературных журналов*

**А. М.** Послестябрьские раздумья. США. «Атлантик», ежемесячный литературно-публицистический журнал. №№ 10, 12. 1959. III—196.

**Цецилия Кин.** Круглый стол Италия. «Эуропа леттерарна» («Литературная Европа»), двухмесячный журнал. №№ 1, 2, 3. 1960. XII—233.

**Т. Мотылева.** Духовная капитуляция одного критика. ФРГ. «Ди вельт» («Мир»), ежедневное издание. № 204 от 3 сентября 1959 года I—203.

**Р. Орлова.** В поисках знамени. США. «Сэтэрдей ревью» («Субботнее обозрение»), литературно-критический еженедельник. №№ от 12 сентября, 7, 14 и 21 ноября 1959 г. и от 2 января 1960 г. IV—218.

**Вл. Рубин.** Поэты без читателей, критики без взглядов... Англия. «Отор» («Автор»), ежеквартальный журнал. №№ 3, 4. 1959 IV—214.

#### ПУБЛИЦИСТИКА

**С. Бирюзов,** Маршал Советского Союза. Летопись мужества и героизма. V—161.

**О. Добролюбский,** кандидат химических наук. Два колоса. V—167.

**Леонид Иванов.** В поход на сорняки! III—187.

**С. Красивский,** главный специалист по автоматике и телсмеханике Государственного научно-технического комитета Совета Министров СССР. Успехи автоматизации. VI—201.

**Л. Ласкавая.** Земля и ветер. VI—186.

**А. Маркин.** Слово берет энергетика III—212.

**П. Маслов,** доктор экономических наук. Время в быту. X—157.

**В. Монахов.** Преступник и общество. VII—178.

**Е. Осликовская.** На столбовой дороге. XII—180.

**С. Партигул.** Некоторые проблемы торговли (Размышления экономиста). VIII—190.

**Дмитрий Рудь.** Ключ к изобилию. I—185. — Вот наш путь. IX—191.

**С. Струмилин,** академик. Всеобщее разоружение и экономика. III—176. — Рабочий быт и коммунизм. VII—203.

**А. Хавин.** «Срочно требуются...». VII—221.

**Б. Яковлев.** Новый ленинский сборник (Ленинский сборник XXXVI. Подготовители: А. А. Панфилова, Е. Ф. Полковникова, Н. Н. Суровцева, Н. Г. Севрюгила, Д. Л. Кудрячина, В. А. Чанова). II—204. — Боевое оружие. Новое издание ленинских «Тетрадей по империализму». XI—157.

#### В МИРЕ НАУКИ

**С. Брайнс,** профессор, **В. Свечинский,** инженер. Кибернетика в биологии и медицине. VIII—202.

**Юрий Вебер.** Большой поиск (Заметки с международного конгресса). X—166.

**Р. Пересветов.** Загадочные приписки. IX—205.

**В. Петров,** кандидат технических наук, **И. Овчинников,** инженер. Перед полетом человека в космос. XI—165.

**М. Н. Тихомиров,** академик. О библиотеке московских царей (Легенды и действительность). I—196.

#### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

**Луиза Брайант (Рид).** Мои знакомство с Лениным (К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина). III—174.

**М. Галлай.** Через невидимые барьеры. Из записок летчика-испытателя. VI—140; VII—112.

**Е. Герасимов.** Неслучайные встречи. XI—131.

**К. Злинченко.** Ленин и работники печати. IV—149.

**М. Инюшин,** Герой Социалистического Труда. По великому плану. IV—167.

**Н. К. Крупская.** По градам и весям Советской Республики (Полтора месяца работы на литературно-агитационном пароходе ВЦИК «Красная звезда»). XI—113.

**Дм. Любимов, А. Цингер, Владимир Польш.** О Л. Н. Толстом XII—239.

**И. Майский,** академик. На социалистическом конгрессе в Копенгагене. IV—154.

**К. Т. Свердлова (Новгородцева).** Яков Михайлович Свердлов. VI—131.

**Н. Семашко.** Многогранность, целеустремленность Ильича. IV—152.

**А. Сергеенко.** Встречи с Толстым (К 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого). IX—213.

**М. Фофанова.** Как рождался декрет о земле. IV—144.

**Адам Эгедс-Ниссен.** У Ленина в Смольном (К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина). III—172.

**Ек. Ямпольская,** член КПСС с 1917 года. В те памятные годы (К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина). III—169.

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**А. Анастасьев.** Реплика критику (К 100-летию со дня рождения А. П. Чехова). I—254.

**С. Бабенешева.** Солдаты идут на проверку (Обсуждаем проблемы современного романа). IV—224.

**Г. Белая.** В поисках «скромного новаторства» (Обсуждаем проблемы современного романа). VII—211.

**А. Берзер.** Общественный вкус к изящному (Обсуждаем проблемы современного романа). III—227.

**Ю. Вебер.** Жажда ясности — жажда переживаний (О научно-художественной литературе). IV—238.

**И. Виноградов.** Во имя живых. VI—209.

**Д. Данин.** Жажда ясности (Что же такое научно-художественная литература?). III—207.

**А. Ивич.** Заметки на полях статьи (О научно-художественной литературе). IV—246.

**М. Кузнецов.** О путях развития современного романа. II—227.— Спор решит жизнь (Обсуждаем проблемы современного романа). IX—236.

**В. Лакшин.** Чехов и Лев Толстой (К 100-летию со дня рождения А. П. Чехова). I—223.

**А. Македонов.** Красота простоты (Еще об Исаковском). I—210.

**Б. Мейлах.** Уход и смерть Льва Толстого. X—218; XI—220.

**Наталья Модзелевская.** Рыцари вечного разлада. Письмо из Варшавы (К 100-летию со дня рождения А. П. Чехова). I—246.

**В. Назаренко.** Не забывать о главном! (Обсуждаем проблемы современного романа). VIII—218.

**От редакции** (О научно-художественной литературе). VI—229.

**И. Радволина.** О чем рассказывает лирический герой (Заметки о современной югославской литературе). XII—214.

**И. Рачук.** Александр Довженко — писатель (Заметки). X—211.

**К. Рудницкий.** Движение сквозь годы. XII—200.

**Б. Руин.** Спор необходимо продолжить. XI—195.

**Б. Рюриков.** Н. Г. Чернышевский как личность и характер. VI—232.

**А. Синявский.** Поэзия и проза Ольги Берггольц. V—225.

**А. Смирнов-Черкезов.** О научном и художественном познании (О научно-художественной литературе). IV—243.

**Я. Смородинский,** доктор физико-математических наук. Разные пути (О научно-художественной литературе). VI—227.

**И. Соловьева.** Герои и темы Виктора Розова. VIII—227.

**В. Сурвилло.** На путях романтики. Статья третья (Обсуждаем проблемы современного романа). VII—229.

**М. Туровская.** Герои безгеройного времени. VII—240.

**А. Шаров.** Жизнь, насильно разъятая (О научно-художественной литературе). VI—224.

**Л. Швецова.** Против недоверия к романтике (Обсуждаем проблемы современного романа). IV—232.

## НАШ ШОЛОХОВ

**Иван Держинский.** В музыке. V—221.

**Александр Иванов.** На экране. V—219.

**Жан Катала.** Роман-трагедия и роман-поэма. V—215.

## В МИРЕ ИСКУССТВА

**Н. Кузьмин.** Андрей Рублев. X—204.

**Лев Любимов.** Среди сокровищ Эрмитажа. V—179.

**Вл. Саппак.** Телевидение, 1960. Из первых наблюдений. X—177.

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

**Ираклий Андроников.** Личная собственность. II—175.— О собирателях редкостей. XI—183.

**Б. Бурсов,** доктор филологических наук. Текстология и идеология. VIII—118.

**В. Вересаев.** Записи для себя. Фрагменты из книги. I—154.

**Вера Инбер.** Эхо в горах. XI—178.

**С. Маршак.** Об одном стихотворении. VIII—116.

## Трибуна Читателя

**Галина Зинченко,** закройщица. Против бедности чувств. V—275.

«Каждому по труду». III—263.

О рассказах Е. Драбкиной. VII—279.

О романе «Любовь инженера Изотова». X—274

О статье профессора П. Маслова: Ю. Жернов, С. Ларин, Н. Болгаров, рабочие Коломенского тепловозостроительного завода имени В. В. Куйбышева. Нам нужна такая пропаганда. М. Маркович. То, что не входит в ведомость. V—278.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

**Л. Зонина.** Письма Роже Мартен дю Гара. III—272.

**Мир — знамя Великого Октября** (Публикация подготовлена кандидатом исторических наук В. Кондратьевым). XI—241.

**Е. Подвигина,** кандидат исторических наук. История одной дарственной надписи (По документам Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). IV—210.

**Джон Рид.** Речь на I съезде народов Востока (Предисловие Е. Драбкиной. Последняя речь Джона Рида). VIII—279.

**Л. Фарбер.** Алексей Яровицкий, революционер и писатель. IX—275.

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## Литература и искусство

**Д. Альшиц.** Древнерусская проза в стихотворных переводах Н. В. Воловцова (Сказание о царстве Казанском. Вступительная статья, переложение).

ние и примечания проф. Н. В. Водовозова. Русская воинская повесть XIII века. Ученые записки МГПИ им. Потемкина, т. 87, в. 7. Афанасий Никитин. Хождение за три моря). XI—265.

**А. Анастасьев.** Искусство критика (А. Мацкин. Образы времени. Статьи о литературе и театре). III—241.

**И. Андреева.** Земля, где ты живешь (А. Мошковский. Три белоснежных оленя. Анатолий Мошковский. Скала и люди). VIII—249.

**В. Аникин.** Друг народной песни (Друг народной песни. Составление и редакция В. Г. Лидина и В. М. Сидельникова). I—266.

**Н. Атаров.** Всегда в пути (Александр Горобова. Здесь их сердце. Очерки). IV—265.

**Ю. Барабаш.** Разговор, который должен быть продолжен (Р. Юренев. Александр Довженко). IV—274.

**Вл. Баскаков.** Путь к счастью (Михайло Стельмах. Хлеб и соль. Перевод с украинского В. Россельса). X—239.

**Г. Белая.** «...Насколько едина маленькая планета...» (Илья Эренбург. Индия. Япония. Греция). VII—265.

**А. Берзер.** Веселые рассказы (Виктор Голявкин. Тетрадки под дождем). IX—257. — Путь ко второй книге (Анатолий Кузнецов. Девочки. Юрка, бештанная команда. Рассказы). XI—253.

**М. Блинкова.** Роман о молодежи (В. Соко. Покой нам только снится. Роман. Перевод с украинского Л. Михаловской). IV—271. — Саша Зеленя и его друзья (В. Аксенов. Коллеги. Повесть). XI—248.

**Ал. Богуславский.** Школа драматургов (Е. Полякова. Театр и драматург. Из опыта работы Московского Художественного театра над пьесами советских драматургов. 1917—1941 гг.). II—263.

**Ю. Бургин.** Поэзия деревенского детства (Владимир Солоухин. Капля росы). VII—250.

**И. Виноградов.** Почему стало пусто в «каса маре»? (Ион Друцэ. Каса маре. Драма в 3 действиях, 10 картинах. Авторизованный перевод с молдавского И. Хазина). XI—256. — Об «уставных словах» и человечности (И. Меттер. Обида. Повести и рассказы). XII—255.

**Г. Владимов.** Пародии и мелодии (А. Раскин. Очерки и почерки. Пародии. Фельетоны. Эпиграммы). IV—268. — Образы и комментарии (Лев Овалов. Партийное поручение. Роман). VII—254.

**В. Гоффеншефер.** Великий образ — высокие требования (Галина Серебрякова. Похищение огня. Роман). V—241. — Поэма о героях (Д. Мамсуров. Поэма о героях. Роман. Книга первая. Авторизованный перевод с осетинского Ю. Либединского). IX—251.

**Н. Дикушина.** Записные книжки А. Фадеева (Из записных книжек А. Фадеева. Публикация С. Преображенского). II—257.

**Е. Добин.** За живой водой (Виктор Шкловский. Художественная проза. Размышления и разборы). X—252.

**Ефим Дорош.** Неповерхностные наблюдения (А. Одицов. Из дома в дом. Очерки). XII—252.

**М. Злобина.** «Триумфальная арка» (Эрих Мария Ремарк. Триумфальная арка. Роман. Перевод с немецкого Б. Кремнева и И. Шрайбера). I—267. — Мертвые остаются с живыми (Генрих Бёлль. Дом без хозяина. Роман. Перевод с немецкого С. Фридлянд и Н. Португалова). IX—261.

**И. Г.** Вместо рецензии. II—266.

**Г. Койранская.** Проблемы и образы (Иван Антонов. Свежий ветер. Очерки. Перевод с мордовского). X—246.

**А. Кондратович.** Голос свободной Азии (Мирзо Турсунзаде. Голос Азии. Перевод С. Липкина. Хасан-арбакеш. Перевод В. Державина). VI—245. — Слова и годы (Р. Эйдман. Слова и годы. Избранное. Перевод с латышского О. Эйдман и Г. Горского). XI—260.

**Лев Копелев.** Проблемы реализма (В. Днепров. Проблемы реализма). VIII—256.

**И. Крамов.** По дорогам мира и войны (Джон Рид. Восставшая Мексика. Рассказы и очерки). X—258.

**В. Лакшин.** Взгляните на звезды (А. Сент-Экзюпери. Маленький принц. Сказка. Перевод с французского Н. Галь. Antoine de Saint-Exupéry. Le petit prince). IV—277.

**С. Ларин.** «Волшебные очки» Януша Осенки (Януш Осенка. Ухо жирафа. Перевод с польского К. Лабковского). VIII—254.

**А. Лебедев.** Антонио Грамши об искусстве (Антонио Грамши. Избранные произведения в трех томах. Том I. Ордине нуово (1919—1920). Перевод с итальянского В. Антонова, К. Холодковского. Том II. Письма из тюрьмы. Перевод Т. Злочевской, Е. Шухт. Том III. Тюремные тетради. Перевод В. Бондарчука, Э. Егермана, И. Левина). III—247.

**Л. Лебедева.** Всей жизнью написанная книга (Юозас Балтушис. Проданные годы. Роман. Авторизованный перевод с литовского К. Келы). V—237.

**Л. Левицкий.** О мещанстве, романгике и просто стихах (Игорь Кобзев. Да здравствует романтика. Стихи). V—249.

**А. Мацкин.** Игорь Ильинский и его книга (Игорь Ильинский. Сам о себе). I—261.

**А. Меньшутин.** Книга о Блоке (Г. Ременик. Поэмы Александра Блока). VII—263.

**Ал. Михайлов.** Разговор о главном (Ярослав Смеляков. Разговор о главном. Новая книга стихов). VI—256.

**О. Михайлов.** Синее и голубое (Николай Погодин. Янтарное ожерелье. Роман). VIII—244.

**Т. Мотылева.** Монография о «Войне и мире» (А. А. Сабуров. «Война и мир»

Л. Н. Толстого. Проблематика и поэтика). VI—259.

**Г. Мунблит.** Рассказы о мирной жизни (Леонид Волынский. Высокий берег. Рассказы). VI—252.

**Дм. Нагишкин.** Глазами друга (Геннадий Фиш. Здравствуй, Дания! Рисунки Херлуфа Бидструпа). X—250.

**С. Образцов.** Прочтите эту книгу! (С. Бирман. Путь актрисы). V—246.

**В. Огнев.** Молодой поэт и его критика (Л. Завальнюк. На дорогу времени. Стихи). IX—255.

**Л. Осоват.** Поэзия Габриэлы Мистраль (Габриэла Мистраль. Стихи. Составление, перевод с испанского и предисловие О. Савича). III—244.

**А. Павловский.** Человек идет по земле (И. Соколов-Микитов. Сочинения в двух томах). XII—248.

**З. Паперный.** Хорошо! («Театр». № 1, 1960). III—236.— Смех Саши Черного (Саша Черный. Стихотворения). IX—258.

**И. Питляр.** Остановить мгновение! (Геннадий Гор. Университетская набережная. Роман). VII—259.— «Широк» сердце писателя (Иван Сенченко. Опповідання. Иван Сенченко. Рассказы). X—243.

**Л. Плоткин.** Монография о Вересаеве (Г. Бровман. В. В. Вересаев. Жизнь и творчество). V—252.

**Юрий Полетика.** Об одном известном приключенческом романе (Ю. Дольд-Михайлик. И один в поле воин. Перевод с украинского Е. Россельс). II—259.— Конц доктора Унислоу (Джей Дэйс. Крупная игра. Роман). VIII—264.

**И. Поступальский.** Новеллы Владимира Назора (В. Назор. Новеллы. Перевод с сербохорватского). V—255.— Поэзия Элисаветы Багряны (Элисавета Багряна. Сердце человеческое. Перевод с болгарского. Составление и предисловие В. Злыднева). XII—258.

**И. Роднянская.** Уголок большого мира (Ион Друцэ. Человек — твое первое имя). VI—248.

**Б. Сарнов.** Новые стихи Михаила Светлова (Михаил Светлов. Горизонт. Новая книга. Стихи). I—258.

**И. Соколов-Микитов.** В тихом краю (Олег Волков. В тихом краю. Повесть). II—255.

**Инна Соловьёва.** Намерения были самые добрые... (Е. Шереметьева. Весны гошцы). III—238.

**Е. Старикова.** Новые рассказы В. Пановой (В. Панова. Валя. Володя. Рассказы). II—251.

**Г. Трефилова.** Одна серьезная помеха (Т. Хмельницкая. Творчество Михаила Пришвина). VIII—260.

**А. Турков.** О времени и о себе... (Советские писатели. Автобиографии в двух томах. Том I. Том II. Составители Б. Брайнина, Е. Никитина). VIII—241.— Книга о мастерстве Пушкина (А. Слонимский. Мастерство Пушкина). XI—263.

**В. Ясный.** Мадрид, 1953 (Долорес Медно. Государственный служащий. Роман. Перевод с испанского). VI—263.

#### Политика и наука

**А. Байкова,** кандидат исторических наук. Заря над арабским Востоком (Р. К. Караганжа. Arab dawn. Р. Каранджия. Заря арабов). IX—272.

**А. Байкова,** кандидат исторических наук, **К. Козырина.** Новое о В. И. Ленине за рубежом. XI—270.

**М. Баскин,** профессор. Великий борец против ревизионизма (А. Ф. Окулов. Борьба В. И. Ленина против философии реформизма и ревизионизма). II—268.

**А. Бельская.** Тринадцать дней, которые вселили надежду (А. Аджубей, Н. Грибачев, Г. Жуков, Л. Ильичев, В. Лебедев, Е. Литовско, В. Матвеев, В. Орлов, П. Сатюков, О. Трояновский, А. Шевченко, Г. Шуйский. Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поездке Н. С. Хрущева в США). IV—258.— Западный Берлин как он есть... (Westberlin. Ein Handbuch zur Westberlin-Frage. Prof. P. A. Steinger. П. А. Штейнигер. Западный Берлин. Настольная книга по западноберлинскому вопросу). VII—274.

**О. Войтинская,** кандидат философских наук. Полезное исследование (Б. Яковлев. Ленин-публицист). VIII—268.

**И. Геевский.** Бациллы империализма (А. Н. Рубакин. Империализм и ухудшение здоровья трудящихся). V—273.

**Н. Денисов,** полковник. На первом плане — человек (В. И. Чуйков. Начало пути. Военные мемуары). II—271.— Боевое братство (Франсуа де Жоффр. «Нормандия — Неман». Воспоминания военного летчика. Перевод с французского). V—260.

**Л. Ерихонов,** кандидат филологических наук. Борцы за свободу Болгарии (Избранные произведения болгарских революционных демократов). VII—272.

**И. Ермашев.** Воспоминания советского дипломата (И. М. Майский. Воспоминания советского посла в Англии). XI—278.

**А. Ефремов,** кандидат исторических наук. Опасный перекресток (H. C. Deutsch. Neu crisis on Berlin. Г. С. Дейч. Новый берлинский кризис. Berlin am Kreuzweg Europas, am Kreuzweg der Welt. Берлин на перекрестке Европы, на перекрестке мира). III—256.

**Б. Жучков,** кандидат исторических наук. Нужно издание (С. Новиков. Чему Ленин учил агитаторов. М. И. Калинин. Советы агитатору. Р. Черников. Масово-политическая работа на селе. О. Курин. Быт — не частное дело. П. Родионов. Политическая агитация в ночной смене. И. Помелов. О полной и окончательной победе социализма в СССР). VI—269.

**И. Зборовский.** Живое слово Ленина (А. Тарасенко. Живое слово Ленина). IV—253.

**А. Иглицкий.** Разведчики без масок (Владислав Минаев. Тайное становится явным). X—268.

**П. Ильин.** Массовая библиотека рабочего (Академик С. Г. Струмилин. Рабочий день и коммунизм. В. Гаганова. Не ради корысти. Литературная запись В. В. Кривенченко, Д. Киселев. Поиски конструктора. Литературная запись А. Млынек. М. Васильев. О машинах, которые есть и которые будут. К. Лисовский. Утро Сибири. Игнатий Рождественский. Богатырский край. Я. Фоменко. Промежгев огонь). VIII—271.

**В. Истрин,** кандидат технических наук. Начало большого пуги (У истоков русского книгопечатания. К трехсотсемидесятипятилетию со дня смерти Ивана Федорова. 1583—1958). I—281.

**Р. Катаян,** член КПСС с 1903 года. Повесть о прекращении жизни (Л. Шаумян. Камо. Жизнь и деятельность профессионального революционера С. А. Тер-Петросяна). I—279.

**А. Копцева.** О «Философских тетрадах» В. И. Ленина (О «Философских тетрадях» В. И. Ленина). V—258.

**С. Красильников,** генерал-лейтенант. Еще один глашатай агрессии (Э. Дж. Кингстон-Макклори. Глобальная стратегия. Перевод с английского В. Я. Черепанова). V—269.

**Н. Крутикова.** Новое издание биографии В. И. Ленина («Владимир Ильич Ленин. Биография»). Биография написана авторским коллективом в составе: П. Н. Поспелов (руководитель), В. Е. Евграфов, В. Я. Зевин, Л. Ф. Ильичев, Ф. В. Константинов, А. П. Косульников, З. А. Лёвина, Г. Д. Обичкин, П. Н. Федосеев). VII—268.

**Л. Кюзадзян.** Новый журнал советских востоковедов («Проблемы востоковедения». №№ 1—6, 1959). V—266. — Ленин и Восток (Ленин и Восток. Сборник статей. А. Н. Хейфец. Ленин — великий друг народов Востока). XII—261.

**Р. Лавров.** Волнующие документы (Письма трудящихся к В. И. Ленину. 1917—1924 гг.). IV—256.

**Л. Лазарев.** Незабываемый сорок первый... (Н. К. Попель. В тяжкую пору. Военные мемуары. Литературная запись В. Кардина). II—273.

**А. Лебедев.** В борьбе за мир, за счастье людей (У истоков советской дипломатии). (В. В. Воровский. Статьи и материалы по вопросам внешней политики. Составитель Н. Ф. Пияшев. А. В. Луначарский. Статьи и речи по вопросам международной политики. Составитель Л. А. Истомин). V—263.

**В. Левачев,** инженер. Транспорт и связь в семилетке (Е. Ф. Рудой, Т. И. Лазаренко. Развитие транспорта и связи в СССР. 1959—1965). X—264.

**К. Львов.** Великий борец за мир (С. Ю. Выгодский. В. И. Ленин — руководитель внешней политики Советского государства (1917—1923 гг.). X—262.

**И. Миндлин,** кандидат исторических наук. Надежный спутник (Спутник агента). IX—270.

**Г. Миньковский, М. Рагинский,** кандидаты юридических наук. Государство без права (Staat ohne Recht. Verfasser: Prof. Dr. H. Gerats, Dr. G. Kühlig, Dr. K. Pfannenschwarz, Dr. E. Buchholz, H. Kreuzburg, Dr. M. Nast, I. Noack. Государство без права. Составители: проф. д-р Х. Гератс, д-р Г. Кюлиг, д-р К. Пфанненшварц, д-р Э. Бухгольц, Х. Кройцбург, д-р М. Наст, И. Ноак). VIII—273.

**А. Млынек.** Птенец гнезда Петрова (В. Данилевский. Нартов). X—271.

**В. Молчанов.** Кандидат в президенты (Earl Mazon. Richard Nixon. A political and personal portrait. Эрл Мазон. Ричард Никсон. Политик и человек). X—266.

**С. Обручев,** член-корреспондент Академии наук СССР. Ценное издание (Э. и В. Мурзаевы. Словарь местных географических терминов). VII—277.

**О книге «Очерки истории Свердловска».** VI—281.

**Юр. Павлов.** Viva Куба! (Enrique Gonzales Pedreno. La Revolucion cubana. Энрике Гонсалес Педреро. Кубинская революция. Фидель Кастро. Речь на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября 1960 года. Перевод с испанского под редакцией Л. З. Поляковой). XII—267.

**Е. Петруничев.** Крах пособников фашизма (Миклош Сабо. Эмигранты по профессии). VI—273.

**И. Пешкин.** Дыхание семилетки (Ф. Орлов. Рядом с нами отстающих не будет. В. И. Горбунов. Думы о съезде. С. Калинин. Личный план на семилетку. В. П. Карякин. Творчество миллионов. В. Березин. Широком шагом). III—252.

**А. Полторацк,** кандидат юридических наук. Документы обвиняют и предостерегают (СС в действии. Документы с преступлениях СС. Перевод с немецкого А. Л. Лягушкина и В. В. Размерова. Редакция и предисловие М. Ю. Рагинского). VI—276.

**А. Ракитов,** кандидат философских наук. Бывшие священники о религии (Правда о религии. Сборник. Составитель Л. И. Емельяк). II—278.

**Дм. Рудь.** Жизнь берет свое (Т. А. Коваль. Соревнование СССР и США в области сельского хозяйства). VI—271. — На смену трудно (К. А. Охалкин. Экономическая эффективность денежной оплаты труда в колхозах). XII—264.

**М. Сидоров,** кандидат философских наук. Новый труд по истории философии (История философии. В шести томах). XI—275.

**В. Спасский.** Словарь семилетки (Словарь семилетки. От А до Я). IX—268.

**Е. Стеллиферовская.** Образ вождя живет в сердцах (Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Часть 3). VI—266.



**Н. Стривская.** Н. К. Крупская о Ленине (Н. К. Крупская о Ленине. Сборник статей. Подготовлен к печати В. С. Дридзе). IV—250.

**Г. Сухарчук.** Выдающийся сын китайского народа (Цюй Цю-бо. Очерки и статьи. Составление, перевод, вступительная статья и комментарии М. Е. Шнейдера). I—277.

**Я. Тавров.** Азбука хозяйствования (А. Бирман. Учись хозяйствовать (Расказы об экономике предприятия). I—272.

**В. Твардовская.** Книга об Ипполите Мышкине (Л. Островер. Ипполит Мышкин). IV—261.— Научно-популярная литература о революционерах-народниках (Б. С. Итенберг и А. Я. Черняк. Александр Ульянов (1866—1887). Ю. З. Полевой. Степан Халтурин (1857—1882). А. В. Клеянкин. Андрей Желябов — герой «Народной воли». Э. А. Павлюченко. Софья Перовская. В. Антонов. И. Мышкин — один из блестящей плеяды революционеров 70-х годов. Б. Итенберг. Дмитрий Рогачев — революционер-народник. А. Я. Черняк. Николай Кибальнич — революционер и ученый). XII—270.

**В. Тулов.** Личные контакты — верный путь к миру (Emrys Hughes. Pilgrims' Progress in Russia. Эмрис Хьюз. Странствия пилигрима в Россию). I—275.— Джунгли американского расизма (Stetson Kennedy. Jim Crow Guide to the U. S. A. Стетсон Кеннеди. Путеводитель по расистским США). VIII—277.

**В. Филиппов,** кандидат экономических наук. По ленинскому пути (Ленинским шляхом. Сборник статей. Редакционная коллегия. По ленинскому пути. Сборник статей). XI—274.

**А. Хавин.** Мысли по поводу одного ежегодника (Народное хозяйство СССР в 1958 году. Статистический ежегодник). II—275.

**А. Ханьковский.** Дела и люди хлебного Алтая (Герои Алтая. Составитель А. А. Дегтев). III—255.

**Мих. Цуц.** Из зала суда (Я. С. Киселев. Началось с проступка... Ю. Кларов. Вторая судимость. С. Званцев. Клевета. Ирина Волк, Игорь Голосовский. Признаю себя виновным...). VI—279.

**Ю. Шаратов,** кандидат исторических наук. Путеводитель по ленинскому литературному наследству (Хронологический указатель произведений В. И. Ленина. Книги, статьи, выступления и другие документы. Ч. 1). III—250.

**А. Шарков.** Счастье и мир — народам! (Счастье и мир — народам! Пребывание Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева в Индии, Бирме, Индонезии и Афганистане. II февраля — 5 марта 1960 г.). IX—265.

**С. Эпштейн.** Новая форма социальной демагогии (J. Glover, R. Hower. The administrator. Cases on human relations in business. Д. Гловер, Р. Хауэр. Администратор. Казусы из области человеческих отношений в бизнесе). III—259.

**Коротко о книгах:** I—284; II—281; III—284; IV—282; V—282; VI—282; VII—283; VIII—283; IX—283; X—280; XI—283; XII—276.

**Книжные новинки:** I—287; II—286; III—287; IV—286; V—286; VI—286; VII—287; VIII—287; IX—287; X—284; XI—287; XII—279.

**От редакции.** «Новый мир» в 1961 году. X—286.

**Письмо в редакцию.** VII—286.

#### Поправка

В 11-й книге «Нового мира» на странице 260 в сноске (вторая и третья строки снизу) следует читать: **Перевод с латышского О. Эйдеман и Г. Горского.**

**Главный редактор А. Т. Твардовский**

**Редакционная коллегия:**

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

**Редакция:** Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 25/X 1960 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 22 XI 1960 г. А 09299. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 90.200. Зак. № 2090.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.